



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

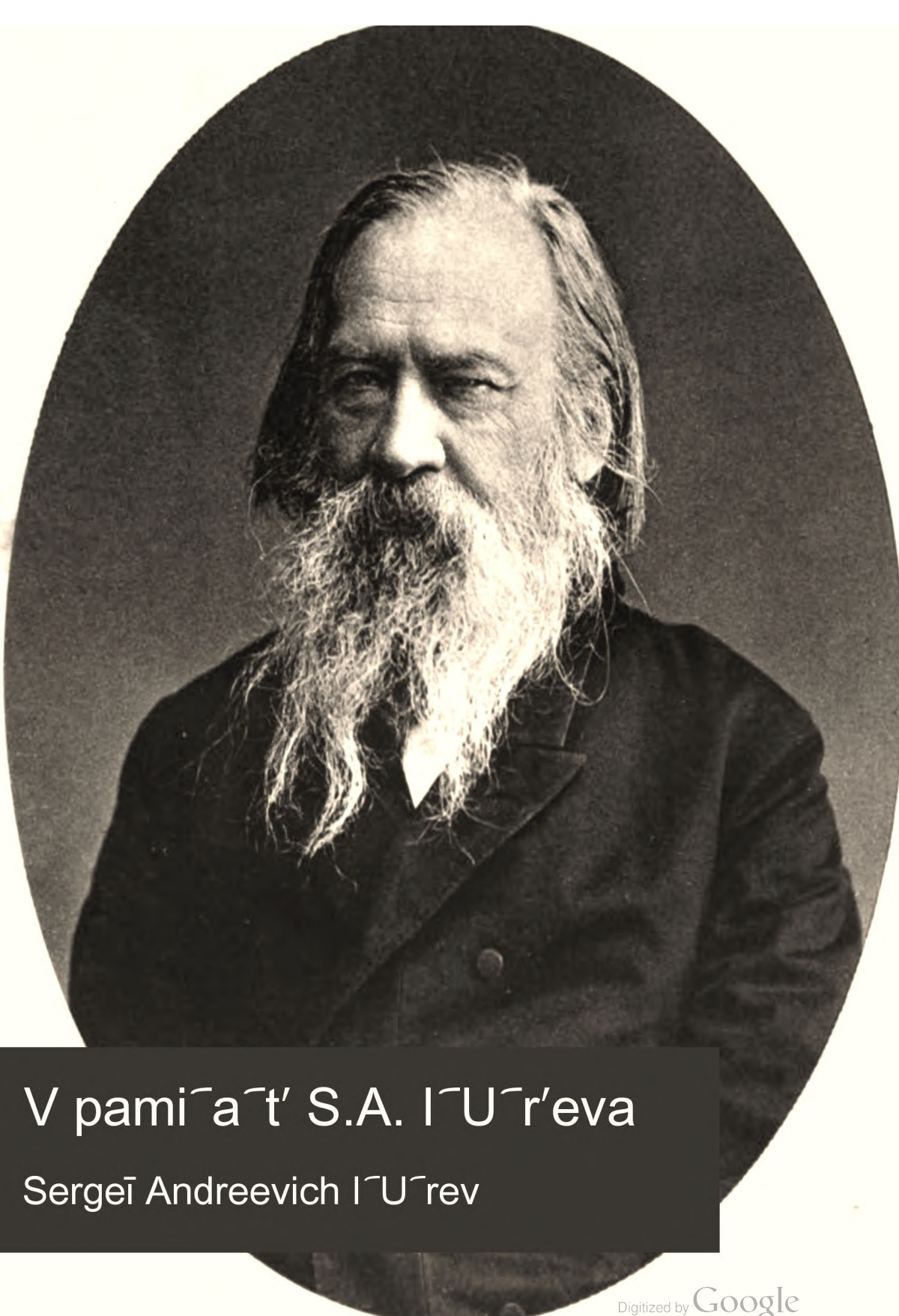
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

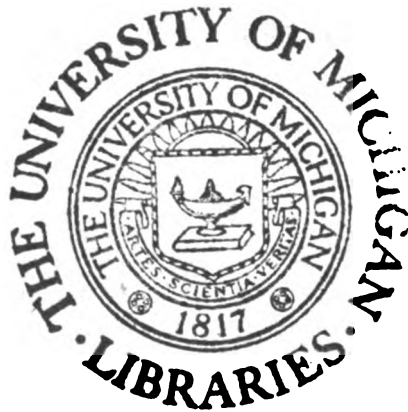


В памяти S.A. ИУрэва

Sergei Andreevich Iŭrev

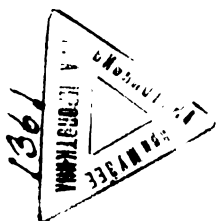
14 1/2

0-216590



1726 п/67

ВЪ ПАМЯТЬ
С. А. ЮРЬЕВА.



СБОРНИКЪ

ИЗДАННЫЙ ДРУЗЬЯМИ ПОКОЙНАГО.

N 7297

В. М. А. К.

МОСКВА.



Типо-литографія Высочайше утвержденнаго Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о,
Пименовская улица, собственный дворъ.



1891.



1. prímát' S. A. Míeva

ВЪ

ПАМЯТЬ С. А. ЮРЬЕВА.

89178
VII3

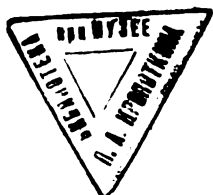
517.0128-291

Въ первые же дни послѣ кончины С. А. Юрѣва среди друзей его возникла мысль почтить его память изданіемъ сборника, который еще разъ сгруппировалъ бы вокругъ его имени тѣхъ, кто любилъ и почиталъ покойнаго. Помня, какъ самъ онъ всегда стремился сближать и объединять главнѣйшія направленія мысли и съ замѣчательной терпимостью относился къ различію въ мнѣніяхъ,—друзья его хотѣли и сборнику своему придать такой же характеръ свободного соединенія силъ, къ какимъ бы оттѣнкамъ онѣ ни принадлежали.

Однимъ изъ первыхъ отозвался на призывъ гр. Л. Н. Толстой. Его „Крейцера Соната“ предназначалась первоначально въ настоящій сборникъ, и если съ неизмѣнною готовностью поддержать его осуществленіе авторъ замѣнилъ ее своею остроумною комедіей, то въ колебаніяхъ, естественно вызванныхъ этимъ измѣненіемъ первоначальнаго плана изданія, заключается главная причина замедленія въ выпускѣ сборника.

Каждый дѣлалъ свой вкладъ, чѣмъ могъ. Нѣсколько любопытныхъ матеріаловъ, какъ нарим. коллекція неизданныхъ писемъ Гоголя, было любезно пожертвовано ихъ владѣльцами. Завѣдывавшіе изданіемъ могутъ засвидѣтельствовать встрѣченную ими рѣдкую готовность помочь дѣлу и выражаютъ всѣмъ поддержавшимъ его глубокую благодарность.

Имъ остается только прибавить, что чистый доходъ отъ сборника будетъ предоставленъ въ полное распоряженіе семьи С. А. Юрѣва.



ПЛОДЫ ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

Гр. Л. Н. Толстаго.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Леонидъ Ѳедоровичъ Звѣздинцевъ, отставной поручикъ конной гвардіи, владѣтель 24 тысячъ десятинъ въ разныхъ губерніяхъ. Свѣжій мущина около 60 лѣтъ, мягкій, пріятный, джентльменъ. Вѣрить въ спиритизмъ и любитъ удивлять другихъ своими разсказами.

Анна Павловна Звѣздинцева, его жена, полная, молодящаяся дама, озабоченная свѣтскими приличіями, презирающая своего мужа и слѣпо вѣрящая доктору. Дама раздражительная.

Бетси, ихъ дочь, свѣтская дѣвица, лѣтъ 20-ти, съ распущенными манерами, подражающими мужскимъ, въ рінсе-пез. Кокетка и хохотунья. Говоритъ очень быстро и очень отчетливо, поджимая губы какъ иностранка.

Василій Леонидычъ, ихъ сынъ, 25-ти лѣтъ, кандидатъ юридическихъ наукъ, безъ опредѣленныхъ занятій, членъ общества велосипедистовъ, общества конскихъ ристалищъ и общества поощренія борзыхъ собакъ. Молодой человекъ, пользующійся прекраснымъ здоровьемъ и несокрушимой самоувѣренностью. Говоритъ громко и отрывисто. Либо вполне серьезенъ, почти мраченъ, либо шумно-веселъ и хохочетъ громко.

Алексій Владимірович Кругосвѣтловъ, профессоръ. Ученый, лѣтъ 50-ти, съ спокойными, пріятно самоувѣренными манерами и такою же медлительною, пѣвучей рѣчью. Охотно говорить. Къ несогласяющимся съ собой относится кротко-презрительно. Много курить. Худой, подвижный человѣкъ.

Докторъ, лѣтъ 40, здоровый, толстый, красный человѣкъ. Громогласенъ и грубъ. Постоянно самодовольно посмѣивается.

Марья Константиновна, дѣвица лѣтъ 20-ти, воспитанница консерваторіи, учительница музыки, съ махрами на лбу, въ преувеличенно-модномъ туалетѣ, заискивающая и конфузящаяся.

Петрищевъ, лѣтъ 28, кандидатъ филологическихъ наукъ, ищущій дѣятельности, членъ тѣхъ же обществъ, какъ и Василій Леонидычъ, и, кромѣ того, общества устройства ситцевыхъ и коленкоровыхъ баловъ. Плѣшивый, быстрый въ движеніяхъ и рѣчи и очень учтивый.

Баронесса, важная дама лѣтъ 50-ти, неподвижная, говорить безъ интонацій.

Княгиня, свѣтская дама, гостья.

Княжна, свѣтская дѣвица, гримасница, гостья.

Графиня, древняя дама, насилу движущаяся, съ фальшивыми буклями и зубами.

Гросманъ, брюнетъ еврейскаго типа, очень подвижный, нервный, говорить очень громко.

Толстая барыня, Марья Васильевна Толбухина, очень важная, богатая и добродушная дама, знакомая со всѣми замѣчательными людьми, прежними и теперешними. Очень толстая, говорить поспѣшно, стараясь переговорить другихъ. Курить.

Баронъ Клингенъ (Кокó), кандидатъ Петерб. университета, камеръ-юнкеръ, служащій при посольствѣ. Вполнѣ соггест и потому спокоенъ душою и тихо веселъ.

Дама.

Барыня (безъ словъ).

Сахатовъ Сергѣй Ивановичъ, лѣтъ 50-ти, бывшій товарищъ министра, элегантный господинъ, широкаго европейскаго образованія, ничѣмъ не занятъ и всѣмъ интересуется. Держитъ себя достойно и даже нѣсколько строго.

Федоръ Ивановичъ, камердинеръ, лѣтъ подъ 60-ть. Образованный и любящій образованіе человѣкъ, злоупотребляющій употребленіемъ ринсе-пез и носоваго платка, который онъ медленно развертываетъ. Слѣдитъ за политикой. Человѣкъ умный и добрый.

Григорій, лакей, лѣтъ 28, красавецъ собой, развратный, завистливый и смѣлый.

Яковъ, лѣтъ 40, буфетчикъ, суетливый, добродушный, живущій только деревенскими семейными интересами.

Семень, буфетный мужикъ, лѣтъ 20. Здоровый, свѣжій деревенскій малый, бѣлокурый, безъ бороды еще, спокойный, улыбающійся.

Кучеръ, лѣтъ 35. Щеголь, съ усами только, грубый и рѣшительный.

Старый поваръ, лѣтъ 45, лохматый, не бритый, раздутый, желтый, трясущійся, въ нанковомъ лѣтнемъ оборванномъ пальто и грязныхъ штанахъ, въ опоркахъ, говоритъ хрипло. Слова вырываются изъ него какъ бы черезъ преграду.

Кухарка, говорунья, недовольная, лѣтъ 30.

Швейцаръ, отставной солдатъ.

Таня, горничная, лѣтъ 19-ти, энергическая, сильная, веселая и быстро измѣняющая настроеніе дѣвушка. Въ минуты сильнаго возбужденія радости взвизгиваетъ.

1-й мужикъ, лѣтъ 60-ти, ходилъ старшиной, полагаетъ, что знаетъ обхожденіе съ господами, и любитъ себя послушать.

2-й мужикъ, лѣтъ 45, хозяинъ, грубый и правдивый, не любитъ говорить лишняго. Отецъ Семена.

3-й мужикъ, лѣтъ 70-ти, въ лаптяхъ, нервный, безпокойный, торопится, робѣетъ и разговоромъ заглушаетъ свою робость.

1-й выездной лакей графини. Старикъ стараго завѣта, съ лакейской гордостью.

2-й выездной лакей, огромный, здоровый, грубый.

Артельщикъ изъ магазина. Въ синей поддевкѣ, съ чистымъ румянымъ лицомъ. Говоритъ твердо, внушительно и ясно.

Дѣйствіе происходитъ въ столицѣ, въ домъ Звѣздинцевыхъ.

ДѢЙСТВІЕ I.

Театръ представляетъ переднюю богатаго дома въ Москвѣ. Три двери: наружная, въ кабинетъ Леонида Ѳедоровича и въ комнату Василья Леонидыча. Лѣстница на верхъ, во внутренніе покои; сзади нея проходъ въ буфетъ.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Григорій, *(молодой и красивый лакей, глядится въ зеркало и прихорашивается)*.

Григорій. А жаль усовъ! Не годится, говорить, лакею усы! А отчего? Чтобы видно было, что ты лакей. А то какъ бы не превзошелъ сынка ея любезнаго. И есть кого! Хоть и безъ усовъ, а далеко ему... *(Взвѣдывается съ улыбкой.)* И сколько ихъ за мной волочатся? Только никто вотъ не нравится, какъ Таня эта! Простая горничная! Н-да! А вотъ лучше барышни. *(Улыбается.)* Да и мила! *(Прислушивается.)* Вотъ, она и есть! *(Улыбается.)* Вишь постукиваетъ каблучками... в-ва!..

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Григорій и Таня *(съ шубкой и ботинками)*.

Григорій. Татьянѣ Марковнѣ мое почтеніе!

Таня. Что, смотрите все? Думаете, очень изъ себя хороши?

Григ. А что, непріятенъ?

Таня. Такъ, ни пріятенъ, ни непріятенъ, а середка на половину. Что же это у васъ шубы-то понавѣшаны?

Григ. Сейчасъ, сударыня, уберу. *(Снимаетъ шубу и накрываетъ ею Таню, обнимая ее.)* Таня, что я тебѣ скажу...

Таня. Ну васъ совсѣмъ! И къ чему это пристало! *(Сердито вырывается.)* Говорю же, оставьте!

Григ. *(ошлядывается)*. Поцѣлуйте же.

Таня. Да что вы въ самомъ дѣлѣ пристали? Я васъ такъ поцѣлую!... *(Замазливается.)*

Василій Леон. *(за сценой слышенъ звонокъ и потомъ крикъ)*. Григорій!

Таня. Вонъ, идите, Василій Леонидычъ зоветъ.

Григ. Подождетъ, онъ только глаза продралъ. Слушай-ка, отчего не любишь?

Таня. И какія такія любви выдумали! Я никого не люблю.

Григ. Неправда, Семку любишь. И нашла же кого, буфетнаго мужика сиволапаго!

Таня. Ну, какой ни-на-есть, да вотъ вамъ завидно.

Васил. Леон. *(за сценой)*. Григорій!

Григ. Поспѣешь!... Есть чему завидовать! Вѣдь ты только начала образовываться и съ кѣмъ связываешься? То ли дѣло меня бы полюбила... Таня...

Таня *(сердито и строго)*. Говорю, не будетъ вамъ ничего.

Васил. Леон. *(за сценой)*. Григорій!!!

Григ. Ужъ очень строго себя ведете.

Васил. Леон. *(за сценой, упорно, ровно, во всю мочь кричитъ)*. Григорій! Григорій! Григорій!

(Таня и Григорій смѣются.)

Григ. Меня вѣдь какія любили!

(Звонокъ.)

Таня. Ну, и идите къ нимъ, а меня оставьте.

Григ. Глупая ты, посмотрю. Вѣдь я не Семенъ.

Таня. Семенъ жениться хочетъ, а не глупости.

ЯВЛЕНИЕ 3-е.

Григорій, Таня и Артельщикъ *(несетъ большой картонъ съ платьемъ)*.

Артел. Съ добрымъ утромъ!

Григ. Здравствуйте. Отъ кого?

Арт. Отъ Бурде, съ платьемъ, да вотъ записка барынѣ.

Таня *(беретъ записку)*. Посидите тутъ, я подамъ. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 4-е.

Григорій, Артельщикъ и Василій Леонидычъ *(высовывается изъ двери въ рубашкѣ и туфляхъ)*.

Вас. Леон. Григорій!

Григ. Сейчасъ!

Вас. Леон. Григорій! Развѣ не слышишь?

Григ. Я только пришелъ.

Вас. Леон. Воды теплой и чаю.

Григ. Сейчасъ Семенъ принесетъ.

Вас. Леон. А это что? Отъ Бурдые?

Артел. Такъ точно-съ.

(Василій Леонидычъ и Григорій уходятъ.—Звонокъ.)

ЯВЛЕНИЕ 5-е.

Артельщикъ и Таня *(вбѣгаетъ на звонокъ и открываетъ дверь)*.

Таня *(артельщику)*. Подождите.

Артел. И такъ ожидаюсь.

ЯВЛЕНИЕ 6-е.

Артельщикъ, Таня и Сахатовъ *(входитъ въ дверь)*.

Таня. Извините, сейчасъ вышелъ лакей. Да вы пожалуйста. Позвольте! *(Снимаетъ шубу.)*

Сахат. *(оправляясь)*. Дома Леонидъ Ѳедоровичъ? Встали?
(Звонокъ).

Таня. Какже, давно ужъ!

ЯВЛЕНИЕ 7-е.

Артельщикъ, Таня и Сахатовъ. *Входитъ Докторъ.*

Докторъ *(ищетъ лакея. Увидавъ Сахатова, съ развязностью)*. А? мое почтеніе!

Сахат. *(пристально вглядывается)*. Докторъ, кажется?

Докт. А я думалъ, что вы за границей. Къ Леониду Ѳедоровичу?

Сахат. Да. А вы что же? Боленъ, развѣ, кто?

Докт. *(посмѣиваясь)*. Не то, чтобы боленъ, а знаете, съ этими барынями бѣда! До трехъ часовъ каждый день сидитъ за винтомъ, а сама тянется въ рюмку. А барыня сырая, толстая, да и годочковъ-то не мало.

Сахат. Вы такъ и Аннѣ Павловнѣ высказываете вашъ диагнозъ? Ей не нравится, я думаю.

Докт. *(смѣясь)*. Что же, правда. Всѣ эти штуки продѣлываютъ, а потомъ разстройство пищеварительныхъ органовъ,

давленіе на печень, нервы,—ну, и пошла писать, а ты ее подправляй. Бѣда съ ними! (*Посмѣивается.*) А вы что? Вы, кажется, спирить тоже?

Сахат. Я? Нѣтъ, я не спирить тоже... Ну, мое почтеніе! (*Хочетъ идти, но Докторъ останавливаетъ.*)

Докт. Нѣтъ, вѣдь я тоже не отрицаю вполне, когда такой человѣкъ, какъ Кругосвѣтловъ, принимаетъ участіе. Нельзя же! Профессоръ, европейская извѣстность. Что-нибудь да есть. Хотѣлось какъ-нибудь посмотрѣть, да все некогда, другое дѣло есть.

Сахатовъ. Да, да. Мое почтеніе! (*Уходитъ съ легкимъ поклономъ.*)

Докт. (*Таня*). Встали?

Таня. Въ спальнѣ. Да вы пожалуйста.

(*Сахатовъ и Докторъ расходятся въ разныя стороны.*)

ЯВЛЕНІЕ 8 е.

Артельщикъ, Таня и Ѳедоръ Ивановичъ (*входитъ съ газетой въ рукахъ*).

Ѳед. Ив. (*къ Артельщику*). Вы что?

Артел. Отъ Бурде съ платьемъ, да съ запиской. Велѣли пождать.

Ѳед. Ив. А, отъ Бурде! (*Къ Таня*) Кто это прошелъ?

Таня. Сахатовъ, Сергѣй Ивановичъ, и еще докторъ. Они тутъ постояли, поговорили. Все о спиритичествѣ.

Ѳед. Ив. (*поправляя*). Объ спиритизмѣ.

Таня. Да и я говорю объ спиритичествѣ. А вы слышали, Ѳедоръ Ивановичъ, какъ прошлый разъ удалось хорошо? (*Смѣется.*) И стучало, и вещи перелетали.

Ѳед. Ив. А ты почему знаешь?

Таня. А Лизавета Леонидовна сказывали.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Таня, Ѳедоръ Ивановичъ, Артельщикъ и Яковъ буфетчикъ (*бѣжитъ съ стаканомъ чаю*).

Яковъ (*къ Артельщику*). Здравствуйте!

Артел. (*грустно*). Здравствуйте.

(*Яковъ стучитъ въ дверь къ Василью Леонидичу.*)

ЯВЛЕНИЕ 10-е.

Тѣ же и Григорій.

Григ. Давай.

Яковъ. А стаканы вчерашніе все не принесли, да и поднось отъ Василья Леонидыча. Вѣдь съ меня спросятъ.

Григ. Поднось занять у него съ сигарками.

Яковъ. Такъ вы переложите. Вѣдь съ меня взыскиваютъ.

Григ. Принесу, принесу!

Яковъ. Вы говорите принесу, а его нѣтъ. Намедни хватились, а подавать не на чемъ.

Григ. Да принесу, говорю. Эка суета!

Яковъ. Вамъ хорошо такъ говорить, а я вотъ третій чай подавай, да завтракать собирай. Трепleshься, трепleshься день деньской. Есть ли у кого въ домъ больше моего дѣла? А все не хорошъ!

Григ. Да ужъ чего лучше? Вишь, какъ хорошъ!

Таня. Вамъ всѣ нехороши, только вы одинъ...

Григ. (къ Танѣ). Тебя не спросили! (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 11-е.

Таня, Яковъ, Федоръ Ивановичъ и Артельщикъ.

Яковъ. Да что, я не обижаюсь. Татьяна Марковна, барыня не говорила ничего про вчерашнее?

Таня. Это объ лампѣ-то?

Яковъ. И какъ это она вырвалась изъ рукъ, Богъ ее знаетъ. Только сталъ обтирать, хотѣлъ перехватить,—вышмыгнула какъ-то... Въ мелкіе кусочки! Все мое несчастье! Ему хорошо, Григорію-то Михайлычу, говорить, какъ онъ одинъ головой, а вотъ какъ семья? Вѣдь тоже надо обдумать, да прокормить. Я на труды не смотрю. Такъ ничего не говорила? Ну, и слава Богу! А ложечки у васъ, Федоръ Ивановичъ, одна или двѣ?

Фед. Ив. Одна, одна. (*Читаетъ газету.*)

(*Яковъ уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 12-е.

Таня, Федоръ Ивановичъ и Артельщикъ. *Слышенъ звонокъ. Входятъ Григорій съ подносомъ и Швейцаръ.*

Швейц. *(Григорію)*. Доложите барину, мужики изъ деревни.

Григ. *(указывая на Федора Ивановича)*. Дворецкому доложи, а мнѣ некогда. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 13-е.

Таня, Федоръ Ивановичъ, Швейцаръ и Артельщикъ.

Таня. Откуда мужики?

Швейц. Изъ Курской, кажется.

Таня. *(взвизгиваетъ)*. Они... Это Семеновъ отецъ о землѣ. Пойду встрѣчу. *(Бѣжитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 14-е.

Федоръ Ивановичъ, Швейцаръ и Артельщикъ.

Швейц. Такъ какъ скажете: пустить ихъ сюда, или какъ. Они говорятъ—объ землѣ, баринъ знаетъ.

Фед. Иван. Да, о покупке земли. Такъ, такъ. Гость у него теперь. Ты вотъ что: скажи, чтобъ подождали.

Швейц. Гдѣ-жъ ждать?

Фед. Иван. Пусть на дворѣ подождутъ, я тогда вышлю.
(Швейцаръ уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 15-е.

Федоръ Ивановичъ, Таня, за ней три Мужика, Григорій и Артельщикъ.

Таня. Направо. Сюда, сюда!

Фед. Иван. Я не велѣлъ пускать, было, сюда.

Григ. То-то, егоза!

Таня. Да ничего, Федоръ Ивановичъ, они тутъ съ краюшка.

Фед. Иван. Натопчутъ.

Таня. Они ноги обтерли, да я и подотру. *(Мужикамъ)* Вотъ тутъ и станьте.

(Мужики входятъ, несутъ юстицы въ платкахъ: куличъ,

яйца, полотенца, ищутъ на что креститься. Крестятся на мѣстницу, кланяются Ѳеодору Иванычу и становятся твердо.)

Григор. (Ѳеодору Иванычу). Ѳеодоръ Иванычъ! вотъ говорили, отъ Пироне фасонисты щиблетки, ужъ это чего лучше у энтаго-то? (Показываетъ на третью Мужика въ чуняхъ.)

Ѳед. Иван. Все вамъ только пересмѣивать людей!

(Григорій уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 16-е.

Таня, Ѳеодоръ Иванычъ и три Мужика.

Ѳед. Иван. (встаетъ и подходитъ къ Мужикамъ). Такъ вы самые курскіе, о покупкѣ земли?

1-й муж. Такъ точно. Происходитъ, примѣрно, насчетъ свершенія продажи земли мы. Доложить бы какъ?

Ѳед. Иван. Да, да, знаю, знаю. Подождите здѣсь, я сейчасъ доложу. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 17-е.

Таня и три Мужика. Василій Леонидычъ (за сценой). Мужики оладываются, не знаютъ куда дѣть гостинцы.

1-й муж. Какъ же, значить, это, не знаю какъ назвать, на чемъ бы подать? Хворменно, чтобъ предметъ исдѣлать. Блюдецъ бы, что ли?

Таня. Сейчасъ, сейчасъ. Давайте сюда; покажѣсть вотъ такъ. (Ставитъ на диванчикъ.)

1-й муж. Это какого званія, примѣрно, почтенный подходилъ-то къ намъ?

Таня. Это камердинъ.

1-й муж. Прямое дѣло, камердинъ. Въ распоряженіи, значить, тоже. (Къ Танѣ) А вы, примѣрно, тоже при услуженіи будете?

Таня. Въ горничныхъ я. Вѣдь я тоже Деменская. Я вѣдь васъ знаю, и васъ знаю, только этого дяденьку не знаю. (Указываетъ на третью Мужика).

3-й муж. Тѣхъ вознала, а меня не вознала?

Таня. Вы Ефимъ Антонычъ?

1-й муж. Двистительно.

Таня. А вы Семеновъ родитель, Захаръ Трифоновъ?

2-й муж. Вѣрно!

3-й муж. А я, скажемъ, Митрій Чиликинъ. Вознала теперь?

Таня. Теперь и васъ знать будемъ.

2-й муж. Ты чья-жъ будешь?

Таня. А Аксиныи солдатки, сирота.

1-й и 3-й мужчины *(съ удивленіемъ)*. Ну-у?!

2-й муж. Не даромъ говорится: дай за поросенка грошъ, посади въ рожь, онъ и будетъ хорошъ.

1-й муж. Двистительно. Сходственно, вродѣ какъ мамзель.

3-й муж. Это какъ есть. О, Господи!

Вас. Леон. *(за сценой звонитъ, а потомъ кричитъ)*. Григорій! Григорій!

1-й муж. Кто-жъ это такъ очень себя беспокоить, примѣрно?

Таня. Молодой баринъ это.

3-й муж. О, Господи! Сказывалъ, пока что, лучше бы наружу подождали. *(Молчаніе.)*

2-й муж. Тебя-то Семенъ замужъ беретъ?

Таня. А развѣ онъ писалъ? *(Закрывается фартукомъ.)*

2-й муж. Стало, писалъ! Да не дѣло задумалъ. Избаловался, вижу, малый.

Таня *(живо)*. Нѣтъ, онъ ничего не избаловался. Послать его вамъ?

2-й муж. Чего посылать-то. Дай срокъ. Успѣемъ!

(Слышны отчаянные крики Василья Леонидыча: Григорій! чортъ тебя возьми!)

ЯВЛЕНИЕ 18-е.

Тѣ же. *Изъ двери Василій Леонидычъ (съ рубашкѣй, надѣваетъ рѣсепе-пез).*

Вас. Леон. Вымерли всѣ?

Таня. Нѣтъ его, Василій Леонидычъ... Сейчасъ я пошлю. *(Направляется къ двери.)*

Вас. Леон. Вѣдь я слышу, что разговариваютъ. Это что за чучелы явились? А, что?

Таня. Это мужички изъ Курской деревни, Василій Леонидычъ.

Вас. Леон. *(на Артемию)*. А это кто? А, да, отъ Бурдые! *(Мужики кланяются.)*

(Василій Леонидычъ не обращаетъ на нихъ вниманія, Григорій встрѣчается съ Таней въ дверяхъ, Таня остается.).

ЯВЛЕНІЕ 19-е.

Тѣ же и Григорій.

Вас. Леон. Я тебѣ говорилъ,—тѣ ботинки. Не могу я эти носить!

Григ. Да и тѣ тамъ же стоятъ.

Вас. Леон. Да гдѣ же тамъ?

Григ. Да тамъ же.

Вас. Леон. Врешь!

Григ. Да вотъ увидите.

(Василій Леонидычъ и Григорій уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ 20-е.

Таня, три Мужика и Артельщикъ.

3-й муж. А може, скажемъ, не время таперь, пошли бы на фатеру, обождали бы пока-что.

Таня. Нѣтъ, ничего, подождите. Вотъ я вамъ сейчасъ тарелки для гостинцевъ принесу. (Уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 21-е.

Тѣ же, Сахатовъ, Леонидъ Ѳедоровичъ и за ними Ѳедоръ Ивановичъ.

(Мужики берутъ юстинцы и становятся въ позы.)

Леон. Ѳед. (Мужикамъ). Сейчасъ, сейчасъ, подождите. (На Артельщика). А это кто?

Артельщ. Отъ Бурде.

Леон. Ѳед. А, отъ Бурдые!

Сах. (умываясь). Да я не отрицаю; но согласитесь, что, не выдавъ всего того, что вы говорите, нашему брату, непосвященному, трудно вѣрить.

Леон. Ѳед. Вы говорите: я не могу вѣрить. Но мы и не требуемъ вѣры. Мы требуемъ изслѣдованья. Вѣдь не могу же я не вѣрить этому кольцу. А кольцо получено мною отсюда.

Сах. Какъ оттуда? Откуда?

Леон. Оед. Изъ того міра. Да.

Сах. *(улыбаясь)*. Очень интересно, очень интересно!

Леон. Оед. Но, положимъ, вы думаете, что я увлекающійся человѣкъ, воображающій себѣ то, чего нѣтъ, но вѣдь вотъ Алексѣй Владиміровичъ Кругосвѣтловъ, кажется, не кто-нибудь, а профессоръ, и вотъ признаетъ то же. Да не онъ одинъ. А Круксъ? А Валласъ?

Сах. Да, вѣдь, я не отрицаю. Я говорю только, что это очень интересно. Интересно знать, какъ Кругосвѣтловъ объясняетъ?

Леон. Оед. У него своя теорія! Да вотъ пріѣзжайте нынче вечеромъ; онъ будетъ непременно. Сначала Гросманъ будетъ... знаете, извѣстный угадыватель мыслей.

Сах. Да, я слышалъ, но ни разу не случилось видѣть.

Леон. Оед. Ну такъ пріѣзжайте. Сначала Гросманъ, а потомъ Капчичъ, и нашъ сеансъ медіумическій... *(Оедору Иванычу)* Не вернулся посланный отъ Капчича?

Оед. Иван. Нѣтъ еще.

Сах. Такъ какъ же бы мнѣ узнать?

Леон. Оед. Да вы пріѣзжайте, все равно пріѣзжайте. Если Капчича и не будетъ, мы найдемъ своего медіума. Марья Игнатьевна—медіумъ; не такой сильный, какъ Капчичъ, но все-таки...

ЯВЛЕНІЕ 22-е.

Тѣ же и Таня *(входитъ съ тарелками для гостинцевъ. Прислушивается къ разговору)*.

Сах. *(улыбаясь)*. Да, да. Но только вотъ обстоятельство: почему медіумы всегда изъ такъ-называемаго образованнаго круга? И Капчичъ, и Марья Игнатьевна. Вѣдь если это особенная сила, то она должна бы встрѣчаться вездѣ въ народѣ, въ мужикахъ.

Леон. Оед. Такъ и бываетъ. Такъ часто бываетъ, что у насъ въ домѣ одинъ мужикъ, и тотъ оказался медіумомъ. На дняхъ мы позвали его во время сеанса. Нужно было передвинуть диванъ—и забыли про него. Онъ, вѣроятно, и заснулъ. И представьте себѣ, нашъ сеансъ ужъ кончился, Капчичъ проснулся, и вдругъ мы замѣчаемъ, что въ другомъ

углу комнаты около мужика начинаются медиумическія явленія: столъ двинулся и пошелъ.

Таня *(въ сторону)*. Это когда я изъ-подъ стола лѣзла.

Леон. Фед. Очевидно, что онъ тоже медиумъ. Тѣмъ болѣе, что лицомъ онъ очень похожъ на Юма. Вы помните Юма?— бѣлокурый, наивный.

Сах. *(пожимая плечами)*. Вотъ какъ. Это очень интересно! Такъ, вотъ, вы его бы и испытали.

Леон. Фед. И испытаемъ. Да и не онъ одинъ. Медиумовъ бездна. Мы только не знаемъ ихъ. Вотъ на дняхъ одна больная старушка передвинула каменную стѣну.

Сах. Передвинула каменную стѣну?

Леон. Фед. Да, да, лежала въ постели и совсѣмъ не знала, что она медиумъ. Уперлась рукой о стѣну, а стѣна и отодвинулась.

Сах. И не завалилась?

Леон. Фед. И не завалилась.

Сах. Странно! Ну, такъ я пріѣду вечеромъ.

Леон. Фед. Пріѣзжайте, пріѣзжайте! Сеансъ будетъ во всякомъ случаѣ.

(Сахатовъ одѣвается. Леонидъ Федоровичъ провожаетъ его.)

ЯВЛЕНИЕ 23-е.

Тѣ же, безъ Сахатова.

Артел. *(Таня)*. Доложите же барынѣ! Что же, мнѣ ночевать, что ли?

Таня. Подождите. Онъ ѣдутъ съ барышней, такъ скоро сами выйдутъ. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 24-е.

Тѣ же, безъ Тани.

Леон. Фед. *(подходитъ къ Мужикамъ, тѣ кланяются и подаютъ истинцы)*. Не надо это!

1-й муж. *(улыбаясь)*. Да ужъ это первымъ долгомъ происходитъ. Какъ и міръ намъ предлагалъ.

2-й муж. Ужъ это какъ водится.

3-й муж. И не толкуй! Потому, какъ мы много довольны... Какъ родители наши, скажемъ, вашимъ родителямъ, скажемъ,

служили, такъ и мы жалаемъ отъ души, а не то, чтобы какъ... *(Кланяется.)*

Леон. Өед. Да что вы? Чего вы именно желаете?

1-й муж. Къ вашей милости, значить.

ЯВЛЕНИЕ 25-е.

Тѣ же и Петрищевъ *(быстро вбѣгаетъ въ шинели).*

Петрищ. Василій Леонидычъ проснулся? *(Увидѣвъ Леонида Өеодоровича, кланяется ему одной юловой.)*

Леон. Өед. Вы къ сыну?

Петрищ. Я?—Да, я на минутку къ Вово.

Леон. Өед. Пройдите, пройдите.

(Петрищевъ снимаетъ шинель и скоро идетъ.)

ЯВЛЕНИЕ 26-е.

Тѣ же, безъ Петрищева.

Леон. Өед. *(къ Мужикамъ).* Да-съ. Ну, такъ вы что-жъ?

2-й муж. Прими гостинцы-то.

1-й муж. *(улыбаясь).* Значить деревенскія предложенія.

3-й муж. И не толкуй,—что тамъ! Мы жалаемъ какъ отцу родному. И не толкуй.

Леон. Өед. Ну, что-жъ... Өеодоръ, прими.

Өед. Иван. Ну, давайте сюда. *(Беретъ гостинцы.)*

Леон. Өед. Такъ въ чемъ же дѣло?

1-й муж. Да къ вашей милости мы.

Леон. Өед. Вижу, что ко мнѣ; да чего же вы желаете?

1-й муж. А насчетъ свершенія продажи земли движеніе исдѣлать. Происходить...

Леон. Өед. Что же, вы покупаете землю, что ли?

1-й муж. Двистительно, это какъ есть. Происходить... значить насчетъ покупки собственности земли. Такъ міръ насъ примѣрно и вполномочилъ, чтобы взойтить, значить, какъ полагается, черезъ государственную банку съ приложеніемъ марки законеннаго числа.

Леон. Өед. То-есть вы желаете купить землю черезъ посредство банка,—такъ, что ли?

1-й муж. Это какъ есть, какъ лѣтось вы намъ предлогъ исдѣлали. Происходить значить всей суммы полностью 32.864 р. въ покупки собственности земли.

Леон. Фед. Это такъ, но какъ же приплату?

1-й муж. А приплату предлагается мѣръ, чтобъ, какъ лѣтось говорено, разсрочить значить, въ полученіи въ наличностяхъ, по законамъ положеній, 4.000 рублей полностью.

2-й муж. Четыре тысячи получи денежки теперь, значить, а остальные чтобъ обождаютъ.

3-й муж. *(пока развертываетъ деньги)*. Ужь это будь въ надеждѣ, себя заложимъ, а того не сдѣлаемъ, чтобъ какъ-нибудь, а скажемъ, какъ-никакъ, а чтобы, скажемъ, того... какъ должно.

Леон. Фед. Да вѣдь я писалъ вамъ, что я согласенъ только въ такомъ случаѣ, коли соберете всѣ деньги.

1-й муж. Это двистительно, пріятнѣе бы, да не въ возможности, значить.

Леон. Фед. Такъ что же дѣлать?

1-й муж. Мѣръ, примѣрно, на то упѣвалъ, что какъ лѣтось предлогъ исдѣлали въ отсрочкѣ платежа...

Леон. Фед. То было прошлаго года; тогда я соглашался, а теперь не могу...

2-й муж. Да какже такъ? Обнадежилъ, мы и бумагу выправили, и деньги собрали.

3-й муж. Помилосердствуй, отецъ. Земля наша малая, не то что скотину,—курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. *(Кланяется.)* Не грѣши, отецъ! *(Кланяется.)*

Леон. Фед. Это, положимъ, правда, что прошлаго года я соглашался отсрочить, да тутъ вышло обстоятельство... Такъ что мнѣ теперь это неудобно.

2-й муж. Намъ безъ этой земли надо жизни рѣшиться.

1-й муж. Двистительно, безъ земли наше жительство должно ослабнуть и въ упадокъ произойти.

3-й муж. *(кланяется)*. Отецъ! земля малая, не то что скотину,—курёнка, скажемъ, и того выпустить некуда. Отецъ! помилосердствуй. Прими денежки, отецъ.

Леон. Фед. *(просматриваетъ пока бумагу)*. Я понимаю, мнѣ самому хотѣлось бы вамъ сдѣлать доброе. Вы подождите. Я

вамъ черезъ полчаса отвѣтъ дамъ. Федоръ, скажи, чтобъ никого не принимать.

Фед. Иван. Очень хорошо. (*Леонидъ Федоровичъ уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 27-е.

Тѣ же, безъ Леонида Федоровича. Мужики въ униіи.

2-й муж. Ишь ты дѣло-то! Всѣ, говорить, подавай. А гдѣ ихъ возьмешь?

1-й муж. Кабы лѣтось не обнадежилъ насъ. А то мы такъ упѣвали, двистительно, что какъ лѣтось говорено.

3-й муж. О, Господи! Я, было, деньги раскуталъ. (*Завертываетъ деньги.*) Теперъ что станемъ дѣлать?

Фед. Иван. Да у васъ въ чемъ дѣло состоитъ?

1-й муж. Дѣло у насъ, почтенный, зависить примѣрно вотъ въ чемъ: предлагалъ онъ намъ лѣтось разсрочить. Міръ на то и взошелъ мнѣніемъ, и насъ вполномочилъ; а таперь онъ примѣрно предлагаетъ, чтобы всю сумму полностью. А выходитъ дѣло никакъ неспособно.

Фед. Иван. Денегъ-то много-ль?

1-й муж. Всей суммы въ поступленіи четыре тысячи рублей, значить.

Фед. Иван. Такъ что-жъ?—понатужьтесь, соберите еще.

1-й муж. И такъ натурно собирали. Пороху въ этихъ смыслахъ, господинъ, не хватаетъ.

2-й муж. Какъ ихъ нѣтъ, зубами не натянешь.

3-й муж. Мы бы всей душой, да, скажемъ, и такъ подъ метелочку и эти-то собрали.

ЯВЛЕНИЕ 28-е.

Тѣ же, Василій Леонидычъ и Петрищевъ (*въ дверяхъ, оба съ папиросками*).

Вас. Леон. Да ужъ я сказалъ, буду стараться. Такъ буду стараться, что какъ только возможно. А, что?

Петрищ. Ты пойми, что если ты не достанешь, то это чортъ знаетъ какая гадость!

Вас. Леон. Да ужъ сказалъ—буду стараться и буду. А, что?

Петрищ. Да ничего. Я только говорю, что добудь непременно. Я подожду. (*Уходитъ, запирая дверь.*)

ЯВЛЕНИЕ 29-е.

Тѣ же, безъ Петрищева.

Вас. Леон. (*махая рукой*). Чортъ знаетъ, что такое.

(*Мужики кланяются.*)

Вас. Леон. (*смотритъ на Артельщика. Ѳедору Иванычу*). Что это вы этого отъ Бурдье не отпустите? Онъ ужъ совсѣмъ жить къ намъ переѣхалъ. Смотрите, онъ заснулъ. А, что?

Ѳед. Иван. Да подали записку, велѣли подождать. Когда Анна Павловна выйдутъ.

Вас. Леон. (*смотритъ на Мужиковъ и воззривается на деньги*). А, это что? Деньги? Это кому? Намъ деньги? (*Къ Ѳедору Иванычу*). Это кто такіе?

Ѳед. Иван. Это крестьяне курскіе, землю покупаютъ.

Вас. Леон. Что-жъ, продали?

Ѳед. Иван. Да нѣтъ, не сошлись еще. Вотъ скупятся они.

Вас. Леон. А? Это надо ихъ уговорить. (*Къ Мужикамъ*) Вы что-жъ, покупаете, а?

1-й муж. Двистительно, мы предлагаемъ, чтобы какъ пріобрѣсть собственность владѣнія земли.

Вас. Леон. А вы не скупитесь. Вы знаете, я вамъ скажу, какъ земля мужичку нужна! А, что? Очень нужна.

1-й муж. Двистительно, земля мужику пристекаетъ первая статья. Это какъ есть.

Вас. Леон. Ну, вотъ, вы и не скупитесь. Вѣдь земля что? Можно, вѣдь, на ней пшеницу рядами, я вамъ скажу, посѣять. Триста пудовъ можно взять, по рублю за пудъ, триста рублей. А, что?... А то мятутъ, такъ тысячу рублей, я вамъ скажу, можно съ десятины слупить!

1-й муж. Двистительно, это вполне, всѣ продукты можно въ дѣйствіе произвести, кто понятіе имѣетъ.

Вас. Леон. Такъ непременно мятутъ. Вѣдь я учился про это. Это въ книгахъ напечатано. Я вамъ покажу. А, что?

1-й муж. Двистительно, что касающее вамъ по книгамъ виднѣе. Умственность, значить.

Вас. Леон. Такъ покупайте, не скупитесь, а давайте деньги. (*Ѳедору Иванычу*) Папа гдѣ?

Фед. Иван. Дома. Они просили не беспокоить ихъ теперь.

Вас. Леон. Что-жъ, вѣроятно у духа спрашиваетъ, продать ли землю или нѣтъ? А, что?

Фед. Иван. Этого не могу сказать. Знаю, что пошли въ нерѣшительности.

Вас. Леон. Какъ ты думаешь, Федоръ Ивановичъ, есть у него деньги? А, что?

Фед. Иван. Ужъ не знаю. Едва ли. А вамъ зачѣмъ? Вѣдь вы на прошлой недѣлѣ взяли кушъ не маленькій.

Вас. Леон. Да вѣдь я за собакъ отдалъ. А теперь вѣдь ты знаешь: наше новое общество, и Петрищевъ выбранъ, а я бралъ у Петрищева деньги, а теперь надо внести за него и за себя. А, что?

Фед. Иван. Это какое ваше новое общество? Велосипидистовъ?

Вас. Леон. Нѣтъ, я тебѣ сейчасъ скажу: это новое общество. Очень, я тебѣ скажу, серьезное общество. И ты знаешь кто предсѣдатель? А, что?

Фед. Иван. Въ чемъ же это новое общество?

Вас. Леон. Общество поощренія разведенія старинныхъ русскихъ густопсовыхъ собакъ. А, что? И я тебѣ скажу: нынче первое засѣданіе и завтракъ. А вотъ денегъ-то нѣтъ! Пойду къ нему, попытаюсь. (*Уходитъ въ дверь.*)

ЯВЛЕНІЕ 30-е.

Мужики, Федоръ Ивановичъ и Артельщикъ.

1-й муж. (Федору Ивановичу). Это кто же, почтенный, будутъ?

Фед. Иван. (улыбаясь). Молодой баринъ.

3-й муж. Наслѣдникъ, скажемъ. О, Господи! (*Прячетъ деньги.*) Прибрать, видно, пока что.

1-й муж. А намъ сказывали, что военный, въ заслугъ кавалеріи, примѣрно.

Фед. Иван. Нѣтъ, онъ, какъ единственный сынъ, уволенъ отъ воинской повинности.

3-й муж. Для прокорму, скажемъ, родителей оставленъ. Это правильно.

2-й муж. (качаетъ головой). Этотъ прокормить, что и говорить.

3-й муж. О, Господи!

ЯВЛЕНИЕ 31-е.

Федоръ Иванычъ, три Мужика, Василій Леонидычъ, за нимъ въ дверяхъ Леонидъ Федоровичъ.

Вас. Леон. Вотъ это всегда такъ. Право, удивительно. То говорятъ мнѣ, отчего я ничѣмъ не занятъ, а вотъ когда я нашелъ дѣятельность и занятъ, основалось общество серьезное, съ благородными цѣлями, тогда жалко какихъ-нибудь триста рублей!...

Леон. Фед. Сказалъ, что не могу, и не могу. Нѣтъ у меня.

Вас. Леон. Да вѣдь вотъ продали землю.

Леон. Фед. Впервыхъ, не продалъ, и главное—оставъ меня въ покоѣ. Вѣдь тебѣ сказали, что мнѣ некогда. (*Захлопываетъ дверь.*)

ЯВЛЕНИЕ 32-е.

Тѣ же, безъ Леонида Федоровича.

Фед. Иван. Я вамъ говорилъ, что теперь не время.

Вас. Леон. Вотъ, я вамъ скажу, положеніе, а? Пойду къ мама, одно спасеніе. А то сумасшествуетъ съ своимъ спиритизмомъ и всѣхъ забылъ. (*Идетъ на верхъ.*)

(*Федоръ Иванычъ садится, было, за газету.*)

ЯВЛЕНИЕ 33-е.

Тѣ же. Сверху сходятъ Бетси и Марья Константиновна. За ними Григорій.

Бетси. Карета готова?

Григ. Выѣзжаетъ.

Бетси (*Марья Константиновнѣ*). Пойдемте, пойдемте! Я видѣла, что это онъ.

Мар. Конст. Кто онъ?

Бетси. Очень хорошо знаете, что Петрищевъ.

Мар. Конст. Такъ гдѣ же онъ?

Бетси. У Вово сидитъ. Вотъ увидите.

Мар. Конст. А вдругъ не онъ?

(*Мужики и Артемьичикъ кланяются.*)

Бетси (*къ Артемьичику*). А, вы отъ Бурдье, съ платьемъ?

Арт. Такъ точно. Прикажите отпустить.

Бетси. Да я не знаю. Это мама.

Арт. Не могу знать, кому. Намъ приказано снести и деньги получить.

Бетси. Ну такъ подождите.

Мар. Конст. Это все тотъ же костюмъ для шарады?

Бетси. Да, прелестный костюмъ. А мама не беретъ и не хочетъ платить.

Мар. Конст. Отчего же?

Бетси. А вотъ спросите у мама. Для Вово за собакъ заплатить 500 рублей не дорого, а платье 100 рублей дорого. А не могу же я играть чучелой! *(На Мужиковъ)* А это кто такіе?

Григор. Мужики, землю покупаютъ какую-то.

Бетси. А я думала охотники. Вы не охотники?

1-й муж. Никакъ нѣтъ-съ, госпожа. Мы насчетъ свершенія продажи акта земли, къ Леониду Федоровичу.

Бетси. Какъ же къ Вово должны были придти охотники? Да вы навѣрное не охотники? *(Мужики молчатъ.)* Какіе глупые! *(Подходитъ къ двери.)* Вово! *(Хохочетъ.)*

Мар. Кон. Да вѣдь мы его встрѣтили сейчасъ.

Бетси. Охота вамъ помнить!.. Вово, ты здѣсь?

ЯВЛЕНІЕ 34-е.

Тѣ же и Петрищевъ.

Петрищ. Вово нѣтъ, но я готовъ исполнить за него все, что потребуется. Здравствуйте! Здравствуйте, Марья Константиновна! *(Трясетъ руку сильно и домо Бетси, а потомъ Марья Константиновна.)*

2-й муж. Вишь, ровно воду накачиваетъ.

Бетси. Замѣнить не можете, но все-таки лучше, чѣмъ ничего. *(Хохочетъ.)* Какія это у васъ дѣла съ Вово?

Петр. Дѣла? Дѣла фи-нансовыя, то-есть они, дѣла наши—фи! и вмѣстѣ съ тѣмъ нансовыя, и кромѣ еще финансовыя.

Бетси. Что же значить нансовыя?

Петр. Вотъ вопросъ! Въ томъ-то и штука, что ничего не значить!

Бетси. Ну, это не вышло, совсѣмъ не вышло! (*Хохочутъ.*)

Петр. Нельзя въѣдъ, чтобы всякій разъ выходило. Это вродѣ аллегри. Аллегри, аллегри, а потомъ и выигрышъ.

(*Федоръ Ивановичъ уходитъ въ кабинетъ Леонида Федоровича.*)

ЯВЛЕНІЕ 35-е.

Тѣ же, безъ Федора Ивановича.

Бетси. Ну, это не вышло; а скажите, вы вчера были у Мергасовыхъ?

Петр. Не столько у mère Gassof, сколько у père Gassof, и даже не père Gassof, а у fils Gassof.

Бетси. Не можете безъ jeu de mots? Это болѣзнь. И цыгане были? (*Смѣется.*)

Петр. (*поетъ*). На фартучкахъ пѣтушки, золотые гребешки!...

Бетси. Экіе счастливые! А мы скучали у Фофо.

Петр. (*продолжая напѣвать*). И божилась, и клялась—побывать ко мнѣ... Какъ дальше? Марья Константиновна, какъ дальше?

Мар. Конст. Ко мнѣ на часъ...

Петр. Какъ? Какъ, Марья Константиновна? (*Хохочетъ.*)

Бетси. Céssez, vous devenez impossible!

Петр. J'ai cessé, j'ai bébé, j'ai dédé...

Бетси. Я вижу одно средство избавиться отъ вашихъ остротъ—это заставить васъ пѣть. Пойдемте къ Вово въ комнату, у него и гитара есть. Пойдемте, Марья Константиновна, пойдемте!

(*Бетси, Марья Константиновна и Петрицевъ уходятъ въ комнату Василія Леонидыча.*)

ЯВЛЕНІЕ 36-е.

Григорій, три Мужика и Артельщикъ.

1-й муж. Это чьи же?

Григ. Одна—барышня, а другая—мамзель, музыки учить.

1-й муж. Въ науку производить, значить. А какъ акуратна. Настоящій патреть.

2-й муж. Что же замужъ не выдають? Года-то ужъ, небось, вышли?

Григ. Развѣ какъ у васъ, пятнадцати лѣтъ?

1-й муж. А мушкетѣ-то тотъ, примѣрно, изъ музыканщиковъ?

Григ. (*передразнивая*). Изъ музыканщиковъ!... Ничего-то вы не понимаете!

1-й муж. Это двистительно, глупость наша, значить, необразованность.

3-й муж. О, Господи!

(*Слышно тѣмъ цыганскихъ пѣсень съ гитарой изъ комнаты Василія Леонидыча.*)

ЯВЛЕНИЕ 37-е.

Григорій, три Мужика, Артельщикъ, *входитъ Семенъ и вслѣдъ за нимъ Таня. Таня наблюдаетъ за встрѣчей отца съ сыномъ.*

Григ. (*къ Семену*). Ты чего?

Сем. Къ господину Капчичу посылали.

Григ. Ну, что?

Сем. На словахъ приказали сказать, нынче никакъ быть не могутъ.

Григ. Хорошо, я доложу. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 38-е.

Тѣ же, безъ Григорія.

Сем. (*отцу*). Здорово, батюшка! Дядѣ Ефиму, дядѣ Митрію—почтеніе! Дома здоровы ли?

2-й муж. Здорово, Семенъ.

1-й муж. Здорово, братецъ.

3-й муж. Здорово, малый. Живъ ли?

Сем. (*улыбаясь*). Что-жъ, батюшка, пойдемъ, что ли, чайку попить?

2-й муж. Погоди, отдохлаемся,—развѣ не видишь, недосугъ таперь?

Сем. Ну, ладно, я у крыльца ждать буду. (*Уходитъ.*)

Таня (*бѣжитъ за нимъ*). Ты что-жъ ничего не сказалъ?

Сем. Какже теперь говорить при народѣ? Дай срокъ, пойдемъ чай пить, я и скажу. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 39 е.

Тѣ же, безъ Семена. *Федоръ Ивановичъ выходитъ и садится къ окну съ газетой.*

1-й муж. Ну что-жъ, почтенный, какъ дѣло наше происходитъ?

Фед. Иван. Погодите, сейчасъ выйдетъ, кончается.

Таня (*къ Федору Иван.*). А вы почему, Федоръ Ивановичъ, знаете, что кончается?

Фед. Иван. А я знаю, когда онъ вопросы окончить, то онъ вслухъ перечитываетъ вопросъ и отвѣтъ.

Таня. Неужели-жъ правда, что блюдечкомъ можно разговаривать съ духами?

Фед. Иван. Стало-быть можно.

Таня. Ну что-жъ, они ему скажутъ подписать—онъ и подпишетъ?

Фед. Иван. А то какъ же?

Таня. Да вѣдь они словами не говорятъ?

Фед. Иван. Азбукой. Противъ какой буквы остановится, онъ и замѣчаетъ.

Таня. Ну, а если въ сѣансъ?...

ЯВЛЕНИЕ 40-е.

Тѣ же и Леонидъ Федоровичъ.

Леон. Фед. Ну, друзья мои, не могу. Очень бы желалъ, но никакъ не могу. Если всѣ деньги, то другое дѣло.

1-й муж. Это, двистительно, чего-бъ лучше. Да маломоченъ народъ, никакъ невозможно.

Леон. Фед. Не могу, не могу никакъ. Вотъ и бумага ваша. Не могу подписать.

3-й муж. А ты пожалѣй, отецъ, помилосердствуй!

2-й муж. Что-жъ такъ дѣлать? Обида это.

Леон. Фед. Обиды, братцы, нѣту. Я вамъ тогда лѣтомъ говорилъ: коли хотите, дѣлайте. Вы не захотѣли, а теперь мнѣ нельзя.

3-й муж. Отецъ! смилосердуйся. Какъ жить таперича? Земля малая, не то что скотину, — курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда.

(*Леонидъ Федоровичъ идетъ и останавливается въ дверяхъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 41-е.

Тѣ же, Барыня и Докторъ *сходятъ сверху. За ними Василій Леонидычъ, въ веселомъ и ширивомъ настроеніи духа, укладываетъ деньги въ бумажникъ.*

Бар. *(затянутая, въ шляпкѣ).* Такъ принять?

Докт. Коли повторныя явленія будутъ, непременно принимать. А главное—ведите себя лучше. А то какъ же вы хотите, чтобъ густой сиропъ прошелъ черезъ тоненькую волосяную трубочку, когда еще мы эту трубочку зажмемъ? Нельзя? Такъ и желче-проводъ. Все вѣдь это очень просто.

Бар. Ну, хорошо, хорошо.

Докт. То-то хорошо, а все постарому; а такъ, барыня, нельзя, нельзя. Ну, прощайте!

Бар. Не прощайте, а до свиданья. Вечеромъ я васъ все-таки жду; безъ васъ я не рѣшусь.

Докт. Ладно, ладно. Коли время будетъ, заверну. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 42-е.

Тѣ же, безъ Доктора.

Бар. *(увидавъ Мужиковъ).* Это что? Что это? Что это за люди?

(Мужики кланяются.)

Фед. Иван. Это крестьяне изъ Курской о покупкѣ земли къ Леониду Федоровичу.

Бар. Я вижу, что крестьяне, да кто ихъ пустилъ?

Фед. Иван. Леонидъ Федоровичъ приказали. Они съ нимъ сейчасъ говорили о продажѣ земли.

Бар. И какая продажа? Совсѣмъ не нужно продавать. А главное—какъ же пускать людей съ улицы въ домъ! Какъ пускать людей съ улицы! Нельзя пускать въ домъ людей, которые ночевали Богъ знаетъ гдѣ... *(Разорячается все болѣе и болѣе.)* Въ одеждахъ, я думаю, всякая складка полна микробъ: микробы скарлатины, микробы оспы, микробы дифтерита! Да вѣдь они изъ Курской, изъ Курской губерніи, гдѣ повальный дифтеритъ!... Докторъ, докторъ! Воротите доктора!

(Леонидъ Федоровичъ уходитъ, закрывая дверь.— Григорій выходитъ за докторомъ.)

ЯВЛЕНИЕ 43-е.

Тѣ же, безъ Леонида Федоровича и Григорія.

Вас. Леон. (*куритъ на Мужиковъ*). Ничего, мама, хотите я ихъ окую такъ, что всѣмъ микробамъ капутъ? А, что?

(*Барыня строю молчитъ, ожидая возвращенія Доктора.*)

Вас. Леон. (*къ Мужикамъ*). А вы свиней выкармливаете? Вотъ выгодно-то!

1-й муж. Двистительно, пускаемъ когда и по свиной части.

Вас. Леон. Такихъ... Іу, Іу! (*Хрюкаетъ поросенкомъ.*)

Бар. Вово, Вово! перестань!

Вас. Леон. Похоже? А, что?

1-й муж. Двистительно сходственно.

Бар. Вово, перестань, я тебѣ говорю!

2-й муж. Это къ чему же?

3-й муж. Сказываеь, на фатеру бы пока что.

ЯВЛЕНИЕ 44-е.

Тѣ же, Докторъ и Григорій.

Докт. Ну, что еще? Что такое?

Бар. Да вотъ вы говорите, чтобы не волноваться. Ну, какъ тутъ быть спокойной? Я сестру не вижу два мѣсяца, я остерегаюсь всякаго сомнительнаго посѣтителя. И вдругъ люди изъ Курска, прямо изъ Курска, гдѣ поварный дифтеритъ— въ серединѣ моего дома!

Докт. То-есть вотъ эти молодцы-то?

Бар. Ну да, прямо изъ дифтеритной мѣстности!

Докт. Да, коли изъ дифтеритной мѣстности, то, разумѣется, неосторожно, но все-таки очень-то волноваться не зачѣмъ.

Бар. Да вѣдь вы сами же предписываете осторожность?!

Докт. Ну да, ну да, только волноваться-то очень не зачѣмъ.

Бар. Да вѣдь какъ же? Полную дезинфекцію надо.

Докт. Нѣтъ, что-жъ полную, это дорого слишкомъ, рублей триста, а то и больше станетъ. А я вамъ дешево и сердито устрою. Возьмите-ка на большую бутылку воды...

Бар. Отварной?

Докт. Все равно. Отварной лучше... Такъ на бутылку воды столовую ложку салициловой кислоты, да и велите перемыть все, чего касались даже, а ихъ самихъ, молодцовъ этихъ, разумѣется, вонъ. Вотъ и все. Тогда смѣло. Да того же состава черезъ пульверизаторъ въ воздухъ пропустите стаканчика два, три, и посмотрите, какъ хорошо будетъ. Совершенно безопасно!

Бар. Таня гдѣ? Позовите Таню.

ЯВЛЕНИЕ 45 е.

Тѣ же и Таня.

Таня. Что прикажете?

Бар. Знаешь большую бутылку въ уборной?

Таня. Изъ которой прачку вчера брызгали?

Бар. Ну, да, а то какая же! Такъ вотъ возьми ты эту бутылъ и вымой прежде, гдѣ они стоятъ, мыломъ, потомъ этимъ...

Таня. Слушаю-съ. Я знаю какъ.

Бар. Да потомъ возьми пульверизаторъ... Впрочемъ я вернусь, сама сдѣлаю.

Докт. Такъ и сдѣлайте, и не бойтесь. Ну, такъ до свиданья, до вечера. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 46-е.

Тѣ же, безъ Доктора.

Бар. А ихъ вонъ, вонъ, чтобъ ихъ духу не было. Вонъ, вонъ. Идите, чтѣ смотрите?

1-й муж. Двистительно, мы какъ по глупости, какъ намъ предлагать...

Григ. (*выпроваживая Мужиковъ*). Ну, ну, идите, идите.

2-й муж. Платокъ-то мой дай!

3-й муж. О Господи! Говорилъ я—на фатеру бы покуда что.
(*Григорій выталкиваетъ его.*)

ЯВЛЕНИЕ 47-е.

Барыня, Григорій, Федоръ Ивановичъ, Таня, Василій Леонидычъ и
Артельщикъ.

Арт. (*нѣсколько разъ порывавшійся говорить*). Будетъ отвѣтъ
какой?

Бар. А, это отъ Бурдье? (*Горячась*). Никакого, никакого, и
несите назадъ. Я ей говорила, что я такого костюма не за-
казывала и дочери своей носить не позволю.

Арт. Не могу знать, меня послали.

Бар. Ступайте, ступайте и несите назадъ. Я сама заѣду.

Вас. Леон. (*торжественно*). Господинъ посланникъ отъ Бурдье,
ступайте!

Арт. Давно бы сказали. Что-жъ я пять часовъ сидѣлъ.

Вас. Леон. Посланецъ Бурдье, ступайте!

Бар. Перестань, пожалуйста.

(*Артельщикъ уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 48-е.

Тѣ же, безъ Артельщика.

Бар. Бетси! Гдѣ она? Вѣчно ее ждать.

Вас. Леон. (*кричитъ во все горло*). Бетси! Петрищевъ! Идите
скорѣй! Скорѣй! Скорѣй! А, что?

ЯВЛЕНИЕ 49-е.

Тѣ же, Петрищевъ, Бетси и Марья Константиновна.

Барыня. Вѣчно тебя ждешь.

Бетси. Напротивъ, я васъ жду.

(*Петрищевъ кланяется одной голсвой и цѣлуетъ руку барынь.*)

Бар. Здравствуйте! (*Къ Бетси*) Всегда отвѣчать!

Бетси. Если вы, мама, не въ духѣ, такъ лучше я не поѣду.

Бар. Ѣдемъ, или не Ѣдемъ?

Бетси. Да Ѣдемте, что-жъ дѣлать?

Бар. Видѣла отъ Бурдье?

Бетси. Видѣла, и очень была рада. Я заказывала костюмъ
и надѣну, когда заплатятъ за него деньги.

Бар. Я не заплачу и не позволю надѣть неприличный костюмъ.

Бетси. Отчего онъ сталъ неприличный? То былъ приличенъ, а то на васъ pruderie нашла.

Бар. Не pruderie, а передѣлать весь лифъ, тогда можно.

Бетси. Мама, право это невозможно.

Бар. Ну, одѣвайся же. (*Садятся. Григорій надѣваетъ ботинки.*)

Вас. Леон. Марья Константиновна! А вы видите, какая пустота въ передней?

Мар. Конст. А что? (*Впередъ смѣется.*)

Вас. Леон. А отъ Бурдые ушелъ. А, что? Хорошо? (*Хочетъ громко.*)

Бар. Ну, ѣдемъ. (*Выходитъ въ дверь и тотчасъ же возвращается.*) Таня!

Таня. Что прикажете?

Бар. Фифу безъ меня чтобъ не простудить. Если будетъ проситься выпускать, то непременно надѣть капотецъ желтенькій. Она не совсѣмъ здорова.

Таня. Слушаю-сь.

(*Барыня, Бетси и Григорій уходятъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 50-е.

Петрищевъ, Василій Леонидычъ, Таня и Ѳедоръ Ивановичъ.

Петрищ. Ну что же, добылъ?

Вас. Леон. Я тебѣ скажу, съ трудомъ. Сначала сунулся къ родителю, — зарычалъ и прогналъ. Я къ родительницѣ, — ну, и добился. Тутъ! (*Хлопаетъ по карману.*) Ужъ если я возьмусь, отъ меня не уйдешь... Мертвая хватка. А, что? А нынче вѣдь приведутъ моихъ волкодавовъ.

(*Петрищевъ и Василій Леонидычъ одѣваются и уходятъ.*)

Таня идетъ за ними.

ЯВЛЕНИЕ 51-е.

Ѳедоръ Ивановичъ одинъ.

Ѳед. Иван. Да, все непріятности. И какъ это они не могутъ въ согласіи жить? Да и правду сказать, молодое поколѣнье—не то. А царство женщинъ? Какъ, давеча, Леонидъ

Федоровичъ хотѣли, было, вступиться, да увидали, что она въ экстазѣ, захлопнули дверь. Рѣдкой доброты человѣкъ! Да, рѣдкой доброты... Это что? Таня-то ихъ опять ведетъ.

ЯВЛЕНИЕ 52-е.

Федоръ Ивановичъ, Таня и три Мужика.

Таня. Идите, идите, дяденьки, ничего.

Фед. Иван. Зачѣмъ же ты ихъ опять привела?

Таня. Да какже, Федоръ Ивановичъ, батюшка, надо же какъ-нибудь похлопотать за нихъ. А я ужъ вымою за-одно.

Фед. Иван. Да вѣдь не сойдется дѣло, я ужъ вижу.

1-й муж. Какже, поштенный, наше дѣло въ дѣйствіе произвести. Вы, ваше степенство, побеспокойтесь какъ-нибудь, а ужъ мы въ награжденіе хлопотъ отъ міру благодарность представить можемъ вполнѣ.

3-й муж. Постарайся, соколикъ, жить намъ нельзя. Земля малая,—не то, что скотину, а курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. (*Кланяются.*)

Фед. Иван. И жалко мнѣ васъ, да не знаю, братцы. Я вѣдь очень понимаю. Да вѣдь отказалъ онъ. Теперь какже? Да и барыня еще несогласна. Едва ли! Ну, да давайте бумагу,—пойду, попытаюсь, попрошу его. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 53 е.

Таня и три Мужика (*вздыхаютъ*).

Таня. Да вы мнѣ скажите, дяденьки, въ чемъ дѣло-то стало?

1-й муж. Да вотъ только бы подписомъ приложенія руки.

Таня. Только чтобъ баринъ бумагу подписалъ, да?

1-й муж. Только всего приложить руку и деньги взять, вотъ бы и развязка.

3-й муж. Написалъ бы только: какъ мужички, скажемъ, жалаютъ, такъ, скажемъ, и я жалаю. И всего дѣла: взялъ подписалъ и крышка.

Таня. Только подписать? На бумагѣ только чтобъ баринъ подписалъ? (*Задумывается.*)

1-й муж. Двистительно, только всего и зависеть дѣло. Подписалъ, значить, и больше никакихъ.

Таня. Вы погодите, что вотъ Ѳедоръ Иванычъ скажетъ. Если онъ не уговоритъ, я попытаю одну штуку.

2-й муж. Объегоришь?

Таня. Попытаю.

3-й муж. Ай, дѣвушка, хлопотать хочеть. Только выхлопочи ты дѣло, всю жизнь, скажемъ, кормить міромъ обвяжемся. Во-какъ!

1-й муж. Кабы въ дѣйствіе произвести такое дѣло, двистительно озолотить можно.

2-й муж. Да ужъ что говорить!

Таня. Вѣрно не общаю, какъ это говорится: попытка—не шутка, а...

1-й муж. А спросъ—не бѣда. Это двистительно.

ЯВЛЕНИЕ 54-е.

Тѣ же и Ѳедоръ Иванычъ.

Ѳед. Иван. Нѣтъ, братцы, не выходить ваше дѣло, не согласился и не согласится. Берите бумагу. Идите, идите.

1-й муж. (*беретъ бумагу, къ Танѣ*). Такъ ужъ на тебя, примѣрно, упѣвать станемъ.

Таня. Сейчасъ, сейчасъ. Вы идите, на улицѣ подождите, а я сію минутую выбѣгу, скажу что.

(*Мужики уходятъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 55-е.

Ѳедоръ Иванычъ и Таня.

Таня. Ѳедоръ Иванычъ, голубчикъ, доложите барину, чтобъ онъ ко мнѣ вышелъ. Мнѣ ему словечко сказать надо.

Ѳед. Иван. Это что за новости?

Таня. Да нужно, Ѳедоръ Иванычъ. Доложите, пожалуйста, худого ничего, ей Богу.

Ѳед. Иван. Какое такое дѣло?

Таня. Да секретъ маленькій. Я вамъ послѣ открою. Вы доложите только.

Ѳед. Иван. (*улыбаясь*). И что ты строишь, не пойму! Да ну, скажу, скажу. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 56-е.

Таня *одна*.

Таня. Право, сдѣлаю. Вѣдь онъ самъ говорилъ, что сила въ Семенѣ есть, а вѣдь я все знаю, какъ дѣлать. Тогда никто не догадался. А теперь научу Семена. А не выйдетъ дѣло, не бѣда. Развѣ грѣхъ какой?

ЯВЛЕНИЕ 57-е.

Таня, Леонидъ Федоровичъ и за ними Федоръ Ивановичъ.

Леон. Фед. (*улыбаясь*.) Вотъ просительница-то! Чтò это у тебя за дѣло?

Таня. Секретъ маленький, Леонидъ Федоровичъ. Позвольте мнѣ одинъ-на-одинъ сказать.

Леон. Фед. Что такъ? Федоръ, выдъ на минутку.

ЯВЛЕНИЕ 58-е.

Леонидъ Федоровичъ и Таня.

Таня. Какъ я жила, выросла въ вашемъ домѣ, Леонидъ Федоровичъ, и какъ благодарна вамъ за все, я какъ отцу родному откроюсь. Живетъ у васъ Семенъ и хочетъ онъ на мнѣ жениться.

Леон. Фед. Вотъ какъ!

Таня. Открываюсь передъ вами какъ передъ Богомъ. Посоветоваться мнѣ не съ кѣмъ, какъ сирота я.

Леон. Фед. Что-жъ, отчего же! Онъ кажется малый хорошій.

Таня. Это точно, онъ все бы ничего, только одно я сумлѣваюсь. И спросить хотѣла васъ, что есть за нимъ одно дѣло, а я и понять не могу... какъ бы не худое что.

Леон. Фед. Что же, онъ пьетъ?

Таня. Нѣтъ, помилуй Богъ! А какъ я знаю, что спиритичество есть...

Леон. Фед. Знаешь?

Таня. Какъ же-съ! Я очень понимаю. Другіе, точно, по не-образованію не понимаютъ этого...

Леон. Фед. Ну, такъ что-жъ?

Таня. Да вотъ опасаясь насчетъ Семена. Съ нимъ это бываетъ.

Леон. Оед. Чтò бываетъ?

Таня. Да вотъ вродѣ какъ спии...тичество. Это у людей спросите. Какъ только онъ задремлетъ у стола, сейчасъ столъ затрясется, весь заскрипитъ такъ: тукъ, ту...тукъ! Всѣ и люди слышали.

Леон. Оед. Вотъ какъ разъ то, чтò я утромъ Сергѣю Ивановичу говорилъ. Ну?...

Таня. А то... когда это было?... Да, въ среду. Съли обѣдать. Только онъ сълъ за столъ, а ложка сама къ нему въ руки—прыгъ!

Леон. Оед. А, это интересно! И въ руку прыгъ? Что-жъ, онъ задремалъ?

Таня. Вотъ ужъ не примѣтила. Кажется, что задремалъ.

Леон. Оед. Ну?...

Таня. Ну, вотъ, я и опасаюсь, и объ этомъ спросить хотѣла, что не будетъ ли отъ этого вреда? Тоже вѣкъ жить, а въ немъ такое дѣло.

Леон. Оед. (*умбаясь*). Нѣтъ, не бойся, тутъ худого ничего нѣтъ. А это значить только то, что онъ *медіумъ*,—просто медіумъ. Я и прежде зналъ, что онъ медіумъ.

Таня. Вотъ что... А я-то боялась!

Леон. Оед. Нѣтъ, не бойся, ничего. (*Самъ съ собой*) Вотъ и прекрасно. Капчича не будетъ, мы его нынче и испытасемъ... Нѣтъ, ты, милая, не бойся, онъ и хорошій мужъ будетъ, и все... А это особенная сила, она во всѣхъ есть. Только въ однихъ слабѣй, въ другихъ сильнѣй.

Таня. Покорно васъ благодарю. Я теперь и думать не буду. А то я боялась... Чтò значить неученье-то наше!

Леон. Оед. Нѣтъ, нѣтъ, не бойся. Оедоръ!

ЯВЛЕНИЕ 59-е.

Тѣ же и Оедоръ Ивановичъ.

Леон. Оед. Я пойду со двора. Къ вечеру приготовить все для сеанса.

Оед. Иван. Да, вѣдь, Капчичъ не изволить быть.

Леон. Оед. Ничего, все равно. (*Надѣваетъ шинель.*) Пробный сеансъ будетъ съ своимъ медіумомъ. (*Уходитъ. Оедоръ Ивановичъ провожаетъ его.*)

ЯВЛЕНИЕ 60-е.

Таня одна.

Таня. Повѣрилъ, повѣрилъ! (*Взвизгиваетъ, прыгаетъ.*) Ей-Богу повѣрилъ! Вотъ чудо-то! (*Взвизгиваетъ.*) Теперь сдѣлаю, только бы Семень не сробѣлъ.

ЯВЛЕНИЕ 61-е.

Таня и Ѳедоръ Ивановичъ (*возвращается*).

Ѳед. Иван. Ну, что же, сказала свой секретъ?

Таня. Сказала. Да я и вамъ открою, только послѣ... А у меня и къ вамъ, Ѳедоръ Ивановичъ, просьба есть.

Ѳед. Иван. Какая же это ко мнѣ-то просьба?

Таня (*стыдливо*). Вы мнѣ какъ второй отецъ были, я вамъ какъ передъ Богомъ откроюсь.

Ѳед. Иван. Да ты не вилай, прямо къ дѣлу.

Таня. Да что дѣло? Дѣло—то, что Семень на мнѣ жениться хочетъ.

Ѳед. Иван. Вотъ какъ! То-то я примѣчаю...

Таня. Да что-жъ мнѣ скрывать? Мое дѣло сиротское, а вы сами знаете здѣшнее городское заведеніе: всякій пристаеетъ; хоть бы Григорій Михайлычъ, проходу отъ него нѣту. Тоже и этотъ... знаете? Они думаютъ, что у меня души нѣтъ, что я только имъ для забавы далась...

Ѳед. Иван. Умница, хвалю! Ну, такъ что-жъ?

Таня. Да Семень писалъ отцу, а онъ, отецъ-то, нынче меня увидалъ, да сейчасъ и говоритъ: избаловался,—про сына-то. Ѳедоръ Ивановичъ! (*Кланяется.*) Будьте мнѣ замѣсто отца, поговорите съ старикомъ, съ Семеновымъ отцомъ. Я бы ихъ въ кухню провела, а вы бы зашли, да и поговорили старику.

Ѳед. Иван. (*улыбаясь*). Это сватомъ я, значить, буду? Что-жъ, можно.

Таня. Ѳедоръ Ивановичъ, голубчикъ, будьте замѣсто отца родного, а я вѣкъ за васъ буду Бога молить.

Ѳед. Иван. Хорошо, хорошо; пройду ужю. Обѣщаю, такъ сдѣлаю. (*Беретъ газету.*)

Таня. Второй отецъ мнѣ будете.

Фед. Иван. Хорошо, хорошо.

Таня. Такъ я буду въ надеждѣ... (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 62-е.

Федоръ Ивановичъ одинъ.

Фед. Иван. (*живаетъ юловой*). А ласковая дѣвочка, хорошая. А вѣдь сколько ихъ такихъ пропадаетъ, подумаешь! Только вѣдь промахнись разъ одинъ,—пошла по рукамъ... Потомъ въ грязи ее ужъ не сыщешь. Не хуже какъ Наталья сердечная... А тоже была хорошая, тоже мать родила, лелѣла, выращивала... (*Беретъ газету.*) Ну-ка, что Фердинандъ нашъ, какъ изворачивается...

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ II.

Театръ представляетъ внутренность людской кухни. Мужики, раздѣвшись и запотѣвъ, сидятъ у стола и пьютъ чай. Федоръ Ивановичъ съ сигарой на другомъ концѣ сцены. На печкѣ Старый поваръ, не видный первыя четыре явленія.

ЯВЛЕНИЕ 1-е.

Три Мужика и Федоръ Ивановичъ.

Фед. Иван. Мой совѣтъ, ты ему не препятствуй. Если его желаніе есть и ея тоже, такъ и съ Богомъ. Дѣвушка хорошая, честная. На это не смотри, что она щеголиха. Это по-городски, нельзя безъ этого. А дѣвушка умная.

2-й муж. Что-жъ, коли его охота есть. Ему жить съ ней, а не мнѣ. Только ужъ очень чиста. Какъ ее въ избу введешь? Свекрови-то она и погладиться не дастся.

Фед. Иван. Это, братецъ ты мой, не отъ чистоты, а отъ характера. Коли добраго характера, такъ будетъ покорна и уважительна.

2-й муж. Да ужъ возьму, коли такъ малый усѣтился, чтобы безпремѣнно ее взять. Тоже съ немилой жить бѣда! Со старухой посоветуюсь, да и съ Богомъ.

Фед. Иван. Ну, и по рукамъ.

2-й муж. Да ужъ видно, что такъ.

1-й муж. И какъ тебѣ фортунить, Захаръ: пріѣхалъ за совершеніемъ дѣла, а глядь—сноху за сына какую кралю высваталъ. Только бы sprыснуть, значить, чтобы хворменно было.

Фед. Иван. Этого совсѣмъ не нужно.

(Неловкое молчаніе.)

Фед. Иван. Я вѣдь вашу жизнь крестьянскую очень понимаю. Я, вамъ скажу, самъ подумываю, гдѣ бы землицы купить. Домикъ построилъ бы, да крестьянствовалъ. Хоть бы въ вашей сторонѣ.

2-й муж. Разлюбезное дѣло!

1-й муж. Двистительно, при деньгахъ можно въ деревнѣ себѣ всякое удовольствіе получить.

3-й муж. Что и говорить! Деревенское дѣло, скажемъ, во всякомъ разѣ слободно, не то, что въ городу.

Фед. Иван. Что-жъ, примете въ общество, коли у васъ поселюсь?

2-й муж. Отчего же не принять? Вина старикамъ выставишь, сейчасъ примутъ.

1-й муж. Да питейное заведеніе, примѣрно, или трактиръ откроете, житье такое будетъ, что умирать не надо. Царствуй, и больше никакихъ.

Фед. Иван. Тамъ видно будетъ. А только хочется на старости лѣтъ спокойно пожить. Жить мнѣ и здѣсь хорошо,—жалко и оставить: Леонидъ Федоровичъ, вѣдь, рѣдкой доброты человѣкъ.

1-й муж. Это двистительно. Да что же онъ наше-то дѣло? Ужели-жъ такъ, безъ послѣдствій?

Фед. Иван. Онъ-то бы радъ.

2-й муж. Видно онъ жены боится.

Фед. Иван. Не боится, а тоже согласія нѣтъ.

3-й муж. А ты бы, отецъ, постарался, а то какъ намъ жить? Земля малая...

Фед. Иван. Да вотъ посмотримъ, что выйдетъ отъ Татьяниныхъ хлопотъ. Вѣдь она взялась.

3-й муж. (*пьетъ чай*). Отецъ, помилосердствуй! Земля малая, не токмо скотину, — курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда.

Фед. Иван. Да кабы въ моихъ рукахъ дѣло было. (*Ко 2-му Мужичу*) Такъ такъ, братецъ, сваты мы съ тобой будемъ. Конечно дѣло объ Танѣ-то?

2-й муж. Да ужъ сказалъ коли я, и безъ пропою назадъ не попячусь. Только бы дѣло наше вышло.

ЯВЛЕНИЕ 2-е.

Тѣ же, *входитъ Кухарка, заглядываетъ на печку, дѣлаетъ туда знаки и тотчасъ же начинается оживленно говорить съ Федоромъ Иванычемъ.*

Кух. Сейчасъ изъ бѣлой кухни позвали Семена въ верхъ; баринъ, да энтотъ, что вызываетъ съ нимъ, лысый-то, посадили его, да велѣли на мѣсто Капчича дѣйствовать.

Фед. Иван. Что ты врешь!

Кух. Какъ же! сейчасъ Танѣ Яковъ сказывалъ.

Фед. Иван. Чудно это!

ЯВЛЕНИЕ 3-е.

Тѣ же и Кучерь.

Фед. Иван. Ты что?

Куч. (*къ Федору Иванычу*). Такъ и скажите, что я не нанимался съ собаками жить. Пускай другой кто живетъ, а я съ собаками жить не согласенъ.

Фед. Иван. Съ какими собаками?

Куч. Да привели отъ Василья Леонидыча трехъ кобелей къ намъ въ кучерскую. Напакостили, воютъ, а приступить нельзя — кусаются. Злые черти! — того и гляди сожрутъ. И то хочу полѣномъ ноги имъ перебить.

Фед. Иван. Да когда же это?

Куч. Да нынче привели съ выставки, какія-то дорогія, пустопсовыя, что-ль, лѣшій ихъ знаетъ! Либо собакамъ въ кучерской, либо кучерамъ жить. Такъ и скажите.

Фед. Иван. Да, это не порядокъ. Я пойду спрошу.

Куч. Ихъ бы сюда, что-ль, къ Лукерѣ.

Нух. (*горячо*). Тутъ люди обѣдаютъ, а ты кобелей запереть хочешь. Ужь и такъ...

Нуч. А у меня кафтаны, полости, сбруя. А чистоту спрашиваютъ. Ну, въ дворницкую, что-ль.

Фед. Иван. Надо Василью Леонидычу сказать.

Нуч. (*сердито*). Повѣсилъ бы себѣ на шею кобелей этихъ, да и ходилъ бы съ ними, а то самъ-то, небось, на лошадяхъ ѣздить любить. Красавчика испортилъ ни за что. А лошадь была!... Эхъ, житье! (*Уходитъ, хлопая дверью.*)

ЯВЛЕНИЕ 4-е.

Тѣ же, безъ Нучера.

Фед. Иван. Да, непорядки, непорядки! (*Къ Мужикамъ*) Ну, такъ такъ-то, пока прощайте, ребята!

Мужики. Съ Богомъ.

(*Федоръ Ивановичъ уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 5-е.

Тѣ же, безъ Федора Ивановича. *Какъ только Федоръ Ивановичъ уходитъ, на печкѣ слышно крахтѣніе.*

2-й муж. Ужь и гладокъ же, ровно анаралъ.

Нух. Да что и говорить! Горница особая, стирка на него вся отъ господъ, чай, сахаръ—это все господское, и пища со стола.

Стар. поваръ. Какъ чорту не жить,—накралъ!

2-й муж. Это чей же, на печкѣ-то?

Нух. Да такъ, человѣчекъ одинъ. (*Молчаніе.*)

1-й муж. Ну, да и у васъ, посмотрѣлъ я давеча, ужинали, капиталецъ дюже хорошъ.

Нух. Жаловаться нельзя. На это она не скупа. Бѣлая булка по воскресеньямъ, рыба въ постные дни по праздникамъ, а кто хошь, и скромное ѣшь.

2-й муж. Развѣ постомъ лопаешь кто?

Нух. Э, да всѣ почитай. Только и постятся, что кучеръ (не тотъ, что приходилъ, а старый), да Сема, да я, да икономка, а то всѣ скромное жрутъ.

2-й муж. Ну, а самъ-то?

Кух. Э, хватился! да онъ и думать забылъ, какой такой постъ есть.

3-й муж. О, Господи!

1-й муж. Дѣло господское, по книжкамъ дошли. Потому умственность!

3-й муж. Ситникъ-то каждый день, я чай?

Кух. О, ситникъ! Не видали они твоего ситника! Посмотрилъ бы пищу у нихъ: чего, чего нѣтъ!

1-й муж. Господская пища, извѣстно, воздушная.

Кух. Воздушная-то, воздушная,—ну, да и здоровы жрать!

1-й муж. Въ аппекитѣ, значить.

Кух. Потому запиваютъ. Винъ этихъ сладкихъ, водокъ, наливкокъ шипучихъ, къ каждому кушанью—свое. Ъсть и запиваетъ, ѣсть и запиваетъ.

1-й муж. Она, значить, въ пропорцію и проноситъ пищу-то.

Кух. Да ужъ какъ здоровы жрать, бѣда! У нихъ вѣдь нѣтъ того, чтобъ сѣлъ, поѣлъ, перекрестился, да всталъ, а безперечь ѣдятъ.

2-й муж. Какъ свиньи, въ корыто съ ногами. (*Мужики смѣются.*)

Кух. Только, Господи благослови, глаза продерутъ, сейчасъ самоваръ, чай, кофе, щиколоадъ. Только самовара два отопьютъ, ужъ третій ставъ. А тутъ завтракъ, а тутъ обѣдъ, а тутъ опять кофій. Только отвалятся, сейчасъ опять чай. А тутъ закуски пойдутъ: конфеты, жамки—и конца нѣтъ. Въ постели лежа—и то ѣдятъ.

3-й муж. Вотъ такъ такъ. (*Хохочетъ.*)

1-й и 2-й муж. Да ты чего?

3-й муж. Хоть бы денекъ такъ пожить!

2-й муж. Ну, а когда же дѣла дѣлаютъ?

Кух. Какія у нихъ дѣла? Въ карты, да въ фортепьяны—только и дѣловъ. Барышня, такъ та, бывало, какъ глаза продеретъ, такъ сейчасъ къ фортепьянамъ, и валяй! А эта, что живетъ, учительша, стоять, ждетъ, бывало, скоро ли опростаются фортепьяны; какъ отдѣлалась одна, давай эта закатывать. А то двое фортепьянъ поставятъ, да по-двое,

вчетверомъ запузываютъ. Такъ-то запузываютъ, ажъ здѣсь слышно.

3-й муж. Охъ, Господи!

Кух. Ну, вотъ только и дѣловъ: въ фортепьяны, а то въ карты. Какъ только сѣхались, сейчасъ карты, вино, заку-
рять,—и пошло на всю ночь. Только встануть — поѣсть
опять!

ЯВЛЕНИЕ 6-е.

Тѣ же и Семень.

Сем. Чай да сахаръ!

1-й муж. Милости просимъ, садись.

Сем. (*подходитъ къ столу*). Благодарю покорно.

(*1-й мужикъ наливаетъ ему чай.*)

2-й муж. Гдѣ былъ?

Сем. Вверху былъ.

2-й муж. Что же, какія же тамъ дѣла?

Сем. Да и не поймешь. Не знаю, какъ сказать.

2-й муж. Да что же, дѣло какое?

Сем. Да и не знаю, какъ сказать, силу какую-то во мнѣ
пытали. Да я не пойму. Татьяна говорить: дѣлай, мы,
говорить, нашимъ мужикамъ землю охлопочемъ, продасть.

2-й муж. Да какже она сдѣлаетъ-то?

Сем. Да не пойму отъ нея, она не сказывается. Только,
говорить, дѣлай какъ я велю!

2-й муж. Что-жъ дѣлать-то?

Сем. Да сейчасъ ничего. Посадили меня, свѣтъ потушили,
велѣли спать. А Татьяна тутъ же схоронилась. Они не ви-
дятъ, а я вижу.

2-й муж. Что-жъ это, къ чему?

Сем. А Богъ ихъ знаетъ,—не поймешь.

1-й муж. Извѣстно, для разгулки времени.

2-й муж. Ну, видно этихъ дѣловъ не разберемъ мы съ то-
бой. А вотъ ты сказывай: денегъ ты много забралъ?

Сем. Я не бралъ, все зажито, 28 рублей, должно.

2-й муж. Это ладно. Ну, а коли Богъ дастъ о землѣ сла-
димся, вѣдь я тебя, Семка, домой возьму.

Сем. Съ моимъ удовольствіемъ.

2-й муж. Набаловался ты, я чай. Пахать не захочешь?

Сем. Пахать-то? Давай сейчасъ. Косить, пахать, это все изъ рукъ не вывалится.

1-й муж. А все, примѣрно, послѣ городского жительство не поманится.

Сем. Ничего, и въ деревнѣ жить можно.

1-й муж. А вотъ дядя Митрій на твое мѣсто охотится, на великательную жизнь.

Сем. Ну, дядя Митрій, наскучить. Оно, глядѣться, легко, а бѣготни тоже много. Замотаешься.

Нух. Вотъ ты бы, дядя Митрій, посмотрѣлъ балы у нихъ. Вотъ подивился бы!

3-й муж. А что-жъ, ѣдятъ все?

Нух. Куды тебѣ? Посмотрѣлъ бы что было! Меня Ѳедоръ Иванычъ провелъ. Посмотрѣла я: барыни—страсть! Разряжены, разряжены, что куда тебѣ! А по сихъ мѣстъ голыя, и руки голыя.

3-й муж. О, Господи!

2-й муж. Тѣфу, скверность!

1-й муж. Значить, клеймать такъ позволяетъ.

Нух. Такъ-то и я, дяденька, глянула: что-жъ это?—всѣ тѣлешомъ. Вѣришь ли, старыя,—наша барыня, у ней, мотри, внуки,—тоже оголились.

3-й муж. О, Господи!

Нух. Такъ вѣдь что: какъ вдарить музыка, какъ взыграли,—сейчасъ это господа подходятъ каждый къ своей, обхватить, и пошелъ кружить.

2-й муж. И старухи?

Нух. И старухи.

Сем. Нѣтъ, старухи сидятъ.

Нух. Толкуй, я сама видѣла!

Сем. Да нѣтъ же.

Стар. Поваръ (*высовываясь, хрипло*). Полька-мазурка это. Э, дура, не знаетъ!—танцуютъ такъ...

Нух. Ну, ты, танцорщикъ, помалкивай, знай. Во, идетъ кто-то.

ЯВЛЕНИЕ 7-е.

Тѣ же и Григорій. *Старый Поваръ поспѣшно скрывается.*

Григ. *(Кухаркѣ)*. Давай капусты кислой!

Кух. Только съ погреба пришла, опять лѣзть. Кому это?

Григ. Барышнямъ тюрю. Живо! Съ Семеномъ пришли, а мнѣ некогда.

Кух. Вотъ наѣдятся сладкаго такъ, что больше не лѣзеть, ихъ и потянетъ на капусту.

1-й муж. Для прочистки, значить.

Кух. Ну да, опростають мѣсто, опять валай! *(Беретъ чашку и уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 8-е.

Тѣ же, безъ Кухарки.

Григор. *(Мужикамъ)*. Вишь разсѣлись. Вы смотрите: барыня узнаетъ, она вамъ такую задасть трепку, не хуже утешняго. *(Смѣется и уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 9-е.

Три Мужика, Семень и Старый Поваръ *(на печкѣ)*.

1-й муж. Двистительно, штурму сдѣлала давеча—бѣда!

2-й муж. Давеча хотѣлъ онъ, видно, вступиться, а потомъ какъ глянулъ, что она крышу съ избы рветъ, захлопнулъ дверь: будь ты, молъ, неладна.

3-й муж. *(махая рукой)*. Все одно положеніе. Тоже моя старуха, скажемъ, другой разъ распалится—страсть! Ужъ я изъ избы вонъ иду. Ну ее совсѣмъ! Того гляди, скажемъ, рога-чомъ зашибетъ. О, Господи!

ЯВЛЕНИЕ 10-е.

Тѣ же и Яковъ *(вбѣгаетъ съ рецептомъ)*.

Яковъ. Сема, бѣги въ аптеку, живо, возьми порошки вотъ барынь!

Сем. Да вѣдь онъ не велѣлъ уходить.

Яковъ. Успѣешь. Твое дѣло еще, поди, послѣ чаю... Чай да сахаръ!

1-й муж. Милости просимъ.

(Семень уходитъ.)

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Тѣ же, безъ Семена.

Яковъ. Некогда, да ужъ налейте чашечку для компаніи.

1-й муж. Да вотъ предлагается разговорка, какъ давеча ваша госпожа очень какъ себя гордо повела.

Яковъ. О, эта горяча—страсть! Такъ горяча,—сама себя не помнить. Другой разъ заплачетъ даже.

1-й муж. А чтò, примѣрно, я спросить хотѣлъ? Она что-то, давеча, предлагала макроту. Макроту, макроту, говорить, занесли. Къ чему это приложить, макроту эту самую?

Яковъ. О, это макровы. Это, они говорятъ, такія козявки есть, отъ нихъ, молъ, и болѣзни всѣ. Такъ вотъ, молъ, что на васъ онѣ. Ужъ они послѣ васъ мыли-мыли, брызгали-брызгали, гдѣ вы стояли. Такая спеція есть, отъ ней дохнуть онѣ, козявки-то.

2-й муж. Такъ гдѣ же онѣ на насъ, козявки-то эти?

Яковъ. (пьетъ чай). Да онѣ, сказываютъ, такія махонькія, что и въ стекла не видать.

2-й муж. А почему она знаетъ, что онѣ на мнѣ? Може, на ней этой пакости больше моего.

Яковъ. А вотъ поди, спроси ихъ!

2-й муж. А я полагаю, пустое это.

Яковъ. Извѣстно пустое; надо же дохтурамъ выдумывать, а то за что бы имъ деньги платить? Вотъ къ намъ каждый день ѣздить. Пріѣхалъ, поговорилъ,—десятку.

2-й муж. Вре?...

Яковъ. А то одинъ есть такой, что сотенную.

1-й муж. Ну! и сотенную?

Яковъ. Сотенную? Ты говоришь: сотенную—по тысячѣ беретъ, коли за городъ ѣхать. Давай, говорить, тысячу, а не дашь,—издыхай себѣ!

3-й муж. О, Господи!

2-й муж. Что-жъ, онъ слово какое знаетъ?

Яковъ. Должно, что знаетъ. Жилъ я прежде у генерала, подъ Москвой, сердитый былъ такой, гордый—страсть, генераль-то! Такъ заболѣла у него дочка. Сейчасъ послали за этимъ. Тысячу рублей,—приведу... Ну, сговорились, приѣхалъ. Такъ что-то не потрафили ему. Такъ, батюшки мои, какъ цыкнетъ на генерала. А! говорить, такъ такъ-то ты меня уважаешь, такъ-то? Такъ не стану-жъ лѣчить!—Такъ куда тебѣ! генераль-то и гордость свою забылъ, всячески улещаешь. Батюшка! только не бросай!

1-й муж. А тысячу-то отдали?

Яковъ. А то какъ же?...

2-й муж. То-то шальные деньги-то. Чтѣ-бъ мужикъ на эти деньги надѣлалъ!

3-й муж. А я думаю, пустое все. Какъ у меня тады нога прѣла. Лѣчилъ, лѣчилъ, скажемъ, рублей пять пролѣчилъ. Бросилъ лѣчить, а она и зажила.

(Старый Поваръ на печкѣ кашляетъ.)

Яковъ. Опять тутъ, сердешный!

1-й муж. Какой такой мушкетеръ будетъ?

Яковъ. Да нашего барина поваръ былъ, къ Лукерьѣ ходитъ.

1-й муж. Кухмистеръ, значить. Что-жъ, здѣсь проживаетъ?

Яковъ. Нѣ... Здѣсь не велятъ. А гдѣ день, гдѣ ночь. Есть три копѣйки—въ ночлежномъ домѣ, а пропѣть все—сюда придетъ.

2-й муж. Какъ же онъ такъ?

Яковъ. Да такъ, ослабъ. А тоже человѣкъ какой былъ, какъ баринъ! При золотыхъ часахъ ходилъ, по сорока рублей въ мѣсяцъ жалованья бралъ. А теперь давно съ голоду бы померъ, кабы не Лукерья.

ЯВЛЕНИЕ 12-е.

Тѣ же и Кухарка (съ капустой).

Яковъ (къ Лукерьѣ). А я вижу, Павелъ Петровичъ опять тутъ? Кух. Куда-жъ ему дѣться,—замерзнуть, что ли?

3-й муж. Что дѣлаетъ винцо-то! Винцо-то, скажемъ... (Щелкаетъ языкомъ съ соболѣзнованіемъ.)

2-й муж. Извѣстно, окрѣпнеть человѣкъ — крѣпче камня; ослабнетъ — слабѣ воды.

Стар. Пов. (*слѣзаетъ съ печи, дрожитъ и ногами и руками*). Лукерья! Говорю, дай рюмочку.

Кух. Куда лѣзешь? Я тебѣ дамъ такую рюмочку!...

Стар. Пов. Бойшься ты Бога? Умираю. Братцы, пятачокъ...

Кух. Говорю, полѣзай на печь.

Стар. Пов. Кухарка! пор-рюмочки. Христа ради, говорю, понимаешь ты — Христомъ прошу!

Кух. Иди, иди. Чаю вотъ на!

Стар. Пов. Что чай? Что чай? Пустое питье, слабое. Винца бы, только глоточекъ... Лукерья!

3-й муж. Ахъ, сердешный, мается какъ.

2-й муж. Да дай ему, что-ль.

Кух. (*достаетъ въ поставилъ и наливаетъ рюмку*). На, вотъ, больше не дамъ.

Стар. Пов. (*хватаетъ, пьетъ дрожа*). Лукерья! Кухарка! Я выпью, а ты понимай...

Кух. Ну, ну, разговаривай! Лѣзь на печку и чтобы духа твоего не слышно было.

(*Старый Поваръ лѣзетъ покорно и не переставая ворчитъ что-то себѣ подъ носъ.*)

2-й муж. Что значить — ослабъ человѣкъ!

1-й муж. Двистительно, слабость-то человѣческая.

3-й муж. Да что и говорить.

(*Старый Поваръ укладывается и все ворчитъ. Молчаніе.*)

2-й муж. Ну, что я хотѣлъ спросить: эта вотъ дѣвушка живетъ у васъ съ нашей стороны — Аксиньиного. Ну что? Какъ? Какъ она живетъ, — значить, честно ли?

Яковъ. Дѣвушка хорошая, похвалить можно.

Кух. Я тебѣ, дядя, истину скажу, какъ я здѣшнее заведеніе твердо знаю: хочешь ты Татьяну за сына брать, — бери скорѣе, пока не изгадилась, а то не миновать.

Яковъ. Да, это истинно такъ. Вотъ, лѣтось, Наталья, у насъ дѣвушка жила. Хорошая дѣвушка была. Такъ, ни за что пропала, не хуже этого... (*показываетъ на Повара.*)

Кух. Потому тутъ нашей сестры пропадаетъ — плотину пруди. Всякому манится на легонькую работу да на сладкую пи-

щу. Анъ, глядь, со сладкой-то пищи сейчасъ и свихнулась. А свихнулась, имъ ужъ такая не нужна. Сейчасъ эту вонь — свѣженькую на мѣсто. Такъ-то Наташа сердешная: свихнулась, — сейчасъ прогнали. Родила, заболѣла, весною прошлой въ больницѣ и померла. И какая дѣвушка была!

3-й муж. О, Господи! Народъ слабый. Жалѣть надо.

Стар. Пов. Какъ же, пожалѣють они, черти! (*Спускаетъ съ печи кот.*) Я у плиты тридцать лѣтъ прожарился. А вотъ не нуженъ сталъ: издыхай, какъ собака!... Какже, пожалѣють!...

1-й муж. Это двистительно, положенія извѣстная.

2-й муж. Пили, ѣли, кудрявчикомъ звали; попили, поѣли — прощай, шелудякъ!

3-й муж. О, Господи!

Стар. Пов. Понимаешь ты много. Что значить: сотей а ла бамонъ? Что значить: бавасари? Чтò я сдѣлать могъ! Мысли! Императоръ мою работу кушалъ! А теперь не нуженъ сталъ чертямъ. Да не поддамся я!

Нух. Ну, ну, разговорился. Вотъ я тебя!... Залѣзай въ уголъ, чтобъ не видать тебя было, а то Федоръ Иванычъ зайдетъ, или еще кто, и выгонять меня съ тобой совѣмъ.

(*Молчаніе.*)

Яковъ. Такъ знаете мою сторону-то, Вознесенское?

2-й муж. Какъ же не знать. Отъ насъ верстъ 17, больше не будетъ, а бродомъ меньше. Ты, что-жъ, землю-то держишь?

Яковъ. Братъ держать, а я посылаю. Я самъ хотъ здѣсь, а умираю объ домѣ.

1-й муж. Двистительно.

2-й муж. Аписимъ, значить, братъ тебѣ?

Яковъ. Какже, братъ родной! На томъ концу.

2-й муж. Какъ не знать, — третій дворъ.

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

Тѣ же и Таня (*вбѣгаетъ*).

Таня. Яковъ Иванычъ! что вы тутъ прохлаждаетесь? Зоветь!

Яковъ. Сейчасъ. Что тамъ?

Таня. Фифка лаесть, ѣсть хочетъ; а она ругается на васъ: какой, говоритъ, онъ злой. Жалости, говоритъ, въ немъ нѣтъ. Ей давно обѣдать пора, а онъ не несетъ!... (*Смѣется.*)

Яковъ (*хочетъ уходить*). О, сердита? Какъ бы чего не вышло!

Кух. (*Якову*). Капусту-то возьмите.

Яковъ. Давай, давай! (*Беретъ капусту и уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 14-е.

Тѣ же, безъ Якова.

1-й муж. Кому же это обѣдать теперь?

Таня. А собакѣ. Собака эта ея... (*Присаживается и берется за чайникъ.*) Чай-то есть ли?—а то я принесла еще. (*Всыпаетъ.*)

2-й муж. Обѣдать собакѣ?

Таня. Какъ же! Коклетку особенную дѣлають, чтобы не жирная была. Я на нее, на собаку-то, бѣлье стираю.

3-й муж. О, Господи!

Таня. Какъ тотъ баринъ, что собаку хоронилъ.

2-й муж. Это какъ же такъ?

Таня. А такъ, — рассказывалъ одинъ человѣкъ, — издохъ у него песъ, у барина-то. Вотъ онъ и поѣхалъ зимой хоронить его. Похоронилъ, ѣдетъ и плачетъ, баринъ-то. А морозъ здоровый, у кучера изъ носу течетъ и онъ утирается... Дайте налью. (*Наливаетъ чай.*) Изъ носу-то течетъ, а онъ все утирается. Увидалъ баринъ: „что, говоритъ, о чемъ ты плачешь?“ А кучеръ говоритъ: „какъ же, сударь, не плакать, какая собака была!“ (*Хохочетъ.*)

2-й муж. А самъ, я чай, думаетъ: хоть бы ты и самъ издохъ, такъ я бы плакать не сталъ... (*Хохочетъ.*)

Стар. Пов. (*съ печки*). Это правильно, вѣрно!

Таня. Хорошо, пріѣхалъ домой баринъ, сейчасъ къ барынѣ: „какой, говоритъ, нашъ кучеръ добрый: онъ всю дорогу плакалъ,—такъ ему жалъ моего Дружка. Позовите его: на, молъ, выпей водки, а вотъ тебѣ награда—рубль“. Такъ-то и она, что Яковъ собаки ей не жалѣетъ.

(*Мужики хохочатъ.*)

1-й муж. Хворменно!

2-й муж. Вотъ такъ такъ!

3-й муж. Ай, дѣвушка, насмѣшила!

Таня (*наливаетъ еще чай*). Кушайте еще! То-то, оно такъ кажется, что жизнь хорошая, а другой разъ противно всѣ эти гадости за ними убирать. Тьфу! Въ деревнѣ лучше.

(*Мужики перевертываютъ чашки.*)

Таня (*наливаетъ*). Кушайте на здоровье, Ефимъ Антонычъ! Я налью, Митрій Власьевичъ!

3-й муж. Ну, налей, налей.

1-й муж. Ну какъ же, умница, дѣло наше происходитъ?

Таня. Ничего, идетъ...

1-й муж. Семень сказывалъ...

Таня (*быстро*). Сказывалъ?

2-й муж. Да не понять отъ него.

Таня. Мнѣ сказать теперь нельзя, а только стараюсь, стараюсь. Вотъ она—и бумага ваша! (*Показываетъ бумагу за фартукомъ.*) Только бы одна штука удалась... (*Взвизгиваетъ.*) Ужъ какъ бы хорошо было!

2-й муж. Ты смотри, бумагу-то не затеряй. За нее тоже денежки плачены.

Таня. Будьте покойны. Въдь только чтобы подписалъ онъ?

3-й муж. А то чего же еще? Подписалъ, скажемъ, и крышка. (*Перевертываетъ чашку.*) Да будетъ ужъ.

Таня (*сама съ собой*). Подпишетъ, вотъ увидите, подпишетъ. Еще кушайте. (*Наливаетъ.*)

1-й муж. Только охлопочи насчетъ свершенія продажи земли, міромъ и замужъ можемъ отдать. (*Отказывается отъ чая.*)

Таня (*наливаетъ и подаетъ*). Кушайте.

3-й муж. Только сдѣлай: и замужъ отдадимъ, и на свадьбу, скажемъ, плясать приду. Хоть отродясь не плясывалъ, плясать буду!

Таня (*смѣется*). Да ужъ я буду въ надеждѣ. (*Молчаніе.*)

2-й муж. (*оглядывая Таню*). Такъ-то такъ, а не гожаешься ты для мужицкой работы.

Таня. Я-то? Что же, вы думаете, силы нѣту? Вы бы посмотрѣли какъ я барыню затыгиваю. Другой мужикъ такъ не потянетъ.

2-й муж. Да куда-жъ ты ее затягиваешь?

Таня. Да такъ на костяхъ исдѣлано, какъ куртка, по сихъ поръ. Ну, на шнуры и стягиваешь, какъ вотъ запрягаютъ, еще въ руки плюютъ.

2-й муж. Засупониваешь, значить?

Таня. Да, да, засупониваю. А ногой въ нее вѣдь не упрешься.
(Смѣется.)

2-й муж. Зачѣмъ же ты ее затягиваешь?

Таня. А вотъ затѣмъ.

2-й муж. Что-жъ, она обрелась, что ли?

Таня. Нѣтъ, для красоты.

1-й муж. Пузу, значить, ей утягиваетъ для хвормы.

Таня. Такъ такъ стянешь, что у нея глаза вонъ лѣзутъ, а она говоритъ: „еще“. Такъ всѣ руки обожжешь, а вы говорите: силы нѣтъ.

(Мужики смѣются и качаютъ головами.)

Таня. Однако я заболталась. (Убѣгаетъ, смѣясь.)

3-й муж. Вотъ такъ дѣвушка, насмѣшила!

1-й муж. Да ужъ какъ аккуратна!

2-й муж. Ничего.

ЯВЛЕНИЕ 15-е.

Три мужика, Кухарка, Старый Поваръ на печкѣ. Входятъ Сахатовъ и Василій Леонидычъ. У Сахатова въ рукахъ ложка чайная.

Вас. Леон. Не то чтобы обѣдъ, а déjeuner dinatoire. И прекрасный, я вамъ скажу, былъ завтракъ: пороссячьи окорочка—прелесть! Рулье отлично кормить. Я вѣдь только сейчасъ пріѣхалъ. (Увидѣвъ Мужиковъ) А мужики опять здѣсь?

Сахат. Да, да, это все прекрасно, но мы пришли спрятать предметъ. Такъ куда же спрятать?

Вас. Леон. Виновать, я сейчасъ. (Къ Кухаркѣ) А собаки гдѣ же?

Кух. Въ кучерской собаки. Развѣ можно въ людскую?

Вас. Леон. А, въ кучерской? Ну, хорошо.

Сахат. Я жду.

Вас. Леон. Виновать, виновать. А, что? спрятать? Да, Сергѣй Ивановичъ, такъ вотъ что я вамъ скажу: мужику, од-

ному изъ этихъ, въ карманъ. Вотъ хоть этому. Ты послушай. А, что? Гдѣ у тебя карманъ?

3-й муж. А на что тебѣ карманъ? Ишь ты, карманъ! У меня въ карманѣ деньги.

Сахат. Ну, гдѣ кошель?

3-й муж. А тебѣ на что?

Кух. Что ты! Молодой баринъ это.

Вас. Леон. (*хохочетъ*). А вы знаете, отчего онъ испугался такъ? Я вамъ сейчасъ скажу: у него денегъ пропасть. А, что?

Сахат. Да, да, понимаю. Ну такъ вотъ что: вы поговорите съ ними, а я покамѣстъ незамѣтно положу вонъ въ эту сумку — такъ, чтобъ и они не знали, не могли ничѣмъ указать ему. Поговорите съ ними.

Вас. Леон. Сейчасъ, сейчасъ. Ну, такъ какъ же, ребятушки, купите землю-то? А, что?

1-й муж. Мы-то предлагаемъ, какъ всей душой. Да вотъ все не происходитъ въ движеніе дѣлу.

Вас. Леон. А вы не скупитесь. Земля—дѣло важное. Я вамъ говорилъ—мяту. А то можно табакъ еще.

1-й муж. Это двистительно, всякіе продукты можно.

3-й муж. А ты, отецъ, попроси батюшку. А то какъ жить? Земля малая,—гурицу, скажемъ, и ту выпустить некуда.

Сахат. (*положилъ ложку въ сумку 3-го Мужика*). *C'est fait*. Готово. Пойдемте. (*Уходитъ*.)

Вас. Леон. А вы не скупитесь. А? Ну, прощайте. (*Уходитъ*.)

ЯВЛЕНИЕ 16-е.

Три Мужика, Нухарна и Старый Поваръ (*на печкѣ*).

3-й муж. Я говорилъ: на фатеру. Ну, по гривнѣ, скажемъ, огдали бы, по крайности покойно, а тутъ помилуй Богъ. Деньги, говорить, давай. Къ чему это?

2-й муж. Должно, выпимши.

(*Мужики переворачиваютъ чашки, встаютъ и крестятся*.)

1-й муж. А ты помни, какъ онъ слово закинулъ, чтобъ мяту сѣять? Тоже понимать надо.

2-й муж. Какже, мяту сѣй, вишь. Ты попытай-ка, горбомъ

поворóчай,—запросишь мяты, небось... Ну, благодаримъ покорно! А что-жъ, умница, гдѣ намъ лечь тутъ?

Нух. Ложитесь—на печку одинъ, а то по лавкамъ.

3-й муж. Спаси Христось. (*Молится Богу.*)

1-й муж. Кабы Богъ далъ свершенія дѣла. (*Ложится.*) Завтра послѣ обѣда на машину бы закатились, во вторникъ и дома бы.

2-й муж. Свѣтъ-то тушить будете?

Нух. Гдѣ тушить! Все прибѣгать будутъ: то того, то другаго... Да вы ложитесь, я заверну.

2-й муж. На малой землѣ какъ проживешь? Я нынче вѣдъ съ Рождества хлѣбъ покупаю. И солома овсяная дошла. А то закатилъ бы четыре десятинки, Семку бы домой взялъ.

1-й муж. Твое дѣло семейное. Безъ нужды! Землю уберешь, только подавай. Только бы свершилось дѣло.

3-й муж. Царицу Небесную просить надо. Авось смилосердуется.

ЯВЛЕНИЕ 17-е.

Тишина, вздохи. Потомъ слышны топотъ шаговъ, шумъ юлосовъ, двери растворяются настежь и стремительно вваливаются: Гросманъ съ завязанными глазами, держащий за руку Сахатова, Профессоръ и Докторъ, Толстая барыня и Леонидъ Федоровичъ, Бетси и Петрищевъ, Василій Леонидычъ и Марья Константиновна, Барыня и Баронесса, Федоръ Ивановичъ и Таня. Три Мужика, Нухарна и Старый Поваръ (не видимъ). Мужики вскакиваютъ.—Гросманъ входитъ быстрыми шагами, потомъ останавливается.

Толст. бар. Вы не заботьтесь: я слѣжу, я взялась слѣдить и строго исполняю свою обязанность. Сергѣй Ивановичъ, вы не ведете?

Сахат. Да нѣтъ же.

Толст. бар. Вы не ведите, но и не противьтесь. (*Къ Леониду Федоровичу*) Я знаю эти опыты. Я сама ихъ дѣлала. Я, бывало, чувствую истечение и какъ только почувствую...

Леон. Фед. Позвольте попросить соблюдать тишину.

Толст. бар. Ахъ, я это очень понимаю! Я это на себѣ испытала. Какъ только вниманіе развлеклось, я ужъ не могу...

Леон. Оед. Шш...

(Ходятъ, ищутъ около 1-ю и 2-ю Мужика и подходятъ къ 3-му.—Гросманъ спотыкается на скамейку.)

Барон. Mais dites-moi, on le paye?

Барыня. Je ne saurais vous dire.

Барон. Mais c'est un monsieur?

Барыня. Oh! oui.

Барон. Ça tient du miraculeux. N'est ce pas? Comment est-ce qu'il trouve?

Барыня. Je ne saurais vous dire. Mon mari vous l'expliquera. (Увидавъ Мужиковъ, оглядывается и видитъ Кухарку.) Pardon. Это что? (Баронесса подходитъ къ группѣ.)

Барыня (Кухаркѣ). Кто пустилъ мужиковъ?

Кух. Яковъ привелъ.

Барыня. Якову кто приказалъ?

Кух. Не могу знать. Оедоръ Иванычъ ихъ видѣли.

Барыня. Леонидъ!

(Леонидъ Оедоровичъ не слышитъ, занятъ отыскиваніемъ и ищетъ.)

Барыня. Оедоръ Иванычъ! это что значить? Развѣ вы не видали, что я дезинфицировала всю переднюю, а теперь вы мнѣ всю кухню заразили, черный хлѣбъ, квасъ...

Оед. Иван. Я полагалъ, что здѣсь не опасно; а люди по дѣлу. Итти имъ далеко, а изъ своей деревни.

Барыня. Въ томъ-то и дѣло, что изъ Курской деревни, гдѣ какъ мухи мрутъ отъ дифтерита. А главное—я приказывала, чтобъ ихъ не было въ домѣ!... Приказывала я, или нѣтъ? (Подходитъ къ кучкѣ, собравшейся около Мужиковъ.) Осторожнѣе! Не дотрогивайтесь до нихъ; они всѣ въ дифтеритной заразѣ!

(Никто ее не слушаетъ; она съ достоинствомъ отходитъ и неподвижно стоитъ, дожидаясь.)

Петрищ. (сопитъ громко носомъ). Дифтеритная—не знаю, а нѣкоторая другая зараза въ воздухѣ есть. Вы слышите?

Бетси. Полноте врать! Вово, въ какой сумкѣ?

Вас. Леон. Въ той, той! Подходить, подходить.

Петрищ. Что это тутъ,—духи или дѣхи?

Бетси. Вотъ когда ваши папироски встати. Курите, курите, ближе ко мнѣ.

(Петрищевъ нагибается и окуриваетъ.)

Вас. Леон. Добирается, я вамъ скажу. А, что?

Гросм. (съ безпокойствомъ шаритъ около 3-го Мужика). Здѣсь, здѣсь. Я чувствую, что здѣсь.

Толст. бар. Истеченіе чувствуете?

(Гросманъ нагибается къ сумочкѣ и достаетъ ложку.)

Всѣ. Bravo! (Общій восторгъ.)

Вас. Леон. А? Такъ вотъ гдѣ наша ложечка нашлась! (На Мужика) Такъ ты такъ-то?

3-й муж. Чего такъ-то? Не бралъ я твоей ложечки. И что путаешь? Не бралъ я, и не бралъ, и душа моя не знаетъ. А вольно ему! Я видѣлъ, онъ приходилъ не за добрымъ. Кошешь, говоритъ, давай. А я не бралъ, вотъ те Христосъ, не бралъ.

(Молодежь обступаетъ и смѣется.)

Леон. Фед. (сердито на сына). Вѣчно глупости! (3-му Мужикъ) Да не безпокойся, дружокъ! Мы знаемъ, что ты не бралъ; это опытъ былъ.

Гросм. (снимаетъ повязку и дѣлаетъ видъ, какъ бы очнулся). Воды, если можно... позвольте. (Всѣ хлопочутъ около него.)

Вас. Леон. Пойдемте отсюда въ кучерскую. Я вамъ покажу, какой кобель одинъ тамъ у меня. Еrâtant! А, что?

Бетси. И какое слово гадкое. Развѣ нельзя сказать: собака?

Вас. Леон. Нельзя. Вѣдь нельзя про тебя сказать: какая Бетси человѣкъ еrâtant? Надо сказать: дѣвица; такъ и это. А, что? Марья Константиновна, правда? Хорошо? (Хохочетъ.)

Мар. Конст. Ну, пойдемъ.

(Марья Константиновна, Бетси, Петрищевъ и Василій Леонидычъ уходятъ.)

ЯВЛЕНІЕ 18-е.

Тѣ же, безъ Бетси, Марьи Константиновны, Петрищева и Василія Леонидыча.

Толст. бар. (Гросману). Что? Какъ? Отдохнули? (Гросманъ не отъѣхаетъ. Къ Сахатову) Вы, Сергѣй Ивановичъ, чувствовали истеченіе?

Сахат. Я ничего не чувствовалъ. Да, прекрасно, прекрасно. Вполнѣ удачно.

Баронесса. Admirable! Ça ne le fait pas souffrir?

Леон. *Фед.* Pas le moins du monde.

Проф. *(Гросману)*. Позвольте васъ попросить. *(Подаетъ термометръ.)* При началѣ опыта было 37 и 2. *(Доктору)* Такъ, кажется? Да будьте добры, пульсъ провѣрьте. Трата неизбежна.

Докт. *(Гросману)*. Ну-ка, господинъ, позвольте вашъ пульсъ. Провѣримъ, провѣримъ. *(Вынимаетъ часы и держитъ его за руку.)*

Толст. бар. *(къ Гросману)*. Позвольте. Но вѣдь то состояніе, въ которомъ вы находились, нельзя назвать сномъ?

Гросм. *(устало)*. Тотъ же гипнозъ.

Сахат. Стало-быть надо понимать такъ, что вы сами гипнотизировали себя?

Гросм. А отчего же нѣтъ? Гипнозъ можетъ наступить не только при ассоціаціи, при звукѣ тамтамъ, напимѣръ, какъ у Шарко; но и при одномъ вступленіи въ гипногенную зону.

Сахат. Это такъ, положимъ, но все-таки желательно точнѣе опредѣлить, что такое гипнозъ?

Проф. Гипнозъ есть явленіе превращенія одной энергіи въ другую.

Гросм. Шарко не такъ опредѣляетъ.

Сахат. Позвольте, позвольте. Таково ваше опредѣленіе, но Либб мнѣ самъ говорилъ...

Докт. *(оставляя пульсъ)*. А, хорошо, хорошо, только температуру теперь.

Толст. бар. *(вмѣшиваясь)*. Нѣтъ, позвольте! Я согласна съ Алексѣемъ Владиміровичемъ. И вотъ вамъ лучше всѣхъ доказательствъ. Когда я послѣ своей болѣзни лежала безъ чувствъ, то на меня нашла потребность говорить. Я вообще молчалива, но тутъ явилась потребность говорить, говорить, и мнѣ говорили, что я такъ говорила, что всѣ удивлялись. *(Къ Сахатову)* Впрочемъ я васъ перебила, кажется?

Сахат. *(достойно)*. Нисколько. Сдѣлайте одолженіе.

Докт. Пульсъ 82, температура повысилась на 0,3.

Проф. Ну, вотъ вамъ и доказательство! Такъ и должно было быть. *(Вынимаетъ записную книжку и записываетъ.)* 82, такъ? И 37 и 5? Какъ только вызванъ гипнозъ, такъ непремѣнно усиленная дѣятельность сердца.

Донт. Я, какъ врачъ, могу засвидѣтельствовать то, что ваше предсказаніе исполнѣ подтвердилось.

Проф. (*къ Сахатову*). Такъ вы говорили?...

Сахат. Я хотѣлъ сказать, что Либбъ мнѣ самъ говорилъ, что гипнозъ есть только особенное психическое состояніе, увеличивающее внушаемость.

Проф. Это такъ, но все-таки, главное, законъ эквивалентности.

Гросм. Кромѣ того Либбъ—далеко не авторитетъ, а Шарко всесторонне изслѣдовалъ и доказалъ, что гипнозъ, производимый ударомъ, травмою...

Сахат. Да я и не отрицаю трудовъ Шарко. Я его тоже знаю; я говорю только то, что говорилъ мнѣ Либбъ.

Гросм. (*горячась*). Въ Сальпетриерѣ 3.000 больныхъ и я прослушалъ полный курсъ.

Проф. Позвольте, господа, не въ этомъ дѣло.

Толст. бар. (*вмѣшиваясь*). Я въ двухъ словахъ вамъ объясню. Когда мой мужъ былъ боленъ, то всѣ доктора отказались...

Леон. Фед. Пойдемте, однако, въ домъ. Баронесса, пожалуйста!

(*Всѣ уходятъ, говоря вмѣстѣ и перебивая другъ друга.*)

ЯВЛЕНИЕ 19-е.

Три Мужика, Кухарка, Федоръ Ивановичъ, Таня, Старый Поваръ (*на печкѣ*), Леонидъ Федоровичъ и Барыня.

Барыня (*останавливаетъ за рукавъ Леонида Федоровича*). Сколько разъ я васъ просила не распорядиться въ домѣ! Вы знаете только свои глупости, а домъ на мнѣ. Вы заразите всѣхъ.

Леон. Фед. Да кто? Что? Ничего не понимаю.

Барыня. Какъ? Люди больные въ диотеритѣ ночуютъ въ кухнѣ, гдѣ постоянное сношеніе съ домомъ.

Леон. Фед. Да я...

Барыня. Что я?

Леон. Фед. Да я ничего не знаю.

Барыня. Надо знать, коли вы отецъ семейства. Нельзя этого дѣлать

Леон. Өед. Да я не думалъ... Я думалъ...

Барыня. Слушать васъ противно!

(Леонидъ Өедоровичъ молчитъ.)

Барыня *(къ Өедору Ивановичу)*. Сейчасъ вонь! Чтобъ ихъ не было въ моей кухнѣ! Это ужасно. Никто не слушаетъ, все на зло... Я оттуда ихъ прогоню, они ихъ сюда пустятъ. *(Все больше и больше волнуется и доходитъ до слезъ.)* Все на зло! Все на зло! И съ моей болью... Докторъ! Докторъ! Петръ Петровичъ!... И онъ ушелъ! *(Вскликиваетъ и уходитъ, за ней Леонидъ Өедоровичъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 20-е.

Три Мужина, Таня, Өедоръ Ивановичъ, Нухарна и Старый Поваръ *(на печкѣ)*.

Картина. Всѣ стоятъ домо молча.

3-й муж. Ну ихъ къ Богу совсѣмъ! Тутъ того гляди въ полицію попадешь. А я въ жизнь не судился. Пойдемъ на Өатеру, ребята!

Өед. Иван. *(Танѣ)*. Какъ же быть-то?

Таня. Да ничего, Өедоръ Ивановичъ. Въ кучерскую ихъ.

Өед. Иван. Да какъ же въ кучерскую? И то кучеръ жаловался, тамъ полно собакъ.

Таня. Ну, такъ въ дворницкую.

Өед. Иван. А какъ узнаютъ?

Таня. Ничего не узнаютъ. Ужъ будьте покойны, Өедоръ Ивановичъ. Развѣ можно ихъ ночью гнать? Они и не найдутъ теперь.

Өед. Иван. Ну, дѣлай какъ знаешь, только бы тутъ ихъ не было. *(Уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 21-е.

Три Мужина, Таня, Нухарна и Старый Поваръ. *Мужики собираютъ сумки.*

Стар. Пов. Вишь, черти проклятые! Съ жиру-то! Черти!...

Нух. Молчи ужъ ты-то. Спасибо не увидали.

Таня. Такъ пойдемте, дяденьки, въ дворницкую.

1-й муж. Ну, а что же дѣло-то наше? Какъ же, примѣрно, насчетъ подписки, руки приложенія? Что-жъ, въ надеждѣ намъ быть?

Таня. Вотъ черезъ часъ все узнаемъ.

2-й муж. Исхитришься?

Таня (*считаетъ*). Какъ Богъ дастъ.

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ III.

Дѣйствіе происходитъ вечеромъ того же дня, въ маленькой гостиной, гдѣ всегда производятся у Леонида Ѳедоровича опыты.

ЯВЛЕНІЕ 1-е.

Леонидъ Ѳедоровичъ и Профессоръ.

Леон. Ѳед. Такъ какъ же, рискнуть сеансъ съ нашимъ новымъ медиумомъ?

Проф. Непремѣнно. Медиумъ несомнѣнно сильный. Главное же, желательно, чтобъ медиумическій сеансъ у насъ былъ нынче же, и съ тѣмъ же персоналомъ. Гросманъ не премѣнно долженъ отозваться на вліяніе медиумической энергіи, и тогда связь и единство явленій будутъ еще очевиднѣе. Вы увидите, что если медиумъ будетъ такъ же силенъ, какъ сейчасъ, то Гросманъ будетъ вибрировать.

Леон. Ѳед. Такъ я, знаете, пошлю за Семеномъ и приглашу желающихъ.

Проф. Да, да, я только сдѣлаю себѣ нѣкоторыя замѣтки. (*Вынимаетъ записную книжку и записываетъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же и Сахатовъ.

Сахат. Тамъ у Анны Павловны сѣли въ винтъ, а я, какъ остающійся за штатомъ... да кромѣ того интересующійся сеансомъ, вотъ являюсь къ вамъ... Что-жъ, будетъ сеансъ?

Леон. Ѳед. Будетъ, не премѣнно будетъ!

Сахат. Какъ же, и безъ медиумической силы г-на Капчича?

Леон. Ѳед. Vous avez la main heureuse. Представьте себѣ, тотъ самый мужикъ, о которомъ я вамъ говорилъ, оказался несомнѣнный медиумъ.

Сахат. Вотъ какъ! О, да это особенно интересно!

Леон. Фед. Да, да. Мы послѣ обѣда сдѣлали съ нимъ маленькій предварительный опытъ.

Сахат. Успѣли сдѣлать и убѣдиться?...

Леон. Фед. Вполнѣ, и оказался замѣчательной силы медиумъ.

Сахат. *(недовѣрчиво)*. Вотъ какъ!

Леон. Фед. Оказывается, что въ людской давно ужъ замѣчали. Онъ сядетъ къ чашкѣ, ложка сама вскакиваетъ ему въ руку. *(Къ Профессору)* Вы слышали?

Проф. Нѣтъ, этого собственно я не слыхалъ.

Сахат. *(Профессору)*. Но все-таки и вы допускаете возможность такихъ явленій?

Проф. Какихъ явленій?

Сахат. Ну, вообще, спиритическихъ, медиумическихъ, вообще сверхъестественныхъ явленій.

Проф. Дѣло въ томъ, что мы называемъ сверхъестественнымъ? Когда не живой человѣкъ, а кусокъ камня притянулъ къ себѣ гвоздь, то какимъ показалось это явленіе для наблюдателей: естественнымъ, или сверхъестественнымъ?

Сахат. Да, конечно; но только такія явленія, какъ притяженіе магнита, постоянно повторяются.

Проф. То же самое и здѣсь. Явленіе повторяется, и мы его подвергаемъ изслѣдованію. Мало того, мы подводимъ изслѣдуемыя явленія подъ общіе другимъ явленіямъ законы. Явленія, вѣдь, кажутся сверхъестественными только потому, что причины явленій приписываются самому медиуму. Но вѣдь это невѣрно. Явленія производимы не медиумомъ, но духовной энергіей черезъ медиума, а это разница большая. Все дѣло—въ законѣ эквивалентности.

Сахат. Да, конечно, но...

ЯВЛЕНИЕ 3-е.

Тѣ же и Таня *(входитъ и становится за портьеру)*.

Леон. Фед. Одно только знайте, что какъ съ Юмомъ и съ Капчичемъ, такъ и теперь съ этимъ медиумомъ впередъ ни на что рассчитывать нельзя. Можетъ быть неудача, а можетъ быть и полная матеріализація.

Сахат. Даже и матеріализація? Какая же можетъ быть матеріализація?

Леон. Оед. А такая, что придетъ умершій человѣкъ: отецъ вашъ, дѣдъ, возьметъ васъ за руку, дастъ вамъ что-нибудь; или кто-нибудь вдругъ подыметъ на воздухъ, какъ прошлый разъ у насъ съ Алексѣемъ Владиміровичемъ.

Проф. Конечно, конечно. Но главное дѣло—въ объясненіи явленій и подведеніи ихъ подъ общіе законы.

ЯВЛЕНИЕ 4-е.

Тѣ же и Толстая барыня.

Толст. бар. Анна Павловна мнѣ позволила пройти къ вамъ.

Леон. Оед. Милости просимъ!

Толст. бар. Но какъ, однако, Гросманъ усталъ. Онъ не могъ чашки держать. Вы замѣтили, какъ онъ поблѣднѣлъ (къ *Профессору*) въ ту минуту, какъ приблизился? Я сейчасъ же замѣтила, я первая сказала Аннѣ Павловнѣ.

Проф. Несомнѣнно, трата жизненной энергіи.

Толст. бар. Вотъ и я говорю, что этимъ злоупотреблять нельзя. Какъ же, гипнотизаторъ внушилъ одной моей знакомой, Вѣрочкѣ Коншиной,—да вы ее знаете,—чтобъ она перестала курить, а у ней спина заболѣла.

Проф. (*хочетъ начать говорить*). Измѣреніе температуры и пульсъ очевидно показываютъ...

Толст. бар. Я сію минуту, позвольте. Я ей и говорю: ужъ лучше курить, но не страдать такъ нервами. Разумѣется, что курить вредно, и я бы желала отвыкнуть, но, что хотите, не могу. Я разъ двѣ недѣли не курила, а потомъ не выдержала.

Проф. (*опять дѣлаетъ попытку говорить*). Показываютъ несомнѣнно...

Толст. бар. Да нѣтъ, позвольте! Я въ двухъ словахъ. Вы говорите, что трата силъ? И я хотѣла сказать, что когда я ѣздила на почтовыхъ... Дороги тогда были ужасныя, вы этого не помните, а я замѣчала, и, какъ хотите, ваша нервность вся отъ желѣзныхъ дорогъ. Я, напримѣръ, въ дорогѣ спать не могу,—хоть убейте, а не засну.

Проф. (опять начинаетъ, но Толстая барыня не даетъ ему говорить). Трата силъ...

Сахат. (улыбаясь). Да, да.

(Леонидъ Ѳедоровичъ звонитъ.)

Толст. бар. Я одну, другую, третью ночь не буду спать, а все-таки не засну.

ЯВЛЕНИЕ 5-е.

Тѣ же и Григорій.

Леон. Ѳед. Скажите, пожалуйста, Ѳедору приготовить все для сеанса и позовите Семена сюда,—буфетнаго мужика, Семена, слышите?

Григ. Слушаю-сь! (Уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 6-е.

Леонидъ Ѳедоровичъ, Профессоръ, Толстая барыня и Таня (спрятанная).

Проф. (къ Сахатову). Измѣреніе температуры и пульсъ показали трату жизненной энергіи. То же будетъ и при медіумическихъ проявленіяхъ. Законъ сохраненія энергіи...

Толст. бар. Да, да. Я только еще хотѣла сказать, что я очень рада, что простой мужикъ оказался медіумъ. Это прекрасно. Я всегда говорила, что славянофилы...

Леон. Ѳед. Пойдемте пока въ гостиную.

Толст. бар. Позвольте, я въ двухъ словахъ... Славянофилы правы, но, я всегда говорила своему мужу, что ни въ чемъ не надо преувеличивать. Золотая середина, знаете. А то какъ же утверждать, что въ народѣ все хорошо, когда я сама видѣла...

Леон. Ѳед. Не угодно ли въ гостиную?

Толст. бар. Вотъ такой мальчикъ и ужъ пьетъ. Я его сейчасъ же разбранила. И онъ благодаренъ былъ потомъ. Они—дѣти, а дѣтямъ, я всегда говорила, нужна и любовь, и строгость.

(Всѣ уходятъ, разговаривая.)

ЯВЛЕНИЕ 7-е.

Таня (одна, выходитъ изъ-за двери).

Таня. Ахъ, удалось бы только! (Завязываетъ нитки.)

ЯВЛЕНИЕ 8-е.

Таня и Бетси (*входитъ поспѣшно*).

Бетси. Папѣ нѣтъ тутъ? (*Вглядываясь въ Таню*) Ты что тутъ?

Таня. А я такъ, Лизавета Леонидовна, вошла, хотѣла... такъ вошла... (*Смущается*.)

Бетси. Да вѣдь тутъ сеансъ сейчасъ будетъ? (*Замѣчаетъ, что Таня собираетъ нитки, пристально смотритъ на нее и вдругъ заливается хохотомъ*.) Таня! это вѣдь ты все дѣлаешь? Да ужъ не отпирайся. И тотъ разъ ты? Вѣдь ты, ты?

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка!

Бетси (*въ восторгѣ*). Ахъ, какъ это хорошо! Вотъ не ожидала! Зачѣмъ же ты это дѣлала?

Таня. Барышня, милая, да вы не выдайте!

Бетси. Да нѣтъ, ни за что. Я ужасно рада! Да какъ же ты дѣлаешь?

Таня. Да такъ и дѣлаю: спрячусь, а потомъ, какъ потушатъ, вылѣзу и дѣлаю.

Бетси (*показывая на нитку*). А это зачѣмъ? Да, не говори, понимаю, задѣваешь...

Таня. Лизавета Леонидовна, голубушка, я только вамъ откроюсь. Прежде я такъ шалила, а теперь дѣло хочу сдѣлать.

Бетси. Какъ? Что? Какое дѣло?

Таня. Да вотъ видѣли, мужики пришли, хотятъ землю купить, а папаша не продаютъ и бумагу не подписали и имъ назадъ отдали. Ѳедоръ Ивановичъ говоритъ: духи ему запретили. Вотъ я и вздумала.

Бетси. Ахъ, какая же ты умница! Дѣлай, дѣлай. Да какъ же ты будешь дѣлать?

Таня. Да я такъ придумала: какъ они свѣтъ потушатъ, сейчасъ я начну стучать, швырять, ниткой ихъ по головамъ, а подъ конецъ бумагу объ землѣ,—она у меня,—и брошу на столъ.

Бетси. Ну, и что-жь?

Таня. А какъ же? Они удивятся. Бумага была у мужиковъ, и вдругъ здѣсь. А тутъ же велю...

Бетси. Да, вѣдь Семенъ нынче медіумъ!

Таня. Такъ я ему велю... (*Не можетъ говорить отъ смѣха*) велю

давить руками, кто подь рукой будетъ. Только не папашу,— это онъ не посмѣетъ,—и пусть давить кого другихъ, пока подпишутъ.

Бетси (*смѣется*). Да вѣдь такъ не дѣлаютъ. Медіумъ самъ ничего не дѣлаетъ.

Таня. Да ничего, это все одно, авось и такъ выйдетъ.

ЯВЛЕНІЕ 9-е.

Таня и Ѳедоръ Ивановичъ. Бетси *дѣлаетъ знаки Тань и уходитъ*.

Ѳед. Иван. (*Тань*). Ты что тутъ?

Таня. Да я къ вамъ, Ѳедоръ Ивановичъ, батюшка!...

Ѳед. Иван. Чего же ты?

Таня. Да объ дѣлѣ моемъ, къ вамъ, что я просила.

Ѳед. Иван. (*смѣясь*). Сосваталъ, сосваталъ, и по рукамъ ударили. Только не пили.

Таня (*взвизгиваетъ*). Неужто за-правду?

Ѳед. Иван. Да ужъ я тебѣ говорю. Онъ говоритъ: съ старухой посовѣтуюсь, да и съ Богомъ.

Таня. Такъ и сказалъ?... (*Взвизгивая*) Ахъ, голубчикъ, Ѳедоръ Ивановичъ, вѣкъ за васъ буду Бога молить!

Ѳед. Иван. Ну, ладно, ладно. Теперь некогда. Вельно убирать для сеанса.

Таня. Дайте я вамъ подсоблю. Какъ же убирать?

Ѳед. Иван. Да какъ?—Да вотъ: столъ посреди комнаты, стулья, гитару, гармонію. Лампу не надо—свѣчи.

Таня (*устанавливаетъ все съ Ѳедоромъ Ивановичемъ*). Такъ, что ли? Сюда гитару, сюда чернильницу... (*Ставитъ*.) Такъ?

Ѳед. Иван. Да неужели въ самомъ дѣлѣ Семена посадятъ?

Таня. Должно быть. Вѣдь ужъ сажали.

Ѳед. Иван. Удивленіе! (*Ндѣваетъ рѣс-песъ*.) Да чистъ ли онъ?

Таня. Почему я знаю!

Ѳед. Иван. Такъ ты вотъ что...

Таня. Что, Ѳедоръ Ивановичъ?

Ѳед. Иван. Поди ты, возьми щеточку ногтяную и мыла Тридась, хоть у меня возьми... И всѣ ты ему остриги ногти и вымой чисто-нѣчисто.

Таня. Онъ и самъ вымоетъ.

Фед. Иван. Ну, такъ скажи только. Да бѣлье вели надѣть чистое.

Таня. Хорошо, Федоръ Ивановичъ. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 10-е.

Федоръ Ивановичъ одинъ, садится въ кресло.

Фед. Иван. Учены, ученые, хоть бы Алексѣй Владиміровичъ, профессоръ онъ, а все другой разъ сильно сомнѣніе беретъ. Народныя суевѣрія, грубыя, истребляются, суевѣрія домовыхъ, колдуновъ, вѣдьмъ... А вѣдь если вникнуть, вѣдь это такое же суевѣріе. Ну, развѣ возможно это, чтобы души умершихъ и говорили бы, и на гитарѣ играли бы? А дурчить ихъ кто-нибудь, или сами себя. А ужъ это съ Семеномъ и не поймешь что. (*Разсматриваетъ альбомъ.*) Вѣдь вотъ ихъ альбомъ спиритическій. Ну, возможное ли это дѣло, чтобы фотографію съ духа снять? А вотъ изображеніе—Турокъ и Леонидъ Федоровичъ сидятъ. Удивительна слабость человѣческая!

ЯВЛЕНИЕ 11-е.

Федоръ Ивановичъ и Леонидъ Федоровичъ.

Леон. Фед. (*входя*). Что, готово?

Фед. Иван. (*встаетъ не торопясь*). Готово. (*Умываясь*) Только не знаю, какъ бы вашъ новый медиумъ не скомпрометовалъ васъ, Леонидъ Федоровичъ.

Леон. Фед. Нѣтъ, мы испытывали съ Алексѣемъ Владиміровичемъ. Удивительно сильный медиумъ!

Фед. Иван. Ужъ этого не знаю. Только чистъ ли онъ? Вы вотъ не позаботились руки ему велѣть вымыть. А то все-таки неудобно.

Леон. Фед. Руки? Ахъ, да. Нечисты, ты думаешь?

Фед. Иван. Да какже, мужикъ. А тутъ дамы, и Марья Васильевна.

Леон. Фед. Ну, и прекрасно.

Фед. Иван. Да еще я хотѣлъ вамъ доложить: Тимофеей, ку-

черъ, приходилъ жаловаться, что нельзя ему чистоту соблудности отъ собакъ.

Леон. Фед. (*устанавливая предметы на столъ, разстѣянно*). Какъ ихъ собакъ?

Фед. Иван. Да Василью Леонидычу нынче борзыхъ привели тройку, въ кучерскую помѣстили.

Леон. Фед. (*досадливо*). Скажи Аннѣ Павловнѣ, какъ она хочетъ, а мнѣ и некогда.

Фед. Иван. Да вѣдь вы знаете ихъ пристрастіе..

Леон. Фед. Ну, какъ хочетъ она, такъ и дѣлаетъ. А отъ него мнѣ кромѣ непріятностей... да и некогда.

ЯВЛЕНИЕ 12-е.

Тѣ же и Семень (*въ поддежкѣ, входитъ, улыбается*).

Сем. Приказали притти?

Леон. Фед. Да, да. Покажи руки. Ну, и прекрасно, прекрасно. Такъ вотъ, дружокъ, ты такъ же дѣлай, какъ давеча, садись и отдавайся чувству. А самъ ничего не думай.

Сем. Чего-жъ думать? Что думать, то хуже.

Леон. Фед. Вотъ, вотъ, вотъ. Чѣмъ менѣе сознательно, тѣмъ сильнѣе. Не думай, а отдавайся настроенію: хочется спать—спи, хочется ходить—ходи; понимаешь?

Сем. Какъ не понять? Хитрости тутъ нисколько.

Леон. Фед. И главное—не смущайся. А то ты самъ можешь удивиться. Ты пойми, что какъ мы живемъ, такъ невидимый міръ духовъ тутъ же живетъ.

Фед. Иван. (*поправляя*). Незримыя существа, понимаешь?

Сем. (*смѣется*). Какъ не понять? Какъ вы сказывали, такъ это очень просто.

Леон. Фед. Можешь подняться на воздухъ, или еще что-нибудь, то ты не робѣй.

Сем. Чего-жъ робѣть? Это все можно.

Леон. Фед. Ну, такъ я пойду, позову всѣхъ. Все готово?

Фед. Иван. Кажется, все.

Леон. Фед. А грифельныя доски?

Фед. Иван. Внизу, сейчасъ принесу. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 13-е.

Леонидъ Федоровичъ и Семень.

Леон. Фед. Ну, такъ хорошо. Такъ ты не смущайся и будь свободнѣе.

Сем. Нешто поддевку снять: оно слободнѣе будетъ.

Леон. Фед. Поддевку?—нѣтъ, нѣтъ, не надо. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 14-е.

Семень одинъ.

Сем. Опять тоже велѣла дѣлать, а она опять будетъ свое швырять. И какъ она не боится?

ЯВЛЕНИЕ 15-е.

Семень и Таня *входитъ безъ ботинокъ въ платье цвѣта обой. Семень хохочетъ.*

Таня (*шикаетъ*). Шш!... Услышать! Вотъ на пальцы спички наклей, какъ давеча. (*Наклеиваетъ.*) Что же, все помнишь?

Сем. (*запывая пальцы*). Перво-наперво спички намочить. Махать—разъ. Другое дѣло—зубами трещать, вотъ такъ...—два. Вотъ третье забылъ.

Таня. А третье-то пуще всего. Ты помни: какъ бумага на столъ падетъ,—я еще въ колокольчикъ позвоню,—такъ ты сейчасъ же руками вотъ такъ... Разведи шире и захватывай. Кто возлѣ сидитъ, того и захватывай. А какъ захватишь, такъ жми. (*Хохочетъ.*) Баринъ ли, барыня ли, знай—жми, все жми, да и не выпускай, какъ будто во снѣ, а зубами скрипи, али рычи, вотъ такъ... (*Рычитъ.*) А какъ я на гитарѣ заиграю, такъ какъ будто просыпайся, потянись, знаешь, такъ, и проснись... Все помнишь?

Сем. Все помню, только смѣшно больно.

Таня. А ты не смѣйся. А засмѣешься—это еще не бѣда. Они подумаютъ, что во снѣ. Одно только, взаправду не загни, какъ они свѣтъ-то потушать.

Сем. Небось, я себя за уши щипать буду.

Таня. Такъ ты смотри, Семочка, голубчикъ. Только дѣлай

все, не робѣй. Подпишетъ бумагу. Вотъ увидишь. Идутъ...
(*Лѣзетъ подъ диванъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 16-е.

Семень и Таня. *Входятъ* Гросманъ, Профессоръ, Леонидъ Ѳедоровичъ, Толстая барыня, Докторъ, Сахатовъ, Барыня. Семень *стоитъ у двери.*

Леон. Ѳед. Милости просимъ, всѣ невѣрующіе! Несмотря на то, что медіумъ новый, случайный, я нынче жду очень знаменательныхъ проявленій.

Сахат. Очень, очень интересно.

Толст. бар. (*на Семена*). Mais il est très bien.

Барыня. Какъ буфетный мужикъ, да, но только...

Сахат. Жены всегда не вѣрятъ въ дѣло своихъ мужей. Вы совсѣмъ не допускаете?

Барыня. Разумѣется, нѣтъ. Въ Капчицѣ, правда, есть что-то особенное, но ужъ это Богъ знаетъ что такое!

Толст. бар. Нѣтъ, позвольте, Анна Павловна, это нельзя такъ рѣшать. Когда еще я была не замужемъ видѣла одинъ замѣчательный сонъ. Сны, знаете, бываютъ такіе, что вы не знаете, когда начинается, когда кончается; такъ я видѣла именно такой сонъ...

ЯВЛЕНИЕ 17-е.

Тѣ же. Василій Леонидычъ и Петрищевъ *входятъ.*

Толст. бар. И мнѣ многое было открыто этимъ сномъ. Нынче ужъ эти молодые люди (*Указываетъ на Петрищева и на Василья Леонидыча*) все отрицаютъ.

Вас. Леон. А я никогда, я вамъ скажу, ничего не отрицаю. А, что?

ЯВЛЕНИЕ 18-е.

Тѣ же. *Входятъ* Бетси и Марья Константиновна и *вступаютъ въ разговоръ съ Петрищевымъ.*

Толст. бар. А какже можно отрицать сверхъестественное? Говорятъ: не согласно съ разумомъ. Да разумъ-то можетъ быть глупый, тогда что? Вѣдь вотъ на Садовой,—вы слыша-

ли?—каждый вечеръ являлось. Братъ моего мужа,—какъ это называется?... не beau-frère, а по-русски,—не свекоръ, а еще какъ-то? Я никогда не могу запомнить этихъ русскихъ названій,—такъ онъ ѣздилъ три noci сряду и все-таки ничего не видалъ, такъ я и говорю...

Леон. Ѳед. Такъ кто же да кто остается?

Толст. бар. Я, я!

Сахат. Я!

Барыня (къ доктору). Неужели вы остаетесь?

Донт. Да, надо хоть разъ посмотрѣть, что тутъ Алексѣй Владиміровичъ находить. Отрицать бездоказательно тоже нельзя.

Барыня. Такъ рѣшительно принять нынче вечеромъ?

Донт. Кого принять?... Ахъ да, порошокъ. Да, примите, пожалуйста. Да, да, примите. Да я зайду.

Барыня. Да, пожалуйста. (*Громко*) Когда кончите, messieurs et mesdames, милости просимъ ко мнѣ отдохнуть отъ эмоцій, да и винтъ докончимъ.

Толст. бар. Непремѣнно.

Сахат. Да, да! (*Барыня уходитъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 19-е.

Тѣ же, безъ Барыни.

Бетси (*Петрищеву*). Я вамъ говорю, оставайтесь. Я вамъ общаю необыкновенныя вещи. Хотите пари?

Мар. Конст. Да развѣ вы вѣрите?

Бетси. Нынче вѣрю.

Мар. Конст. (*Петрищеву*). А вы вѣрите?

Петрищ. „Не вѣрю, не вѣрю обѣтамъ коварнымъ“. Ну да, если Елизавета Леонидовна велить...

Вас. Леон. Останемся, Марья Константиновна. А, что? Я что-нибудь такое ёрѣтанъ придумаю.

Мар. Конст. Нѣтъ, вы не смѣшите. Я вѣдь не могу удержаться.

Вас. Леон. (*громко*). Я—остаюсь!

Леон. Ѳед. (*строко*). Прошу только тѣхъ, кто остается, не дѣлать изъ этого шутки. Это дѣло серьезное.

Петрищ. Слышишь? Ну, такъ останемся. Вово, садись сюда, да смотри, не робѣй.

Бетси. Да, вы смѣтаетесь, а вотъ увидите что будетъ.

Вас. Леон. А что какъ въ самомъ дѣлѣ? Вотъ штука-то будетъ! А, что?

Петрищ. *(дрожитъ)*. Ой, боюсь, боюсь. Марья Константиновна, боюсь!... дрожки ножать.

Бетси *(смѣется)*. Тише!

(Всѣ садятся.)

Леон. Фед. Садитесь, садитесь. Садись, Семень!

Сем. Слушаю-сь. *(Садится на край стула.)*

Леон. Фед. Садись хорошенько.

Проф. Садитесь правильно на середину стула, совершенно свободно. *(Усаживаетъ Семена.)*

(Бетси, Марья Константиновна и Василій Леонидычъ хотятъ.)

Леон. Фед. *(возвышая голосъ)*. Прошу тѣхъ, кто остается, не шалить и относиться къ дѣлу серьезно. Могутъ быть дурныя послѣдствія. Вово, слышишь? Если не будешь сидѣть смирно, уйди.

Вас. Леон. Смирно! *(Прячется за спину Толстой барыни.)*

Леон. Фед. Алексѣй Владиміровичъ, вы усыпите.

Проф. Нѣтъ, зачѣмъ же я, когда Антонъ Борисовичъ тутъ? У него гораздо больше и практики въ этомъ отношеніи, и силы. Антонъ Борисовичъ!

Гросм. Господа! я собственно не спирить. Я только изучалъ гипнозъ. Гипнозъ я изучалъ, правда, во всѣхъ его извѣстныхъ проявленіяхъ. Но то, что называется спиритизмомъ, мнѣ совершенно неизвѣстно. Отъ усыпленія субъекта я могу ожидать извѣстныхъ мнѣ явленій гипноза: летаргіи, абуніи, анестезіи, аналгезіи, каталепсіи и всякаго рода внушеній. Здѣсь же предполагаются къ изслѣдованью не эти, а другія явленія, и потому желательно бы было знать, какого рода эти ожидаемыя явленія и какое они имѣютъ научное значеніе.

Сахат. Вполнѣ присоединяюсь къ мнѣнію г-на Гросмана. Такое разъясненіе было бы очень и очень интересно.

Леон. Фед. *(къ Профессору)*. Я думаю, Алексѣй Владиміровичъ, вы не откажетесь объяснить вкратцѣ.

Проф. Отчего-жъ, я могу объяснить, если этого желаютъ. (*Къ Доктору*) А вы, пожалуйста, измѣрьте температуру и пульсъ. Объясненіе мое будетъ, неизбѣжно, поверхностно и кратко.

Леон. Геод. Да, вкратцѣ, вкратцѣ...

Докт. Сейчасъ. (*Вынимаетъ термометръ и подаетъ.*) Ну-ка, молодецъ!... (*Устанавливаетъ.*)

Сем. Слушаю-съ.

Проф. (*вставая и обращаясь къ Толст. барынь, а потомъ садясь*). Господа! Явленіе, которое мы изслѣдуемъ, представляется обыкновенно съ одной стороны какъ нѣчто новое, съ другой стороны какъ нѣчто выходящее изъ ряда естественныхъ условій. Ни то, ни другое не справедливо. Явленіе это не ново, а старо какъ міръ, и не сверхъестественно, а подлежитъ все тѣмъ же вѣчнымъ законамъ, которымъ подлежитъ и все существующее. Явленіе это опредѣлялось обыкновенно какъ общеніе съ міромъ духовнымъ. Опредѣленіе это не точно. По опредѣленію этому, міръ духовный противоположается міру матеріальному, но это несправедливо: противоположенія этого нѣтъ. Оба міра такъ тѣсно соприкасаются, что нѣтъ никакой возможности провести демаркаціонную линію, отдѣляющую одинъ міръ отъ другаго. Мы говоримъ: матерія слагается изъ молекулъ...

Петрищ. Скучная матерія! (*Шепотъ, хохотъ.*)

Проф. (*остановившись и потомъ продолжая*). Молекулы—изъ атомовъ, но атомы, не имѣя протяженія, суть въ сущности не что иное, какъ точки приложенія силъ. То-есть, строго говоря, не силъ, а энергій,—той самой энергій, которая такъ же едина и неуничтожима, какъ и матерія. Но какъ матерія одна, а виды ея различны, такъ точно и энергія. До послѣдняго времени намъ были извѣстны только четыре, превращающіеся одинъ въ другой, вида энергій. Намъ извѣстны энергіи: динамическая, термическая, электрическая и химическая. Но четыре вида энергій далеко не исчерпываютъ всего разнообразія ея проявленій. Виды проявленія энергій многообразны, и одинъ изъ такихъ новыхъ, мало-извѣстныхъ видовъ энергій и изслѣдуется нами. Я говорю объ энергій медиумизма.

(*Опять шепотъ и хохотъ въ улу молодежи.*)

Проф. (*останавливается и, строго оглянувшись, продолжает*). Медіумическая энергія извѣстна человѣчеству давнымъ-давно: предсказанія, предчувствія, видѣнья и многія другія— все это ничто иное, какъ проявленія медіумической энергіи. Явленія, производимыя ею, извѣстны давнымъ-давно. Но самая энергія не признавалась таковою до самаго послѣдняго времени, до тѣхъ поръ, пока не было признано той среды, колебанія которой и производятъ медіумическія явленія. И точно такъ же, какъ явленія свѣта были необъяснимы до тѣхъ поръ, пока не было признано существованіе невѣсимаго вещества, эѳира,—точно также и медіумическія явленія казались таинственными до тѣхъ поръ, пока не была признана та, несомнѣнная теперь, истина, что въ промежуткахъ частицъ эѳира находится другое, еще болѣе тонкое, чѣмъ эѳиръ, невѣсимое вещество, не подлежащее закону трехъ измѣреній...

(*Опять шепотъ, хохотъ и повизгиваніе.*)

Проф. (*опять оглядывается строго*). И точно такъ же, какъ математическія вычисленія подтвердили неопровержимо существованіе невѣсимаго эѳира, дающаго явленія свѣта и электричества, точно такъ же блестящій рядъ самыхъ точныхъ опытовъ гениальнаго Германа, Шмита и Іосифа Шмацфена несомнѣнно подтвердили существованіе того вещества, которое наполняетъ вселенную и можетъ быть названо духовнымъ эѳиромъ.

Толст. бар. Да, теперь я понимаю. Какъ я благодарна...

Леон. Оед. Да; но нельзя ли, Алексѣй Владиміровичъ, нѣсколько... сократить?

Проф. (*не отъходя*). Итакъ, рядъ строго-научныхъ опытовъ и изслѣдованій, какъ я имѣлъ честь сообщить вамъ, выяснили намъ законы медіумическихъ явленій. Опыты эти выяснили намъ то, что погруженіе нѣкоторыхъ личностей въ гипнотическое состояніе, отличающееся отъ обыкновеннаго сна только тѣмъ, что при погруженіи въ этотъ сонъ дѣятельность физиологическая не только не понижается, но всегда повышается, какъ это мы сейчасъ видѣли,—оказалось, что погруженіе въ это состояніе какого бы то ни было субъекта неизмѣнно влечетъ за собой нѣкоторыя пертурбаціи въ

духовномъ эеирѣ,—пертурбаціи, совершенно подобныя тѣмъ, которыя производитъ погруженіе твердаго тѣла въ жидкое. Пертурбаціи же эти и суть то, что мы называемъ медиумическими явленіями...

(*Хохотъ, шепотъ.*)

Сахат. Это совершенно справедливо и понятно; но позвольте спросить: если, какъ вы изволите говорить, погруженіе медиума въ сонъ производитъ пертурбаціи духовнаго эеира, то почему же эти пертурбаціи выражаются всегда, какъ это подразумевается обыкновенно въ спиритическихъ сеансахъ, проявленіемъ дѣятельности душъ умершихъ личностей?

Проф. А потому, что частицы этого духовнаго эеира суть не что иное какъ души живыхъ, умершихъ и не родившихся, такъ что всякое сотрясеніе этого духовнаго эеира неизбѣжно вызываетъ извѣстное движеніе его частицъ. Частицы же эти суть не что иное, какъ души людей, входящія этимъ движеніемъ въ общеніе между собою.

Толст. бар. (*къ Сахатову*). Что же тутъ не понимать? Это такъ просто... Очень, очень благодарю васъ!

Леон. Фед. Мнѣ кажется, что теперь все ясно, и мы можемъ приступить.

Донт. Малый въ самыхъ нормальныхъ условіяхъ: температура 37 и 2, пульсъ 74.

Проф. (*вынимаетъ книжку и записываетъ*). Подтвержденіемъ того, что я имѣлъ честь сообщить, можетъ служить то, что погруженіе медиума въ сонъ неизбѣжно, какъ мы сейчасъ и увидимъ, вызоветъ подъемъ температуры и пульса, точно такъ же, какъ и при гипнозѣ.

Леон. Фед. Да, да, виновать, я только хотѣлъ сказать Сергѣю Иванычу на то, что онъ спрашивалъ: почему мы узнаемъ, что съ нами общаются души умершихъ?—Мы узнаемъ это потому, что тотъ духъ, который приходитъ, прямо намъ говорить,—просто, какъ я говорю,—говорить намъ, кто онъ и зачѣмъ пришелъ, и гдѣ онъ, и хорошо ли ему? Послѣдній сеансъ былъ испанецъ Донъ Кастильосъ, и онъ все сказалъ намъ. Онъ сказалъ намъ, кто онъ, и когда умеръ, и то, что ему тяжело за то, что онъ участвовалъ въ инквизиціи. Мало того, онъ сообщилъ намъ то, что съ нимъ случилось въ то

самое время, какъ онъ говорилъ съ нами, а именно то, что въ то самое время, какъ онъ говорилъ съ нами, онъ долженъ былъ вновь рождаться на землю и потому не могъ докончить начатаго съ нами разговора. Да вотъ вы сами увидите...

Толст. бар. (*перебивая*). Ахъ, какъ интересно! Можетъ-быть испанецъ у насъ въ домѣ родился и маленькій теперь.

Леон. Фед. Очень можетъ быть.

Проф. Я думаю—пора бы начинать.

Леон. Фед. Я только хотѣлъ сказать...

Проф. Поздно ужъ.

Леон. Фед. Ну, хорошо. Такъ можемъ приступить. Пожалуйста, Антонъ Борисовичъ, усыпите медиума...

Гросм. Какъ вы желаете, чтобъ я усыпилъ субъектъ? Есть много употребительныхъ приемовъ. Есть способъ Бреда, есть египетскій символъ, есть способъ Шарко.

Леон. Фед. (*къ Профессору*). Это все равно, я думаю.

Проф. Безразлично.

Гросм. Такъ я употреблю свой способъ, который я демонстрировалъ въ Одессѣ.

Леон. Фед. Пожалуйста!

(*Гросманъ машетъ руками надъ Семеномъ.—Семенъ закрываетъ глаза и потягивается.*)

Гросм. (*приглядывается*). Засыпаетъ, заснулъ. Замѣчательно быстрое наступленіе гипноза. Очевидно, субъектъ уже вступилъ въ анестетическое состояніе. Замѣчательно, необыкновенно воспримчивый субъектъ и могъ бы быть подвергнутъ интереснымъ опытамъ!... (*Садится, встаетъ, опять садится.*) Теперь можно бы проколоть ему руки. Если желаете...

Проф. (*къ Леониду Федоровичу*). Замѣчаете, какъ сонъ медиума дѣйствуетъ на Гросмана? Онъ начинаетъ вибрировать.

Леон. Фед. Да, да. Теперь можно тушить?

Сахат. Но почему же нужна темнота?

Проф. Темнота?—А потому, что темнота есть одно изъ условий, при которыхъ проявляется медиумическая энергія, такъ какъ извѣстная температура есть условіе извѣстныхъ проявленій химической или динамической энергіи.

Леон. Фед. И не всегда. Многимъ, и мнѣ, являлись и при свѣчахъ, и при солнцѣ.

Проф. (*перебивая*). Можно тушить?

Леон. Өед. Да, да. (*Тушитъ свѣчи.*) Господа! теперь прошу вниманья.

(*Таня вымъзаетъ изъ-подъ дивана и беретъ въ руки нитку, привязанную къ бра.*)

Петрищ. Нѣтъ, мнѣ понравился испанецъ. Какъ онъ, въ срединѣ разговора, внизъ головой... что называется: *piquer une tête*.

Бетси. Нѣтъ, вы подождите, посмотрите, что́ будетъ!

Петрищ. Я одного боюсь, какъ бы Вово не захрюкалъ поросенкомъ.

Вас. Леон. Хотите? Я хвачу...

Леон. Өед. Господа! прошу не разговаривать, пожалуйста...

(*Тишина.— Семенъ мжеть палецъ, мажетъ имъ косточки на руку и машетъ ими.*)

Леон. Өед. Свѣтъ! Видите свѣтъ?

Сахат. Свѣтъ! Да, да, вижу; но позвольте...

Толст. бар. Гдѣ, гдѣ? Ахъ, не видала! Вотъ онъ. Ахъ!...

Проф. (*къ Леон. Өед. шепотомъ, указывая на Гросмана, который двгается*). Вы замѣтьте, какъ онъ вибрируетъ. Двойная сила. (*Опять показывается свѣтъ.*)

Леон. Өед. (*къ Профессору*). А вѣдь это онъ.

Сахат. Кто онъ?

Леон. Өед. Грекъ Николай. Его свѣтъ. Не правда ли, Алексѣй Владиміровичъ?

Сахат. Что такое грекъ Николай?

Проф. Нѣкій грекъ, монашествовавшій при Константинѣ въ Царьградѣ и посѣщавшій насъ послѣднее время.

Толст. бар. Гдѣ же онъ? Гдѣ же онъ? Я не вижу.

Леон. Өед. Его нельзя еще видѣть. Алексѣй Владиміровичъ, онъ всегда особенно благосклоненъ къ вамъ. Спросите его.

Проф. (*особеннымъ голосомъ*). Николай! ты это?

(*Таня стучитъ два раза о стѣну.*)

Леон. Өед. (*радостно*). Онъ! Онъ!

Толст. бар. Ай, ай! Я уйду.

Сахат. Почему же предполагается, что это онъ?

Леон. Өед. А два удара. Утвердительный отвѣтъ: иначе было бы молчаніе.

(Молчаніе. Сдержанный хохотъ въ улу молодежи.— Таня бросаетъ на столъ колпакъ съ лампы, карандашъ, утиралку перьевъ.)

Леон. Ѳед. *(шепотомъ)*. Замѣчайте, господа, вотъ колпакъ съ лампы. Еще что-то. Карандашъ! Алексѣй Владиміровичъ, карандашъ.

Проф. Хорошо, хорошо. Я слѣжу и за нимъ, и за Гросманомъ. Вы замѣчаете?

(Гросманъ встаетъ и оглядываетъ предметы, упавшіе на столъ.)

Сахат. Позвольте, позвольте! Я бы желалъ посмотрѣть, не производить ли всего этого самъ медіумъ?

Леон. Ѳед. Вы думаете? Такъ сядьте подлѣ, держите его за руки. Но будьте увѣрены, онъ спитъ.

Сахат. *(подходитъ, задѣваетъ головой за нитку, которую спускаетъ Таня, и испуганно нагибается)*. Да...а-а!... Странно, странно. *(Подходитъ, беретъ за локоть Семена. Семенъ рычитъ)*.

Проф. *(къ Леониду Ѳедор.)*. Слышите, какъ дѣйствуетъ присутствіе Гросмана? Новое явленіе, надо записать... *(Выбѣгаетъ и записываетъ, потомъ возвращается.)*

Леон. Ѳед. Да... Но нельзя же оставлять Николая безъ отвѣта, надо начинать...

Гросм. *(встаетъ, подходитъ къ Семену, поднимаетъ и опускаетъ его руку)*. Теперь интересно бы произвести контрактуру. Субъектъ въ полномъ гипнозѣ.

Проф. *(къ Леон. Ѳедор.)*. Вы видите, видите?

Гросм. Если вы желаете...

Докт. Да ужъ позвольте, батюшка, Алексѣю Владиміровичу распорядиться, штука-то выходитъ серьезная.

Проф. Оставьте его. Онъ говорить уже во снѣ.

Толст. бар. Какъ я рада теперь, что рѣшилась присутствовать. Страшно, но все-таки я рада, потому что я мужу всегда говорила...

Леон. Ѳед. Прошу помолчать.

(Таня проводитъ ниткой по головѣ Толстой барыни.)

Толст. бар. Ай!

Леон. Ѳед. Что? Что?

Толст. бар. Онъ меня за волосы взялъ.

Леон. Өед. (*шепотомъ*). Не бойтесь, ничего, подайте ему руку. Рука бываетъ холодная, но я это люблю.

Толст. бар. (*прячетъ руки*). Ни за что!

Сахат. Да, странно, странно!

Леон. Өед. Онъ здѣсь и ищетъ общенія. Кто хочетъ спросить что-нибудь?

Сахат. Позвольте я спрошу.

Проф. Сдѣлайте одолженіе.

Сахат. Вѣрю я, или нѣтъ?

(*Таня стучитъ два раза.*)

Проф. Отвѣтъ утвердительный.

Сахат. Позвольте, я еще спрошу. Есть у меня въ карманѣ десяти-рублевая бумажка?

(*Таня стучитъ много разъ и проводитъ ниткой по головѣ Сахатова.*)

Сахат. Ахъ!... (*Хватаетъ нитку и обрываетъ ее.*)

Проф. Я бы просилъ присутствующихъ не дѣлать неопредѣленныхъ или шутивыхъ вопросовъ. Ему неприятно.

Сахат. Нѣтъ, позвольте, у меня въ рукѣ нитка.

Леон. Өед. Нитка? Держите ее. Это часто бываетъ; не только нитка, но шелковые снурки, самые древніе.

Сахат. Нѣтъ, однако, откуда же нитка?

(*Таня бросаетъ въ него подушкой.*)

Сахат. Позвольте, позвольте! Что-то мягкое ударило меня въ голову. Позвольте свѣтъ,—тутъ что-нибудь...

Проф. Мы просимъ васъ не нарушать проявленія.

Толст. бар. Ради Бога, не нарушайте! И я хочу спросить, можно?

Леон. Өед. Можно, можно. Спрашивайте.

Толст. бар. Я хочу спросить о своемъ желудкѣ. Можно? Я хочу спросить, что мнѣ принимать, аконить или белладону?

(*Молчаніе, шепотъ въ сторонѣ молодыхъ людей и вдругъ Василій Леонидычъ кричитъ, какъ грудной ребенокъ: уа! уа!—Хохотъ. Захватывая носы и рта и фыркая, дѣвицы съ Петрищевымъ убѣгаютъ.*)

Толст. бар. Ахъ это вѣрно и этотъ монахъ опять родился!

Леон. Өед. (*въ бѣшенствѣ, инѣннымъ шепотомъ*). Кромѣ глу-

пости отъ тебя ничего! Если не умѣешь держать себя прилично, то уйди.

(Василій Леонидычъ уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 20-е.

Леонидъ Федоровичъ, Профессоръ, Толстая барыня, Сахатовъ, Гросманъ, Докторъ, Семень и Таня. *Темнота, молчаніе.*

Толст. бар. Ахъ, какъ жалъ! Теперь ужъ нельзя спрашивать. Онъ родился.

Леон. Фед. Нисколько. Это глупости Вово. А онъ тутъ. Спрашивайте.

Проф. Это часто бываетъ; эти шутки, насмѣшки — самое обыкновенное явленіе. Я полагаю, что онъ здѣсь еще. Впрочемъ мы можемъ спросить. Леонидъ Федоровичъ, вы?

Леон. Фед. Нѣтъ, пожалуйста, вы. Меня это разстроило. Такъ непріятно! Эта безтактность!...

Проф. Хорошо, хорошо! Николай! ты здѣсь еще?

(Таня стучитъ два раза и звонитъ въ колокольчикъ. — Семень начинаетъ рычать и разводитъ руками. Захватываетъ Сахатова и Профессора и давитъ ихъ.)

Проф. Какое неожиданное проявленіе! Воздѣйствіе на самого медиума. Этого не бывало. Леонидъ Федоровичъ, наблюдайте, мнѣ неловко. Онъ давитъ меня. Да смотрите, что Гросманъ? Теперь нужно полное вниманіе.

(Таня бросаетъ мужицкую бумагу на столъ.)

Леон. Фед. Что-то упало на столъ.

Проф. Смотрите, что упало.

Леон. Фед. Бумага! Сложенный листъ бумаги.

(Таня бросаетъ дорожную чернильницу.)

Леон. Фед. Чернильница!

(Таня бросаетъ перо.)

Леон. Фед. Перо!

(Семень рычитъ и давитъ.)

Проф. *(задавленный)*. Позвольте, позвольте, совершенно новое явленіе; не вызванная медиумическая энергія дѣйствуетъ, а самъ медиумъ. Однако откройте чернильницу и положите на бумагу перо, онъ напишетъ, напишетъ.

(Таня заходитъ сзади Леонида Федоровича и бьетъ его по юлову итарой.)

Леон. Фед. Ударилъ меня по головѣ! *(Смотритъ на столъ.)*
Перо не пишетъ еще, и бумага сложена.

Проф. Посмотрите, что за бумага, дѣлайте скорѣй; очевидно двойная сила: его и Гросмана—производить пертурбаціи.

Леон. Фед. *(выходитъ съ бумагой въ дверь и тотчасъ возвращается.)* Необычайно! Бумага эта—договоръ съ крестьянами, который я нынче утромъ отказался подписать и отдалъ назадъ крестьянамъ. Вѣроятно онъ хочетъ, чтобъ я подписалъ его?

Проф. Разумѣется! Разумѣется! Да вы спросите.

Леон. Фед. Николай! Или ты желаешь...

(Таня стучитъ два раза.)

Проф. Слышите? Очевидно, очевидно!

(Леонидъ Федоровичъ беретъ перо и выходитъ.— Таня стучитъ, играетъ на итарѣ и гармоніи и мѣзетъ опять подъ диванъ.— Леонидъ Федоровичъ возвращается.— Семенъ потягивается и прокашливается.)

Леон. Фед. Онъ просыпается. Можно зажечь свѣчи.

Проф. *(поспѣшно).* Докторъ, докторъ, пожалуйста, температуру и пульсъ. Вы увидите, что сейчасъ обнаружится повышение.

Леон. Фед. *(зажигаетъ свѣчи).* Ну что, господа невѣрующіе?

Докт. *(подходя къ Семену и вставляя термометръ).* Ну-ка, молодецъ. Что, поспалъ? Ну-ка это вставъ и давай руку. *(Смотритъ на часы.)*

Сахат. *(пожимаетъ плечами).* Могу утверждать, что медіумъ не могъ дѣлать всего того, что происходило. Но нитка?... Я бы желалъ объясненія нитки.

Леон. Фед. Нитка, нитка! Тутъ были явленія посерьезнѣе.

Сахат. Не знаю. Во всякомъ случаѣ—je réserve mon opinion.

Толст. бар. *(къ Сахатову).* Нѣтъ, какже вы говорите: je réserve mon opinion. А младенецъ-то съ крылышками? Развѣ вы не видали? Я сначала подумала, что это кажется; но потомъ ясно, ясно, какъ живой...

Сахат. Могу говорить только о томъ, что видѣлъ. Я не видалъ этого, не видалъ.

Толст. бар. Ну какже! Совсѣмъ ясно было видно. А съ лѣвой стороны монахъ въ черномъ одѣяннѣ еще нагнулся къ нему...

Сахат. *(отходитъ).* Какое преувеличеніе!

Толст. бар. *(обращается къ доктору).* Вы должны были видѣть. Онъ съ вашей стороны поднимался.

(Докторъ, не слушая ея, продолжаетъ считать пульсъ.)

Толст. бар. *(къ Гросману).* И свѣтъ, свѣтъ отъ него, особенно вокругъ личика. И выраженіе такое кроткое, нѣжное, что-то вотъ этакое небесное! *(Сама нѣжно улыбается.)*

Гросм. Я видѣлъ свѣтъ фосфорическій, предметы измѣняли мѣсто, но болѣе я ничего не видѣлъ.

Толст. бар. Ну, полноте! Это вы такъ. Это оттого, что вы, ученые школы Шарко, не вѣрите въ загробную жизнь. А меня никто теперь, никто въ мірѣ не разуверитъ въ будущей жизни.

(Гросманъ уходитъ отъ нея.)

Толст. бар. Нѣтъ, нѣтъ, что ни говорите, а это одна изъ самыхъ счастливыхъ минутъ моей жизни. Когда Саразате игралъ, и эта... Да! *(Никто ее не слушаетъ. Она подходитъ къ Семену.)* Ну, ты мнѣ скажи, ты, дружокъ, что чувствовалъ? Очень тебѣ было тяжело?

Сем. *(смыется).* Такъ точно.

Толст. бар. Все-таки терпѣть можно?

Сем. Такъ точно. *(Къ Леониду Федоровичу)* Прикажете итти?

Леон. Фед. Иди, иди.

Докт. *(Профессору).* Пульсъ тотъ же, но температура понизилась.

Проф. Понизилась? *(Задумывается и вдругъ догадывается.)* Такъ и должно было быть,—должно было быть пониженіе! Двойная энергія, пересѣкаясь, должна была произвести нѣчто вроде интерференціи. Да, да.

Леон. Фед. Мнѣ одно жалко, что полной матеріализаціи не было. Но все-таки... господа, милости просимъ въ гостиную.

Толст. бар. Особенно меня поразило, когда онъ взмахнулъ крылышками и видно было, какъ онъ поднимается.

Гросм. *(Сахатову).* Еслибы держаться одного гипноза, можно бы произвести полную эпилепсію. Успѣхъ могъ бы быть совершенный.

Сахат. Интересно, но не вполне убѣдительно!—все, что могу сказать.

Говоритъ съ вѣстимъ, угода.

ЯВЛЕНИЕ 21-е.

Леонидъ Федоровичъ съ бумагой. Входитъ Федоръ Ивановичъ.

Леон. Фед. Ну, Федоръ, какой сеансъ былъ—удивительный! Оказывается, что землю-то надо уступить крестьянамъ на ихъ условіяхъ.

Фед. Иван. Вотъ какъ!

Леон. Фед. Да какъ же? (*Показываетъ бумагу.*) Представь, бумага, которую я имъ отдалъ, оказалась на столѣ. Я подписалъ.

Фед. Иван. Какъ же она попала сюда?

Леон. Фед. Да вотъ попала. (*Уходитъ.*)

(Федоръ Ивановичъ уходитъ за нимъ.)

ЯВЛЕНИЕ 22-е.

Таня одна, вымъзаетъ изъ-подъ дивана и смѣется.

Таня. Батюшки мои! Голубчики! Набралась я страху, какъ онъ за нитку поймалъ. (*Визжитъ.*) Ну, да все-таки вышло,—подписалъ!

ЯВЛЕНИЕ 23-е.

Таня и Григорій.

Григ. Такъ это ты ихъ дурачила?

Таня. А вамъ что?

Григ. А что-жъ, думаешь, барыня за это похвалить? Нѣтъ, шалишь, теперь попалась. Расскажу твои плутни, коли помоему не сдѣлаешь.

Таня. И по вашему не сдѣлаю, и ничего вы мнѣ не сдѣлаете.

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ IV.

Театръ представляетъ декорацію 1-го дѣйствія.

ЯВЛЕНИЕ 1-е.

Два выѣздныхъ Лакея въ мундирѣхъ, Федоръ Ивановичъ и Григорій.

1-й лакей (*съ судыми бакенбардами*). Нынче къ вамъ къ третьимъ. Спасибо, въ одной сторонѣ пріемные дни. У васъ прежде по четвергамъ было.

Фед. Иван. Затѣмъ перемѣнили на субботу, чтобы за одно: у Головкиныхъ, у Граде-фонъ-Грабе...

2-й лакей. У Щербаковыхъ такъ то хорошо, что какъ балъ, такъ лакеямъ угощеніе.

ЯВЛЕНІЕ 2-е.

Тѣ же. *Съ верху сходятъ Княгиня съ Княжной. Бетси провожаетъ ихъ. Княгиня глядитъ въ книжечку, на часы и садится на ларь.*

Григорій надѣваетъ ей ботики.

Княжна. Нѣтъ, ты пожалуйста пріѣзжай. А то ты откажешься, Додо откажется,—ничего и не выйдетъ.

Бетси. Не знаю. Къ Шубинымъ надо непременно. Потомъ репетиція.

Княжна. Успѣешь. Нѣтъ, ты пожалуйста. Ne vous fais pas faux bond. Одея будетъ и Коко.

Бетси. J'en ai par dessus la tête de votre Coco.

Княжна. Я думала, что я его здѣсь найду. Ordinairement il est d'une exactitude...

Бетси. Онъ непременно будетъ.

Княжна. Когда я его вижу съ тобой, мнѣ кажется, что онъ только-что сдѣлалъ, или вотъ сдѣлаетъ предложеніе.

Бетси. Да ужъ вѣроятно придется пройти черезъ это. И такъ непріятно!

Княжна. Бѣдный Коко! Онъ такъ влюбленъ.

Бетси. Cessez, les gens.

(Княжна садится на диванчикъ, разговаривая шепотомъ.—

Григорій надѣваетъ ей ботики.)

Княжна. Такъ до вечера.

Бетси. Постараюсь.

Княгиня. Такъ скажите папа, что я ничему не вѣрю, но пріѣду посмотрѣть его новаго медіума. Чтобы онъ далъ знать. Прощайте, ma toute belle. *(Цѣлуетъ и уходитъ съ княжной.)*

(Бетси уходитъ на верхъ.)

ЯВЛЕНІЕ 3-е.

Два Лакея, Федоръ Ивановичъ и Григорій.

Григ. Не люблю старухъ обувать: не перегнется никакъ, отъ живота не видитъ, тычетъ мимо все; то ли дѣло молоденькую—пріятно и ножку въ руки взять.

2-й лакей. Тоже разбираетъ!

1-й лакей. Нашему брату этого разбирать не полагается.

Григ. Отчего-жъ не разбирать, развѣ мы не люди? Это они думаютъ, что мы не понимаемъ; какъ сейчасъ разговорились, взглянули на меня, сейчасъ: ле жанъ.

2-й лакей. А это что-жъ?

Григ. А это значитъ по-русски: не говори, поймутъ. За обѣдомъ тоже; а я понимаю. Вы говорите: разница,— никакой нѣтъ.

1-й лакей. Разница большая, кто понимаетъ.

Григ. Разницы нѣтъ никакой. Нынче я лакей, а завтра, можетъ, и не хуже ихъ жить буду. И за лакеевъ замужъ выходить, развѣ не бывало? Пойти покурить. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 4-е.

Тѣ же, безъ Григорья.

2-й лакей. А смѣлый этотъ у васъ молодой человѣкъ.

Фед. Иван. Пустой малый, не способенъ къ службѣ; въ конторщикахъ былъ,—набаловался. Я и не совѣтовалъ брать, да баринъ понравился,—виденъ для выѣзда.

1-й лакей. Я бы его къ нашему графу, онъ бы его поставилъ въ точку. Охъ! не любить такихъ вертуновъ. Лакей, такъ будь лакей, званіе свое оправдай; а эта гордость не пристала.

ЯВЛЕНИЕ 5-е.

Тѣ же, съ верху сбываетъ Петрицевъ и достаетъ папирску. Навстрѣчу ему входитъ Коко Клингенъ въ *pinse-nez*.

Петрицевъ. (*Въ задумчивости.*) Да, да. Мое второе то же, что „ка“. Кар-тожь-ка. Мое все... Да, да... А, Кокоша-Картоша! Откуда?

Коко Клинг. Отъ Щербаковыхъ. Ты вѣчно глупости...

Петрищ. Нѣтъ, ты слушай, шарада: мое первое то же, что „кинъ“, мое второе то же, что „ка“, а мое все далеко гоняетъ телятъ.

Коко Клинг. Не знаю, не знаю. И некогда.

Петрищ. А куда тебѣ еще?

Коко Клинг. Какъ куда? Къ Ивинымъ, спѣвка, надо быть.

Потомъ къ Шубинымъ, потомъ на репетицію. Вѣдь и ты долженъ быть?

Петриц. Какже, непременно. И на рѣпетиціи, и на морковетиціи. Вѣдь то я былъ дикій, а теперь я и дикій, и генераль.

Коко Клинг. Ну, а сеансъ вчерашній что?

Петриц. Умора! Мужикъ былъ; но главное дѣло, — все въ темнотѣ. Вово младенцемъ пицалъ. Профессоръ объяснялъ, а Марья Васильевна разъясняла. Потѣха! Жаль, что ты не былъ.

Коко Клинг. Боюсь, mon cher; ты какъ-то это умѣешь шутками отдѣлываться, а мнѣ все кажется, что чуть скажу словечко, сейчасъ повернуть такъ, что я сдѣлалъ предложеніе. Et ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Mais du tout, du tout!

Петриц. А ты дѣлай предложеніе съ сказуемымъ, вотъ ничего и не будетъ. Такъ заходи къ Вово, вмѣстѣ поѣдемъ на рѣдъкотицію.

Коко Клинг. Не понимаю, какъ ты можешь водиться съ такимъ дуракомъ. Ужъ такъ глупъ, — вотъ ужъ истинно ша-лопай!

Петриц. А я его люблю. Люблю Вово, но — „странную любовь“, „къ нему не заростетъ народная тропа...“ (*Уходитъ въ комнату Василья Леонидыча.*)

ЯВЛЕНИЕ 6-е.

Два Лакея, Федоръ Ивановичъ и Коко Клингенъ. Бетси *проводжаетъ* Даму.

Коко значительно кланяется.

Бетси (*трясетъ ему руку бокомъ, къ Дамѣ*). Вы не знакомы? Дама. Нѣтъ.

Бетси. Баронъ Клингенъ. Что же вы вчера не были?

Коко Клинг. Никакъ не могъ, — не успѣлъ.

Бетси. Жаль, — очень было интересно. (*Смѣется.*) Вы бы увидели, какія были manifestations. Ну что же, наша шарада подвигается?

Коко Клинг. О, да! Стихи на mon second готовы, Никъ сочинилъ, а я музыку.

Бетси. Какъ же, какъ? Скажите.

Коко Клинг. Позвольте, какъ?... Да! Рыцарь поетъ Наннѣ
(Поетъ):

„Какъ прекрасна натура,
Льетъ на душу мнѣ надежду...“
Нанна, Нанна! на, на, на!“

Дама. Это mon second na, а mon premier что же?

Коко Клинг. Mon premier это Аре—имя дикарки.

Бетси. Аре, это видите, дикарка, которая хочетъ съѣсть предметъ своей любви... (Хохочетъ.) Она ходитъ, тоскуетъ и поетъ:

„Ахъ, аппетитъ
Коко (перебивая). „Меня мутитъ...
Бетси (подхватываетъ). „Кого-то ѣсть желаю.
„Хожу, брожу. .

Коко Клинг. „Не нахожу...

Бетси. „Кого жевать—не знаю...

Коко Клинг. „Вдали вотъ плоть

Бетси. „Сюда плыветъ;
„На немъ два генерала...

Коко Клинг. „Мы два генерала,
„Судьба насъ связала,
„На островъ послала.“

И опять refrain:

„Судьба насъ связала.
„На островъ посла-а-ла“.

Дама. Charmant!

Бетси. Вы поймите, какъ глупо!

Коко Клинг. Въ томъ-то и прелесть.

Дама. Кто же Аре?

Бетси. Я, я костюмъ сдѣлала, а мама говоритъ: „неприлично“. А нисколько не неприличнѣ чѣмъ на балѣ. (Къ Оедору Ивановичу) Что, здѣсь отъ Бурдые?

Оед. Иван. Здѣсь, на кухнѣ сидитъ.

Дама. Ну, а арена какже?

Бетси. Да вы увидите. Не хочу вамъ портить удовольствія.
Au revoir.

Дама. Прощайте! (Раскланиваются. Дама уходитъ.)

Бетси (къ Коко Клину.). Пойдемте къ папан.

(Бетси и Коко Клингъ уходятъ наверхъ.)

ЯВЛЕНИЕ 7-е.

Федоръ Ивановичъ, два Лакея и Яковъ (*выходитъ изъ буфета съ подносомъ, чаемъ, печеньемъ; запыхавшись, идетъ черезъ переднюю*).

Яковъ (*Лакеямъ*). Мое почтеніе, мое почтеніе!

(*Лакеи кланяются*.)

Яковъ (*Федору Ивановичу*). Хотъ бы вы приказали Григорью Михайлычу подсобить. Замучился на отдѣлку... (*Уходитъ*.)

ЯВЛЕНИЕ 8-е.

Тѣ же, безъ Якова.

1-й лакей. Старательный это у васъ человѣкъ.

Фед. Иван. Хорошій малый, да вотъ не нравится барынѣ,— не виденъ, говорить, изъ себя. А тутъ еще наклепали на него вчера, что онъ мужиковъ въ кухню пустилъ. Какъ бы не разочли! А малый хорошій.

2-й лакей. Какихъ мужиковъ?

Фед. Иван. Да пришли изъ нашей Курской деревни землю покупать; дѣло ночное, да и земляки. Одинъ буфетному мужику отецъ. Ну и провели ихъ въ кухню. А тутъ случись угадыванье мыслей; спрятали вещь въ кухню, пришли всѣ господа, увидала ихъ барыня — бѣда! Какъ, говорить, люди можетъ-быть зараженные, а ихъ въ кухню!... Очень она напугана заразой этой.

ЯВЛЕНИЕ 9-е.

Тѣ же и Григорій.

Фед. Иван. Пойдите, Григорій, подсобите Якову Ивановичу, а я здѣсь побуду одинъ. Одинъ не поспѣваетъ.

Григ. Не ловокъ, оттого и не поспѣваетъ. (*Уходитъ*.)

ЯВЛЕНИЕ 10-е.

Тѣ же, безъ Григорья.

1-й лакей. И что это за новая мода пошла нынче—эти заразы!... Такъ и ваша боится?

Фед. Иван. Пуще огня! У насъ тодько заботы теперь, что окуривать, обмывать, обрызгивать.

1-й лакей. То-то я слышу духъ такой тяжелый. (*Съ оживленіемъ*) Ни на что не похоже, какіе грѣхи съ этими заразами. Скверно совсѣмъ! Даже Бога забыли. Вотъ у нашего барина сестры, княгини Мосоловой, дочка умирала. Такъ что же? Ни отецъ, ни мать и въ комнату не вошли, такъ и не простились. А дочка плакала, звала проститься, — не вошли! Докторъ какую-то заразу нашелъ. А вѣдь ходили же за нею и горничная своя, и сидѣлка — и ничего, обѣ живы остались.

ЯВЛЕНІЕ 11-е.

Тѣ же, Василій Леонидычъ и Петрищевъ (*выходятъ изъ двери съ папиросками*).

Петрищ. Да пойдемъ же, я только Кокошу-Картошу захвачу.

Вас. Леон. Болванъ твой Кокоша! Я тебѣ скажу, терпѣть его не могу. Вотъ пустой-то малый, настоящій полотерь! Ничѣмъ не занять, только шляется. А, что?...

Петрищ. Ну, такъ погоди, все-таки я прощусь.

Вас. Леон. Ну, хорошо. Я пойду собакъ посмотрю, въ кучерскую. Кобель одинъ, такъ такъ золъ, что кучеръ говорить, чуть не съѣлъ его. А, что?

Петрищ. Кто кого съѣлъ? Неужели кучеръ съѣлъ кобеля?

Вас. Леон. Ну, ты вѣчно... (*Отвѣщается и уходитъ.*)

Петрищ. (*задумчиво*). Ма-кинъ-тожъ, каръ-тожъ-ка... Да, да. (*Идетъ на верхъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 12-е.

Два лакея, Федоръ Ивановичъ и Яковъ (*пробѣгаетъ черезъ сцену въ началѣ и концѣ явленія*).

Фед. Иван. (*Якову*). Чего еще?

Яковъ. Тартинокъ нѣтъ! Я говорилъ... (*Уходитъ.*)

2-й лакей. А вотъ еще у насъ барчукъ заболѣлъ. Такъ сейчасъ свезли его въ гостиницу съ нянькой, такъ тамъ безъ матери и померъ.

1-й лакей. То-то грѣха не бояться! Я полагаю, что отъ Бога никуда не уйдешь.

Фед. Иван. И я такъ думаю.

(*Яковъ бѣжитъ на верхъ съ тартинками.*)

1-й ланей. И то возьмите во вниманіе, что ежели теперь такъ всѣхъ бояться, то надо запереться въ четырехъ стѣнахъ, какъ въ тюрьмѣ ровно, да такъ и сидѣть.

ЯВЛЕНІЕ 13-е.

Тѣ же и Таня, *потомъ Яковъ.*

Таня (*кланяется Лакеямъ*). Здравствуйте!

(*Лакеи кланяются.*)

Таня. Ѳедоръ Иванычъ! мнѣ вамъ два слова сказать.

Ѳед. Иван. Ну, что?

Таня. Да пришли, Ѳедоръ Иванычъ, мужички опять...

Ѳед. Иван. Ну, такъ что же? Бумагу-то вѣдь я Семену отдалъ...

Таня. Бумагу я имъ отдала. Ужъ какъ благодарятъ-то, и не знаю какъ. Теперь только просятъ деньги отъ нихъ принять.

Ѳед. Иван. Да гдѣ они?

Таня. Тутъ, у крыльца стоятъ.

Ѳед. Иван. Ну, что-жъ, я скажу.

Таня. Да еще просьба моя къ вамъ, батюшка Ѳедоръ Иванычъ.

Ѳед. Иван. Что еще?

Таня. Да что, Ѳедоръ Иванычъ, мнѣ ужъ оставаться нельзя здѣсь. Попросите, чтобъ отпустили меня.

(*Яковъ вбѣгаетъ.*)

Ѳед. Иван. (*Якову*). Что ты?

Яковъ. Самоваръ другой, да апельсины.

Ѳед. Иван. У экономки спроси.

(*Яковъ убѣгаетъ.*)

Ѳед. Иван. Это что-жъ такъ?

Таня. Да вѣдь какже! Теперь мое дѣло такое.

Яковъ (*вбѣгая*). Апельсиновъ мало.

Ѳед. Иван. Подай, что есть. (*Яковъ убѣгаетъ.*) Не время ты выбрала: вѣдь видишь, суета...

Таня. Да вѣдь сами знаете, Ѳедоръ Иванычъ, этой суетѣ угомону не бываетъ, сколько ни жди,—вы сами знаете,—а вѣдь мое дѣло на вѣкъ... Вы, батюшка Ѳедоръ Иванычъ,

какъ мнѣ добро такое сдѣлали, будьте отецъ родной, выберите времячко, скажите. А то разсердится, билетъ не дастъ.

Өед. Иван. Да что же тебѣ такъ загорѣлось?

Таня. Да какъ же, Өедоръ Ивановичъ, дѣло теперь сладилось... Я бы къ маменькѣ, къ крестной, поѣхала, приготовилась бы. А на Красную горку и свадьба. Скажите, батюшка Өедоръ Ивановичъ!

Өед. Иван. Ступай теперь,—не мѣсто тутъ.

ЯВЛЕНІЕ 14-е.

Съверху сходитъ Баринъ пожилой и молча уходитъ со 2-мъ Лакеемъ.—

Таня уходитъ. Өедоръ Ивановичъ, 1-й Лакей и Яковъ (входитъ).

Яковъ. Что же, Өедоръ Ивановичъ, это обида живая! Теперь меня расчесать хочеть. Ты, говорить, все колотишь, Фифку забылъ и противъ моего приказанія мужиковъ въ кухню пустил. А вы сами знаете: я ничего знать не знаю! Только сказала мнѣ Татьяна: проводи въ кухню, а я не знаю, по чьему приказу.

Өед. Иван. Что-жъ, развѣ она говорила?

Яковъ. Сейчасъ говорила. Ужъ вы заступитесь, Өедоръ Ивановичъ! А то семейство только стало поправляться, а тутъ сойдешь съ мѣста, когда-то опять попадешь. Өедоръ Ивановичъ, пожалуйста!

ЯВЛЕНІЕ 15-е.

Өедоръ Ивановичъ, 1-й лакей и Барыня *проводжають* старую Графиню *съ фальшивыми волосами и зубами. Графиню одѣваетъ* 1-й лакей.

Барыня. Непремѣнно, какъ же? Я такъ истинно тронута.

Графиня. Кабы не нездоровье, я бы чаще у васъ бывала.

Барыня. Право, возьмите Петра Петровича. Онъ грубъ, но никто такъ не можетъ успокоить; такъ просто, ясно у него все.

Графиня. Нѣтъ, ужъ я привыкла.

Барыня. Осторожнѣе.

Графиня. Merci, mille fois merci.

ЯВЛЕНИЕ 16-е.

Тѣ же и Григорій *растрепанный, въ волненіи, выскакиваетъ изъ буфета. За нимъ виденъ Семень.*

Сем. А ты къ ней не приставай.

Григ. Я тебя, мерзавца, научу — какъ драться! Ахъ ты, негодяй!

Барыня. Что это такое? Что вы, въ кабакъ что ли?

Григ. Не могу жить отъ этого мужика грубаго.

Барыня (*съ досадою*). Вы съ ума сошли, развѣ вы не видите?
(*Къ Графинѣ*) Merci, mille fois merci. A mardi.

(*Графиня и 1-й Лакей уходятъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 17-е.

Федоръ Ивановичъ, Барыня, Григорій и Семень.

Барыня (*къ Григорію*). Что такое?

Григ. Я хоть въ должности лакея, но я имѣю свою гордость и не позволю всякому мужику меня толкать.

Барыня. Да что такое случилось?

Григ. Да вотъ Семень вашъ набрался храбрости, что онъ съ господами сидѣлъ. Драться лѣзетъ.

Барыня. Что такое, за что?

Григ. А Богъ его знаетъ.

Барыня (*къ Семену*). Что это такое значить?

Сем. Что-жъ онъ къ ней пристаётъ?

Барыня. Да что у васъ было?

Сем. (*улыбаясь*). Да такъ, онъ Таню, горничную, все хватаетъ, а она не хочетъ. Вотъ я его отстранилъ рукой... такъ, маленечко.

Григ. Хорошо отстранилъ, чуть ребра не сломалъ. И фразъ разорвалъ. Да, вѣдь, онъ что говорить: „на меня, говорить, по-вчерашнему, сила нашла“, и началъ давить.

Барыня (*къ Семену*). Какъ ты смѣешь драться въ моемъ домѣ?

Фед. Иван. Позвольте доложить, Анна Павловна, надо вамъ сказать, что Семень имѣетъ чувства къ Танѣ, и какъ они теперь сосватаны, а Григорій,—что-жъ, надо правду ска-

затъ, — обращается нехорошо, неблагородно. Ну, вотъ Семенъ, я полагаю, и обидѣлся на него.

Григ. Совсѣмъ нѣтъ; это изъ-за злобы, что я плутовство ихъ все открылъ.

Барыня. Какое плутовство?

Григ. А въ сеансѣ. Всѣ вчерашнія штуки не Семенъ, а Татьяна дѣлала. Я самъ видѣлъ, какъ она изъ-подъ дивана лѣзла.

Барыня. Что такое изъ-подъ дивана лѣзла?

Григ. Честное слово могу дать. Она и бумагу принесла, и кинула на столъ. Кабы не она, бумагу не подписали бы и мужикамъ землю не продали бы.

Барыня. Вы сами видѣли?

Григ. Своими глазами. Прикажите позвать ее, она не отпрется.

Барыня. Позовите ее.

(Григорій уходитъ.)

ЯВЛЕНИЕ 18-е.

Тѣ же, безъ Григорія. *За сценой шумъ, голосъ Швейцара:* Нельзя, нельзя! *Показывается Швейцаръ, мимо него врываются 3 Мужика. Впереди 2-й Муж.; 3-й Муж. спотыкается, падаетъ и хватается за носъ.*

Швейц. Нельзя, идите!

2-й муж. Авось, не бѣда. Развѣ мы за худымъ чѣмъ?—мы денежки отдать.

1-й муж. Двистительно, какъ за подписью руки приложенъ, дѣло въ окончаніи, мы только денежки предоставить съ нашей благодарностью.

Барыня. Погодите, погодите благодарить, все это былъ обманъ. Еще не кончено. Не продано еще. Леонидъ! Позовите Леонида Ѳедоровича. *(Швейцаръ уходитъ.)*

ЯВЛЕНИЕ 19-е.

Тѣ же и Леонидъ Ѳедоровичъ *выходитъ, но, увидавъ Барыню и Мужиковъ, хочетъ уйти назадъ.*

Барыня. Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста сюда! Я говорила вамъ, что нельзя продавать землю въ долгъ, и всѣ вамъ говорили. А васъ обманываютъ, какъ самого глупаго человѣка.

Леон. Фед. То-есть въ чемъ? Я не понимаю, какой обманъ.

Барыня. Стыдились бы вы! Вы, сѣдой, а васъ, какъ мальчишку, обманываютъ и смѣются надъ вами. Жалѣете для сына какіе-нибудь 300 рублей для его общественнаго положенія, а самихъ васъ, какъ дурака, проводятъ на тысячи.

Леон. Фед. Да ты, Annette, успокойся.

1-муж. Мы только въ полученіи суммы значить...

3-й муж. (*достаетъ деньги*). Отпусти ты насъ, ради Христа!

Барыня. Погодите, погодите.

ЯВЛЕНІЕ 20-е.

Тѣ же, Григорій и Таня.

Барыня (*строю къ Танѣ*). Ты была вчера вечеромъ во время сеанса въ маленькой гостиной?

(*Таня, вздыхая, оглядывается на Федора Ивановича, Леонида Федоровича и Семена.*)

Григ. Да ужъ нечего вилать, когда я самъ видѣлъ...

Барыня. Говори, была? Я знаю все, признавайся. Я тебѣ ничего не сдѣлаю. Мнѣ только хочется уличить вотъ его, (*Указываетъ на Леонида Федоровича*) барина... Ты кинула бумагу на столъ?

Таня. Я не знаю, что и отвѣчать. Одно, что нельзя ли меня домой отпустить?

Барыня (*къ Леониду Федоровичу*). Вотъ видите, васъ дурачать.

ЯВЛЕНІЕ 21-е.

Тѣ же. *Входитъ Бетси въ началѣ явленія и стоитъ незамѣченная.*

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна!

Барыня. Нѣтъ, милая! Ты, вѣдь, можетъ-быть убытку сдѣлала на нѣсколько тысячъ. Продали землю, которую не надо было продавать.

Таня. Отпустите меня, Анна Павловна.

Барыня. Нѣтъ, ты отвѣтишь. Плутовать нельзя. Къ мировому судѣ подамъ.

Бетси (*выступая*). Отпустите ее, мама. А коли вы хотите ее судить, то и меня вмѣстѣ съ ней,—я съ ней вмѣстѣ вчера все дѣлала.

Барыня Ну, да ужъ когда ты, то кромѣ самаго гадкаго ничего и быть не могло.

ЯВЛЕНІЕ 22-е.

Тѣ же и Профессоръ.

Профес. Здравствуйте, Анна Павловна! Здравствуйте, барышня! А я вамъ несу, Леонидъ Ѳедоровичъ, отчетъ о 13-мъ сѣздѣ спиритуалистовъ въ Чикаго. Удивительная рѣчь Шмита.

Леон. Ѳед. А, очень интересно!

Барыня. Я вамъ гораздо интереснѣе расскажу. Оказывается, что и васъ, и мужа дурачила эта дѣвчонка. Бетси на себя говорить, но это чтобъ дразнить меня, а дурачила васъ безграмотная дѣвчонка, а вы вѣрите! Вчера никакихъ вашихъ медиумическихъ явленій не было, а это она (*указывая на Таню*) все дѣлала.

Профес. (*раздвываясь*). Какъ, то-есть?

Барыня. Да такъ, что она въ темнотѣ и на гитарѣ играла, и мужа по головѣ била, и всѣ глупости ваши дѣлала, и сейчасъ призналась.

Профес. (*улыбаясь*). Такъ что же это доказываетъ?

Барыня. Доказываетъ, что вашъ медиумизмъ—вздоръ! Вотъ что доказываетъ.

Профес. Оттого, что эта дѣвушка хотѣла обманывать, отъ этого медиумизмъ—вздоръ, какъ вы изволите выражаться? (*Улыбаясь*) Странное заключеніе! Очень можетъ быть, что дѣвушка эта хотѣла обманывать: это часто бываетъ; можетъ-быть она что-нибудь и дѣлала, но то, что она дѣлала—дѣлала она то, что было проявленіемъ медиумической энергіи—было проявленіемъ медиумической энергіи. Даже весьма вѣроятно, что то, что дѣлала эта дѣвушка, вызывало, солицитировало, такъ сказать проявленіе медиумической энергіи, давало ей опредѣленную форму.

Барыня. Опытъ лекція!...

Профес. (*строю*). Вы говорите, Анна Павловна, что эта дѣвушка, можетъ-быть и эта милая барышня что-то дѣлали; но свѣтъ, который мы всѣ видѣли, а въ первомъ случаѣ пони-

женіе, а во второмъ — повышеніе температуры, а волненіе и вибрированіе Гросмана, — что же, это тоже дѣлала эта дѣвушка? А это факты, факты, Анна Павловна! Нѣтъ, Анна Павловна, есть вещи, которыя надо изслѣдовать и вполне понимать, чтобы говорить о нихъ, — вещи слишкомъ серьезныя, слишкомъ серьезныя...

Леон. Ѳед. А дитя, которое ясно видѣла Марья Васильевна. Да и я видѣлъ... Это не могла же сдѣлать эта дѣвушка.

Барыня. Вы думаете, что вы умны? а вы — дуракъ!

Леон. Ѳед. Ну, я уйду. Алексѣй Владиміровичъ, пойдѣмте ко мнѣ. *(Уходитъ въ кабинетъ.)*

Профес. *(пожимая плечами, идетъ за нимъ).* Да, какъ еще мы далеки отъ Европы!

ЯВЛЕНІЕ 23-е.

Барыня, три Мужика, Ѳедоръ Ивановичъ, Таня, Бетси, Григорій, Семень и Яковъ *(входитъ)*.

Барыня *(вслѣдъ Леониду Ѳедоровичу)*. Обманули его какъ дурака, а онъ ничего не видитъ. *(Якову)* Тебѣ что?

Яковъ. На много ли персонъ прикажете накрывать?

Барыня. На много ли?... Ѳедоръ Ивановичъ! принять отъ него серебро! Вонъ сейчасъ! Отъ него все. Этотъ человѣкъ меня въ гробъ сведетъ. Вчера чуть-чуть не заморилъ собачку, которая ничего ему не сдѣлала. Мало ему этого, онъ же зараженныхъ мужиковъ вчера въ кухню завелъ, и опять они здѣсь. Отъ него все! Вонъ, сейчасъ вонъ! Расчетъ, расчетъ! *(Семену)* А если ты себѣ впередъ позволишь шумѣть въ моемъ домѣ, я тебя, сквернаго мужика, выучу!

2-й муж. Да что же, коли онъ скверный мужикъ, такъ и держать его нечего, а давай расчетъ, вотъ и все.

Барыня *(слушая его, выдвигается въ 3-го Мужика)*. Да смотри-те: у этого сыпь на носу, сыпь! Онъ больной, онъ резервуаръ заразы!! Вѣдь я вчера говорила, чтобы ихъ не пускать, и вотъ они опять тутъ. Гоните ихъ вонъ!

Ѳед. Иван. Что же, не прикажете деньги принять?

Барыня. Деньги? Деньги возьми, но ихъ, особенно этого больного, вонъ, сію минуту вонъ! Онъ совсѣмъ гнилой!

3-й муж. Напрасно ты, мать, ей-Богу напрасно. У моей старухи, скажемъ, спроси. Какой я гнилой? Я какъ стеклушко, скажемъ.

Барыня. Еще разговариваетъ?... Вонъ, вонъ! Все на зло! Нѣтъ, я не могу, не могу! Пошлите за Петромъ Петровичемъ. (*Убѣгаетъ, всхлипывая.*)

(*Яковъ и Григорій уходятъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 24-е.

Тѣ же, безъ Барыни, Якова и Григорія.

Таня (*къ Бетси*). Барышня, голубушка, какъ же мнѣ быть теперь?

Бетси. Ничего, ничего. Поѣзжай съ ними, я устрою. (*Уходитъ.*)

ЯВЛЕНИЕ 25-е.

Федоръ Ивановичъ, три Мужика, Таня и Швейцаръ.

1-й муж. Какъ же, почтенный, полученіе суммы теперича?

2-й муж. Отпусти ты насъ.

3-й муж. (*мнется съ деньгами*). Кабы знать, я ни въ жизнь не взялся бы. Это засушить хуже лихой болѣсти.

Фед. Иван. (*Швейцару*). Проводи ихъ ко мнѣ, тамъ и счета есть. Тамъ и получу. Идите, идите.

Швейц. Пойдемте, пойдемте.

Фед. Иван. Да благодарите Таню. Кабы не она, быть бы вамъ безъ земли.

1-й муж. Двистительно, какъ издѣлала предлогъ, такъ и въ дѣйствіе произвела.

3-й муж. Она насъ людьми издѣлала; а то бы что? земли малая, не то что скотину, — курицу, скажемъ, и ту выпустить некуда. Пращевай, умница! Пріѣдешь на село, приходи мѣдѣть.

2-й муж. Дай домой пріѣду, свадьбу готовить стану, пиво варить. Только пріѣзжай.

Таня. Пріѣду, пріѣду! (*Визжитъ*) Семень! то-то хорошо-то! (*Мужики уходятъ.*)

ЯВЛЕНІЕ 26-е.

Федоръ Иванычъ, Таня и Семень.

Фед. Иван. Съ Богомъ. Ну, смотри, Таня, когда домкомъ заживешь, я прїѣду къ тебѣ погостить. Примешь?

Таня. Голубчикъ ты мой, какъ отца роднаго примешь! (*Обнимаетъ и цѣлуетъ его.*)

Занавѣсъ.

К О Н Е Ц Ъ.

Народъ въ драмѣ Лопе де Веги „Овечій Источникъ“.

„Народъ“, „народная правда“, „святѣйшая народная жизнь“, „хоровое начало“—вотъ тѣ слова и мысли, которыя невольно возникаютъ въ воображеніи при воспоминаніи о Юрьевѣ. Трудно представить себѣ такой моментъ въ жизни покойнаго, когда бы умъ его не былъ озабоченъ раскрытіемъ нравственнаго и общественнаго міросозерцанія народа. Вопросы современности, какъ и вопросы исторіи, интересовали его настолько, на-сколько въ нихъ сказывается или сказывалась мысль и воля народа; литературное и художественное творчество—на-сколько въ немъ отражается геній народа. И изъ драматическихъ произведеній Юрьевъ дорожилъ болѣе всего тѣми, въ которыхъ раскрывается, какъ онъ выражался, народная правда. Отсюда его пристрастіе къ „Коріолану“ Шекспира, его влеченіе къ тѣмъ драмамъ Лопе де Веги, въ которыхъ поэтъ проникаетъ въ сокровеннѣйшій смыслъ народной жизни, давая образъ и форму ея подчасъ смутнымъ (до безформенности) теченіямъ. Осуществленіе такой задачи, справедливо думалъ Юрьевъ, по плечу только генію, такъ какъ одинъ геній въ состояніи не только внѣшнимъ образомъ обнять все разнообразіе духовныхъ проявленій народа, но и сдѣлать ихъ на время собственнымъ своимъ достояніемъ, думая и чувствуя за-одно съ народомъ.

Ни въ одной изъ своихъ пьесъ Лопе,—это, по выраженію Сервантеса, диво природы (*monstruo de la naturaleza*),—не подошелъ въ такой степени подъ выставляемый Юрьевымъ идеалъ художника и поэта, какъ въ „Овечьемъ Источникѣ“. Пьеса эта, по всей вѣроятности, на-долго останется въ па-

мнѣ москвичей, благодаря постановкѣ ея на сценѣ Малаго театра въ прекрасномъ переводѣ Юрѣва. Всякій, кто имѣлъ случай видѣть эту пьесу на сценѣ Малаго театра, согласится, что весь интересъ зрителя сосредоточивается на народѣ, который изъ скромной роли хора, какую онъ исполнялъ въ древней трагедіи, въ твореніи Лопе переходитъ въ роль главнаго двигателя всей драмы. Отдѣльные дѣйствующія лица только воспроизводятъ съ большей или меньшей рѣзкостью тѣ общія черты, изъ которыхъ, въ глазахъ Лопе, слагается народный характеръ Кастильцевъ. Душевная чистота и гордость, съ такой обаятельною силою выступающія изъ ревниво охраняющей свою честь Лауренсіи, способность жертвовать собою для ближнихъ и стоять непоколебимо за общее дѣло, поражающая насъ въ Менго, необузданная ярость въ преслѣдованіи неправды и насилія у молодого крестьянина Фрондозо, величавая мудрость и настойчивость въ проведеніи сообща выработаннаго плана въ главномъ руководителѣ возстанія Эстеванѣ—что это, какъ не общія свойства народной души, воспитанной въ духѣ солидарности и уваженія къ человѣческой личности, благодаря вѣковой практикѣ свободныхъ учрежденій, закаленной въ столь же вѣковой борьбѣ съ произволомъ и тираніей?

Въ драмѣ Лопе отдѣльные типы—народнаго вождя, импровизатора-поэта, новаго Брута и новой Лукреціи только отъѣняютъ отдѣльныя черты общаго и главнаго типа, которымъ является весь народъ. Историческій моментъ, къ которому прилагивается составляющая сюжетъ пьесы личная драма оскорбленныхъ въ своей чести жениха и невѣсты, избранъ Лопе какъ нельзя болѣе удачно.

Ни въ одну эпоху своей жизни испанскій народъ не былъ призванъ въ такой степени къ самодѣтельности, какъ въ періодъ междуцарствія. Такимъ именно періодомъ является смутное время, наступившее въ послѣдней четверти XV вѣка, съ кончиною кастильскаго короля Генриха IV. Ею положено было начало длившейся нѣсколько мѣсяцевъ борьбѣ за престолонаслѣдіе. Едва разнеслось извѣстіе о смерти короля, какъ началась междоусобица. Соперницами явились незаконная дочь королевы—Хуана, и сестра покойнаго короля—

Изабелла. Мало того, что Кастилія—весь Иберійскій полуостровъ раздѣлился на два враждебныхъ лагеря, такъ какъ союзникомъ одной изъ спорящихъ сторонъ—Хуаны—сдѣлался ея дядя по матери, Португальскій король, а другой—Изабеллы—ея молодой супругъ, король Аррагоніи, Каталоніи, Валенсіи и Маіорки—Фердинандъ.

Для пьесы, въ которой народъ является въ роли главнаго дѣйствующаго лица, трудно выбрать болѣе широкія и свободныя рамки, чѣмъ тѣ, какія представляетъ собою конецъ среднихъ вѣковъ—эпоха перехода отъ феодальной монархіи къ опирающемуся на демосъ абсолютизму. Всѣ государства запада безъ различія монархій и республикъ одинаково, хотя и разновременно, совершили этотъ переходъ. Раньше другихъ итальянскія муниципіи, въ которыхъ народная по источнику „тиранія“ водворяется уже со второй половины XIV столѣтія, за ними Франція, Англія и Германскія государства. Что для первой было сдѣлано Людовикомъ XI, то самое вѣкомъ позже сдѣлано было въ Англіи Генрихомъ VIII и Елизаветой, а въ Германіи мелкими князьями и правителями, власть которыхъ усилена была реформаціей, обезземлившей большинство духовной знати и лишившей ее той опоры, какую въ теченіе столѣтій она находила во главѣ христіанства — папѣ. Въ Испаніи окончательное торжество абсолютизма наступаетъ со временъ Карла V, вслѣдъ за пораженіемъ возстанія, организованнаго дворянствомъ и городами Валенсіи и Кастиліи, но уже въ концѣ XV вѣка побѣда королей надъ земельной аристократіей и городской олигархіей является обезпеченной, въ виду того, что сельскій людъ открыто становится на ихъ сторону. Эта рѣшающая роль народа въ упроченіи новыхъ порядковъ политической жизни указывала Лопе на конецъ XV вѣка, какъ на ту среду, въ которой всего удобнѣе можетъ развернуться дѣйствіе его по истинѣ народной драмы. Стремленіе свѣтской и духовной знати перейти изъ роли патроновъ и заступниковъ крестьянскаго люда (энкомендеровъ) въ роль почти неограниченныхъ въ своей власти феодальныхъ сеньоровъ, по образцу аррагонскихъ, нежеланіе народа подчиниться этимъ новымъ по времени притязаніямъ и готовность

королей пойти за-одно съ народомъ, освободить его отъ власти мелкихъ тирановъ и перенести на самихъ себя обязанности, нѣкогда осуществляемыя энкомендерами,—все это факты, хорошо засвидѣтельствованные памятниками XV вѣка и какъ нельзя лучше поняты и переданные Лопе.

Вотъ что говорятъ о времени, къ которому относится дѣйствіе драмы „Овечій источникъ“, кастильскія хроники и вотъ какое изображеніе даетъ ему испанскій Шекспиръ. Хроники:... „Грабежи и насилія сдѣлались на столько частымъ явленіемъ, что искусный обманъ и измѣна открыто ставились въ заслугу; многіе рыцари и оруженосцы, пользуясь внутренней безурядицей, воздвигали крѣпостцы въ различныхъ концахъ государства, съ цѣлью болѣе обезпеченно производить свои вымогательства. Военные ордена Сантъ-Яго, Калатравы и Алкантары (нерѣдко съ двумя или тремя магистрами въ каждомъ), пріораты Госпиталійцевъ, всякаго рода энкомендеры, только и занимались, что, вынуждая съ жителей поборы, безчинствовали и опустошали землю. Королевство еще недавно столь цвѣтущее, обильное продуктами всякаго рода, впало въ крайнюю нужду и бѣдность, благодаря не одной только выдѣлкѣ низкопробной монеты, но и по причинѣ повсемѣстнаго истребленія чужой собственности.“

Дополняя эту характеристику матеріальнаго упадка Кастиліи въ послѣдней четверти XV столѣтія фактами, освѣщающими ея нравственное вырожденіе, извѣстный испанскій историкъ Лафуенте прибавляетъ отъ себя слѣдующее: „Не менѣе печальную картину представляла въ это время Кастилія со стороны общественной нравственности. Пороки съ быстротою ручья разливаются по всѣмъ слоямъ населенія, когда источникъ ихъ лежитъ вверху. Генрихъ IV, совершенно истощенный излишествами, разводится съ неповинной передъ нимъ женой. Новое супружество не создаетъ удержа для его страстей и общественная молва по-прежнему занята разсказами объ его волокитствѣ. Король не отступаетъ передъ страхомъ открытаго скандала и возводитъ свою любовницу, донну Гвіомаръ, въ званіе аббатиссы, поручая ей реформировать нравы ввѣреннаго ей попеченію женскаго монастыря. Королева Хуана, въ свою очередь, не представляетъ образца се-

мейной добродѣтели. Всему міру извѣстна ея связь съ дономъ Бальтранъ де Куева, быстро поднятымъ до высшихъ почестей въ государствѣ. Одинъ король ничего не видитъ или притворяется, что не видитъ. Безнравственность верховныхъ правителей государства раздѣляетъ и окружающая ихъ престолъ знать. Архіепископъ Севильскій—Алонсо де Фонсека,—открыто ухаживаетъ за придворными фрейлинами, поднося имъ блюда, покрытыя золотыми кольцами, а архіепископъ Сантъ-Яго,—донъ Родриго де Лупа—пытается соблазнить принимающую у него посвященіе монахиню, за что вознегодовавшая толпа сбрасываетъ его съ епископскаго кресла. Кастильская знать живетъ въ полномъ разгулѣ, распространяя заразу безнравственности въ среднихъ и даже низшихъ классахъ общества*).

Стоитъ сравнить эти данныя съ отдѣльными сценами „Овечьего Источника“, чтобы увидѣть съ какой поразительной вѣрностью драма Лопе рисуетъ намъ это смутное время испанской жизни. Вотъ какими напримѣръ чертами описываетъ королевскій судья (регидоръ) порядокъ управленія командоромъ Калатравы подчиненнымъ ордену селеніемъ Фуенте.

Его, къ несчастью, мѣстечко это.
Тамъ дерзостью своей и своевольемъ,
Которыхъ словомъ описать нельзя,
До страшнаго отчаянья довелъ
Онъ всѣхъ ему подвластныхъ.

(Дѣйствіе I, Явленіе 9-е).

Въ то время, какъ народъ устами выборнаго старшины (алькальда) высказываетъ свой исконный взглядъ на энкомендеровъ, какъ на покровителей народа и охранителей его мира, говоря:

Поймите вы, сеньоръ, что нашъ народъ
Желаетъ подъ охраной вашей чести
Спокойно, честно жить.

*) Lafuente. Historia general de Espana, Madrid. 1861, ч. II, кн. III (т. V, стр. 24 и 25).

Командоръ спѣшитъ оправдать отзывъ одного изъ своихъ подвластныхъ:

Распутника и варвара такого

Кажись еще на свѣтѣ не бывало.

(Явленіе 3, Дѣйствіе II).

Цѣлый мѣсяцъ гоняется онъ за молодой крестьянкой, въ сообществѣ своихъ ближайшихъ слугъ и помощниковъ; манить ее

И ожерельемъ золотымъ на шею,

И въ волосы булавками большими,

И платьями

(Явленіе 3, Дѣйствіе I).

Когда эти средства оказываются недостаточными, слуга командора начинаетъ наговаривать молодой дѣвушкѣ

страховъ такихъ,

Что просто ужасъ взялъ ее.

Съ возмутительною наглостью выражаетъ командоръ поправившейся ему крестьянкѣ свое рѣшеніе овладѣть ею силой:

Не допустить этотъ лѣсъ,

Чтобъ надо мною насмѣялась ты,

Не дасть онъ тѣшиться тебѣ одной

И гордо голову держать передо всѣми...

Да что-жь? Не отдалась ли мнѣ Себастьяна?

Жена Редондо Педро, пламенѣя

Заразъ любовью къ мужу и ко мнѣ?

Еще жена Мартина Пацо?—Эта,

Какъ вышла за-мужъ, такъ моею стала,

Двухъ дней съ супругомъ милымъ не жила.

(Последнее явленіе I дѣйствія).

Дерзость командора и презрѣніе его къ подвластнымъ доходятъ до того, что онъ рѣшается публично пожаловаться отцу Лауренсіи, что она огорчаетъ его «своимъ упорствомъ», причемъ ставитъ ему на видъ, что жены даже важнѣйшихъ лицъ селенія принуждены были подчиниться его любовнымъ требованіямъ:

Что тамъ ни говорите—прибавляетъ онъ—
Честь большая для вашихъ женъ, что я ласкаю ихъ.
(Дѣйствіа II-ое, Явленіе 2-е).

Послушные его волѣ солдаты ордена среди бѣла дня на-
падаютъ на жителей,

У мирныхъ пахарей—у жениховъ
Невѣсть, а у отцовъ почтенныхъ, честныхъ
Ихъ дочерей—безчестно похищаютъ,
(Дѣйствіе II, Явленіе 10-е),

а если кому вздумается оказывать имъ сопротивленіе, хотя бы одними просьбами и мольбами, то командоръ и его слуги привязываютъ его къ дереву или бьютъ посохомъ по головѣ, что бы онъ ни былъ, „хотя бы самъ алькальдъ“.

Мы воздержимся отъ дальнѣйшихъ выписокъ: и сдѣланныхъ нами достаточно для того, чтобы показать, какъ близко къ хроникамъ стоитъ дѣлаемое Лопе описаніе нравовъ и порядка поведенія высшихъ классовъ кастильскаго общества. Вообще описанія Лопе поразительно вѣрны; они передаютъ, какъ нельзя нагляднѣе и рѣзче, общественныя и нравственныя неурядицы, порожденныя въ Испаніи XV столѣтія ея вырождающеюся аристократіей.

Не менѣе близко къ дѣйствительности рисуетъ Лопе обычный ходъ народнаго мятежа—этого естественнаго исхода всякаго долго продолжавшагося соціальнаго угнетенія. Не-подражаемыми красками изображены имъ медленность и нерѣшительность первыхъ шаговъ возстанія, готовность мятежниковъ избрать всякій другой путь къ тому, чтобы обезопасить себя отъ неправды, хотя бы этимъ путемъ могло быть даже поголовное выселеніе,—вліяніе, какое въ рѣшительную минуту можетъ оказать на выборъ толпы всякая новая обида со стороны ея вѣковаго угнетателя,—внезапно овладѣвающая народомъ ярость и жажду крови, беспощадность и жестокость, съ которой совершается его месть,—тишина и спокойствіе, наступающія вслѣдъ за удовлетвореніемъ этой мести, неумѣнье народа воспользоваться побѣдой, готовность его идти въ новую кабалу, лишь бы поскорѣй вступить на путь законности и подчиненія властямъ.

У Лопе нѣтъ и тѣни того скрытаго презрѣнія къ возставшимъ крестьянамъ, которое такъ непріятно поражаетъ насъ у Шекспира въ тѣхъ сценахъ, въ которыхъ изображено возстаніе Джэка Кэда. Кто знакомъ съ содержаніемъ 4-го акта второй части „Генриха VI“, тому хорошо извѣстно, какъ англійскій драматургъ въ полномъ противорѣчій съ исторіей пытается выставить народнаго революціонера въ смѣшномъ и гнусномъ видѣ, заставляетъ его казнить людей за знаніе французскаго и латинскаго языка, открытіе школъ грамотности и постройку бумажныхъ фабрикъ. Потому что для Шекспира народный бунтъ равнозначителенъ съ торжествомъ полного разгула. Предводителю возстанія, какимъ онъ его изображаетъ, недостаточно одной общности имуществъ; онъ открыто высказываетъ еще желаніе, чтобы впредь ни одна дѣвушка не была выдаваема въ замужество, не разсчитавшись съ нимъ предварительно своей дѣвственностью, и грозитъ издать приказъ, въ силу котораго жены его подданныхъ получили бы такую же свободу располагать собою, какъ „этого можетъ пожелать сердце или передать языкъ“.

Несравненно объективнѣе относится къ народному бунту Лопе; вотъ въ какихъ чертахъ описываетъ онъ самый ходъ возстанія: народъ собрался на сходку; пользующійся его довѣріемъ алькальдъ, у котораго командоръ только что отнялъ силою дочь, держитъ рѣчь къ собравшимся; ставитъ имъ на видъ всѣ оскорбленія, какія командоръ нанесъ чести своихъ подданныхъ и, не зная еще самъ на что рѣшиться, призываетъ народъ дѣйствовать за-одно и дружно:

Оставьте ссоры всѣ, сомкнитесь дружно,
Не бойтесь теперь ужъ ничего!
Вѣдь если честь погибла безъ возврата!
Чего-жъ страшиться намъ? Какой бѣды?

Крестьянинъ Хуанъ Рыжій, соглашаясь съ алькальдомъ, спѣшитъ указать и выходъ изъ невыносимаго положенія, въ какое жители Фуенте поставлены насиліемъ и разгуломъ энкомендера. Этотъ путь вполнѣ законенъ. Хуанъ совѣтуетъ прибѣгнуть къ заступничеству верховныхъ повелителей стра-

ны—королей Фердинанда и Изабеллы, власть которыхъ, замѣчаетъ онъ, уже признана во всей Кастиліи:

Пошлемъ мы нашихъ регидоровъ къ нимъ,
Падешъ въ слезахъ къ ихъ царственнымъ стопамъ,
И будемъ о защитѣ ихъ молить.

Но это предложеніе оказывается неосуществимымъ. Противъ него справедливо возражаютъ:

У короля Фердинанда на рукахъ
Не мало п другихъ враговъ упорныхъ...
...
Средь столькихъ войнъ и при такихъ заботахъ
Ему до насъ-ли?

Если такъ, то какое же другое средство положить конецъ угнетенію, кромѣ личной расправы съ угнетателемъ? Но этого средства народъ желаетъ избѣжать всячески. Онъ помнитъ, что въ теченіе столѣтій города и села Кастиліи ставили изъ своей среды милицію и заключали братскіе союзы (*hermandades*) не для нарушенія, а для сохраненія мира. Онъ не хочетъ забыть того,

Что ему велитъ крестьянства долгъ прямой:
Онъ жизнью дорожить повелѣваетъ

(Послѣднее явленіе I дѣйствія).

Но если вѣками сложившійся обычай запрещаетъ народу всякое нарушеніе мира, то тотъ же обычай признаетъ за нимъ право цѣлымъ обществомъ сняться съ земель угнетающаго его сеньера и уйти, куда глаза глядятъ. Подчиненное феодальнымъ собственникамъ и энкомендерамъ населеніе издревле пользовалось въ Кастиліи тѣмъ правомъ свободного отхода*), которымъ въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ пользовались какъ русское крестьянство, такъ и русское слу-

*) Въ составленныхъ на латинскомъ языкѣ постановленіяхъ кортесовъ въ Леонѣ 1020 года мы читаемъ: *si aliquis habitans in mandatione* (тоже самое, что сеньорія или феоде) *habitare noluerit, vaddat liber ubi voluerit cum cavallo et atondo* (движимость) *suo, dimissa integra haereditate et bonorum suorum medietate* (Munoz y Romero. *Collección de fueros municipales y cartas pueblas*, T. I, страница 77, 135).

жилое сословіе. Въ XIV вѣкѣ это право открыто признано было за нимъ закономъ (ордонансъ, изданный кортесами въ Алькалѣ въ 1348 г.) и крестьянинъ, уходя съ земли, надѣленъ былъ правомъ унести съ собою всю накопленную имъ движимость *). Это право имѣеть въ виду также выборный народомъ судья (регидоръ), предлагая сходкѣ

Покинуть землю,

И съ семьями бѣжать скорѣе какъ можно отсюда.

Но въ концѣ XV вѣка переходъ крестьянъ съ мѣста на мѣсто на дѣлѣ сдѣлался неосуществимымъ за недостаткомъ свободныхъ къ занятію пространствъ. Вѣками ранѣе, въ эпоху, когда выходцы изъ Астуріи и Галисіи шагъ за шагомъ отвоевывали у Мавровъ земли своихъ отцовъ, недостатокъ чувствовался не столько въ способной къ обработкѣ почвѣ, сколько въ лицахъ, готовыхъ защищать ее отъ враговъ и воздѣлывать ее своимъ трудомъ. Тогда немудрено было ушедшему отъ сеньера крестьянину найти нужную ему землю; ему стоило только войти въ составъ того свободного товарищескаго сообщества, той своего рода казацкой вольницы, которая подъ именемъ „бегетріи“ (behetria), построивъ крѣпость въ отвоеванномъ у невѣрныхъ округѣ и избравъ изъ своей среды свободно смѣняемаго начальника**), распредѣляла затѣмъ между собою всю занятую территорію, обращая однѣ земли въ частную, а другія въ общинную собственность. Кто не хотѣлъ войти въ составъ такихъ обществъ „повольниковъ“, могъ добыть себѣ землю еще и другимъ путемъ. Ничто не мѣшало ему приписаться къ числу тѣхъ первыхъ поселенцевъ (poblatores), которыхъ свѣтская и духовная аристократія приманивала на свои сеньеріи и энкоміенды широтою предоставляемыхъ имъ правъ и преимуществъ или такъ называемыхъ „fogos“ ***). Но времена

*) Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en Espana por D. Francisco de Cordenal, Т. II, страница 263.

**) Члены бегетріи въправѣ мѣнять сеньера семь разъ на день, т.-е. всякій разъ, когда имъ вздумается, говоритъ одинъ средневѣковый писатель Испаніи Лопесъ де Айала (Cronica del rey Don Pedro, ano 2, cop. XIV).

***) Эти „fogos“ каждый разъ получали письменную запись въ тѣхъ договор-

эти прошли давно: земли Испаніи были всё розданы, бегетріи (вольные союзы) перестали существовать, или выродились въ феодальныя владѣнія, а отъ вольныхъ грамотъ, выдаваемыхъ сеньерами тому, кто селился на ихъ территоріи и принималъ по отношенію къ нимъ обязанность вассала, объ этихъ cartas pueblas, которыми такъ богата средневѣковая исторія Испаніи, сохранилась одна только память. Удивительно-ли послѣ этого, если народъ Фуенте не принимаетъ даннаго ему судьей совѣта, если онъ отказывается покинуть свои пепелища, не рассчитывая найти новыхъ! Вотъ тутъ-то впервые является въ народѣ мысль о необходимости личной расправы. Онъ видитъ невозможность поголовнаго бѣгства, вспоминаетъ также всё нанесенныя ему обиды; терпѣть онъ долѣе не въ силахъ. Развѣ еще недавно не надругались надъ честью его выборнаго старшины, чловѣка, который править одной силою своего слова?

Дочь вырвали изъ рукъ его нахально
И жезлъ алькальда нагло обломали
Объ голову его сѣдую.

Но что же дѣлать?

„Если не бѣжать, говоритъ толпѣ судья, такъ умереть или перебить злодѣевъ“.

Такъ устанавливается въ народѣ мысль о необходимости возстанія. Но и тутъ еще является сомнѣніе. Вѣковая лояльность, понятіе о святости присяги, которою вассалъ связанъ съ сюзереномъ, даютъ себя знать въ послѣдній разъ, и изъ устъ пахаря Баррильдо невольно вырывается: „какъ, на господина руку подымать?“ Чтобы сломать это возраженіе, народному старшинѣ приходится указать, что самъ командоръ своимъ поведеніемъ нарушилъ силу того молчаливаго договора, который существовалъ между нимъ и его подвластными, что въ такихъ условіяхъ у народа не остается иного повелителя, кромѣ верховнаго сюзерена-короля. Не довольствуясь этими мотивами, источникъ которыхъ лежитъ въ вѣрномъ пониманіи того договорнаго характера, какой феодаль-

ныхъ грамотахъ, какія Испаніи X, XI и послѣдующихъ столѣтій извѣстны подъ именемъ „Cartas de Poblacion“ или „Cartas Pueblas“.

ное право придавало отношеніямъ нисшихъ классовъ къ высшимъ, старшина пытается оправдать неминуемое въ его глазахъ возстаніе еще тѣмъ, что оно можетъ получить и высшую санкцію со стороны самого божества. Оно не потерпитъ долѣе надругательства надъ человѣческою честью, попранія самыхъ священныхъ правъ личности. Оно покараетъ виновныхъ, давъ народу побѣду надъ ними.

А ежели Господь поможетъ намъ
Въ правдивомъ нашемъ дѣлѣ,
. Чего же
Опасаться намъ?

Кажется, все сказано, что только можно было сказать въ предотвращеніе возстанія. Но вотъ въ послѣднюю минуту является еще одно соображеніе. Положеніе крестьянъ вассаловъ (*vassalos solatíegos*) крайне тяжело. Но ихъ личность все же охранена обычаемъ; командоръ не можетъ расправляться съ ними безъ суда. Иное дѣло съ крѣпостными, чьихъ интересы тождественны съ интересами вассаловъ, которые поэтому неминуемо примкнутъ къ ихъ мятежу, такъ какъ они терпятъ столько же, если не болѣе ихъ, и поэтому столько же, если не болѣе, ненавидятъ командора. Но что станетъ съ ними въ случаѣ пораженія?

„Они всего бояться вправѣ, говорить, защищая ихъ интересы, народный мудрецъ Менго, и я за нихъ вамъ говорю: поберегите ихъ“.

Но, потушивъ возстаніе въ его зародышѣ и воздержавшись отъ всякаго дальнѣйшаго насилія, въ состояніи ли вассалы избавить безземельныхъ батраковъ отъ грозящей имъ мести командора? Сочувствіе ихъ правому дѣлу хорошо извѣстно ему: „Вѣдь командоръ уже намѣтилъ ихъ, какъ жертву своей злобы“. Мѣры репрессіи уже начались: „дома и виноградники горятъ“, жалуется батракъ Хуанъ, и подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ этого общественнаго бѣдствія подымаетъ голосъ въ пользу кровавой расправы.

„Съ тиранами одинъ расчетъ: мечь, мечь!“ Пока народъ еще колеблется между желаніемъ сохранить законность и смыть кровью нанесенныя ему обиды, въ собраніе прибѣга-

есть недавняя жертва феодального произвола, живое напоминаніе поруганной крестьянской чести,—дочь старшины, Лауренсія, едва успѣвшая вырваться изъ рукъ командора и его служителей, и еще носящая слѣды причиненныхъ ей насилій. Въ изступленіи, съ обнаженной грудью и распушенной косой, со страшными ругательствами набрасывается она на все еще колеблющуюся толпу:

Не пастыри вы, трусы низкіе,
Вы овцы.
По васъ мѣстечко наше, говоритъ она:
Вы по праву Овечьяго Источника дѣти,
Трусливыми вы зайцами родились,
Къ чему вамъ шпаги,—веретена въ руки.

Пересыпая эту брань разсказами о претерпѣнныхъ ею оскорбленіяхъ и о той насильственной смерти, которая ждетъ ея защитника и жениха, Лауренсія сперва въ отцѣ, затѣмъ въ окружающихъ его крестьянахъ вызываетъ недостававшую имъ рѣшимость:

Иду одинъ—кричитъ алькальдъ—
На лютаго тирана, командора,
Хотя бъ весь міръ возсталъ противъ меня.

И я, восклицаетъ за нимъ Хуанъ

. . . . И какъ бы ни казался мнѣ
Силенъ противникъ мой!

„Умремъ всѣ вмѣстѣ!“ даетъ свое заключеніе судья.

Возстаніе рѣшено въ принципѣ. Остается опредѣлить его планъ. Но какой планъ возможенъ для народнаго бунта? Мудрецъ Менго думаетъ, что никакого другого порядка въ данномъ случаѣ не можетъ быть, кромѣ одного:

. бить проклятыхъ
Какъ ни придется, чѣмъ и гдѣ попало.
Народъ въ одну соединится душу;
Всѣ станемъ какъ одинъ мы человѣкъ,
И затрещать всѣ косточки злодѣевъ.

Всѣ соглашаются съ нимъ, и алькальдъ даетъ приказъ:

Скорѣй берите шпаги, арбалеты,
Рогатины, пращи, ножи, дубины

При кликахъ:

Да здравствуютъ Фердинандъ и Изабелла,
И смерть тиранамъ и злодѣямъ нашимъ!

Народъ набрасывается на жилище командора.

Двери разломали

И домъ зажгли. И командоръ напрасно
Унять волненье кротостью хотѣлъ.
Напрасно клялся клятвой кабальеро
Вознаградить за все, за все, что могъ
Недобраго онъ по ошибкѣ сдѣлать!
Озлобясь, разъяренная толпа
Была глуха и проломила грудь,
Покрытую святымъ крестомъ.

Онъ палъ.

И на полу тиранили его.
Еще дышалъ, когда на улицу
Изъ оконъ бросили его высокихъ,
А тамъ стояли дочери ихъ, жены,
И съ смѣхомъ приняли его на пики.
Таскали трупъ по улицамъ его
И, надругавшись надъ нимъ безстыдно,
Не знаю въ чей-то домъ втащили: тамъ
Обрѣзали и бороду ему,
И волосы, и били по лицу.
И ярость такъ была сильна въ народѣ,
Что трупъ его на части разорвали
Столь мелкія, что бѣльшими изъ нихъ
Остались однѣ лишь только уши!
Его на домѣ командорскомъ гербъ
Своими пиками сорвали дерзко,
Крича: не нужно командоровъ намъ!
Разграбили имущество Гомеса
И межъ себя съ весельемъ раздѣлили.

*(Явленіе XI послѣдняго дѣйствія, разсказъ
Флореса Королю)*

Что въ этомъ перечнѣ ужасовъ и жертвъ, которыми сопровождается народный мятежъ, нѣтъ преувеличеній,—это доказываютъ не только хорошо извѣстные факты сожженія живыми безпомощныхъ стариковъ, поднятія на вилы женщинъ и раздробленія о камень младенческихъ головокъ, которыми ознаменованы были жакеріи средневѣковой Франціи, возстаніе Уота Тейлера въ Англіи XIV вѣка и лейденскихъ анабаптистовъ въ Мюнстерѣ въ эпоху реформации, но и прямое свидѣтельство испанскихъ хроникъ о мятежахъ, однохарактерныхъ съ тѣмъ, по всей вѣроятности вымышленнымъ, бунтомъ, за изображеніе котораго взялся Лопе.

„Крестьяне и вообще нисшіе классы общества,—читаемъ мы въ хроникахъ монастыря Сагогунъ,—возставая противъ сеньеровъ, поступали на подобіе дикихъ звѣрей; чтобы избавиться отъ дальнѣйшаго несенія положенныхъ обычаемъ службъ и платежей, они подымались массами, цѣлыми толпами набрасывались они на сеньеровъ и управителей помѣстьями, экономовъ (*mayordomos*) и простыхъ агентовъ, избивали или зарывали ихъ живыми въ землю. Дворцы королей и жилища дворянъ подвергаемы были разрушенію или сжигались пожаромъ. Если кто изъ крестьянской среды соглашался по прежнему отбывать свои повинности сеньерамъ, его убивали немедленно“ *). Не далѣека къ въ XIV столѣтіи островъ Маіорка сдѣлался свидѣтелемъ подобныхъ ужасовъ въ знаменитомъ возстаніи крестьянскаго люда (*forenses*), направленномъ на этотъ разъ не столько противъ феодальной знати, сколько противъ городской олигархіи **). Почти одновременно съ описываемыми Лопе событіями происходили въ средѣ поднявшихся въ сѣверной Кастиліи крѣпостныхъ акты насилія и жестокости, мало чѣмъ уступающіе изображаемымъ въ „Овечьемъ Источникѣ“; на разстояніи тридцати пяти—шести лѣтъ не болѣе, народная ярость выразится въ приблизительно-но тѣхъ же формахъ въ знаменитомъ возстаніи городского демоса Валенсіи (*Germania*) и движеніи комминеровъ Кастиліи. Слова старинной хроники Фруассора о Жакахъ: „Ро-

*) *Anonymo de Sahogum*, cap. XVII.

**) Возстаніе это картинно описано мѣстнымъ архивистомъ *Quadrado* въ его замѣчательной монографіи „*Forenses y ciudadanos*“.

boient et ardoient tout, et tuaient et efforcoient et violeient toutes dames et pucelles sans pitié et sans mercy, ainsi comme chiens enragés“ (Chroniques, Livre I, ch. LXV) примѣнимо въ большей или меньшей мѣрѣ ко всѣмъ народнымъ возстаніямъ, и кто имѣлъ случай провѣрить показанія хроникъ хранящимися въ архивахъ актами судебного слѣдствія *), тотъ по справедливости оцѣнитъ, сколько исторической правды скрывается въ слѣдующихъ словахъ, влагаемыхъ Лопе въ уста одного изъ лицъ его драмы:

«Когда возсталъ обиженный народъ,
Безъ мести и безъ крови не отступитъ».

Жизненная правда, поражающая насъ во всемъ, что ни вышло изъ-подъ пера испанскаго Шекспира, сказывается съ особенною силой въ описаніи имъ ближайшихъ дней, слѣдующихъ за возстаніемъ. Пользуется ли народъ своею побѣдой? Стараются ли обезпечить себѣ болѣе свободное и счастливое будущее и принимаетъ ли съ этою цѣлью какія-либо мѣры къ охраненію и защитѣ завоеванныхъ имъ правъ? Ни мало. Особенность народнаго возстанія именно и лежитъ въ томъ, что оно не озабочено будущимъ **). Разъ мсть осуществлена и виновника угнетенія постигло заслуженное имъ возмездіе, народъ считаетъ свою задачу оконченною и сразу возвращается къ своей будничной жизни, къ своему повседневному тяжкому труду. Онъ готовъ даже перенести положенную закономъ кару за произволъ своей расправы и повидимому смотритъ на нее какъ на неизбѣжное требованіе справедливости: старикъ алькальдъ высказываетъ это народное убѣжденіе, когда говоритъ собравшейся на сходку толпѣ:

Монархи безъ сомнѣнія прикажутъ
Разслѣдовать подробно это дѣло;
Тѣмъ болѣе теперь, когда кончаютъ

*) Я разумѣю здѣсь тѣ данныя, какія по отношенію къ возстанію Уота Тейлера въ Англіи содержатъ хранящіеся въ Record Office въ Лондонѣ Coram Rege Rolls, а также patent и close Rolls временъ Ричарда II. Для Франціи одна характерная работа исполнена Luce: Histoire de la Jacquerie.

**) Ita totum eorum desiderium, говоритъ объ участникахъ хроникеръ жакеріи Валенсіенъ, cito desiit et finivit (Spicilegium, III, 119).

Испаніи великой единеніе

И водворяютъ вѣчный миръ въ странѣ.

О дальнѣйшемъ сопротивленіи силой въ отстаиваніи того, что сами они считаютъ дѣломъ правымъ, никто на сходкѣ и не думаетъ. Точно такъ въ движеніяхъ итальянскаго сельскаго демоса или крѣпостного люда Англіи среднихъ вѣковъ все дѣло ограничивается обыкновенно одной вспышкой. Стоить только правительству дать неопредѣленное обѣщаніе положить конецъ злу, уничтожить злоупотребленія — и народъ расходится по домамъ, а старые порядки, на мигъ отмѣненные, снова оживаютъ.

Двухъ, трехъ строкъ иногда достаточно анналистамъ Болоньи, Чезены или Фаэнцы, чтобы передать если не причины, то ходъ и послѣдствія народнаго бунта. „Въ такомъ-то году,—значится въ нихъ обыкновенно,—народъ сель (сoprado) ворвался въ городъ, частью перебилъ, частью смѣнилъ его правителей и разошелся по домамъ. Вскорѣ затѣмъ прежнія власти были восстановлены“. Едва Ричардъ II въ Англіи успѣлъ пообѣщать возставшимъ крестьянамъ свободу отъ крѣпостной зависимости и полную амнистію—и мятежники поспѣшили удалиться изъ Лондона. Обѣщаніе короля не было приведено въ исполненіе на томъ основаніи, что на него не послѣдовало разрѣшенія парламента; но въ Лондонѣ и мятежныхъ графствахъ открыты были слѣдственные комиссіи и зачинщики возстанія подверглись одни четвертованію, другіе—повѣшенію.

Крестьянское движеніе принимаетъ иной оборотъ лишь въ томъ случаѣ, когда въ главѣ его становится хорошо сознающій его цѣли вождь, когда оно дѣйствуетъ въ силу напередъ выработанной имъ или случайно навязанной ему программы. Такъ было въ Каталоніи XV-го вѣка, въ которой мятежъ изъ-за крѣпостного гнета выродился въ междоусобицу, цѣлью которой было посадить на престолъ законнаго наслѣдника аррагонской короны, ненавистнаго его отцу Карла, герцога Віанскаго. Такъ было съ Мюнстеромъ, поставившимъ въ главѣ себя анабаптиста Іоанна Лейденскаго; такъ едва не случилось съ Лондономъ середины XVII-го вѣка, когда желѣзной рукѣ Кромвеля съ трудомъ удалось заду-

шить въ корнѣ народный мятежъ, руководимый партіей религиозныхъ и политическихъ радикаловъ, левеллеровъ, и уже нашедшій себѣ главу въ „свободолюбивомъ Джонѣ“, известномъ агитаторѣ Лильборнѣ.

Гдѣ нѣтъ такого руководства, гдѣ движенію не удастся найти вождя съ опредѣленной и ясно сознаваемой программой, или гдѣ имъ не овладѣетъ стоящая внѣ его партія, заставляя его служить подчасъ чуждымъ ему цѣлямъ, тамъ въ выигрышъ отъ внесенной возстаніемъ розни обыкновенно является та власть, источника которой еще писатели древности искали въ антагонизмѣ общественныхъ классовъ. Не вдаваясь въ подробности, отмѣтитъ только тѣ факты, что за возстаніемъ Жаковъ во Франціи слѣдуетъ въ XIV-мъ вѣкѣ неограниченное самодержавіе Карла V-го, за движеніемъ Уота Тейлера—десятилѣтній абсолютизмъ Ричарда II въ Англіи, что битвой подъ Вилльяларомъ, положившей въ 1529-мъ году конецъ революціоннымъ дѣйствіямъ кастильскихъ комонеровъ и подготовившей пораженіе народнаго демоса въ Валенсіи, открывается эра почти ничѣмъ не сдерживаемаго произвола испанскихъ монарховъ XVI-го вѣка, что религиозныя войны, съ ихъ подчасъ демократической окраской, содѣйствуютъ успѣхамъ единовластія одинаково во Франціи XVI-го столѣтія и Германіи эпохи реформациі, — однимъ словомъ, что какъ успѣшный, такъ и подавленный въ крови бунтъ простонародья въ конечномъ исходѣ ведетъ лишь къ упадку политической свободы. Эту истину повидимому вполне сознавалъ и Лопе. Вчера еще мятежный народъ не только претерпѣваетъ у него безмолвно всѣ уголовныя жестокости присланнаго королемъ слѣдственнаго судьи, но и является лично съ повинною ко двору Фердинанда и Изабеллы.

Хотимъ мы, государь, твоими быть, — говоритъ онъ имъ, —
Другихъ господъ себѣ мы не желаемъ.
Ужъ щить съ твоимъ гербомъ мы водрузили
Въ селеньяхъ нашихъ.

Въ крестьянскомъ бунтѣ, въ томъ видѣ, въ какомъ рисуетъ его Лопе, наглядно выступаютъ характерныя черты кастильскаго простонародья: отсутствіе въ немъ заботы, вы-

сокое понятіе о чести и человѣческомъ достоинствѣ, ярость и жажда мести, способность къ самопожертвованію, готовность стоять заодно въ общемъ дѣлѣ. Какъ много говорить въ этомъ отношеніи сцены въ родѣ слѣдующей:

Народный судья:

Командоръ!

Вы честь у насъ отнять хотите.

Командоръ:

Честь?

Ха, ха... У васъ есть тоже честь? Вотъ какъ!

...Подумаешь... Годятся, право,

Хоть въ рыцари духовныхъ орденовъ!

Пожалуй въ орденъ Калатравы!

Народный судья:

Пусть

Вашъ крестъ, сеньеръ, хвастливо носить тотъ,

Кому на грудь случайно онъ попалъ,

А все же ваша кровь не чище нашей.

Отсутствіе въ крестьянахъ Кастиліи всякаго представленія о преимущественномъ благородствѣ дворянской крови также прекрасно выражаетъ слѣдующее замѣчаніе простого батрака Хуана:

Пережѣшались какъ-то всѣ! Теперь

Что знатный, что простой—не разберешь.

Насколько нравы кастильскаго общества XV-го вѣка были благопріятны началу равенства сословій, видно изъ того, на примѣръ, что гордый командоръ не иначе бесѣдуетъ съ народнымъ алькальдомъ, какъ посадивши его рядомъ съ собою. Правда, алькальдъ еще высказываетъ старинное воззрѣніе, по которому вассалъ долженъ бесѣдовать съ сюзереномъ стоя:

Ваша милость

Извольте сѣсть, гдѣ вы сидѣть привыкли,

А намъ передъ вами постоять не худо.

Но въ то же время даетъ понять, что въ его глазахъ честь опредѣляется не состояніемъ, къ которому принадлежитъ то или другое лицо, а его добродѣтелю.

Честный

Однимъ присутствіемъ ужъ честь приноситъ,
Безчестный же не можетъ чести дать,
Какъ ни старайся,—самъ ея лишенъ.

То же высказываетъ и народный судья, говоря: „Порокъ лишь оскверняетъ человѣка“, и бѣдная крестьянка Хасинта, которую командоръ силою хочетъ увести къ себѣ, говоритъ:

Я дочь почтеннаго отца, и если
Моимъ рожденіемъ тебя я ниже,
То краше я тебя обычемъ нашихъ,
И нравственнѣй тебя, и честью выше.

Высокое представленіе, какое сельскій людъ Кастиліи имѣетъ о своемъ достоинствѣ и личной чести, признаетъ за нимъ и его заклятый врагъ—командоръ, говоря:

О мужичье противное! Какъ лучше,
Какъ несравненно лучше въ городахъ:
Тамъ именитый человѣкъ не встрѣтитъ
Въ своихъ желаньяхъ, вкусахъ, никогда
Сопротивленья никакого!

Но готовность стоять за свое личное достоинство, не терпѣть оскорбленія своей чести, сама указываетъ на отсутствіе въ кастильскомъ крестьянствѣ той приниженности и забитости, какой отличались, напримѣръ, вилланы Франціи и ихъ южные сосѣди—сѣверные каталонцы, у которыхъ право первой ночи, это унижительнѣйшее изъ всѣхъ феодальныхъ правъ, продолжало держаться до конца XV-го вѣка, занесено было въ рукописный сборникъ обычаевъ округа Пероны *) и формально отмѣнено закономъ лишь во времена Фердинанда Католическаго.

*) Сборникъ этотъ доселѣ хранится въ библіотекѣ Эскуриала, гдѣ я имѣлъ случай познакомиться съ его содержаніемъ. О томъ, что право первой ночи было въ ходу въ Каталоніи XV-го вѣка, говорятъ также посѣтившіе ее въ этомъ вѣкѣ иностранцы, путешествія которыхъ собраны и изданы библіотекаремъ Эскуриала

И дѣйствительно, въ крестьянахъ Фуенте Овехуна нельзя отмѣтить ничего, что хотя бы издали напоминало намъ того получеловѣка, какимъ Фруассаръ рисуетъ бѣднаго Jacques Bonhomme, перенесшаго всѣ обиды, прошедшаго черезъ всѣ виды униженія, прежде чѣмъ прійти къ заключенію, „que les nobles honnissoient le royaume et que ce seroit grand bien qui tout les destruiroit“ (Кн. I, Глава 65). Читая драму Лопе, поражаешься сравнительно высокимъ уровнемъ, на которомъ стояло умственное развитіе крестьянъ Кастиліи въ концѣ среднихъ вѣковъ. Мы не беремся рѣшить, рисуетъ ли намъ Лопе испанскихъ поселянъ такими, какими онъ зналъ ихъ лично, или онъ воспроизводитъ въ ихъ характерѣ лишь тѣ черты, какія могли быть отмѣчены въ немъ, полустолѣтіемъ ранѣе, въ ту самую эпоху, къ которой отнесено дѣйствіе его драмы. Во всякомъ случаѣ разстояніе, отдѣляющее эти два періода, настолько незначительно, что трудно допустить, чтобы въ умственномъ уровнѣ крестьянъ успѣли восполнѣдовать существенныя измѣненія. Замѣтимъ къ тому же, что эпоха возрожденія открылась для Испаніи уже во времена королей католическихъ и что вліяніе ея не могло сказаться, и въ средѣ крестьянства. Поэтому мы склоняемся къ мысли, что и въ этомъ отношеніи драма Лопе не представляетъ намъ историческихъ анахронизмовъ. Въ какихъ же чертахъ рисуетъ онъ намъ умственное развитіе кастильскаго крестьянства? Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ его драмы мы не только встрѣчаемъ студента изъ крестьянъ,—фактъ наглядно доказывающій, что высшее образованіе было доступно въ Испаніи и для низшихъ классовъ общества,—но и не покидавшіе селенія крестьяне изображены намъ людьми не только сознающими вполне свои обязанности и права, но и обладающими нѣкоторой начитанностью. Рыцарскія повѣсти и романы, кастильскія передѣлки знаменитыхъ *Gesta Romanorum*, разсужденія о политикѣ если не самого Аристотеля,

подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Viajes de extranjeros por Espana y Portugal en los siglos XV, XVI, XVII“. Въ виду этихъ фактовъ, неизвѣстныхъ автору вышедшей въ 80-мъ году на нѣмецкомъ языкѣ монографіи о правѣ первой ночи г-ну Шмидту, всѣ его разсужденія на счетъ несуществованія этого права въ Каталоніи оказываются совершенно праздными.

то того на половину византийскаго, на половину арабскаго публициста, сочиненіе котораго въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ выдаваемо было за произведеніе греческаго философа *), должны были пользоваться широкимъ распространеніемъ въ средѣ крестьянъ, для которой не только Сидъ и Родомантъ, но и Неронъ и Геліогабалъ, являлись хорошо извѣстными фигурами, въ которой возможно было толковать и о любви, какъ понималъ ее Платонъ, и о политикѣ въ разсужденіяхъ Аристотеля. Правда, обычнымъ источникомъ этихъ ходячихъ знаній является, какъ видно изъ словъ самихъ дѣйствующихъ лицъ драмы, сельскій священникъ, обученный богословію и метафизикѣ въ знаменитомъ въ то время Саламанкскомъ университетѣ, но что въ большей мѣрѣ способно доказать высокій уровень крестьянскаго развитія, какъ не тотъ фактъ, что въ обращенныхъ къ нему проповѣдяхъ духовный пастырь считаетъ удобнымъ повести рѣчь о томъ, что былъ мудрецъ какой-то Платонъ:

Тотъ, видите ли, други, всѣхъ училъ
Какъ надобно любить, и толковалъ,
Что слѣдуетъ любить одну лишь душу,
Да доброе въ любимомъ человѣкѣ.

Крестьянинъ Баррильдо, пророчащій студенту изъ Саламанки, что онъ сдѣлается вскорѣ новымъ Бартоло, и алькальдъ Эстеванъ, которому командоръ собирается поднести Аристотеля, чтобы услышать отъ него толкованіе политическихъ ученій короля философовъ, самъ саламанкскій студентъ, излагающій крестьянину мысль объ упадкѣ знанія вмѣстѣ съ открытіемъ печати:

Не видимъ что-то нынѣ Августиновъ, ни Іеронимовъ,—
каждый приносить новое свидѣтельство тому, какъ разнообразенъ и широкъ былъ кругозоръ того сельскаго люда, о которомъ командоръ Калатравы выражался пренебрежительно, говоря:

*) Я разумѣю извѣстныя „Аристотелевы Врата“ или *Secreta Secretorum*, кастильскую передачу которыхъ, съ содержаніемъ во многомъ отличнымъ отъ латинскаго текста, мнѣ привелось прочесть въ библіотекѣ Эскуріала (титулъ сочиненія *Poridad de los Poridades*, буквально: Чистота Чистотъ).

Простые пахари, народъ ничтожный,—
Имъ только-бъ землю бороздить сохою,
А не смыкаться грозно въ эскадроны.

Но добрый, живой умъ, широко развитое сознаніе собственного достоинства, нравственная воспримчивость и щекотливость чести—все это качества, которыя въ связи съ южнымъ темпераментомъ необходимо должны вызывать быструю воспламеняемость страсти, горячность въ преслѣдованіи неправды, ярость въ отмщеніи обиды. Всѣ эти свойства съ наглядностью выступаютъ въ томъ образѣ кастильскаго крестьянина, какой рисуетъ намъ Лопе. Когда изъ устъ дѣвушки-крестьянки, еще недавно пламеннымъ языкомъ выражавшей силу своей привязанности къ потерпѣвшему изъ-за нея жениху, слышатся слова:

Мы выпьемъ кровь злодѣя,
Поднимемъ, какъ трофей, на эти пики
Его еще трепещущее тѣло,—

когда грубо обезчещенная крестьянка Хуана выражаетъ безграничность своей мести въ словахъ:

«Нешадно буду бить, пока дышу!»

когда сдержанный и благоразумный Менго даетъ совѣтъ:

«Бить враговъ, какъ и гдѣ ни прійдется»,

когда старикъ алькальдъ на всѣ убѣжденія и мольбы осажденнаго мятежниками сеньера не даетъ иного отвѣта, кромѣ:

Обиженный не медлить и не ждать,
Ему одна надежда только месть и казнь обидчику,—

тогда понятной становится быстрота, съ какой кастильскіе поселяне способны перейти отъ безграничной вѣрности и подчиненія къ незнающему пощады бунту. Не далѣе еще какъ прошлымъ вечеромъ они съ прочими дарами подносили командору и „драгоценнѣйшее изъ сокровищъ“—„любовь народную“, а сегодня они уже открыто бунтуютъ, доходя до самой чудовищной и кровавой расправы. Таковъ характеръ сельскаго люда Кастиліи. Но приведенныя черты

далеко не исчерпываютъ еще всѣхъ его свойствъ. Стойкость и величіе духа, чувство солидарности и способность къ самопожертвованію сказываются въ немъ съ полною силою только тогда, когда месть достигнута и недавнихъ бунтарей ожидаетъ казнь. Народъ снова собрался на сходку, снова внимаетъ онъ совѣту своего алькальда, требующаго, чтобы всѣ напередъ условились, какой отвѣтъ держать на слѣдствіи и судѣ:

Васъ спросятъ: кто убилъ тирана?

Всѣмъ отвѣчать: Фуенте Овехуна!

На томъ стоять до смерти даже лютой;

И чтобъ никто не пошатнулся въ этомъ.

Народъ единогласно принимаетъ это рѣшеніе. Пріѣзжаетъ судья въ сопровожденіи отряда вооруженныхъ всадниковъ. Начинаются допросъ и пытка.

Передаваю васъ всѣхъ до смерти я въ тискахъ, грозитъ инквизиторъ. На всѣ его вопросы старики, женщины, дѣти даютъ одинъ отвѣтъ: Командоръ убить Фуенте Овехуна. „Каковъ народъ, какая доблесть!“ восклицаетъ еще недавно обличавшая его въ трусости Лауренсія. „Какая сила!“ прибавляетъ отъ себя ея женихъ Фрондозо. И мы согласимся съ этимъ отзывомъ и скажемъ, что единодушіе и выдержка представляютъ наиболѣе цѣнную черту въ изображенномъ Лопе типѣ кастильскаго простонародья.

Но какъ могъ сложиться подобный типъ,—другими словами, какіе факторы вліяли на образованіе народнаго характера кастильцевъ? Отвѣтъ на это дастъ намъ исторія: она указываетъ на причины, по которымъ общій всему западу процессъ феодализаціи не завершился въ Кастиліи порабощеніемъ народа дворянствомъ, и объясняетъ ходъ развитія въ кастильскомъ крестьянствѣ не только духа самостоятельности, но и того гражданскаго и политическаго равноправія, той изополитіи, въ которой дѣйствительно скрывается источникъ силы и могущества Испаніи XVI-го вѣка.

Чѣмъ для исторіи русскаго народа была трехсотлѣтняя борьба его съ татарами, тѣмъ самымъ для исторіи народовъ Пиренейскаго полуострова является ихъ семисотлѣтняя война

съ маврами. Безъ восхожденія къ эпохѣ вторичнаго занятія испанцами отнятой у нихъ сарацинами земли, эпохѣ, извѣстной подъ наименованіемъ „реконквисты“ (отвоеванія), трудно понять особенности общественнаго и политическаго строя Испаніи и невозможно, въ частности, опредѣлить тѣ историческія вліянія, которымъ кастильское престонородье обязано сохраненіемъ и развитіемъ своей гражданской и политической свободы. Оtmѣтимъ прежде всего тотъ въ высшей степени знаменательный фактъ, что тогда какъ въ Англіи, Франціи и Германіи земельный и связанный съ нимъ сословный строй продолжаютъ складываться и развиваться безпрепятственно въ теченіе столѣтій, тотъ же процессъ внезапно обрывается въ Испаніи. Уступая напору сарацинъ, потомки вестготскихъ правителей ищутъ убѣжища въ горахъ Астуріи и Наварры, увлекаютъ за собой всѣхъ, кто дорожитъ своей вѣрой и національностью, и здѣсь, въ совершенно новой обстановкѣ, кладутъ основаніе столь же новымъ общественнымъ и политическимъ формациямъ, каждый разъ вызываемымъ къ жизни ея основнымъ мотивомъ, борьбою съ невѣрными. Въ Англіи, Франціи и Германіи крупная земельная собственность и опирающееся на нее преобладаніе дворянства и церкви достигаютъ полнаго завершенія въ то самое время, когда въ Испаніи общая всѣмъ утрата земли и воли возстановляетъ между сословіями полное равноправіе.

Обширныя владѣнія духовной и свѣтской знати извѣстны Франціи уже со временъ Хильперика, Германіи—съ Карла Великаго, Англіи—съ Эдуарда Исповѣдника. Они встрѣчаются и въ монархіи вестготовъ: дошедшія до насъ грамоты и дипломы говорятъ о расточительности, съ какой вестготскіе правители надѣляли землями монастыри и церкви, о готовности частныхъ лицъ обмѣнивать добровольно свое состояніе свободныхъ собственниковъ на положеніе полусвободныхъ „колоновъ“ земли, уступленной ими церкви и о заботливости соборовъ къ огражденію наличнаго состава церковнаго имущества запрещеніями производить изъ него какія бы то ни было отчужденія. Если прибавить къ сказанному, что вознагражденіе служилаго сословія путемъ бенефициальныхъ раздачъ не было безъизвѣстно и вестготамъ и что данныя въ

пожизненное пользование земли фактически переходили въ наследственную собственность, то необходимо придемъ къ заключенію, что безъ нашествія мавровъ аграрный и сословный строй Испаніи принялъ бы тѣ самыя формы, какія одновременно были усвоены имъ въ большинствѣ государствъ Запада.

Но, теряя землю своихъ отцовъ, отступающіе въ горы вестготы въ то же время порывали связи со всѣмъ своимъ прошлымъ. Отъ прежнихъ церковныхъ владѣній не оставалось ничего, кромѣ унесенной монахами святыни. Но владѣніе мощами или старинными сосудами можетъ сдѣлаться только источникомъ нравственнаго вліянія, отнюдь не средствомъ установленія имущественнаго и социальнаго господства. Избирая своимъ знаменемъ церковную хоругвь со вложенными въ нее костями мучениковъ (какъ и становясь подъ начальство уцѣлѣвшихъ главъ бенефициальной знати), бѣжавшіе отъ Сарагинъ вестготы не шли возстановлять старыхъ порядковъ и отношеній; они рассчитывали устроить свою жизнь на новыхъ началахъ свободной волиницы „бегетріи“ и самоуправляемой сельской и городской общины. И та, и другая форма общежитія, обеспечивая крестьянину положеніе свободного собственника на землю и предоставляя возможность непосредственнаго участія въ войскѣ, судѣ и управленіи, стоятъ въ рѣзкомъ противорѣчій съ господствовавшей въ большинствѣ сосѣднихъ государствъ феодальной системой. Извѣстное положеніе федистовъ: „*nulle terre sans seigneur*“—очевидно не находило приложенія въ обществѣ съ широко развитой системой полной или аллодіальной собственности. Ученіе о томъ, что судъ и администрація неразрывно связаны съ землею и по праву принадлежатъ тому, кто является ея верховнымъ собственникомъ, было явнымъ анахронизмомъ тамъ, гдѣ каждый призывается быть къ участію въ народномъ ополченіи, народномъ собраніи и судѣ.

Короли Кастиліи не только не препятствовали росту народной демократіи, но еще всячески содѣйствовали ему. Имѣя въ виду, что мавританской конницѣ съ успѣхомъ могутъ противостоять только конные отряды, они спѣшили

надѣлать дворянскими правами всякаго, кто выѣзжалъ на войну на собственной лошади. Они не только не препятствовали, но наоборотъ содѣйствовали развитію мѣстныхъ милицій, позволяли городамъ вступать между собою въ братскіе союзы—*hermandades*—съ цѣлю общими силами противустоять общему врагу. Этимъ врагомъ не разъ являлась увлекавшаяся примѣромъ Аррагоніи кастильская знать, готовая связать короля разными конституціями и гарантіями, присвоивая себѣ въ то же время никогда не принадлежавшія ей права неограниченной во власти феодальной сеньеріи. Чѣмъ ближе мы подходимъ къ эпохѣ, къ которой отнесено дѣйствіе разбираемой нами драмы, тѣмъ чаще становятся попытки энкомендеровъ занять въ кастильскомъ обществѣ положеніе, какое одновременно принадлежало въ Аррагоніи высшей и низшей аристократіи (*ricos ombres* и *saballeros*). Параллельно этому движенію и какъ противовѣсъ ему идетъ постепенный ростъ народныхъ милицій и возникаютъ союзы между городами съ цѣлю слить воедино ихъ разрозненные отряды и образовать изъ нихъ своего рода національную гвардію. При Геврихѣ IV въ составъ союзовъ или *hermandades* входятъ на ряду съ городами уже мѣстечки и села (*villas y lugares*). Они примыкаютъ къ движенію, порожденному и поддерживаемому городскимъ демосомъ, надѣясь, по словамъ современной хроники, достигнуть этимъ путемъ обезпеченія труда и свободы передвиженія по дорогамъ *). Имѣя свою милицію, городской и сельскій демосъ располагалъ виѣстѣ съ тѣмъ весьма широкою свободою въ сферѣ мѣстнаго самоуправленія. Еще во времена вестготовъ установился обычай обсуждать мѣстные интересы на публичныхъ сходахъ, которые отъ присутствія на нихъ сосѣдей получили названіе: „*conventus publicus vicinorum*“. Это сборище сосѣдей незамѣтно перешло въ Кастиліи X и XI столѣтія въ „хунту“ или народный сходъ и „*conceso*“—выборный совѣтъ. О нихъ упоминаютъ тѣ „*foros*“ и „*cartas pueblas*“ тѣ записи мѣстныхъ обычаевъ и тѣ жалованныя грамоты поселенцамъ, которыя такъ щедро раз-

*) Cron. D. Enrique IV, cap. 87.

даваемы были всякимъ, кто спѣшилъ заселить свободныя земли, доставшіяся ему или благодаря побѣдѣ надъ маврами, или благодаря надѣленію королемъ. Самоуправленіе городовъ и мѣстечекъ, право имѣть свой сходъ, своего выборнаго старшину (алькальда) и народнаго судью (регидора), составляло обыкновенно одну изъ тѣхъ вольностей, которыми кастильская знать спѣшила привлечь на свои земли возможно большее число колонистовъ. Договорнымъ путемъ опредѣлялись отношенія этихъ колонистовъ (*pobladores*) къ ихъ будущему патрону — энкомендѣру. Характеръ и размѣръ землевладѣнія, предоставляемаго каждому двору, число и виды несомыхъ колонистами повинностей и признаваемыхъ за ними правъ—все это тщательно обозначаемо было каждый разъ въ той же хартіи (*carta puebla*), которая призвана была регулировать ихъ дальнѣйшій общественный и политическій бытъ,—ни больше, ни меньше,—какъ дѣлаютъ это въ наши дни всякаго рода писанныя конституціи. При такихъ условіяхъ неудивительно, если крѣпостное право (это наслѣдіе возникшаго во времена вестготовъ „*fuero juzgo*“) исчезло въ Кастиліи столѣтіями ранѣе, чѣмъ въ другихъ государствахъ Европы. Тогда какъ въ Англіи оно продолжало держаться до временъ Кромвеля, во Франціи до начала революціи (а въ Пруссіи почти до середины текущаго столѣтія), въ Кастиліи оно перестаетъ существовать уже съ половины XIV-го вѣка. Фактъ этотъ ясно засвидѣтельствованъ законодательными памятниками. „*Fuero viejo*“—древнѣйшій кутюмъ Кастиліи, воспроизводя то, что раньше его признаваемо было законами вестготовъ, еще предоставляетъ господину право отобрать землю у крестьянина и считать своими всѣ сдѣланныя имъ пріобрѣтенія. Но вышедшій изъ рукъ кортесовъ ордонансъ въ Алькала 1348 года уже устанавливаетъ порядокъ законнаго перехода крестьянскаго надѣла въ прямой нисходящей линіи и отнимаетъ у энкомендѣра право измѣнить этотъ порядокъ или присоединить крестьянскій надѣлъ къ землямъ, состоящимъ въ его личномъ завѣдываніи. Обезпеченный въ своихъ землевладѣльческихъ правахъ, крестьянинъ находитъ въ заключаемыхъ имъ съ энкомендеромъ письменныхъ соглашеніяхъ гарантію

и тому, что размѣръ его повинностей и службъ не будетъ произвольно увеличенъ въ будущемъ. Еще шагъ далѣе—и его обязательства изъ личныхъ становятся имущественными и самъ онъ изъ положенія барщиннаго переходитъ въ состояніе оброчнаго владѣльца, становится, выражаясь языкомъ кастильскихъ хартій, изъ *siervo peshero*—*vassalo solariego*.

Правители Кастиліи не только не задерживаютъ своими мѣропріятіями этотъ естественный процессъ вымиранія крѣпостничества и развитія свободной собственности на землю, но еще всячески содѣйствуютъ ему, скрѣпляя своей подписью дарованныя поселенцамъ вольныя грамоты (*cartas pueblas*) или включая ихъ постановленія въ обнародованные ими при участіи кортесовъ законы. Покровительствуя народной милиціи, дозволяя городамъ и мѣстечкамъ соединяться въ союзы для общей обороны противъ феодальныхъ стремленій кастильской знати, оно одновременно открываетъ простонародію еще одно средство противодѣйствія аристократіи. Когда по примѣру итальянскихъ муниципій кастильскія городскія общины обнаружили безпокойство по случаю поселенія въ ихъ стѣнахъ *ricos ombres y caballeros*, т.-е. высшаго и низшаго дворянства, правительство поспѣшило надѣлать ихъ правомъ не терпѣть въ городѣ другихъ замковъ, кромѣ королевскаго и епископскаго. Не на одни города распространено было дѣйствіе этого запрещенія. Члены бегетрій, этихъ своего рода казацкихъ общинъ, не знавшихъ никогда ни крѣпостного права, ни возможности подчиненія другимъ сеньерамъ, помимо тѣхъ, на которыхъ падалъ неоднократно возобновляемый вольницею выборъ, не позволяли также аристократамъ основывать свои поселенія по близости къ ихъ собственнымъ. Ихъ заботливость о сохраненіи своей независимости и свободы шла иногда такъ далеко, что они запрещали своимъ сочленамъ подъ страхомъ наказанія заключать браки съ дѣвушками дворянскихъ родовъ.

Не маловажное вліяніе на судьбу крестьянскаго сословія въ Кастиліи долженъ былъ оказать также и тотъ фактъ, что, на ряду съ представителями городовъ, и сельскіе депутаты были допущены къ присутствію на кортесахъ.—Тогда какъ въ Аррагоніи дворянство пользовалось двойнымъ представи-

тельствомъ, образуя изъ себя двѣ самостоятельныя камеры или руки (*brazos*), а представительство средняго сословія ограничено было небольшимъ числомъ городскихъ делегатовъ, въ Кастиліи интересы дворянства, духовенства и простонародья являлись уравновѣшенными въ томъ смыслѣ, что каждое сословіе занимало только одну палату, причемъ въ составъ низшей камеры—*brazo llano*—входило одинаковое число делегатовъ отъ городовъ и селъ. Въ этомъ отношеніи кастильское крестьянство было поставлено въ несравненно болѣе благоприятное положеніе, чѣмъ англійское, французское и нѣмецкое. Одно лишь шведское крестьянство превосходитъ его суммою своихъ политическихъ правъ, такъ какъ его делегаты призваны были образовать изъ себя самостоятельную, отдѣльную отъ городовъ, камеру.

Вліяніе перечисленныхъ нами факторовъ на выработку народнаго характера кастильцевъ едва ли можетъ быть преувеличено. Всякій согласится съ нами, что отсутствіе въ средѣ кастильскихъ крестьянъ крѣпостничества и рабства, широкое участіе ихъ въ войскѣ, мѣстномъ управленіи и національномъ представительствѣ, при надѣленіи ихъ землею, договорномъ характерѣ, какой носили ихъ отношенія къ высшимъ сословіямъ, открытомъ всѣмъ и каждому доступѣ къ переходу въ ряды благородныхъ, въ своей совокупности не мало содѣйствовали выработкѣ въ сельскомъ населеніи Кастиліи того чувства собственнаго достоинства, того высокаго представленія о неотъемлемыхъ правахъ личности,—однимъ словомъ, той благородной гордости, которой такъ полны выставляемые Лопе народные типы. Тѣ же причины являются источникомъ другой, не менѣе счастливой особенности въ характерѣ кастильцевъ—объединяющаго ихъ чувства солидарности. Жизнь почти не снимающимся съ поля лагеремъ, какую привелось вести имъ въ первыя столѣтія наполняющей ихъ исторію борьбы съ маврами, должна была неминуемо привить имъ ту стойкость въ преслѣдованіи общей цѣли и ту способность личнаго самопожертвованія, которая такъ пріятно поражаетъ насъ въ дѣйствующихъ лицахъ „Овечьяго Источника“.

Когда исчезли условія, требовавшія почти исключительно

военной организаціи, когда началось вторичное занятіе отвоеванной у мавровъ территоріи, вольницы или бегетрин, братскіе союзы или *hermandades*, въ связи съ ежечаснымъ товариществомъ въ мѣстной милиціи и равнымъ участіемъ въ народной сходкѣ, продолжали поддерживать и воспитывать въ кастильскомъ простонародьѣ ту способность къ совмѣстной дѣятельности, которую С. А. Юрьевъ разумѣлъ подъ именемъ хорowego начала. Но широкое развитіе личности и „хорowego начала“ не исчерпываютъ еще собою всѣхъ чертъ народнаго характера кастильцевъ.

Участіе, какое короли издавна принимали въ развитіи гражданской и политической свободы народныхъ массъ и въ отстаиваніи разъ завоеванныхъ ими вольностей отъ всякихъ посягательствъ со стороны высшихъ сословій и преимущественно дворянства, неминуемо должны были породить въ крестьянствѣ еще одну особенность, значеніе которой со всею силой сказалось на его послѣдующихъ судьбахъ. Говоря это, я разумѣю тотъ фактъ, что въ Испаніи ранѣе, чѣмъ въ другихъ странахъ Европы, чувство феодальной вѣрности сюзерену уступило мѣсто новому по источнику чувству преданности одному престолу и отечеству.

Средневѣковая клятва вассаловъ „*être feal et legal à son seigneur envers et contre tous*“ необходимо должна была сдѣлаться анахронизмомъ съ того момента, когда народъ, выражаясь словами Лопе, сталъ обнаруживать готовность быть непосредственно подъ государемъ и не имѣть надъ собою иныхъ господъ, кромѣ королей.

Хотимъ мы, государь, твоими быть,
говорить алькальдъ Фуенте,

Другихъ господъ себѣ мы не желаемъ.

Никто болѣе Фердинанда не былъ призванъ къ тому, чтобы по достоинству оцѣнить силу и значеніе подобнаго переворота. Не даромъ былъ онъ аррагонскимъ правителемъ, не даромъ вышелъ изъ той династіи, къ которой принадлежалъ Петръ IV. Прошлое его семьи говорило ему о томъ, что только въ единеніи съ простымъ народомъ возможно сохраненіе и упроченіе самодержавія, что въ немъ одномъ ле-

жить залогъ побѣды надъ всякаго рода олигархическими тенденціями. Въдъ аррагонской аристократіи („тісоотбгіа“) только потому и не привелось сохранить за собою того почти неограниченнаго политическаго могущества, какое признано было за ней *Previlégio general*, что свою свободу оно опирало на крѣпостничество и угнетеніи, а Петру IV только потому и суждено было отмѣнить дѣйствіе этого *previlégio*, передъ которымъ блѣднѣетъ даже 65 статья Великой Хартіи Вольностей, говорящая о правѣ высшихъ бароновъ захватить замки короля и пойти на него войною, что въ побѣдѣ монархическаго начала заинтересованъ былъ ждавшій отъ него свободы народъ. Начертанный Лопе портретъ Фердинанда есть портретъ аррагонскаго государя — этого ранняго представителя современной намъ идеи демократическаго цезаризма.

Народное возстаніе служило ему только поводомъ къ упроченію своей власти. Магистръ ордена Калатравы поставленъ въ необходимость смириться и заявить о своей покорности. Фердинандъ принимаетъ его, говоря:

„То одно,
Что вы сюда пришли;—даетъ вамъ право
На мой приѣмъ, радушный и любезный“.

Но стоитъ только тому же магистру заявить, что онъ намѣренъ проучить мятежниковъ, и тотъ же король спѣшитъ заявить:

„Ужъ не касается васъ это дѣло.“

Не признавая болѣе ни за кѣмъ тѣхъ правъ, которыми короли нѣкогда такъ щедро надѣляли своихъ вассаловъ, Фердинандъ не хочетъ также признать законности и народнаго самосуда.

„Король подъ властію своей терпѣтъ
Насилія не можетъ и не долженъ.“

Думая имѣть дѣло съ продолжающимся еще возстаніемъ, онъ посылаетъ въ Фуенте отрядъ своего войска и судью, который долженъ дать ему отчетъ о причинахъ бунта. Но мятежный по отношенію съ сеньерамъ народъ не намѣренъ

противиться своему законному монарху. Онъ водружаетъ щитъ на зданіи ратуши и при первой возможности спѣшить лично довести до свѣдѣнія престола о своей готовности жить въ мирѣ и спокойствіи подъ защитою королевской власти. Онъ старается оправдать свое поведеніе въ глазахъ короля невыносимостью созданнаго ему положенія и неумѣнемъ выйти изъ него иначе, какъ путемъ насилія.

Пусть оправдаютъ насъ передъ тобой
Безиѣрно тяжкія страданья наши,
Желаніе страстное себѣ добыть
Возможность жить счастливо, безмятежно,
А къ этому и наше неумѣнье
Спокойно, мирно справиться со зломъ⁴.

И король снисходитъ къ просьбамъ народа, принимаетъ его подъ свою высокую руку.

Подъ власть мою Фуенте-Овехуна
Желаешь. — Принимаю. Я отнынѣ
Фуенте-Овехуны господинъ,
И будетъ такъ, пока не скажетъ время,
Кого поставить командоромъ тамъ.

Король сдѣлаетъ больше этого. Онъ не только не назначитъ новаго командора въ Фуенте, но и оставитъ его навсегда за собою.

Онъ не поставитъ и новаго магистра надъ орденомъ Калатравы, а убѣдитъ папу Иннокентія VIII признать его самого магистромъ и не одной Калатравы, но и двухъ другихъ орденовъ, Санъ-Хуана и Алькантары^{*)}. Такъ положенъ будетъ конецъ опаснѣйшей для правъ монарха независимости этихъ трехъ главъ кастильской аристократіи, и удовлетворено будетъ желаніе народа не имѣть иного повелителя, кромѣ короля, желаніе, которое въ драмѣ Лопе высказываетъ алькальдъ Эстеванъ, говоря:

„И дурно сдѣлаютъ Кастильи короли, когда
Окончивъ войны всѣ, потерпятъ снова
Въ мѣстечкахъ, городахъ господъ столь важныхъ

^{*)} Cobmeiro, стр. 471.

Съ крестами красными и столь большими.
Пусть на свою король возложить грудь
Святой сей символъ правды и любви!“

Въ этихъ словахъ какъ нельзя лучше обрисованы тѣ причины, которыя дѣлають изъ простонародья конца среднихъ вѣковъ горячихъ поборниковъ монархическаго принципа. Рабочій людъ селъ и городовъ одинаково искалъ оплота противъ феодальной безурядицы и феодальнаго гнета. Онъ готовъ былъ примириться со всякимъ режимомъ, обеспечивавшимъ ему, вмѣстѣ съ внутреннимъ спокойствіемъ и миромъ, необходимую для производительности его труда гражданскую свободу. А это именно и бралась доставить единая, никѣмъ и ничѣмъ неограниченная королевская власть. Раскрывая намъ народную психологію въ тотъ поворотный моментъ міровой исторіи, какой представляетъ торжество абсолютизма надъ сословной представительной монархіей, драма Лопе является неоцѣненнымъ подспорьемъ къ уразумѣнію того сложнаго историческаго процесса, который въ концѣ среднихъ вѣковъ привелъ почти одновременно къ торжеству государственнаго единства и гражданскаго равенства съ одной стороны и къ упадку политической свободы съ другой. Это обстоятельство даетъ намъ право говорить объ „Овечьемъ Источникѣ“, какъ о произведеніи, которое нельзя назвать исключительно національнымъ, такъ какъ оно имѣетъ общечеловѣческое, міровое значеніе. Такія произведенія не могутъ навсегда остаться исключительнымъ достояніемъ той народности, среди которой они возникли. Этою мыслью, по-видимому, и былъ проникнутъ покойный Сергій Андреевичъ Юрьевъ, когда взялся за трудную задачу передать энергическій, сжатый стихъ Лопе на нашъ родной языкъ. Въ числѣ услугъ, оказанныхъ имъ русской литературѣ и просвѣщенію, далеко не послѣдней надо признать ознакомленіе русской публики съ этимъ по истинѣ классическимъ произведеніемъ испанской драмы.

Максимъ Новалевскій.

Село Волоскій Куть.
27-го Августа 1889 г.

Изъ воспоминаній о старомъ другѣ.

Двадцать лѣтъ зналъ я близко Юрьева, и нарисовать его здѣсь во весь ростъ или дать его „литературный портретъ“ было бы для меня большою отрадой. Но, думается, для такой законченной характеристики еще не настало время, не собраны всѣ матеріалы и нѣтъ еще необходимой исторической перспективы. Теперь умѣстиѣ всего собирать воспоминанія о недавно покинувшемъ насъ другѣ,—а извѣстное дѣло, какъ возникаютъ они: внезапно изъ прошлаго ярко выступать, словно озаренная фосфорическимъ сіяніемъ, отдѣльная, глубже врѣзавшаяся въ память сцена; снова переживаешь ее, видишь человѣка, слышишь звукъ его голоса; выдвигаются другія лица; подробности нанизываются одна на другую. Потомъ новая вспышка; еще одинъ уголокъ заснуваго царства озарится. Вскорѣ цѣлымъ роємъ закружатся отрывочные образы. Изъ нихъ слагается живое подобіе прошлаго, хотя и лишенное мелочной біографической подробности. Въ этомъ рядѣ миниатюрныхъ набросковъ нѣтъ размаха кисти портретиста, но они сдѣланы съ натуры и притомъ въ разныя времена жизни человѣка, а техническую сторону дѣла вмѣсто художника-специалиста взяла на себя память, великая мастерица сберегать надолго лица, звуки, краски и впечатлѣнія.

Таковъ характеръ моихъ воспоминаній. Они—просто рядъ миниатюръ.

I.

Уютная зала. Человѣкъ двадцать, тридцать публики, все знакомой между собой; нѣсколько молодыхъ дѣвушекъ, двѣ,

три характерныя старческія головы съ окладистыми бородами и задумчивымъ взоромъ. Всѣ глаза устремлены въ одно направленіе,—въ тотъ уголокъ, гдѣ стоитъ фортепіано, окруженное растеніями въ кадкахъ; оттуда сверкаетъ въ отвѣтъ возбужденный, лихорадочный взоръ, водопадомъ несется рѣчь, прерываемая аккордами на инструментѣ и нѣсколькими тактами речитатива; слегка сдвѣющія пряди волосъ окаймляютъ умное, выразительное лицо, въ которомъ каждая черта дышетъ порывомъ, тревогой и энтузіазмомъ.

Всѣ заслушались и забылись, точно очарованные. Кто сказалъ бы, въ какихъ невѣдомыхъ краяхъ, куда заноситъ нашу фантазію только музыка, витаютъ они теперь мыслями, забывъ все окружающее, и тѣсныя рамки этой комнаты, и дневныя заботы, и сѣрую природу, въ которой только-что повѣяло весной!... Но на одномъ лицѣ всего живѣе сказываются переживаемыя ощущенія. Это еще не старый, бодрый человѣкъ, съ закинутыми назадъ длинными волосами, съ блаженнымъ выраженіемъ въ широко раскрытыхъ глазахъ, иногда оглядывающихъ слушателей, какъ бы призывая ихъ раздѣлить его восторгъ; какіе-то неясныя возгласы одобренія точно невольно вырываются изъ его устъ.

Онъ всѣхъ ближе сѣлъ къ лектору, но ему не сидится; вдругъ онъ поднимется, словно потрясенный чѣмъ-то, жадно слушивается, вглядывается во что-то въ пространствѣ, и потомъ такъ же безсознательно опустится на свой стулъ, какъ поднялся съ него.

Не первый вечеръ проводятъ они такъ. Въ блестящей импровизаціи слышали они уже объясненіе девятой симфоніи Бетховена, особенностей русской народной пѣсни и т. д.,—все это, перевитое остроумными сближеніями, поэтическими цитатами и нотными примѣрами. Но сегодня лекторъ-художникъ особенно сильно подѣйствовалъ на аудиторію; до сихъ поръ онъ объяснялъ чужія созданія, теперь же неожиданно ввелъ слушателей въ тайникъ своего личнаго творчества. Онъ дѣлится съ ними своимъ замысломъ; канва музыкальной драмы уже ясна для нихъ; изъ бытового фона выступаютъ лица; загораются страсти между ними и воплощаются въ руукахъ. Ударяя по клавишамъ послѣ мастерского очерка

предстоящаго драматическаго момента и напѣвая мелодіи будущихъ арій и хоровъ, композиторъ оживляетъ своимъ огнемъ дребезжащіе звуки фортепіано и совсѣмъ необработаннаго голоса. Старая народная жизнь, Русь XVII вѣка, проходитъ яркими картинами въ этой новой музыкальной живописи. Давно ли тотъ же поразительно разносторонній чело-вѣкъ удивлялъ глубокимъ знаніемъ Гетевской поэзіи, цитировалъ Берліоза и Гейне, Шиллера и Рихарда Вагнера, — и вдругъ такой открытый поворотъ къ народности!... Да вѣдь это новая эра въ русской музыкѣ!...

Оттого-то *die stille Gemeinde*, почти сплошь состоящая изъ любителей всего національнаго, такъ радостно настроена сегодня; оттого такъ сіяетъ лицо пожилого энтузіаста, который теперь горячо жметъ руку композитору, только-что окончившему свою лекцію, и обнимаетъ его. Онъ необыкновенно счастливъ; вечеръ какъ нельзя болѣе удался; а вѣдь это онъ убѣдилъ Сѣрова подѣлиться съ дружескимъ кружкомъ отрывками изъ неоконченной еще „Вражьей силы“...

Въ такой обстановкѣ и въ такомъ настроеніи впервые увидѣлъ я Юрьева, и никогда не забыть мнѣ этихъ первыхъ впечатлѣній.

Пошли оживленные толки, возбужденные лекціей; общество разбилось на группы; всего горячѣе, конечно, велась бесѣда въ той изъ нихъ, гдѣ возлѣ Сѣрова, видимо еще не овладѣвшаго собою послѣ своей творческой исповѣди, стоялъ Юрьевъ и говорилъ неистощимо и краснорѣчиво обо многихъ хорошихъ вещахъ, и о будущности русскаго народа, и о славянской взаимности, и объ искусствѣ, громилъ безцвѣтность и безличность, и самъ любовался широкимъ горизонтомъ, раскрывавшимся передъ нимъ. Сѣровъ слушалъ его, сочувственно улыбаясь. Хорошо было смотрѣть на этихъ двухъ, столь схожихъ между собою, старѣющихъ и все еще молодыхъ мечтателей.

А потомъ, за ужиномъ, пошли застольныя рѣчи и тосты. Непривычному чело-вѣку становилось и жутко и какъ-то особенно свѣтло на душѣ отъ множества возбужденныхъ, смѣло разъятыхъ на части и рѣшенныхъ вопросовъ, которые то и дѣло мелькали передъ нимъ. Заходила ли рѣчь о народѣ,

во взглядѣ Юрьева на него не было и тѣни сентиментальности и мистическаго благоговѣнія; чувствовалось, что этотъ человѣкъ, и по типу своему такъ живо напоминающій старика-крестьянина, близокъ къ настоящему, не выдуманному народу, знаетъ его, крѣпко любить и жалѣть. Переходили къ вопросу о славянствѣ, живо интересовавшему всѣхъ (и году еще не прошло тогда съ московскаго славянскаго съѣзда), та же гуманность и уваженіе къ правамъ „народной личности“ внушали Юрьеву горячій протестъ противъ тѣхъ, кто на съѣздѣ не умѣлъ хоть на время побрататься со съѣхавшимися славянскими депутатами, и горделиво указывалъ имъ на подчиненіе и обрусеніе, какъ на единственную ихъ національную будущность. Для всѣхъ, начиная съ польской народности, о которой тогда, послѣ недавняго возстанія, трудно было услышать доброе слово, было свое мѣсто въ той организаціи славянства, за которую ратовалъ Юрьевъ.

Но рамки все раздвигались. Русскій народъ, свободный отъ властолюбивыхъ замысловъ, входилъ въ братскую семью славянъ, она же въ широкій общечеловѣчскій кругъ, гдѣ съ такимъ же правомъ на развитіе выступали расы, народы, государства. Все громче звучалъ голосъ, восторженнѣе горѣлъ взоръ; вѣрою въ конечную побѣду справедливости дышала рѣчь. Она пестрѣла своеобразными словами и оборотами. Нужно было спѣшить усвоить ихъ значеніе,—тогда еще яснѣе и привлекательнѣе становилось развитіе мысли. Впервые прозвучали передъ новичкомъ такія слова, какъ „хоровое, соборное начало“, „всееленская истина“, „единеніе всѣхъ въ любви“; „вѣчныя начала добра, правды, красоты и свободы“ торжественно осѣняли съ своихъ незыблемыхъ пьедесталовъ тревожную жизнь человѣчества.

Все это было необыкновенно свѣжо, своеобразно, не укладывалось ни въ какія общепринятыя рамки.

Тотъ общій знакомый, которому я обязанъ сближеніемъ съ С. А., въ извѣстной степени подготовилъ меня къ предстоявшимъ впечатлѣніямъ. „Вы увидите очень умнаго и престраннаго человѣка,—говори́лъ онъ мнѣ.—Въ немъ сходятся всевозможныя противоположности. Онъ прекрасный математикъ, даже астрономъ, и въ то же время бредитъ Шекспиромъ и

Гёте; калязинскій землевладѣлецъ, популярный въ своей округѣ, ходитъ тамъ въ народномъ костюмѣ, играетъ у себя вмѣстѣ съ крестьянами на сценѣ, а потомъ углубляется съ Шеллингомъ въ дебри абстрактности; славянофилъ по многимъ мнѣніямъ и по дружескимъ связямъ, но радуется каждому успѣху европейскаго прогресса, съ интересомъ слѣдитъ за самыми смѣлыми направленіями въ наукѣ и жизни. Все это зналъ я уже, готовясь къ знакомству, но дѣйствительность превзошла ожиданія.

Слишкомъ очевидно было, что *такой* человѣкъ не можетъ тѣшиться игрою противорѣчій и исканіемъ возбуждающихъ впечатлѣній. Это не дилеттантъ, съ самодовольнымъ эпикурействомъ испытывающій поочередно разнообразныя умственныя наслажденія; это и не Рудинъ, хотя рѣчь его такъ же трогаетъ и увлекаетъ. У этого человѣка есть своя, глубоко имъ продуманная и дорогая ему мысль. До ея осуществленія безмѣрно далеко; идеальный строй жизни, состоящій изъ „разнообразныхъ соединеній свободныхъ личностей, сливающихся въ гармоническомъ хорѣ“, въ которомъ личное примиряется съ общимъ, одна изъ грезъ, съ незапамятныхъ временъ манившихъ къ себѣ лучшихъ изъ людей; они не уставали напоминать о ней; несмотря на рѣзкое противорѣчіе жизни съ мечтою, говорили о братствѣ въ вѣка хищничества и произвола. Вотъ одинъ изъ такихъ проповѣдниковъ. Передъ его вѣрой въ идею смолкаетъ холодное слово сомнѣнія или житейской мудрости. Съ такими людьми не станешь спорить, а только порадуешься, что они еще есть между нами.

Но ему слишкомъ тѣсно здѣсь, между четырьмя стѣнами его гостиной или на дружескихъ сборищахъ у послѣднихъ могиканъ славянофильства; ему нужна широкая арена публициста, оратора на общественныхъ собраніяхъ. Навѣрно за нимъ пойдутъ сотни, тысячи....

Извозчикъи санки уносили на разсвѣтъ домой необыкновенно счастливаго молодого человѣка. Среди будничной прозы онъ неожиданно встрѣтилъ свѣтлую, убѣжденную личность, — а развѣ это не большое благо?

II.

Три года спустя. На дворъ трескучій морозъ, но тепло и весело въ комнатѣ. Это та же самая зала, гдѣ когда-то Сѣровъ объяснялъ свою „Вражью силу“, но фортепіано заперто и отодвинуто, и на очереди теперь уже не эстетика. Нѣтъ той благоговѣйной тишины, съ которой всѣ тогда слушали одного. Теперь всѣ говорятъ заразъ, оживленно спорятъ, отодвигаютъ стулья, ходятъ по комнатѣ. То и дѣло раздаются звонокъ, и вновь прибывшее лицо, встрѣчаемое шумными возгласами, попадаетъ въ водоворотъ мнѣній и вскорѣ кружится въ немъ вмѣстѣ съ остальными. Гулъ стоитъ въ разогрѣвшемся воздухѣ, насыщенномъ табачнымъ дымомъ, но, всмотрѣвшись въ лица, вслушавшись въ рѣчи, сейчасъ замѣтишь, что это—хорошее возбужденіе, что вызвано оно не разладомъ, а серьезнымъ интересомъ къ одному и тому же дѣлу, которое всѣ хотятъ возможно лучше организовать, да только никакъ не могутъ сговориться, какимъ бы это путемъ сдѣлать.

Между группами похаживаетъ съ довольнымъ видомъ Юрьевъ; то вставляетъ свое слово въ пренія, заронить мысль, другую въ нихъ, то присядетъ на большой диванъ и заведетъ тамъ, среди большого кружка, бесѣду о какомънибудь новомъ и живомъ вопросѣ; какъ будто вспомнивъ о чемъ-то, подойдетъ къ одному изъ гостей, возьметъ его за руку, ходитъ съ нимъ взадъ и впередъ; затѣмъ они удаляются по корридору, въ кабинетъ и окончательно сговариваются тамъ. Наконецъ оттуда слышны поцѣлуи, и оба возвращаются въ залу съ сіяющими лицами.

Есть чему радоваться: это—если не первый, то одинъ изъ первыхъ редакціонныхъ вечеровъ новаго журнала *Бесѣда*.

Наконецъ найдено настоящее, осязаемое дѣло! Періодъ сборовъ, набрасыванія программъ и системъ, горячихъ рѣчей и призывовъ миновалъ. Пришла пора дѣйствовать, высказываться во всеуслышаніе, вліять на жизнь.

И Юрьевъ весь отдался дѣлу. Тотъ, кого близкіе къ нему люди считали симпатичнѣйшимъ идеалистомъ, но ужь слишкомъ увлекающимся, безпечно разсѣяннымъ, мало знающимъ

практическую жизнь и совсѣмъ непригоднымъ для многотрудныхъ редакторскихъ заботъ, обнаружилъ рѣдкія свойства публициста и организатора. Недаромъ на его вечерѣ большинство гостей—молодые люди, а въ штабѣ сотрудниковъ стоятъ рядомъ имена, бывало разносившіяся по спискамъ самыхъ разнородныхъ лагерей и литературныхъ приходовъ, славянофилы и западники, москвичи и петербуржцы. Онъ одинъ умѣлъ сплотить ихъ, намѣтить для нихъ общія цѣли, раздать между ними работу. Мало того, къ изданію такого своднаго органа онъ съумѣлъ склонить писателя съ рѣзко опредѣленнымъ положеніемъ въ литературѣ, А. И. Кошелева, покинувшего подъ его вліяніемъ славянофильскую программу своей *Русской Бесѣды*, давно уснувшей сномъ праведныхъ, для попытки сліянія мнѣній.

Но въ планы Юрѣва вовсе не входило искусственное образование того чахлаго, всегда недолговѣчнаго компромисса, который въ мірѣ политики носитъ названіе коалиціоннаго министерства, партіи примиренія и т. д. Его ученіе пыталось кореннымъ образомъ объединить то, что есть вѣрнаго, животворнаго, обезпечивающаго просторъ человѣчеству, въ какихъ бы то ни было теоріяхъ, не допытываясь, кому принадлежали эти догадки. Старое разъединеніе, узкій духъ партійности были ему противны; онъ шелъ своею дорогой и признавалъ только однихъ противниковъ—защитниковъ застою и тьмы.

Онъ видѣлъ, что часто на изученіе настоящей крестьянской жизни и ея нуждъ самоотверженно затрачивалось гораздо болѣе усилій людьми изъ того лагеря, который по прежнему корили европеизмомъ; что современная намъ жизнь западныхъ славянъ съ ея далеко ушедшей культурой и политической борьбой остается невѣдомою его славянофильскимъ товарищамъ, склоннымъ вмѣшивать въ подобные вопросы соображенія религіозныя и готовымъ принимать къ сердцу лишь судьбу единовѣрцевъ. Самъ онъ искренно вѣрилъ, но мысль его съ любовью обращалась къ первымъ вѣкамъ христіанства, къ первымъ общинамъ вѣрующихъ,—и это придавало братски-демократическое освѣщеніе его религіознымъ взглядамъ и симпатіямъ.

Съ другой стороны, онъ съ признательностью вспоминалъ завѣты первыхъ славянофиловъ, и особенно любимаго имъ Хомякова, доказывая, что всякое національное самомиѣніе и исключительность были имъ антипатичны, что гуманная терпимость была ихъ лозунгомъ, часто нарушаемымъ ихъ преемниками. Западный міръ, которому Юрьевъ обязанъ былъ и своимъ широкимъ эстетическимъ образованіемъ, и научнымъ развитіемъ, не могъ представляться ему разлагающимся трупомъ. Напротивъ, гдѣ бы ни проявлялись серьезныя національныя или общественныя движенія, онъ сочувственно отзывался и слѣдилъ за ихъ успѣхами. Онъ твердо вѣрилъ въ возрожденіе Франціи послѣ 4 сентября и не возлюбилъ Тьера, въ которомъ чуялъ мертвящую безцвѣтность и непониманіе духа времени. Ему казалось, что отовсюду пододвигаются новыя общественныя силы; съ любознательностью ученаго, воспитавшагося на точномъ методѣ, онъ слѣдилъ за этимъ историческимъ процессомъ,—а переходя къ сравненіямъ съ русскимъ міромъ, любилъ доказывать, что чуть ли не всѣ тревожныя для Европы вопросы могутъ быть рѣшены у насъ естественнымъ и мирнымъ, но самостоятельнымъ путемъ.

Къ такой программѣ призывалъ онъ примкнуть всѣхъ, въ комъ бы она ни возбудила сочувствіе.

Впечатлѣніе, конечно, было сначала неясное, двойственное. Новый журналъ многіе сочли чисто-славянофильскимъ органомъ и ждали повторенія давно извѣстныхъ миѣній. Отзывы петербургской печати проникнуты были недовѣріемъ. Но въ ортодоксальныхъ московскихъ кругахъ обидѣлись излишними уступками противникамъ, появленіемъ на страницахъ журнала на-ряду съ Погодинымъ такихъ именъ, какъ Костомаровъ, Соловьевъ (онъ помѣстилъ изслѣдованіе объ эпохѣ *Петра Великаго*), сочувственными отзывами о Бѣлинскомъ и его ученикахъ, обширностью иностраннаго отдѣла, помѣщеніемъ статей Кастеляра или Фредерика Гаррисона, сочетаніемъ религіозности съ свободомысліемъ. Но удивленіе все росло по мѣрѣ того, какъ выяснялась настоящая фizioномія журнала и расправлялись крылья у редактора-новичка.

Откуда взялось у него пониманіе практическихъ нуждъ русской жизни? Онъ подыскалъ многихъ, разсѣянныхъ по

Россіи, сотрудниковъ, которымъ поручилъ слѣдить за малѣйшими движеніями и фактами въ экономической жизни народа, изучать этнографію, сектантство, юридическіе обычаи, и открылъ въ журналѣ областной отдѣлъ, по обстоятельству схожій съ земскими статистическими работами нашего времени. Съ главнѣйшими политическими дѣятелями западнаго славянства, Палацкимъ, Ригеромъ, съ вождемъ русскихъ въ Венгріи Добрянскимъ вступилъ онъ въ оживленную переписку и былъ посвященъ въ планъ борьбы за федеративное устройство австрійскихъ славянъ. Почувявъ расположеннаго къ нимъ человѣка, сами отозвались польскіе писатели, сторонники примиренія на почвѣ славянства,—и по временамъ, прикрытыя русскимъ псевдонимомъ, присылались изъ Кракова статьи въ этомъ духѣ, принадлежавшія одному изъ ревностныхъ польскихъ патріотовъ. А рядомъ печатался, наприм., переводившійся съ рукописи романъ Андрэ Лео, тогда гонимой за участіе въ возстаніи парижской коммуны и скрывавшейся въ сѣверной Италіи; потомъ шли смѣлыя по тому времени статьи о недугахъ нашей педагогій, о положеніи духовенства, изслѣдованіе о монастырскихъ доходахъ и т. д.

Роли должны были скоро перемѣниться. Безусловные порицатели переходили на сторону *Бесѣды*. Живо помню, съ какимъ удовольствіемъ Юрьевъ получалъ письма отъ петербургскихъ литераторовъ, отъѣнка Коршевскихъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, съ откровеннымъ признаніемъ, что онъ ихъ побѣдилъ и что теперь они сами предлагаютъ ему свое сотрудничество... А въ томъ лагерѣ, къ которому, казалось, долженъ былъ принадлежать онъ, недоумѣніе переходило въ раздраженіе. На Юрьева иные смотрѣли почти какъ на отступника или какъ на ослѣпленнаго, блуждающаго во тьмѣ. Могли человѣкъ, воспитанный въ здравыхъ понятіяхъ, искренно вѣрующій, народолюбецъ, идти по *такому* пути, дружить съ *такими* людьми! Возстановляли Кошелева, требовали помѣщенія пресердитыхъ возраженій, засыпали самого Юрьева укоризненными письмами. Но, печатая возраженія противъ наиболѣе дорогихъ ему статей, онъ сопровождалъ ихъ объясненіями отъ редакціи, разбивавшими нападки по пунктамъ; не щадилъ онъ полемическихъ замѣтокъ самого Кошелева,

и однажды такъ и не далъ ему въ обиду Бѣлинскаго, на котораго тотъ было обрушился.

Невзгоды надвигались и съ другой стороны. Въ извѣтахъ реакціонной печати не было недостатка. Начались столкновения цензурнаго свойства; книжки *Бесѣды* конфисковались и ихъ иногда приходилось вновь перепечатывать. Но чѣмъ труднѣе становилось журнальное дѣло, тѣмъ болѣе крѣпла въ Юрьевѣ безстрашная стойкость. Все яснѣе становились ему цѣли и средства; онъ шелъ впередъ, не оглядываясь пугливо по сторонамъ. Ему казалось, что онъ только исполняетъ свой долгъ.

Нужно ли говорить, какъ дѣйствовалъ этотъ примѣръ на его сторонниковъ, и въ особенности на молодыхъ членовъ редакціи! Съ такимъ человѣкомъ хорошо было работать; срочный журнальный трудъ не казался сухимъ и томительнымъ. Сотрудникъ былъ посвященъ въ намѣренія и взгляды своего принціпала. Намѣтивъ про себя, кто всего лучше можетъ выполнить ту или другую задачу, Юрьевъ заведетъ съ нимъ долгую, искреннюю бесѣду наединѣ, или на редакціонномъ вечерѣ увлечетъ его изъ залы въ кабинетъ, и когда они выйдутъ оттуда, молодому сотруднику кажется, что онъ самъ додумался до извѣстной мысли, и онъ рвется скорѣе повѣдать ее міру...

Вольно дышалось въ новомъ кружкѣ, и прежде всего потому, что здѣсь никто не насилуетъ убѣжденій, не примучиваетъ къ обязательному *credo*. Если въ главныхъ чертахъ сотрудникъ былъ согласенъ съ направлениемъ и знаетъ, что, идя разными путями, можно придти къ одной и той же цѣли, — самостоятельность его личнаго оттѣнка оставалась неприкосновенною. Его привлекала надежда, быть можетъ, склонить самого редактора на ея сторону. Скажу больше, именно она могла сблизить его съ Юрьевымъ, потому что онъ не только отвлеченно ратовалъ за терпимость мнѣній, но и проводилъ ее въ жизнь.

Исторія моей долголѣтней дружбы съ нимъ — наглядный тому примѣръ. Въ дни *Бесѣды*, гдѣ я велъ политическое обозрѣніе и отдѣлъ иностранной литературы, я могъ свободно высказываться, и Юрьеву, иногда остававшемуся при сво-

емъ мнѣніи, приходилось выносить за потворство западничеству постоянные нападки отъ своихъ друзей „съ того берега“. И въ послѣдствіи, когда насъ уже не соединяла совмѣстная литературная работа, мы на извѣстные вопросы продолжали смотрѣть различно, но все тѣснѣе сближались.

При такихъ-то условіяхъ зародился въ 1871 году первый журналъ С. А. Въ немъ могли быть ошибки, первые шаги были, конечно, неувѣренны, — но и теперь отъ этихъ забытыхъ всѣми книжекъ вѣетъ тѣмъ бодрымъ, молодымъ духомъ, который согрѣвалъ это своеобразное изданіе, который царилъ нѣкогда на шумныхъ редакціонныхъ собраніяхъ. Отдаленіе сливается ихъ въ моей памяти въ одинъ коллективный вечеръ, въ одну задушевную бесѣду людей, готовыхъ честно послужить своему народу.

III.

Все пусто и мертво кругомъ. Нѣтъ больше ни журнала, ни оживленныхъ совѣщаній, ни общественной дѣятельности; „прекрасные дни въ Аранхуэсѣ прошли“; опять вяло потянулась житейская проза съ едва замѣтными полосками умственного возбужденія. Сносить ее еще можно было прежде, среди неопредѣленныхъ сборовъ къ чему-то, но теперь, послѣ дѣла, снова быть отброшеннымъ въ ряды мечтателей и кружковыхъ ораторовъ, которые сегодня на одномъ, а завтра на другомъ концѣ Москвы судятъ и рядятъ среди десятка знакомыхъ о міровыхъ вопросахъ, — это невыносимое мученіе...

„Тяжело ложится на душу недосказанное слово“, — такъ начиналось глубоко печальное обращеніе Юрѣева къ читателямъ, отмѣнявшее уже объявленную подписку на третій годъ журнала (1873), извѣщая о его закрытіи. И, посмотрѣвъ тогда на Юрѣева, измѣнившагося въ лицѣ, взволнованнаго, нервнаго, сразу замѣтно было, что это признаніе идетъ отъ сердца. Среди возраставшихъ успѣховъ быть принужденнымъ вдругъ оборвать рѣчь — не значило ли это внезапно утратить подъ собой почву, или послѣ смѣлаго плаванія по житейскимъ волнамъ быть выброшеннымъ на далекій, пустынный берегъ! Что теперь дѣлать? Неужели начинать жизнь съизнова?...

На лѣстницѣ слышались тяжелые шаги. Юрьевъ взбирается по ней въ нашу скромную квартирку около Польской церкви; захотѣлось ему отвести душу, погоревать и погнѣваться вмѣстѣ съ своимъ недавнимъ сотоварищемъ. Изъ передней уже слышны его возгласы; наконецъ онъ размоталъ съ себя длинный шарфъ, скинулъ классическую енотовую шубу, съ вѣрной примѣтой, по которой разсѣянный хозяинъ могъ узнавать свою собственность, — нарочно незащитымъ отверстіемъ въ подкладкѣ; вотъ ужъ онъ усѣлся на диванѣ, и передъ нами развернулась обширная, въ лицахъ и мастерски схваченныхъ рѣчахъ, освѣщенная грустнымъ юморомъ, повѣсть его неудачъ.

Бѣдный старый другъ! Какъ мнѣ понятно теперь, послѣ просмотра его переписки, сколько пришлось ему тогда испытать! Обо многомъ говорилъ онъ съ нами, на многое намекалъ, но вся совокупность невзгодъ какъ-то не представлялась въ такомъ безотрадномъ видѣ. Настала расплата за слишкомъ независимую дѣятельность. Съ одной стороны предвидѣлись дальнѣйшія карательныя мѣры, безъ того уже сильно подорвавшія экономическую сторону изданія; съ другой (и гораздо болѣе) оказывала давленіе небольшая группа лицъ, которая сначала тщетно надѣялась сдѣлать журналъ своимъ органомъ, и теперь усиленно вліяла на издателя, ставя ему на видъ, что своими деньгами онъ поддерживаетъ постоянное глумленіе надъ дорогими ему именами и ученіями, что онъ измѣняетъ завѣтамъ великихъ наставниковъ и вызываетъ лишь насмѣшки надъ собой и злорадство.

Впослѣдствіи онъ самъ понялъ, до чего доходили тогда преувеличенія и инсинуаціи, и сознавался, что слишкомъ легко повѣрилъ наговорамъ; со временемъ онъ снова сблизился съ Юрьевымъ,¹ но въ теченіе всего послѣдняго года изданія онъ въ письмахъ своихъ къ нему подвергалъ безпощадной критикѣ каждую, сколько-нибудь нарушавшую преданія, статью, возставалъ противъ обостряющагося будто бы противорѣчія съ ними, и предлагалъ на выборъ — или полное преобразование журнала съ устройствомъ наблюдательнаго комитета, или прекращеніе изданія. Юрьевъ не уступилъ, и „недосказанное слово тяжело легло ему на душу“.

Но онъ не хотѣлъ, и не могъ снова войти въ ряды мирныхъ обывателей. Потребность дѣятельности направила его силы въ другую область, къ которой его всегда влекло всею душой. Недавній публицистъ становится драматургомъ, — и не только оттого, что молодость его, какъ и всего его поколѣнія, прошла подъ сильнымъ обаяніемъ классическаго московскаго театра и близости къ Мочалову, но потому, что драма, какъ ее понималъ Юрьевъ, живетъ тѣмъ же, что хотѣлось ему вызвать и во всемъ нашемъ быту,—дѣйствіемъ, движеніемъ. „Am Anfang war die *That*“, могъ бы онъ сказать вмѣстѣ съ Фаустомъ.

Первыми историческими лицами, которыя онъ попытался воплотить на сценѣ, были Жижка съ его таборитами, и прославленный сербскими пѣснями Марко Кралевичь, защитникъ народной независимости. Наброски этихъ драмъ восходятъ почти ко времени *Бесѣды*,—и чего только не хотѣлъ онъ вывести въ нихъ, забывая цѣломудренныя привычки нашей сцены! Часто возвращался онъ къ переработкѣ индійской драмы Калидасы „Васантасена“, и, конечно, потому, что въ ея основѣ лежитъ опять подъемъ живыхъ народныхъ силъ, высвобождающихся изъ-подъ кастоваго гнета.

Когда недовѣріе къ своему личному творчеству побудило его широко развить переводную дѣятельность, онъ изъ старыхъ испанскихъ драматурговъ увлекся Лопе-де-Вега, этимъ замѣчательнымъ мастеромъ рисовать народъ, его массовыя движенія, нравственные и соціальныя идеалы.

Наконецъ, восходя все выше къ совершеннымъ образцамъ драмы, онъ съ священнымъ трепетомъ подошелъ къ Шекспиру и до конца дней своихъ неутомимо переводилъ одну за другою тѣ пьесы, гдѣ затронуты вѣковые, общечеловѣческіе вопросы и игра страстей освѣщена гуманною и грустною философіей поэта.

Театръ—такая же арена общественной дѣятельности, сцена—та же кафедра, и Юрьевъ нашелъ нѣкоторую замѣну утраченнаго живого дѣла. Когда на представленіи „Овечьяго источника“ или „Севильской звѣзды“ театръ бывалъ переполненъ зрителями, зала сотрясалась отъ взрывовъ рукоплесканій, и каждая мѣтко выраженная мысль поэта находила

отзвукъ во множествѣ сердецъ,—виновникъ этого здороваго умственного возбужденія былъ счастливъ: снова онъ стоялъ лицомъ къ лицу съ массой и, казалось, обращалъ къ ней свое учительное слово.

Переходъ къ драмѣ повелъ за собой выработку выразительнаго поэтическаго слога, далеко оставившаго за собой прозу. На первыхъ журнальныхъ работахъ Юрьева еще лежала печать философскаго жаргона сороковыхъ годовъ; чего бы ни касались онѣ, наприм. русской пѣсни (въ написанномъ имъ вступленіи къ первой лекціи Сѣрова, помѣщенной въ газетѣ *Москва*), непременно устанавливались сначала общія положенія, потомъ они раздроблялись, доказывались; философскіе термины русско-нѣмецкаго происхожденія разсыпаны были повсюду въ изобиліи. Эти тяжелыя привѣски притягивали мысль книзу, и несовершенство формы мучило самого автора. Въ то время, какъ устная его рѣчь лилась свободнымъ и искрящимся потокомъ, написанное слово звучало какъ-то тускло или порою слишкомъ напоминало ученый трактатъ. Но въ живой журнальной полемикѣ, постоянно вѣдаясь со злобой дня, сталъ вырабатываться у него ясный и убѣдительный прозаическій слогъ. Иногда сказывалась и впоследствии старая привычка, но нѣсколько періодовъ, изложенныхъ туманно, съ избыткомъ выкупались живыми страницами, захватывающими читателя. Служеніе драмѣ вызвало за то наружу гибкость и образность рѣчи; развилось умѣнье владѣть бѣлымъ стихомъ; наконецъ, въ самые послѣдніе годы, рабочую келью больного посѣтила нежданная гостья—приема.

Такъ силою вещей Юрьевъ изъ публициста превращенъ былъ въ дѣятеля „изящной словесности“, подобно тому, какъ прежде покинулъ занятія высшей математикой и астрономіей для журнальной дѣятельности.

Но скоро сказывается только сказка. До той поры, когда въ сценическомъ мірѣ репутація С. А., какъ драматурга и тонкаго цѣнителя театральнаго искусства, вполне упрочилась, прошло не мало лѣтъ, полныхъ неудовлетворенности и исканія выхода. Силъ было еще много, но примѣнить ихъ было негдѣ.

Когда невзначай открывался подходящий случай, нужно было видѣть, что дѣлалось съ Юрьевымъ; навѣрно то же испытываетъ старый воинъ, заскучавшій отъ мира и бездѣйствія и вдругъ слышащій призывный кличъ.

Открытое засѣданіе Общества любителей словесности. Публика разсѣянно прослушала безцвѣтное стихотвореніе, заунывно прочтенное авторомъ, потомъ двѣ или три главы изъ какого-то народнаго разсказа, — но вотъ къ кафедрѣ пробирается, почти ощупью и донельзя прищуривая глаза, маститая фигура Юрьева. Всѣ взоры устремляются въ эту сторону; искра пробѣжала по собранію; слышенъ шопотъ. въ которомъ сказались и любопытство, и увѣренное ожиданіе чего-то интереснаго. И дѣйствительно, едва съ кафедры взглянуло на толпу умное лицо, живописно обрамленное серебристыми прядями волосъ и густою сѣдою бородой, какъ уже послышалась свободная и горячая импровизація, какихъ мало даетъ намъ наша сѣренькая жизнь. Литературныя оцѣнки, историческія характеристики, нѣсколько чертъ изъ народной жизни, защита общечеловѣческаго прогресса, — все сольется въ рѣчи, всегда полной отзвуковъ современности, которой Юрьевъ касался съ большою смѣлостью. Помню, какое впечатлѣніе произвело то его слово, въ концѣ котораго онъ не ожиданно сталъ доказывать, что имя нигилистовъ всего болѣе заслуживаютъ проповѣдники застоя.

Такія минуты выпадали рѣдко, и въ будничной обстановкѣ могло развиваться только краснорѣчіе рудинскаго типа, дѣйствуя въ скромныхъ размѣрахъ, по мелочамъ. Но какъ хорошо бывало смотрѣть на нашего милаго старца, когда на какомъ-нибудь „вечерѣ за просто“ его со всѣхъ сторонъ окружала группа увлеченныхъ слушателей! За минуту передъ его появленіемъ нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ его не знали, но при первыхъ звукахъ его юношески-страстной рѣчи все молодое и чуткое невольно шло ему на встрѣчу, съ любопытствомъ прислушивалось, обступало его; черезъ нѣсколько времени его почти не видно было изъ-за кучки молодежи. которая сидѣла, стояла, лѣпилась по двое, по трое на одномъ стулѣ, тянулась черезъ чужія головы, стараясь не проронить ни одного слова.

Тотъ, кто узналъ Юрѣва лишь въ послѣдніе, болѣзненные его годы, врядъ ли можетъ представить себѣ, какимъ несомнѣннымъ талантомъ обладалъ онъ и какъ публичный ораторъ, и какъ собесѣдникъ въ тѣсномъ кружкѣ. Время наложило и на него свою неумолимую руку, и старческая рѣчь являлась лишь слабымъ отблескомъ прежней силы. Искусство бесѣдовать мало цѣнится у насъ, да и встрѣчается все рѣже, а между тѣмъ оно—великій даръ, и Юрѣвъ владѣлъ имъ.

На парижскихъ бульварахъ выросъ легкій и доступный *feuilleton parlé*, излагаемый толпѣ вслухъ. Не фельетоны, а цѣлыя статьи разнообразнаго содержанія, которымъ суждено было никогда не быть написанными, проходили передъ слушателями Юрѣва. Онъ разбрасывалъ по воздуху свои сокровища. Не будь этого, его *bagage littéraire* былъ бы несравненно внушительнѣе, и положеніе въ литературѣ еще опредѣленнѣе. Друзья всего лучше понимали это. Когда (очень давно) его захотѣли выбрать въ члены Общества любителей словесности и, по обычаю, наводили справки о томъ, что онъ напечаталъ, крѣпко любившій его Писемскій воскликнулъ съ комическимъ негодованіемъ: „что вы мнѣ говорите, напечаталъ! Да онъ *наговорилъ* о литературѣ больше всѣхъ насъ!“...

И всегда наиболѣе увлеченныхъ слушателей представляла молодежь. Она отогрѣвалась душой около него, понимала его на полусловъ, легко разгадывая нѣсколько чуждую ей, чуть-чуть старомодную терминологию. И въ самомъ дѣлѣ, не все ли равно, если то, что она назвала бы новѣйшимъ терминомъ альтруизма, являлось здѣсь подъ именемъ „вѣчнаго начала добра и правды?“ Вѣдь въ сущности обѣ стороны вѣрили въ одно и то же.

Отношенія Юрѣва къ молодежи были необыкновенно просты. Ему противна была бы самая мысль выступать передъ нею съ внушительной осанкой мудреца, преисполненнаго знаній, проникшаго во всѣ тайны, или хитроумнаго политика съ гримасой многозначительности и требованіемъ поклоненія. Это былъ не кружковой божокъ, а старый другъ, которому можно все сказать, и который готовъ подѣлиться всѣмъ, о чемъ думалъ и что испыталъ.

И за случайною встрѣчей гдѣ-нибудь на вечерѣ слѣдовало сближеніе. Студентъ, слушательница женскихъ курсовъ, начинающій писатель, актеръ-новичокъ шли къ Юрьеву на домъ, повѣряли ему свое горе и нужды, мучили его чтеніемъ необъятныхъ своихъ твореній, проходили съ нимъ роли, ждали отъ него самой разнообразной помощи, начиная отъ опредѣленія цѣли жизни и кончая пріисканіемъ мѣста и работы. И, добродушно улыбаясь, онъ все выслушивалъ, критиковалъ, объяснялъ; онъ хлопоталъ, выручалъ изъ бѣды, находилъ мѣста, устраивалъ благотворительные вечера и самъ читалъ на нихъ, успокоивалъ гамлетовскую скорбь, поддерживалъ тружениковъ,—и только въ кругу близкихъ позволялъ себѣ иногда презабавно поворчать на то, что ему совсѣмъ не оставляютъ свободнаго времени.

Здѣсь можно было бы привести много характеристическихъ примѣровъ, но въ этихъ случаяхъ даже лѣвая рука не должна знать, что сдѣлала правая.

Гдѣ теперь тѣ люди, которымъ когда-то пришелъ на помощь Юрьевъ? Помнятъ ли они о томъ, чѣмъ онъ явился для нихъ, когда они стояли на распутіи? Если кто-нибудь изъ нихъ еще помнитъ это, онъ долженъ вѣрить, что не въ половицѣ только, и не въ прописяхъ, а на дѣлѣ свѣтъ не безъ добрыхъ людей.

IV.

Есть натуры, которыя обнаруживаютъ всю свою духовную силу лишь въ тотъ возрастъ, когда большинство людей утомленною походкой плетется подъ гору. Въ ихъ жизни самую свѣтлую порой является не весна съ ея цвѣтами и любовью, а согрѣтая прощальнымъ солнцемъ осень.

Юрьевъ былъ изъ числа такихъ людей. Когда, выдвинувшись изъ общественныхъ рядовъ, онъ сразу сталъ замѣтною величиной, пятый десятокъ былъ уже у него на исходѣ. Еслибы нить не была внезапно оборвана, дѣятельность его развивалась бы все шире и стройнѣе. Но восемь лѣтъ прошло снова въ замкнутой внутренней работѣ или скромномъ оживленіи кружковыхъ сборищъ; рѣдкими просвѣтами приходилось считать первое представленіе пьесы или публичную

лекцію. Восемь лѣтъ—слишкомъ большой промежутокъ для людей его возраста. Но прежнія поколѣнія были гораздо крѣпче насъ, и Юрьевъ дождался лучшихъ дней, не измѣнившись ни въ чемъ, продолжая вѣрить и надѣяться, по прежнему искренно увлекаясь и отъ всей души негодуя.

Къ концу этого періода у него были снова молодые друзья,—кружокъ, органомъ котораго одно время было *Критическое Обозрѣніе*,—новыя профессорскія силы, выдвинувшіяся тогда въ Московскомъ университетѣ, да примкнувшіе къ нимъ члены бывшей редакціи *Бесѣды*. На вечерахъ у М. Ковалевскаго сходились представители разнообразныхъ знаній, мѣстныя и пріѣзжіе литераторы и ученые. Юрьевъ съ самаго же начала (1876—77) сталъ привычнымъ и любимымъ посѣтителемъ этихъ сборищъ. Какъ всегда, онъ и тутъ стоялъ выше разногласія въ мнѣніяхъ. Въ философіи онъ боролся съ позитивизмомъ,—а между тѣмъ большинство его новыхъ друзей состояло изъ позитивистовъ. Преданія, унаслѣдованныя имъ отъ старыхъ наставниковъ и окутанныя мистической дымкой, кореннымъ образомъ разбивались сравнительнымъ методомъ, социологическими наблюденіями, изслѣдованіями въ области народнаго хозяйства, государственнаго права, изученіемъ исторіи учреждений. Но прежняго ученаго привлекала научная трезвость пріемовъ и, предоставляя себѣ при случаѣ поспорить, онъ съ любопытствомъ слѣдилъ за результатами работъ. Появленіе его было всегда желаннымъ; онъ казался патріархомъ среди окружавшей его молодой братіи, живымъ звеномъ между нею и старшимъ поколѣніемъ.

Уже недолго было ему ждать двухъ важныхъ событій его жизни, которыя, казалось, должны были положить конецъ годамъ затишья,—пушкинскихъ празднествъ 1880 года, и основанія второго его журнала, „Русской Мысли“, или, какъ предполагалось его сначала назвать, „Русской Думы“.

Воспоминаніе о „пушкинскихъ дняхъ“, я думаю, еще свѣжо у всѣхъ. Тамъ, гдѣ можно было разсчитывать на заурядный церемоніаль снятія завѣсы съ памятника и на безобидное напряженіе казеннаго краснорѣчія, импровизовано было съ сказочною быстротой блестящее литературное торжество, всероссійскій съѣздъ писателей, рядъ многолюдныхъ публичныхъ собра-

ній. Юрьевъ былъ однимъ изъ главныхъ виновниковъ этого превращенія. Онъ снова очутился въ своей стихіи. Полномочія его, какъ предсѣдателя общества, завѣдывавшаго празднествами, открыли передъ нимъ много простору. Въ его изобрѣтательномъ умѣ возникали все новые замыслы. Смѣлость его приемовъ навлекала на него даже порицаніе со стороны такихъ людей, какъ И. Аксаковъ. Сблизившись съ вождями литературы, Юрьевъ мечталъ о возможно большемъ объединеніи ея усилій, выдвигалъ всенародное, культурное значеніе Пушкинскихъ дней, неутомимо хлопоталъ, писалъ, убѣждалъ, говорилъ рѣчи.

Но въ ту мимолетную хорошую пору, одну изъ тѣхъ, что остаются навсегда свѣтлыми точками въ полумракѣ, оазисами среди песчаного моря, меня не было въ Россіи. Письма и рассказы Юрьева и другихъ очевидцевъ передали мнѣ потомъ обо многомъ; но въ той галлерей разновременныхъ снимковъ съ натуры, къ которымъ сводятся мои воспоминанія о С. А., недостаетъ, къ великому моему сожалѣнію, одного, на которомъ виднѣлся бы онъ гдѣ-нибудь на эстрадѣ дворинскаго собранія или каедрѣ актовой залы съ восторженнымъ выраженіемъ лица, въ ту минуту, когда его рѣчь громовыми раскатами носится надъ многоголовою толпой.

Это былъ послѣдній триумфъ Юрьевского краснорѣчія. Жизнь не баловала его больше.

Основаніе „Русской Мысли“ обѣщало загладить напраслину, продержавшую такъ долго въ бездѣйствіи его публицистическія способности. Съ какимъ чувствомъ удовлетворенія возирающаго онъ къ любимой дѣятельности, легко себѣ представить. Онъ хотѣлъ пойти по слѣдамъ *Бесѣды*, но еще шире развить то, что въ ней было лишь намѣчено, воспользоваться указаніями опыта, снова соединить подходящія силы, оставляя въ сторонѣ ихъ дробленіе на партіи. Кружокъ его новыхъ друзей являлся, конечно, готовымъ кадромъ для будущей редакціи.

На дѣлѣ вышло иначе. Когда вспоминаешь о тѣхъ временахъ, на память прежде всего приходитъ недоразумѣніе, — единственное во всѣ двадцать лѣтъ нашей дружбы.

Что нашлись люди, постаравшіеся возбудить разладъ между

нимъ и „западниками“ и поставить ему на видъ, что онъ слишкомъ неосторожно отдается въ ихъ власть, понять легко. Гораздо труднѣе опредѣлить, почему онъ хоть на время могъ послушаться этихъ наговоровъ, зная за собой способность примирять крайности и объединять людей. Правда, предостереженія шли изъ круговъ, тоже ему дружественныхъ.

Какъ бы то ни было, прежняя непринужденная общительность замѣнилась въ сношеніяхъ съ нами какою-то сдержанностью. Только-что зарождавшаяся организація журнала стала заволакиваться таинственнымъ сумракомъ, и предъявленная намъ программа изданія (въ печати она появилась въ сокращенномъ видѣ), установлявшая руководящіе принципы, была для будущихъ сотрудниковъ такою же новостью, какъ и для публики. Нѣкоторые изъ насъ помнили, какъ въ свое время на нѣсколькихъ собраніяхъ обсуждалась программа *Бесѣды*, какія пренія вызывали отдѣльныя ея статьи, путемъ какихъ взаимныхъ уступокъ выработанъ былъ окончательный текстъ. Могло ли быть иначе въ такомъ журналѣ, гдѣ должны были на нейтральной почвѣ сойтись различныя отѣнки мнѣній?

На насъ болѣзненно подѣйствовала новая, октроированная программа, въ которой къ тому же какъ будто замѣтенъ былъ перевѣсъ славянофильскихъ заявленій.

Итти вмѣстѣ можно было лишь подъ условіемъ прежней солидарности. Мы опредѣленно заявили это. Сначала казалось, что все опять сладится. Юрьевъ уже соглашался на совѣщаніе для пересмотра программы. Но, подъ чужимъ вліяніемъ, въ послѣднюю минуту этотъ возвратъ къ прошлому смѣнился категорическимъ „non possumus“. Мы отвѣчали тѣмъ же.

Журналъ пошелъ сначала точно по неровной почвѣ, но колебанія и недомолвки длились недолго, и онъ сталъ тѣмъ, чѣмъ должно было быть изданіе, вдохновляемое Юрьевымъ. Пресловутая программа никогда выполнена не была, опасенія оказались излишними, — но и теперь сдается, что въ ту пору иначе поступить было нельзя.

Размолвка съ Юрьевымъ была для насъ немислима. Мы покипалились, поспорили и на словахъ, и на письмѣ — и

снова сошлись, да еще тѣснѣе прежняго; его золотое сердце и благородный идеализмъ неотразимо влекли къ нему.

Въ заботахъ о журналѣ прошло еще нѣсколько лѣтъ жизни С. А. То было послѣднее напряженіе его даровитой натуры. Въ трудную для каждаго журнала пору, когда ему нужно отвоевать себѣ прочное положеніе въ литературѣ, Юрьевъ своимъ популярнымъ и уважаемымъ именемъ привлекалъ въ него лучшія силы; то и дѣло придумывалъ онъ различныя усовершенствованія. Салтыковъ ради него, любимаго своего школьнаго товарища, содѣйствовалъ передачѣ его журналу большинства подписчиковъ закрытыхъ „Отечественныхъ Записокъ“, и это сразу подняло экономическую сторону изданія.

Современную исторію никто не пишетъ вслѣдъ за совершившимися фактами — и въ мои намѣренія совсѣмъ не входитъ подробное повѣствованіе о второмъ редакторствѣ Юрьева. Къ тому же въ обращеніи къ читателямъ, въ которомъ онъ прощался съ ними, самъ онъ покрылъ забвеніемъ только-что пережитое. Но въ моихъ воспоминаніяхъ всегда останутся рядомъ два, едва схожіе между собой, образа: на одномъ лежитъ печать энергіи и жизнерадостнаго возбужденія, на другомъ — роковые слѣды разочарованій и болѣзненнаго потрясенія, предвѣщающаго смерть. Первый — это Юрьевъ послѣ пушкинскихъ празднествъ, въ медовый мѣсяцъ журнала, второй — онъ же послѣ выхода изъ „Русской Мысли“.

У.

Въ крошечной конуркѣ, залитой блескомъ газа, свѣтло какъ днемъ, и жарко, какъ въ аравійской пустынѣ. Вокругъ царить романтическій безпорядокъ. На потертомъ диванчикѣ раскинута царская мантия; на стѣнѣ, рядомъ съ мужскимъ пальто, виситъ мечъ и блестящій щитъ; на столѣ, среди банокъ съ кольдъ-кремомъ и разноцвѣтныхъ карандашей, высится корона. Этотъ странный уголокъ затерянъ гдѣ-то въ тайникахъ большого дома; лабиринтъ лѣстницъ и переходовъ отдѣляетъ его отъ людскаго движенія. Никогда еще солнечный лучъ не проникалъ въ него, да и путь ему сюда заказанъ. Вѣдь это не жилье мирныхъ, трезвыхъ умомъ обы-

вателей. Здѣсь властвуетъ фантазія, условность, поэтический миражъ, и отсюда они разносятся по міру. Пробеишься сквозь эти стѣны хоть одна полоска дневного свѣта—и все разлетится, очарованіе будетъ нарушено и таинственная лабораторія сцены покажется унылою камерой одиночнаго заключенія...

Въ большемъ зеркалѣ отражается величественная фигура сѣдовласаго старца, сидящаго передъ нимъ. На немъ царскія одежды, но онѣ поблекли и лежатъ беспорядочными складками; длинныя пряди волосъ и библейской бороды окружили серебристымъ сіяніемъ задумчивое лицо; горе изборозило его глубокими чертами, и густыя сѣдыя брови насупились надъ усталыми глазами.

Сомнѣнія нѣтъ, это—король Лиръ, не въ тѣ минуты, когда власть туманила ему голову, но подъ ударами судьбы, когда вокругъ его чела уже засіялъ ореолъ мученичества. Но, странное дѣло, едва приходя въ себя послѣ страшныхъ сценъ съ дочерьми, онъ теперь не отрываетъ глазъ отъ оригинальнаго собесѣдника. Передъ нимъ другой Лиръ; въ такомъ же серебристомъ окладѣ его лицо, такая же печать страданія на немъ, такъ же нависли брови. Но на этомъ двойникѣ прозаическая „черная пара“, и въ эту минуту онъ необыкновенно тонко объясняетъ, почему, на его взглядъ, Негг Барпау ближе всѣхъ подошелъ къ пониманію шекспировской мысли въ послѣдней сценѣ второго акта.

Живою симпатіей загорѣлся взглядъ Барная. Онъ все всматривался сначала въ милаго стараго энтузіаста, и захотѣлось ему откровенно рассказать этому совсѣмъ недавнему знакомцу о своихъ художественныхъ догадкахъ, недоумѣніяхъ и замыслахъ. Одна за другою освѣщались въ оживленной бесѣдѣ главныя черты трагедіи; дѣйствительность была совсѣмъ забыта,—но о ней напомнилъ звонокъ режиссера и просунувшееся въ дверную щель озабоченное и дѣловитое лицо директора театра. Пришлось прервать эстетическій разборъ. Снова на сценѣ появился несчастный, больной Лиръ, безъ призора блуждающій по степи въ непогоду, и въ его безумныхъ рѣчахъ свѣтилась искрами глубокая скорбь о людской судьбѣ.

Но прерванного разговора нельзя было оставить недоконченнымъ, и послѣ спектакля, безконечно затянутого оваціями, онъ возобновился въ гостинницѣ, среди небольшого кружка, за рейнвейномъ.

Сходство между новыми друзьями было нарушено. Въ статномъ, еще молодомъ человѣкѣ съ классически правильными чертами лица и нервной пылкостью рѣчи и взгляда трудно было узнать Лира. Но за то духовное сродство выступало все опредѣленнѣе.

Чего только не касался Юрьевъ въ тотъ вечеръ! Навѣрно, ему давно уже не приходилось *такъ* говорить, отъ всей души. Самъ переводчикъ *Лира*, знавшій каждое словечко въ немъ, онъ тонко анализировалъ психологію шекспировскаго произведенія. Не привыкнувъ къ разговорной нѣмецкой рѣчи, онъ, ничего не замѣчая, творилъ новыя выраженія, придѣлывалъ нѣмецкіе кончики къ словамъ французскимъ, даже латинскимъ. Импровизація становилась отъ этого еще лучше.

Барнай, любовно смотря ему въ глаза и ласково трепая его по плечу, съ живымъ интересомъ слѣдилъ за его рѣчью. Какъ молодежь въ ея искреннихъ бесѣдахъ со старикомъ, годившимся ей въ дѣды, налету разгадывала его мысль, чужеземецъ-художникъ чуялъ, понималъ эту мысль по полуслову, по намеку, по дрожанію голоса или блеску глазъ.

Такъ короталъ Юрьевъ свои послѣдніе, пасмурные годы. Художественныя наслажденія одни только и скрашивали ихъ. Драма и сценическое искусство снова смѣнили собою борьбу со злобой дня. Бываютъ времена, когда не только отдѣльныя лица, но и все общество окружаютъ особою любовью театръ. Чѣмъ меньше удовлетворяетъ дѣйствительность, тѣмъ сильнѣе развивается потребность жить въ другомъ мірѣ, гдѣ еще есть цѣльные характеры, настоящія страсти, увлеченіе идеями, или гдѣ пестрые узоры фантазіи даютъ хоть ненадолго забыться въ ея „чародѣйскихъ вымыслахъ“.

Тѣ годы были, къ счастью, особенно богаты пріѣздами въ Москву сценическихъ знаменитостей. То явится мейнингенская труппа и, поднявъ знамя коллективизма въ искусствѣ, удивитъ своимъ умѣньемъ воплощать народныя движенія и массовыя сцены,— и Юрьевъ уже охваченъ изумленіемъ и

радостью, видя, какъ осуществляется то, что онъ всегда теоретически проповѣдовалъ. То, наоборотъ, одинъ за другимъ появлялся представители личныхъ художественныхъ дарованій и своей игрой освѣтять новыя стороны въ созданіяхъ великихъ драматурговъ,— снова бездна поводовъ для изученія и размышленія. Юрьевъ сближался съ заинтересовавшими его артистами, подолгу бесѣдовалъ съ ними, объяснял ихъ игру и печатно, и вслухъ въ фойѣ театра, гдѣ вокругъ него собиралась толпа слушателей, наконецъ и въ пространныхъ письмахъ, которыя на другое же утро послѣ представленія неслись къ сочувствующимъ друзьямъ.

Къ тому же времени относятся его заботы о широкой научной подготовкѣ сценическихъ дѣятелей на Руси, и большое сочиненіе о театральномъ искусствѣ, напечатанное (въ сохранившихся отрывкахъ) въ „Русской Мысли“, наконецъ нѣсколько переводовъ изъ Шекспира.

Но жизнь догорала. Иногда казалось, что конецъ уже близко,— и каждый разъ, когда изъ борьбы съ надвигавшеюся смертью онъ выходилъ побѣдителемъ, первыя движенія выздоравливающаго были устремлены на встрѣчу его утѣшительницѣ, драмѣ. Ранней весной 1888 года, встревоженный слухами о его внезапной болѣзни, я поспѣшилъ къ нему,—и засталъ его еще крайне слабымъ, но уже правившимъ дрожащею рукой корректуру иллюстрированнаго изданія своего перевода „Сна въ лѣтнюю ночь“, и на моихъ глазахъ искусно находившимъ выразительные и мѣткіе обороты для передачи шекспировской рѣчи.

Первый приступъ недуга, унесшаго его въ могилу, постигъ его на пути въ нѣмецкій театръ, гдѣ обѣщана была *Медея* съ г-жей Гирсъ. Когда больной пришелъ въ себя, и его возница, едва приведшій его въ чувство, спросилъ, куда же теперь его везти,—„въ театръ“, отвѣчалъ онъ. Два, три акта прослушалъ онъ, побылъ въ послѣдній разъ подъ сѣнью того искусства, которое всегда его возрождало,—это подняло немного силы больного, и дало ему возможность спокойно вернуться къ себѣ.

Печальныя и милыя иллюзіи!.. Но благо тому, кого онъ утѣшаютъ и на краю гроба.

VI.

За стѣною злится вьюга, стонетъ и рвется въ окна, со-
всѣмъ занесенныя снѣгомъ. Холодомъ повѣяло и въ низень-
комъ кабинетикѣ, гдѣ въ глубокомъ креслѣ у стола, зава-
ленного бумагами и книгами, сидитъ, кутаясь въ халатъ и
поспѣшно что-то набрасывая на бумагу своимъ готическимъ
почеркомъ, безнадежно больной старикъ. Поработаетъ, оста-
новится, закурить трубку, и задумается.

Ужъ очень сиротливо становится ему жить. О комъ ни
вспомнить онъ изъ своихъ сверстниковъ, никого уже почти
нѣтъ въ живыхъ. Вскинетъ глазами туда, гдѣ по стѣнѣ длинной
полосой идутъ портреты близкихъ ему лицъ изъ плеяды соро-
ковыхъ годовъ,—всѣ они умерли. Вспомнить рядъ недавнихъ
утратъ, и ему уже кажется, что онъ блуждаетъ по кладбищу.

Умеръ жившій съ Юрьевымъ душа въ душу В. А. Ела-
гинъ, такой же чуткій и гуманный, какъ онъ, — симпатич-
нѣйшій изъ всѣхъ славянофиловъ, съ которыми мнѣ прихо-
дилось встрѣчаться. Смерть скосила и могучую, исполни-
скую фигуру С. А. Усова, неистощимаго въ ласковыхъ
шуткахъ надъ Юрьевымъ, какъ только они встрѣчались, и
горячо его любившаго. Умеръ и Кошелевъ, такъ тѣсно свя-
занный со многими важными минутами въ его жизни; нѣтъ
и И. Аксакова, съ которымъ онъ бывало спорилъ до слезъ,
по временамъ готовъ былъ даже разойтись, возмущаясь его
ветерпимостью, но примирялся въ тѣ исключительныя мину-
ты, когда проявлялось его мужество и сила убѣжденій. А
Салтыковъ, который гораздо ближе Юрьеву по душѣ, кото-
раго онъ помнитъ съ дѣтскихъ лѣтъ, осужденъ на мучитель-
ное ожиданіе смерти...

И старикъ безконечно радъ, если кто-нибудь проникнетъ
въ его тихую келію и разсѣетъ печальныя мысли. Тогда
снова оживляется его взоръ; работа въ сторону,—и пойдутъ
безконечныя рѣчи и толки, точно въ прежніе годы. Ожида-
ніе земской и судебной реформъ, вопросъ о гимназіяхъ, но-
вости иностранной политики, явленія въ литературѣ, все бу-
детъ затронуто. Современность волнуетъ, печалитъ и лишь
изрѣдка порадуетъ одинокаго наблюдателя. Повеюга сидитъ

онъ между четырьмя стѣнами, онъ, вѣчно подвижный и куда-нибудь собирающийся, но въ этомъ крохотномъ пространствѣ теперь отражается для него весь міръ съ его тревоженіями; мысль свободно облетаетъ необъятные края и стремится проникнуть въ будущее родной страны.

Онъ очень радъ посѣтителю. Порою ему уже казалось, что его начали забывать. Чтожъ, думалось ему, это и не удивительно! Передъ толпой нужно оставаться на виду, нужно напоминать ей о себѣ, а онъ держится въ сторонѣ и втихомолку воздѣлываетъ лишь тотъ уголокъ прежней нивы, который оставила ему судьба...

Правда, ему вспоминается необыкновенно удавшійся юбилейный обѣдъ, на которомъ лились рѣкой привѣтствія. Торжество это такъ наэлектризовало его, что онъ совсѣмъ разошелся и такую отвѣтную рѣчь сказалъ, какой не говорилъ и съ молодымъ... Да, это все такъ и было. Потомъ глазъ не могъ сомкнуть во всю ночь, и доктора потребовали абсолютнаго спокойствія...

Но, если кто-нибудь и забылъ о немъ, онъ никого не забылъ, и симпатіи его все тѣ же, что и прежде, только многіе видятъ, какъ онѣ теперь проявляются. Когда въ послѣдній годъ его жизни, въ университетѣ было неспокойно, ему такъ стало жаль молодежи, въ рядахъ которой у него уже не было ни родныхъ, ни знакомыхъ, что онъ вдругъ поднялся и побывалъ у всѣхъ вліятельныхъ лицъ, просил о смягченіи кары.

Бережись, холить себя онъ вообще не умѣлъ. Едва станетъ ему лучше, и онъ встрепенется,—какъ онъ уже спѣшитъ куда-нибудь, гдѣ нужно дѣлать дѣло; день ото дня слабѣя силами, онъ готовъ былъ будить другихъ и вызывать къ дѣятельности.

Поразительны бывали эти превращенія: вчера еще человекъ едва дышалъ, а сегодня онъ уже исчезъ изъ дому. И такъ было до той поры, когда болѣзнь ухудшилась, и врачи рѣшительно возстали противъ этихъ выѣздовъ. Но онъ все надѣялся наверстать потерянное время, и все обдумывалъ, что онъ скажетъ на слѣдующей своей лекціи на „драматическихъ курсахъ“.

Открытие этих курсовъ при Театральной Школѣ было послѣднею радостью Юрьева. Онъ все-таки дожилъ до этого результата своей долгой пропаганды, и съ любовью отнесся къ предмету, изложеніе котораго выпало ему на долю,—къ теоріи драмы; сталъ усиленно изучать источники, набрасывалъ программу курса, участвовалъ въ организационныхъ работахъ.

Насталъ день открытія. Зрительная зала въ школѣ наполнилась молодежью. Спереди стояли дѣти,—ученики и ученицы прежней школы; позади молодыя дѣвушки и молодые люди,—первый персоналъ курсовъ. Все это зрѣлище было само по себѣ необычайно въ театральномъ мірѣ. Но совершилось нѣчто еще болѣе удивительное. Изъ первого ряда направилась къ небольшой школьной сценѣ согбенная старческая фигура, и черезъ мгновеніе, ласково улыбаясь, появилась передъ зрителями.

Конечно, это былъ Юрьевъ. Всѣ его сочлены нашли, что именно ему должна быть предоставлена честь открыть курсы своею рѣчью. Онъ заговорилъ. Въ голосѣ уже не было прежней силы, по содержанію рѣчь осталась позади импровизаций былыхъ дней,—но никто не замѣтилъ этого. Образъ стараго идеалиста, съ блаженной вѣрою указывавшаго своимъ слушателямъ на великую задачу искусства, вдохновляя ихъ мужествомъ въ виду тернистаго пути, на который они вступаютъ, съ благоговѣніемъ воспоминавшаго великія имена писателей общечеловѣческихъ, и вѣрныхъ истолкователей ихъ—геніальныхъ актеровъ,—этотъ образъ неизъяснимо дѣйствовалъ на всѣхъ и каждого, и на опытныхъ людей, искушенныхъ сильными впечатлѣніями, и еще болѣе на молодые умы. Все притаило дыханіе, и не отрывало глазъ отъ непривычнаго явленія. Было что-то трогательно торжественное и въ глубокомъ вниманіи молодежи, и въ свѣтлой личности проповѣдника, въ эту минуту царившей надъ нею.

То была его лебединая пѣснь. Короткій просвѣтъ смѣнилъ упадкомъ силъ, возвратъ къ общественной дѣятельности—затворничествомъ. Но тяжело было оставаться взаперти. Разъ, въ холодную ночь, захотѣлось послушаться и еще разъ побывать среди людей, на привычномъ сборищѣ въ домѣ

Кошелевыхъ, гдѣ, какъ онъ слышалъ, будутъ свѣжія вѣсти о волновавшихъ его вопросахъ внутренней политики. Эта неосторожность повела къ осложненію болѣзни.

Въ прежнее время онъ перенесъ бы острое воспаленіе легкихъ. Болѣзненный процессъ развивался правильно и уже заканчивался,—но у истомленного организма не было болѣе силъ выносить напряженія.

Страданія, ни на минуту не дававшія мѣста найти и глазъ сомкнуть, стали утихать; больной былъ въ полу-сознательномъ забытѣ. Запрещено было разговаривать съ нимъ,—но изъ его комнаты слышались безконечные его монологи, лихорадочно быстрые и тревожные. То не былъ безсвязный бредъ. До слуха домашнихъ доносились обрывки мыслей о современныхъ нуждахъ русскихъ, укоры врагамъ общественнаго развитія, предчувствія бѣдъ. Все, что наполняло его духовную жизнь, волновало его и въ эти минуты разставанія съ нею.

Наконецъ и рѣчи, и стоны смолкли. Нѣсколько послѣднихъ словъ къ семьѣ дышали кротостью и религіозно-поэтической вѣрой въ лучший міръ, той вѣрой, которая своеобразно освѣщала мысль Юрьева даже въ годы борьбы, недовольства и сомнѣній.

А затѣмъ—the rest *was* silence!

Непритворное горе, проявившееся тогда повсюду, необыкновенно многолюдныя похороны со множествомъ вѣнковъ и депутацій, печальныя, иногда заплаканныя молодыя лица, составлявшія большинство въ толпѣ, желаніе студентовъ донести гробъ на своихъ плечахъ до кладбища, — все это на дѣлѣ показало, что популярность Юрьева не ослабѣла, несмотря на его удаленіе отъ свѣта. Первое впечатлѣніе утраты всегда такъ сильно! Надолго ли сохранится оно? Кто рѣшится опредѣлить степень напряженности людскаго горя и общественной памяти?

Для нашего времени настанетъ когда-нибудь судъ исторіи, тотъ судъ, къ которому такъ часто взывалъ Салтыковъ. Если будущій историкъ общества съумѣетъ отрѣшиться отъ рутинной оцѣнки однихъ показныхъ явленій и станетъ изучать въ глубинѣ жизни развитіе мысли и исканіе правды, онъ отве-

детъ въ лѣтописи 70 — 80-хъ годовъ не послѣднее мѣсто нашему другу.

Для человѣка мыслящаго не малое удовлетвореніе, если онъ сознаетъ, что оставилъ слѣдъ послѣ себя и не даромъ жилъ. Не думаю, чтобъ борозда, проведенная Юрьевымъ, была ужь совсѣмъ незамѣтна...

Тѣ, кто зналъ и любилъ его, кто такъ много потерялъ съ его смертью,—небольшой отрядъ, въ ряды котораго внезапно ворвалось непріятельское ядро и положило на мѣстѣ одного изъ сражавшихся. Послышались грустныя восклицанія, кое-гдѣ сверкнула слезинка, — но дѣло не ждетъ, ряды смыкаются, и борьба начинается снова. Пусть же всякій изъ насъ дастъ себѣ слово ратовать, пока живъ, по мѣрѣ силъ и умѣнья, за тѣ идеалы, за которые положилъ свою душу покинувшій насъ товарищъ.

Алексѣй Веселовскій.

Августъ 1890 г.

* * *

Кто ты, красавица съ цвѣтами полевыми,
Вплетенными въ златистый шелкъ кудрей,
Съ улыбкой ясною, съ глазами голубыми,
Въ одеждѣ сотканной изъ солнечныхъ лучей,
И къмъ тебѣ таинственная сила
Дана сердца больныя врачевать?
Пришла—и въ нихъ ты радость воскресила;
Что жизнь давно, казалось, въ нихъ убила,
Все ожило, все разцвѣло опять?
И въ честь твою природа гимнъ слаждаетъ,
Звенятъ ручьи, имъ вторить птичекъ хоръ;
Шумя своей листвою зеленой, боръ
Къ тебѣ, какъ другъ, объятья простираетъ.

— Я только гостя здѣсь; я небомъ послана
Въ усталыя сердца пролить успокоенье,
Смягчить суровыхъ гнѣвъ, вражду и озлобленье;
Я только гостя здѣсь... зовутъ меня Весна.

А. Плещеевъ.

Воспоминаніе о С. А. Юрьевѣ.

Изъ моего ранняго дѣтства я помню хорошо, если не факты, то общую обстановку жизни, настроеніе моей дѣтской души и людей, которые произвели на меня тогда же наиболѣе сильное впечатлѣніе. Помню хорошо нашу небольшую залу, освѣщенную одной лампой, переднюю, корридоръ и лѣстницу навѣрхъ, гдѣ находился кабинетъ моего отца. Въ кабинетѣ этомъ часто собирались его друзья, и мнѣ было извѣстно, что бесѣды тамъ длились часто цѣлую ночь напролетъ. Я не знала, о чемъ тамъ говорили, но имѣла къ этимъ разговорамъ безграничное уваженіе. Когда я сидѣла длинными зимними вечерами у себя въ дѣтской съ моей нянюшкой и при свѣтѣ единственной свѣчи старательно марала карандашемъ бѣлый листъ бумаги, до слуха моего долетали изъ залы звуки Бетховенскихъ сонатъ и Шопеновскихъ мазурокъ, и часто голоса людей, проходившихъ навѣрхъ. Былъ одинъ голосъ густой, низкій и очень громкій. Онъ гремѣлъ еще издалека за затворенными дверями, все приближаясь и усиливаясь, и заглушая медленные, старческіе шаги по лѣстницѣ. Часто долетали до меня отдѣльныя фразы: „покорно васъ благодарю, сдѣлайте одолженіе, не беспокойтесь... забылъ, ну все равно!“

Въ воображеніи моемъ тотчасъ вставалъ образъ человѣка, которому этотъ голосъ принадлежалъ. Я видѣла передъ собой неизмѣнную фигуру въ черномъ разстегнутомъ сюртукѣ, въ развязанномъ галстукѣ, длинную сѣдую бороду, длинные пепельные волосы въ беспорядкѣ и вдохновенное, всегда оживленное безконечною, но мало понятною мнѣ рѣчью лицо,—лицо Сергѣя Андреевича Юрьева. О его прибытіи

не трудно было догадаться. Всегда было почти такъ: сильный звонокъ, потомъ [стукъ положенной на скамью палки и продолжительная возня съ снимаемыми галошами, прерываемая восклицаніями и какими-то краткими поясненіями, потомъ шаги, потомъ уже наконецъ пробуждающій тишину голосъ, долго не умолкавшій. Если, не зная объ его пріѣздѣ, я случайно заходила въ переднюю, его огромная енотовая шуба, возбуждавшая мое дѣтское удивленіе и любопытство, на вѣшалкѣ, а шерстяное кашнѣ, шапка и большая крючковатая палка на лавкѣ бросались мнѣ въ глаза, и я безошибочно заключала, кто у насъ.

Визитъ Сергѣя Андреевича имѣлъ въ моихъ глазахъ одну несомнѣнную особенность: онъ длился необыкновенно долго. Если съ вечера бывало извѣстно, что Сергѣй Андреевичъ у насъ, и если мнѣ случалось уже далеко за полночь просыпаться при невѣрномъ мерцаніи догоравшаго ночника, я могла быть увѣрена, что голосъ его еще гремитъ наверху, и иногда слабо слышала его.

Нѣсколько позднѣе я очень любила, забравшись въ кабинетъ и удобно, съ нѣгами, устроившись въ креслѣ, присутствовать при бесѣдѣ Юрьева съ моимъ отцомъ. Табачный дымъ длинными волнами носился по комнатѣ, придавая ей какую-то таинственность; сквозь этотъ туманъ я любила смотрѣть на фигуру Сергѣя Андреевича, на его сюртукъ, постепенно покрывавшійся пепломъ, на его поднятую вверхъ руку, на его просвѣтленное лицо, и слушать его неумолкаемый голосъ, глухимъ звономъ отдававшійся въ гитарѣ, которая висѣла за дверью. Я сидѣла, помню, до тѣхъ поръ, пока всѣ присутствующіе начинали сѣживаться и уменьшаться, а голосъ Сергѣя Андреевича звучалъ гдѣ-то далеко-далеко. Тогда, если меня не уносили на рукахъ, я сама, пошатываясь, отправлялась спать.

О свойствахъ этого человѣка, о его характерѣ, я имѣла, конечно, самое неопредѣленное и туманное представленіе. Я была увѣрена въ томъ, что онъ очень уменъ и очень много говорить, что по тѣмъ днямъ, когда у насъ собирались гости, онъ спорить громче всѣхъ, и еще, что онъ до крайности разсѣянъ. Про разсѣянность его рассказывали много анек-

дотовъ. Когда онъ прїѣзжалъ къ намъ, наши люди всегда сами отличали его верхнее платье и подавали его, если, разговаривая, онъ уже успѣвалъ надѣть что-нибудь чужое. Уходя, онъ долго искалъ палку, упрекалъ другихъ въ томъ, что они взяли его шапку, извинялся, благодарилъ всѣхъ, хозяевъ, гостей, уходившихъ вмѣстѣ съ нимъ, и прислугу, при чемъ голосъ его долго гудѣлъ на подъѣздѣ. Я слыхала, что если онъ уходилъ отъ насъ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ прїятелей, то, задержавъ всѣхъ горячимъ споромъ въ передней, онъ часто продолжалъ его на улицѣ передъ толпою привыкшихъ къ нему и терпѣливо ожидавшихъ извозчиковъ. Одинъ изъ примѣровъ разсѣянности Сергѣя Андреевича особенно нравился мнѣ. Въ числѣ близкихъ прїятелей моего отца былъ докторъ В., пожилой и одинокій человѣкъ, довольно часто наѣзжавшій изъ Троицкой Лавры, гдѣ онъ жилъ, и останавливавшійся у насъ. Я помню его только по своимъ дѣтскимъ впечатлѣніямъ, потому что онъ скоро умеръ, но помню его ясно и такимъ, какимъ тогда понимала его. Онъ прекрасно игралъ на гитарѣ—часто свои собственные произведенія, отличавшіяся особенною задумчивостью и повергавшія мое воображеніе въ какой-то невѣдомый, поэтический міръ, курилъ въ длинномъ чубукѣ Жуковъ табакъ. запахъ котораго имѣлъ въ моемъ представленіи что-то общее съ его игрой и мучительно отрадными ощущеніями, которыя она во мнѣ пробуждала, и былъ очень смѣшливъ. Никто такъ искренно не смѣялся надъ анекдотами, рассказываемыми въ кабинетѣ, какъ В., и никогда ихъ такъ много не рассказывалось, какъ въ его присутствіи. Вотъ все, что я знала о немъ, но и при такомъ неопредѣленномъ о немъ представленіи съ его именемъ въ послѣдствіи у меня всегда связано было воспоминаніе о немъ, какъ объ одномъ изъ типичныхъ людей сороковыхъ годовъ. Въ одинъ изъ его первыхъ къ намъ визитовъ прїѣхалъ съ цѣлью познакомиться съ нимъ и Сергѣй Андреевичъ Юрьевъ. Должно быть, у нихъ было много общаго: цѣлый вечеръ, почти цѣлую ночь, проговорили они и остались очень довольны другъ другомъ. Нѣсколько разъ Александръ Алексѣевичъ В. просилъ Юрьева, чтобы, проѣзжая мимо Сергіевского посада въ свое

имѣніе Калязинскаго уѣзда, онъ посѣтилъ его; нѣсколько разъ Сергѣй Андреевичъ говорилъ: „непремѣнно-съ; покорно васъ благодарю!“ Подъ утро, рассказывали у насъ, Сергѣй Андреевичъ наконецъ рѣшительно простился и съ папиромъ въ рукахъ сталъ спускаться по лѣстницѣ; В. стоялъ со свѣчей на верхней площадкѣ и оттуда свѣтилъ ему. Сойдя внизъ, Юрьевъ остановился еще разъ на послѣдней ступенькѣ и обернулся. — „Прощайте, Варвара Николаевна“, прогремѣлъ его могучій голосъ: „когда буду въ Петербургѣ, непременно къ вамъ заѣду!“ Съ бѣднымъ В. отъ смѣха едва не сдѣлался истерическій припадокъ. — „Нѣтъ, скажите вы мнѣ, почему я Варвара Николаевна?“ сквозь слезы говорилъ онъ моему отцу: „и почему въ *Петербургѣ*? Причемъ тутъ Петербургъ?“

1875—1876 года мнѣ памятливы болѣе всего по безконечнымъ рѣчамъ Сергѣя Андреевича. Цѣлые вечера говорилъ онъ о дѣлахъ Славянъ Балканскаго полуострова, подымавшихся въ то время противъ турецкаго владычества, о подвигахъ Черняева и горсти русскихъ добровольцевъ, умиравшихъ за свободу Сербіи, о великой исторической будущности, которая ожидаетъ свободныя и соединенныя государства Славянъ, и обо всемъ, что волновало тогда и занимало всѣхъ русскихъ людей, и во что такъ горячо вѣрили. Было время, кажется, послѣ Берлинскаго трактата, когда Сергѣй Андреевичъ каждый вечеръ и въ одинъ и тотъ же заранѣе известный часъ начиналъ порицать нѣмецкую политику, а главное князя Бисмарка, въ которомъ въ пылу увлеченія не хотѣлъ признать рѣшительно никакихъ достоинствъ. — „Вздоръ-съ!“ — кричалъ онъ, когда ему указывали на гениальный умъ германскаго канцлера, — „онъ совсѣмъ не уменъ, онъ мошенникъ! У насъ всѣ тюрьмы и части полны Бисмарками; какой-же это умъ?“

Сергѣй Андреевичъ былъ человѣкъ, съ которымъ всегда связывались впечатлѣнія всѣхъ сколько-нибудь важныхъ событій общественной жизни. Все, чѣмъ жило русское образованное общество, было близко ему, составляло его главный, можетъ-быть, единственный интересъ; онъ жилъ этими интересами, жилъ полною общею жизнью, переносилъ и пере-

живалъ душою всѣ ея горести и невзгоды. Въ его словахъ не было ни одной ноты неискренности; вотъ почему, чтобы ни случилось, затрогивающаго общій интересъ и въ какой бы сферѣ общественной жизни ни случилось, всякому прежде всего хотѣлось знать, что скажетъ объ этомъ Сергѣй Андреевичъ Юрьевъ? Появится ли въ печати новое произведение извѣстнаго литератора, ставится ли въ Маломъ театрѣ новая пьеса, пріѣдетъ ли въ Москву знаменитый трагикъ, происходитъ ли что-нибудь важное въ политикѣ, Сергѣй Андреевичъ волнуется одинаково и гораздо больше окружающихъ, и, если зайдетъ объ этомъ рѣчь, голосъ его покрываетъ всѣ остальные голоса. Многое, что прошло бы для меня въ моемъ дѣтствѣ и отрочествѣ незамѣченнымъ, заставляло меня задумываться, только благодаря ему.

Онъ не дѣлалъ никакого различія между людьми, обращавшимися къ нему за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній и одинаково говорилъ со всѣми, кто хотѣлъ его слушать. Собственная рѣчь увлекала его: онъ забывалъ все, какія бы заботы ни тяготили его. Бывалъ ли онъ боленъ, случалось ли съ нимъ горе какое-нибудь, онъ говорилъ съ всегдашнимъ жаромъ, давая отвѣтъ всякому, кто обращался къ нему. Только, бывало, уходя, простившись со всѣми и поднимая обычную возню съ шубою и галошами, вспомнить онъ то, что тяготитъ его, и скажетъ отцу: „поѣхалъ къ вамъ развлечься, а то, понимаете, дома сидишь—тоска“...

На моихъ глазахъ силы Сергѣя Андреевича стали замѣтно падать. Онъ часто жаловался на нездоровье, на разныя непріятности, которыя не даютъ жить, но голосъ его попрежнему заглушалъ другіе голоса, и убѣжденная рѣчь вносила жизнь всюду, гдѣ появлялась всѣмъ знакомая и всѣмъ любимая его фигура.

Странно сказать, что, привыкнувъ съ дѣтства глубоко уважать Сергѣя Андреевича и съ дѣтства сроднившись съ этимъ типомъ, я до самаго послѣдняго времени многого не понимала въ немъ. Еще страннѣе, что, сколько мнѣ случилось замѣтить, огромное большинство людей, любившихъ Сергѣя Андреевича и безъ доброй улыбки не произносившихъ его имени, понимали его не больше, чѣмъ я.

Какъ-то разъ въ то время, когда у Сергѣя Андреевича происходили непріятности по одному журналу, который впоследствии онъ долженъ былъ оставить, онъ пріѣхалъ къ намъ въ самомъ грустномъ настроеніи духа. Сидя съ сигарою въ креслѣ, взволнованный и усталый, онъ жаловался на свою судьбу и говорилъ при этомъ о людяхъ, бывшихъ причиною его несчастій, съ кротостью, которая невольно удивила насъ; видно было, что онъ отъ души прощалъ имъ все. Желая какъ-нибудь отвлечь его отъ грустной темы, кто-то изъ присутствующихъ заговорилъ о Барнаѣ, дававшемъ въ Москвѣ свои представленія, и указалъ на какіе-то недостатки въ его игрѣ. Мы были поражены перемѣною, которая внезапно произошла въ Сергѣѣ Андреевичѣ. Онъ сталъ защищать любимого актера и порицать его критиковъ въ такомъ необыкновенномъ возбужденіи, какъ будто дѣло шло о людяхъ, нанесшихъ ему смертельную обиду. Еслибы кто-нибудь, не зная Сергѣя Андреевича, взглянулъ въ эту минуту на его лицо, на его жесты, услышалъ бы тѣ странныя обвиненія, которыя ввозилъ онъ на критиковъ Барнаѣ своимъ усталымъ, но угрожающимъ голосомъ, онъ бы испугался его. Даже глаза его принимали почти свирѣпое выраженіе, если только что-либо подобное могло быть въ его кроткихъ глазахъ. Долго не могъ успокоиться Сергѣй Андреевичъ, и долго не могли мы снова отвлечь его.

Меня всегда удивляло то обстоятельство, что при анекдотической разсѣянности, которою отличался Сергѣй Андреевичъ, онъ иногда выказывалъ рѣдкую аккуратность и память и при томъ всегда въ дѣлахъ, не касавшихся лично его. Странно было отъ человѣка, смѣшивавшаго имена близкихъ людей, получать поздравленія въ дни разныхъ семейныхъ праздниковъ; во время говѣнья онъ присылалъ письма ко дню Причастія. Въ годъ кончины Сергѣя Андреевича тяжело заболѣлъ одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ и современниковъ моего отца и Юрьева. Послѣдній отправился къ московской медицинской знаменитости съ просьбой пріѣхать и осмотрѣть больного. Исполнивъ порученіе, онъ заѣхалъ къ намъ сообщить о результатахъ своей поѣздки. Я съ невольнымъ изумленіемъ слушала, какъ онъ передавалъ дни и ча-

сы, назначенные докторомъ, адреса и прочія затруднительныя подробности порученія.— „Онъ мнѣ говорить: вѣдь вы все спутаете“, передалъ онъ въ заключеніе слова доктора, какъ бы угадавъ мою мысль: „я говорю: нѣтъ, я не спутаю, ни за что, вы ошибаетесь; я вамъ докажу, что не спутаю“... Уходя, онъ просилъ насъ: „сдѣлайте одолженіе, не забудьте, что я говорилъ, а то непременно на меня скажутъ. Я передалъ совершенно вѣрно“.

Приблизительно за годъ до смерти Сергѣя Андреевича постигло горе, надломившее его послѣднія силы и здоровье, и безъ того слабое: въ его квартирѣ внезапно скончался зять его, еще молодой человѣкъ, пріѣхавшій къ нему почти здоровымъ; онъ оставилъ больную жену и пять человѣкъ дѣтей, которыя и окружали Сергѣя Андреевича въ дни его послѣдней болѣзни и въ минуту кончины.

Вечеромъ того дня, какъ случилось это ужасное событіе, Сергѣй Андреевичъ пріѣхалъ къ намъ потрясенный горемъ и потерянный. Мнѣ говорили, что никто никогда не видалъ его, такимъ разстроеннымъ. На этотъ разъ мнѣ не случилось видѣть его, но черезъ три дня вечеромъ онъ снова вошелъ къ намъ. Эти дни сильно измѣнили его: онъ похудѣлъ и былъ очень блѣденъ. Мы спросили его, какъ онъ себя чувствуетъ?

— Вотъ были нынче на печальной церемоніи,—отвѣчалъ онъ тихо. Лицо его было при этомъ спокойно и ясно; обычная кроткая улыбка освѣщала его. Но я никогда не забуду того выраженія глубокой грусти, и вмѣстѣ покорности и смиренія, какое я видѣла и въ этомъ лицѣ, и въ улыбкѣ, и въ фигурѣ, немного согнувшейся за послѣдніе дни. Я замѣтила также, что шаги его были медленнѣе, и голосъ тише, беззвучнѣе и ровнѣе.

— Нѣтъ, умирать пора,—съ какою-то серьезною грустью говаривалъ онъ часто въ послѣднее время, жалуясь на разныя невзгоды. Но я по прежнему встрѣчала его, слушала и говорила съ нимъ, и мысль, что скоро его не будетъ съ нами, не приходила мнѣ въ голову.

Незадолго до кончины Сергѣя Андреевича мнѣ случилось вести съ нимъ длинный разговоръ, который произвелъ на меня сильное впечатлѣніе и имѣлъ самое благотворное вліяніе.

Это было какъ-то зимою, вечеромъ, менѣе чѣмъ за годъ до его смерти. Сергѣй Андреевичъ пріѣхалъ къ намъ, какъ всегда, довольно поздно, и, какъ всегда, я изъ своей комнаты безъ труда узнала о его прибытіи. Случайно въ эту минуту, помню, я находилась въ томъ, болѣе или менѣе всякому знакомомъ, смутномъ душевномъ настроеніи, когда человѣкъ, противъ своей воли, погружается въ самыя отвлеченныя размышленія и напрасно ищетъ отвѣта на свои неразрѣшимые вопросы и сомнѣнія...

Выйдя въ залу, я встрѣтила Сергѣя Андреевича, идущаго вмѣстѣ съ моимъ отцомъ. Пожавъ мнѣ руку очень любезно и справившись о моемъ здоровьѣ, онъ продолжалъ о чемъ-то говорить громко и оживленно.

Я смотрѣла на его фигуру, на блѣдное, усталое, даже измученное лицо, въ которомъ свѣтилась какая-то трогательная доброта, на его простой, неряшливый костюмъ, и мнѣ стало вдругъ ясно, что этотъ человѣкъ можетъ дать мнѣ полный отвѣтъ на то, что меня мучило.

Я почувствовала невольное, что только спокойныя, установившіяся убѣжденія, только истинно-христіанская любовь къ людямъ и горячая вѣра, вѣра безъ страха потерять ее или пошатнуть, безъ малѣйшей тѣни нетерпимости и неразрывно связанной съ этою нетерпимостью вражды къ людямъ, могутъ дать ему тотъ юношескій пылъ, который заражалъ окружающую его молодежь, ту силу, съ которой онъ шелъ впередъ смѣло и прямо, которая побѣждала даже болѣзнь и слабость его стараго тѣла, то вліяніе, которое онъ имѣлъ на разнообразныя слои общества. Каковы же были эти убѣжденія, руководившія всею его жизнью? Онъ имѣлъ такъ мало изъ всего того, къ чему стремится большая часть людей, но это не мучило его, какъ мучило бы всякаго другаго: ему и думать объ этомъ было некогда. Всѣ его стремленія, весь интересъ его жизни, были не тамъ. Въ чемъ же черпалъ онъ эту энергію и силу, что возбуждало его постоянно къ дѣятельности и наполняло его жизнь?—„Времени у меня нѣтъ!“

то и дѣло сокрушался онъ, „ничего не успѣваю дѣлать!“ Откуда была въ немъ эта христіанская кротость, это покорное равнодушіе къ невзгодамъ, касавшимся лично его, и неустойчивое негодованіе къ тѣмъ же невзгодамъ, когда отъ нихъ страдали другіе? Что давало ему этотъ спокойный и свѣтлый, безстрашный взглядъ на смерть? Я не разъ слышала, какъ онъ говаривалъ съ искреннимъ безпокойствомъ: „ужасно съ Фаустомъ спѣшу, а то, понимаете, умереть боюсь, не кончивши“...

Проводивъ Сергѣя Андреевича до гостиной, отецъ мой сказалъ мнѣ, что онъ долженъ заняться дѣлами, и просилъ посидѣть съ Юрьевымъ. Я очень обрадовалась, и мы вошли въ гостинную.

— Ну, другъ мой, вы меня простите, а вотъ васъ займетъ дочь,—сказалъ отецъ. Сергѣй Андреевичъ отвѣчалъ, что онъ очень радъ; потомъ сталъ что-то искать.

— Вы что, мундштукъ ищете, Сергѣй Андреевичъ?

— Нѣтъ-съ, не безпокойтесь, пожалуйста,—портсигаръ. Онъ вѣрно тутъ. Нѣтъ, нѣту. Должно быть, въ кабинетъ забылъ, извините, пожалуйста.

— Я принесу сейчасъ, Сергѣй Андреевичъ!

— Не безпокойтесь, сдѣлайте одолженіе! Извините меня, я всегда такъ: все теряю!

Но я не дала договорить ему, побѣжала и принесла изъ кабинета большой кожаный, поношенный и туго-набитый портсигаръ.

Сергѣй Андреевичъ безъ конца благодарилъ меня, очень извинялся и два раза пожалъ мнѣ руку. Я чувствовала себя очень счастливою, что могла ему услужить. Сергѣй Андреевичъ сѣлъ на кресло у стола и закурилъ толстую большую сигару; я помѣстилась за тѣмъ же столомъ недалеко отъ него. И тотчасъ же завязался у насъ разговоръ, и я едва успѣвала высказывать то, что безпокоило меня, и едва успѣвала выслушивать.

Кажется, прежде всего Сергѣй Андреевичъ заговорилъ о драмѣ, объ искусствѣ, о служеніи ему, о его цѣляхъ—раскрывать истинный смыслъ жизни во всей его глубинѣ, и о красотѣ. На мое замѣчаніе, что въ нашей оцѣнкѣ красоты есть

что-то несогласное съ требованіями христіанства, допускающаго одно поклоненіе правдѣ и добру, Сергій Андреевичъ горячо сталъ объяснять, что такое истинная красота, въ чемъ задачи искусства, и очень воодушевился. Онъ говорилъ о воспитательномъ значеніи для человѣка эстетическихъ впечатлѣній, о красотѣ духовной, объ очищеніи и нравственномъ улучшеніи человѣка подѣ влияніемъ красоты. — „Вы видите передъ собой выраженіе красоты, лицо, которое вы любите“, сказалъ онъ между прочимъ: „и оно даетъ вамъ полное удовлетвореніе и счастье; одно впечатлѣніе красоты наполняетъ гармоніей вашу душу: вы забываете себя“... Я смотрѣла на его вдохновенное лицо, какъ лучами освѣщенное чистою улыбкой, и невольно подумала, что онъ самъ въ эту минуту былъ живымъ олицетвореніемъ той духовной красоты, о которой говорилъ.

Далѣе Сергій Андреевичъ перешелъ на разсужденія о Шиллерѣ, о Гете, о второй части Фауста, о нравственномъ совершенствованіи и очищеніи Фауста, объ *das Ewig Weibliche*, о которомъ говоритъ Гете, и о томъ, что этотъ идеалъ въ нашемъ представленіи воплотился въ образѣ Богородицы. Онъ говорилъ потомъ о высшей Волѣ, управляющей міромъ, „о міровой субстанціи“, передъ которой смиряется и уничтожается воля человѣка, которая разрушаетъ и передѣлываетъ всѣ его планы; онъ приводилъ въ примѣръ шекспировскаго Макбета, который думалъ всего достигнуть путемъ одного преступленія и понялъ потомъ, что не получилъ ничего; указывалъ на Гамлета, въ своихъ страданіяхъ не помышлявшаго о близкой и неожиданной смерти. Заговоривъ потомъ о христіанствѣ и его міровомъ значеніи, Сергій Андреевичъ высказалъ мнѣніе, что христіанская этика безъ вѣры въ Христа, какъ въ Искупителя и Бога, оказывается безсильною, и что нельзя ничего создать изъ тѣхъ сухихъ, формальныхъ правилъ, въ которыя пытаются нѣкоторые проповѣдники „новѣйшаго христіанства“ обратить Евангеліе. Но Сергій Андреевичъ порицалъ и то направленіе нѣкоторыхъ благочестивыхъ критиковъ, представители котораго нападаютъ на художественные разсказы Л. Н. Толстаго, потому что въ нихъ говорится о томъ, что нужно дѣ-

лать добро.— „И то, и другое нужно одинаково. Помилуйте“, съ негодованіемъ говорилъ онъ: „они хотятъ, чтобы народъ не зналъ, что для того, чтобы быть христіаниномъ, нужно дѣлать добро!—Вѣрь! только это и нужно, а о нравственности не смѣй и думать. Развѣ это возможно?“

Мы заговорили о нигилизмѣ и его проповѣди. Мнѣ вспомнилось неволью, какъ иногда люди, не знавшіе лично Сергѣя Андреевича, считали его человѣкомъ, вредно дѣйствовавшимъ на молодежь, называя его „нигилистомъ“. Слушая его, я искренне удивлялась такому мнѣнію. Сергѣй Андреевичъ сказалъ мнѣ, что видѣлъ въ радикальной молодежи извѣстнаго оттѣнка лишь людей, не щадившихъ жизни для воображаемаго блага человѣчества, и что, по его мнѣнію, движеніе это прежде всего достойно искренняго сожалѣнія.— „Я всегда говорилъ, что эта проповѣдь невозможна, что это вздоръ, чепуха!... Путемъ насилія они ничего не сдѣлаютъ, этого нельзя, это совершенный вздоръ-съ! Идеи свободы и равенства можно проповѣдовать только Евангеліемъ“.

Потомъ разговоръ незамѣтно перешелъ на вопросъ о смерти и будущей жизни человѣка. Я и не знала, что онъ былъ такъ близокъ къ ней.

Сергѣй Андреевичъ говорилъ о христіанской церкви, которую составляетъ одно общество людей, какъ живущихъ земною жизнью, такъ и умершихъ, и о нравственномъ смыслѣ страданій послѣ смерти.

Онъ докурить совсѣмъ свою сигару и употреблялъ всѣ усилія, чтобы вставить оставшійся, еще раньше докуренный, окурокъ въ свой мундшукъ. Продолжая говорить и безпрестанно вскидывая на меня глаза, онъ языкомъ смачивалъ развертывавшійся кусочекъ сигары и съ усиліемъ вставлялъ ее; когда это ему удавалось, онъ клалъ ее на столъ, долго говорилъ, потомъ бралъ спичку, поднималъ мундштукъ, и сигара снова выскакивала. Начиналась та-же работа. Я слѣдила за его движеніями, смотрѣла на его спокойное, ясное лицо и слушала.

— „Въ человѣкѣ два начала“, говорилъ Сергѣй Андреевичъ: „по Библии Богъ, творя животныхъ, создалъ *душу живую*. Сотворилъ рыбъ и птицъ, душу живую, повелѣлъ изъ

земли произойти животнымъ—создалъ душу живую, и наконецъ сотворилъ человѣка, душу живую, вы помните, сказано: вдунулъ въ лицо его дыханіе жизни“...

Онъ дѣлалъ паузы, и голосъ его, утомленный и охрипшій, понижался почти до шопота.

— „Апостолъ Павелъ говоритъ: первый Адамъ былъ душа живая, послѣдній Адамъ Духъ животворящій,—понимаете—воплотившій въ себѣ всю полноту жизни духовной. — Вообразите себѣ“, продолжалъ онъ, снова языкомъ склеивая свой кусочекъ сигары: „вообразите человѣка, который живетъ въ *душу живую*, въ животныя побужденія, ѣсть, пить, ищетъ только чувственныхъ наслажденій, и вдругъ онъ умираетъ. Остается духъ—и только. Представьте себѣ его положеніе: понимаете, нелѣпое положеніе!“ прибавилъ онъ. Глаза его совсѣмъ сощурились отъ самой милой улыбки, какая только можетъ быть у человѣка, все лицо его просвѣтлѣло вдохновенною, спокойною убѣдительною; поднятая кверху рука остановилась въ воздухѣ. Право, въ эту минуту можно было подумать, что онъ уже бывалъ *тамъ*.

— „Ему неловко, понимаете, онъ не знаетъ, что съ собою дѣлать, куда дѣться“, продолжалъ Сергѣй Андреевичъ: „онъ точно пьяный въ трезвой и благочинной компаніи... Является рядъ нравственныхъ мученій, совершенствованіе и очищеніе духа... Нѣтъ, рѣшительно нельзя ее вставить, надо бросить, чортъ съ ней, другую закурить“... Восклипаніе это относилось къ окурку, наконецъ неожиданно рассыпавшемуся.

— „Сдѣлайте одолженіе, извините меня, я такъ грубо выражаюсь“, обратился тотчасъ же ко мнѣ Сергѣй Андреевичъ съ улыбкой.

— „Ничего, Сергѣй Андреевичъ, пожалуйста...“

— „Нѣтъ, помилуйте, какъ же можно, при дамахъ — я знаю...“ Онъ взялъ другую сигару и спокойно закурилъ ее.

— „Напротивъ“, продолжалъ онъ, „человѣкъ, жившій постоянно въ этотъ духъ, послѣ смерти чувствуетъ только довольство, онъ какъ-бы освобожденъ, ему легко...“

Онъ привелъ въ примѣръ святыхъ и замѣтилъ, что можно въ жизни дойти до того высокаго состоянія, когда переходъ

къ смерти является почти незамѣтнымъ, потому что духъ преобладаетъ надъ побѣжденнымъ тѣломъ.

Мнѣ очень не хотѣлось разставаться съ нимъ и обрывать этотъ разговоръ, когда отецъ вошелъ къ намъ. Я не могу передать, какое чувство бодрости и спокойствія я испытывала, слушая рѣчь Сергѣя Андреевича. Теперь мнѣ становилось яснымъ, какого рода убѣжденія и взгляды дѣлали его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ. Прежде, чѣмъ уйти, я не удержалась и невольно поблагодарила Сергѣя Андреевича за нашъ длинный разговоръ и вообще за то добро, которое дѣлаетъ онъ намъ—русской молодежи. Онъ не сталъ, отчасти даже противъ моего ожиданія, благодарить меня и извиняться, какъ онъ часто дѣлалъ кстати и некстати, а сказалъ серьезно: „очень радъ, если могъ вамъ быть полезнымъ“.

Мнѣ кажется, что благодаря именно этому разговору, который и объяснилъ мнѣ его, и какъ-то приблизилъ меня къ нему, мнѣ было понятно то странное чувство глубокой, искренней, лишенной всякаго страха смерти, почти свѣтлой, чисто-христіанской скорби и радостной вѣры въ милосердіе Божіе и въ блаженную жизнь, гдѣ нѣтъ болѣзни, ни печали, которое испытывала я, когда онъ лежалъ, спокойно-строгий и блѣдный въ гробу, покрытый несмѣтнымъ количествомъ вѣнковъ и окруженный громадной, до странности разнообразной, заплаканной и серьезной толпою.

Похороны Сергѣя Андреевича сдѣлали на меня неизгладимое впечатлѣніе. Хоронили его 29 декабря. День былъ сѣренькій, пасмурный и вѣтренный, но не холодный. Отпѣваніе происходило въ церкви св. Николая Чудотворца, на Грачевкѣ. Еще много не доѣзжая церкви, я замѣтила длинный рядъ экипажей. Церковный дворъ былъ полонъ извозчиками и каретами. Въ воротахъ и на тротуарѣ передъ оградой стояла толпа, состоявшая большею частью изъ студентовъ. Паперть была полна. Въ дверь безпрестанно входили и выходили. За дверью видѣлась сплошная стѣна человѣческихъ фигуръ и головъ. Съ величайшимъ трудомъ намъ удалось наконецъ протиснуться ближе къ тому мѣсту, гдѣ на небольшомъ возвышеніи,

обтянутомъ краснымъ сукномъ, виднѣлся изъ-за пальмовыхъ вѣтвей, поблекшихъ цвѣтовъ и груды лавровыхъ листьевъ бѣлый глазетовый гробъ. Свѣчи въ четырехъ небольшихъ подсвѣчникахъ бросали красноватый, нетвердый отблескъ на вѣнчикъ, возвышавшійся изъ-за цвѣтовъ, и на подушку, въ которую тяжело погрузилась голова покойнаго. Запахъ ладона, длинными полосами носившагося по церкви, мѣшался съ запахомъ гіацинтовъ; маленькій хоръ на клиросѣ пѣлъ съ какою-то особенною серьезною торжественностью. Гробъ Сергѣя Андреевича окружала огромная толпа. Меня особенно поражало ея разнообразіе. Казалось, люди совсѣмъ различные, не имѣвшіе ничего общаго между собою ни по классу, къ которому они принадлежали, ни по положенію, ни по своимъ убѣжденіямъ, собрались къ этому гробу, одушевленные однимъ общимъ чувствомъ,—тѣмъ родствомъ душъ и убѣжденій, тою духовною связью, которую всегда видѣлъ въ людяхъ и такъ горячо проповѣдывалъ Сергѣй Андреевичъ. Главную часть толпы составляли, мнѣ кажется, слушательницы высшихъ женскихъ курсовъ, гдѣ читалъ покойный, студентки университета и Петровской академіи и молодежь, судя по отсутствію формы, не принадлежавшая къ какому-либо заведенію. Нѣкоторые представители этого послѣдняго разряда особенно памятны мнѣ. Помяну одного высокаго челоуѣка въ рыжеватомъ пальто и пледѣ на плечахъ, съ длинными волосами, съ блѣднымъ, суровымъ лицомъ, въ которомъ какъ-то странно поражалъ видъ заплаканныхъ, покраснѣвшихъ глазъ. Съ широкой шляпой въ рукахъ онъ стоялъ у самаго гроба и въ продолженіе всей службы, не отрываясь, смотрѣлъ въ лицо покойнаго. Во время обѣдни, пробираясь черезъ толпу, раздвигаемую полицейскими, продолжали прибывать группы людей съ вѣнками, которые складывались къ подножію гроба въ общую груду.

Когда, послѣ отпѣванія, потушили свѣчи, я пошла проститься съ Сергѣемъ Андреевичемъ и въ послѣдній разъ взглянуть на него. Послѣ долгихъ усилій я достигла накоонецъ гроба и поднялась на ступеньки. Но въ ту минуту, какъ я прощалась съ нимъ, гробъ внезапно задрожалъ отъ толчка, и кто-то съ отчаянными рыданіями и причитаніями

почти упалъ на него. Я оглянулась. Подлѣ меня стояла очень бѣдно одѣтая старуха. Сквозь плачь слышны были ея слова: „батюшка ты нашъ, кормилецъ, что-жъ мы теперь безъ тебя будемъ дѣлать?“—Это была бывшая крѣпостная Сергѣя Андреевича, пользовавшаяся его благодѣяніями. Я видѣла, какъ отъ гроба она поплелась куда-то черезъ толпу и повалилась передъ образомъ. Тогда я вспомнила вдругъ всю его тяжелую, бѣдную, полную невзгодъ и горестей, трудовую жизнь, которую только-что оставилъ онъ, и уже больше не могла удержаться отъ слезъ.

Изъ церкви Сергѣя Андреевича Юрьева на рукахъ понесли на кладбище, въ Алексѣевскій монастырь. Эта же самая старушка замѣшалась въ громадной толпѣ, провожавшей ея барина, и съ нею вмѣстѣ шла за гробомъ мимо толпившихся у воротъ домовъ и въ дверяхъ лавокъ зрителей, съ любопытствомъ смотрѣвшихъ на эти простые по обстановкѣ и столь многолюдныя похороны.

У воротъ ограды Алексѣевского монастыря до прибытія процессіи уже стояла, дожидаясь, толпа провожавшихъ. Я никогда не забуду минуты приближенія къ монастырю похороннаго поѣзда. Сѣрое небо и бѣлый снѣгъ сливались въ блѣдный колоритъ. Было что-то теплое и мягкое, почти весеннее, въ слабыхъ порывахъ вѣтра, подымавшаго глухой ропотъ въ деревьяхъ кладбища, и игравшаго волосами пѣвчихъ, приблизившихся къ оградѣ монастыря и ожидавшихъ гроба. И группа пѣвчихъ и всѣ присутствовавшіе смотрѣли вдоль улицы. Эта улица вся была затянута сплошною, медленно двигавшеюся толпою. Бѣлый гробъ съ нѣсколькими вѣнками неправильно колебался надъ нею. Въ зимнемъ, но мягкомъ воздухѣ неслись строгіе звуки и слова: „Святый... Безсмертный... помилуй насъ“.

— Все говорить, все говорить,—какъ это языкъ-то у него не устанетъ, Господи Батюшка!—говаривала бывало моя нянюшка, издали прислушиваясь къ длинной рѣчи Сергѣя Андреевича, — Богу бы лучше молился; старый ужъ человекъ...

Эти слова вспомнились мнѣ, когда съ горестнымъ недоумѣніемъ я видѣла его смолкнувшимъ на вѣки. А между тѣмъ со свѣчей въ рукахъ я стояла у его гроба и слушала великія слова утѣшенія и надежды, которыя пѣлись надъ нимъ, и молитвы о прощеніи ему согрѣшеній вольныхъ и невольныхъ, и не то, чтобы не могла, а какъ-то не смѣла молиться о немъ, потому что чувствовала всю бѣдность духовную свою въ сравненіи съ высокой душой этого чистаго человѣка.

Л.

Отношенія Сергѣя Андреевича Юрьева къ сценѣ за послѣдніе три года его жизни.

Личныя впечатлѣнія и наброски.

(Рѣчь, читанная въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской
Словесности, въ мартѣ 1889 года).

Смерть Сергѣя Андреевича отняла у театра его лучшаго друга и крупнаго дѣятеля, отъ котораго сцена была вправѣ ожидать еще многихъ свѣтлыхъ минутъ. Признавая за серьезной сценой громадное культурное значеніе, С. А. горячо и убѣжденно предъявлялъ къ ней требованія, соотвѣтственныя этому значенію. Стоитъ припомнить, какимъ праздникомъ для покойнаго было каждое представленіе пьесъ Шекспира, Шиллера и Лопе-де Веги, съ какимъ восторгомъ онъ привѣтствовалъ успѣхъ этихъ пьесъ, чтобы характеръ его требованій получилъ въ нашихъ глазахъ совершенно опредѣленный колоритъ. Всѣ его симпатіи лежали безусловно на сторонѣ тѣхъ писателей, которые во всякія времена шли впереди своего вѣка, часто опережая и цѣлый рядъ грядущихъ вѣковъ, чьи идеалы понятны и близки лучшей части *всею* человечества и во *всѣ* времена. Ему легко и свободно дышалось среди созданій ихъ генія, утратившихъ уже въ нашихъ глазахъ интересъ бытовой приуроченности въ мѣсту и времени. Эти горячіе поборники тѣхъ или другихъ принциповъ, воплощенія тѣхъ или другихъ сторонъ общечеловѣческихъ стремленій и идеаловъ, какъ у Шиллера и Лопе-де Веги, или геніальныя изваянія Шекспира, полныя вѣчной правды, какъ античныя статуи, были больше по сердцу, по натурѣ, по

всему складу жизни и стремлений С. А. Войдя къ нему въ кабинетъ, черезъ пять-шесть первыхъ фразъ, посѣтитель чувствовалъ себя уже въ какомъ-то иномъ мірѣ, освобожденнымъ отъ впечатлѣній дни и минуты. Его рѣчи и весь его образъ васъ тянуль къ чему-то другому, и это ощущеніе я могу сравнить только съ ощущеніемъ человѣка, оправляющагося отъ только что перенесенной тяжелой болѣзни, когда изнуренное этой болѣзنیю тѣло даетъ большій просторъ работѣ чувства и фантазіи, а прибывающіе запасы силъ придаютъ жизнь и энергію этой работѣ. Я вовсе не хочу этимъ сказать, что идеалы С. А. были далеки отъ насущной дѣйствительности, что онъ старательно уклонялся отъ всего окружающаго. Напротивъ. Фактъ, наличное данное явленіе всегда для него имѣли значеніе. Онъ всегда съ любовью или горячимъ негодованіемъ, смотря по роду факта, бралъ и рассматривалъ его. Онъ не проходилъ мимо жизни съ очами, поднятыми къ небесамъ, съ видомъ лауреата, съ гордымъ презрѣніемъ въ душѣ ко всему окружающему. Трудно было найти человѣка болѣе внимательнаго къ больнымъ и здоровымъ проявленіямъ русской жизни. Трудно было встрѣтить сердце болѣе отзывчивое, душу болѣе открытую всему, что вокругъ него дѣлалось. Но онъ всегда относился къ окружающему не съ безстрастіемъ натуралиста, признающаго существующее какъ таковое, а съ глубокимъ и страстнымъ увлеченіемъ человѣка, для котораго существуетъ цѣлый міръ непреложныхъ законовъ правды и прекраснаго. Для С. А., какъ для человѣка, вѣрившаго безусловно въ вѣчную правду этихъ законовъ, всякое ихъ нарушеніе со стороны окружающей его дѣйствительности было зломъ, съ которымъ онъ считалъ себя призваннымъ бороться во имя своихъ вѣрованій, всякое торжество или подтвержденіе ихъ его личнымъ торжествомъ. Естественно, что спокойное призваніе совершившагося факта и его тщательная выкопировка были противны всей его душѣ, всегда волновавшейся любовью или негодованіемъ, горемъ или радостью. Покойный всѣмъ существомъ своимъ жилъ тѣмъ, о чемъ онъ писалъ или говорилъ. И эта жизнь была рядомъ самыхъ разнообразныхъ порывовъ. Трудно было прослѣдить, до чего рѣзко мѣнялись настроенія въ

65-лѣтнемъ старикѣ. Разбирая всесторонне и всегда крайне внимательно предметъ бесѣды, онъ переходилъ отъ гнѣва къ восторгу, отъ любви къ озлобленію почти мгновенно. Помню его критику одной пьесы современнаго репертуара. Говорилъ онъ съ ея авторомъ и по влеченію своей мягкой, любящей природы старался всѣми силами въ началѣ разговора поддержать его и ободрить. Онъ крѣпко жалъ ему руку и все подбиралъ выдающіяся, по его мнѣнію, мѣста пьесы. И вотъ тутъ-то, припоминая одно изъ нихъ, онъ наткнулся на эпизодъ, который ему очевидно очень былъ не по душѣ. Куда дѣвался ласковый и добрый С. А.! Совершенно забывъ, что кругомъ много любопытныхъ прислушивается къ разговору, онъ, взволнованный и увлекшійся, началъ самую беспощадную критику, почти филиппику противъ пьесы. Отъ разбираемаго произведенія не осталось ничего. Закончилъ онъ категорическимъ совѣтомъ автору—взять поскорѣе пьесу, чтобы она не видѣла втораго представленія, и передѣлать въ корень, а лучше всего сжечь ее и написать новую на эту же тему. Не видя, что авторъ совершенно растерялся, онъ, все держа его за руку, обратился еще къ присутствующимъ съ вопросомъ: „Не правда-ли? Вѣдь это самое лучшее... Сжечь и написать новую“. На другой день, мучимый сознаніемъ, что онъ кого-то огорчилъ, отправился онъ розыскивать вчерашняго автора. Розыскалъ. Сталъ по возможности смягчать свои рѣзкости, указывалъ, что надо прочесть автору, взялъ его пьесу, сталъ ее перелистывать съ самыми добрыми намѣреніями и, на бѣду, попалъ снова на какое-то неудачное, по его мнѣнію, мѣсто. Конечно, повторилось вчерашнее, пьеса была разобрана такъ горячо и строго, что въ этотъ же вечеръ, рассказывая объ этомъ, самъ С. А. признавался, что лучше бы онъ и не ѣздилъ извиняться. Но онъ одинаково былъ чуждъ романическаго хаоса и сентиментализма. Не смотря на его способность увлекаться и увлекать другихъ, въ немъ было больше внутренняго порядка, ясной и яркой опредѣленности всей его духовной жизни, всѣхъ его литературныхъ и общественныхъ запросовъ, чѣмъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Если внимательно прослѣдить рядъ вопросовъ, надъ которыми онъ

работалъ послѣдніе годы, даже на смертномъ одрѣ, вась поразить строгая система, лежавшая въ основѣ его работъ. Онъ неуклонно шелъ къ своей основной цѣли: давать обществу возможно полную и яркую картину того строя жизни, при которомъ возможно было бы реальное осуществленіе его завѣтныхъ симпатій и идеаловъ. Какъ драматургъ, отведя себѣ скромное мѣсто переводчика классическихъ вещей, онъ каждый свой переводъ предпринималъ, имѣя въ виду эту конечную цѣль. Это-то и влекло къ нему всѣхъ безъ разбора. Шли къ нему и люди извѣрившіеся, охваченные сомнѣніями, и люди полные энергіи и вѣры. И тѣхъ, и другихъ бодрили его рѣчи. Отъ его словъ, какъ говорить Гейне, „открывалась сердечная дверь“, и ясно становилось всѣмъ, кто съ нимъ сближался, что вовсе не такъ ужъ глубока пропасть между тѣмъ, что должно быть, и тѣмъ, что есть. Достигалъ онъ этого вліянія не блескомъ фразы или приподнятостью настроенія, но путемъ неодолимаго убѣжденія, одинаково глубоко какъ прочувствованнаго, такъ и продуманнаго, рядомъ неоспоримыхъ логическихъ доводовъ на подкладкѣ строгой системы, выработанной имъ путемъ упорнаго труда, путемъ страстнаго и долгаго исканія правды. Его увлеченія всегда были заразительны именно потому, что они поднимались въ немъ изъ глубины всего его существа, жили съ нимъ неразрывно и дополняли его жизнь. Судя по моимъ личнымъ впечатлѣніямъ, это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которымъ сильно вѣрится именно потому, что ихъ убѣжденія и взгляды всегда были результатомъ совмѣстной работы ума и чувства. Чувство его всегда работало, холодно онъ ни о чемъ не могъ и не умѣлъ говорить. Въ немъ всегда звучала какая-то неуловимая внутренняя нота, точно звукъ камертона, провѣряющая и руководящая всѣмъ процессомъ его мышленія. Отъ этой ноты ни онъ самъ, ни его собесѣдникъ уже не могли отойти. И чувства, и мысли шли—я не могу подобрать иного слова—удивительно *правильно*, точно хорошо сыгравшійся оркестръ. Въ вопросахъ искусства это свойство имѣетъ особую цѣну. Онъ умѣлъ, благодаря этому, не только самъ *понимать*, что нужно дѣлать, но и другихъ заставлять *понимать*. Первый случай убѣдиться

въ этомъ я имѣлъ въ декабрѣ 1885 года. Онъ пріѣхалъ ко мнѣ читать свой переводъ „Звѣзды Севильи“. Пріѣхалъ онъ около 7 часовъ вечера чрезвычайно разстроенный. Постановка этой пьесы не могла состояться въ этотъ сезонъ 1885—6 года и рѣшено было ее отложить на слѣдующій, такъ какъ на январь и начало февраля 1886 года уже давно были назначены „Марія Стюартъ“, въ бенефисъ М. Н. Ермоловой и „Воевода“ А. Н. Островскаго въ новой редакціи въ бенефисъ К. Н. Рыбакова. Ни декорации, ни костюмы не могли быть сдѣланы въ такой короткій промежутокъ времени, и хотя еще утромъ была надежда устроить дѣло, но въ концѣ концовъ 19-го декабря вечеромъ онъ привезъ мнѣ рѣшительный и неблагоприятный результатъ нашихъ совмѣстныхъ хлопотъ, такъ какъ пьеса должна была идти въ мой бенефисъ. Оба крайне опечаленные, мы сидѣли молча, отъ времени до времени обмѣниваясь двумя тремя словами. Пьеса была у меня подъ руками. Перелистывая ее, я началъ читать сцену С. Ортиса съ королемъ. С. А. оживился. Замѣтивъ это, я началъ читать сначала. С. А. сталъ неузнаваемъ. Очевидно душевная драма героевъ, съ которыми онъ сжился и сроднился, заставляла его забывать про свои личные неудачи. Передо мной сидѣлъ уже не авторъ, представленіе пьесы котораго отложено на цѣлый годъ, а художникъ, живущій дорогими ему образами. „Какъ могъ—спросилъ я, окончивъ пятую картину,—Санчо Ортисъ убить брата страстно любимой имъ дѣвушки, своего друга и человѣка, котораго онъ ставилъ несомнѣнно очень высоко? Положимъ, онъ далъ королю слово. Я понимаю положеніе, но не вижу въ немъ той трагической необходимости, которая оправдываетъ въ глазахъ зрителя все. Если ужъ Санчо не считалъ себя вправѣ возстать противъ жестокаго и несправедливаго рѣшенія короля, такъ онъ могъ убить себя.“ С. А. нѣсколько разъ хотѣлъ перебить меня, но я нарочно не давалъ ему говорить, желая сразу высказать ему всѣ мои недоумѣнія относительно этой сцены, на которой построена вся драма. Эта же сцена вызвала наиболѣе жаркія нападки со стороны большинства изъ тѣхъ, кто читалъ пьесу раньше. Указывали главнымъ образомъ именно на самоубійство какъ на исходъ, развязы-

вавший рыцарскую клятву Санчо, и считали убійство Бусто неестественнымъ и ходульнымъ эффектомъ, отдающимъ черезъ чуръ Донъ-Кихотскимъ характеромъ.“ Еще, Сергій Андреевичъ, продолжалъ я, если вы скажете мнѣ, что испанская драма вообще жертвуетъ интересами житейской обыденной правды интересамъ основной идеи или тенденціи, которая лежитъ въ ея основѣ, то это удовлетворитъ меня очень мало. Мнѣ какъ актеру, исполняющему эту роль, важно пережить и пережить вѣрно извѣстное душевное состояніе того лица, которое я играю. Для этого нужно, чтобы оно было мнѣ безусловно понятно, чтобы играя это лицо, я вѣрилъ, что иначе чѣмъ *такъ-то*, въ *такихъ-то* условіяхъ онъ бы поступить не могъ. Здѣсь же напротивъ. Я ясно вижу, что Санчо, каковъ онъ есть, скорѣе бы убилъ себя чѣмъ Табера Бусто. И тутъ, по моему, дальнѣйшая часть драмы уже развилась бы между Бусто и Эстрельей съ одной стороны и королемъ съ другой, тѣмъ болѣе, что и завязка драмы въ началѣ именно идетъ между этими тремя лицами. Не можетъ Санчо убить брата Эстрельи, когда онъ можетъ убить самого себя. Это все равно, какъ если бы онъ убилъ Эстрелью, вздумай король написать въ запечатанной бумагѣ ея имя.“—И убилъ бы, прервалъ меня С. А., безповоротнo овладѣвая разговоромъ. Общая идея, лежащая въ основаніи драмы—торжество *доли* надъ личными страстями, надъ личнымъ счастьемъ человѣка. Всегда выполненіе долга требуетъ тяжелыхъ жертвъ. Куда дѣвался бы весь смыслъ жизни, если бы хоть изрѣдка не являлись люди, для которыхъ выполненіе долга есть трагическая неизбѣжность, какъ вы выразились? Въ трагедіи Лопе-де-Вега два главныхъ лица: король и С. Ортисъ. Между ними идетъ принципиальная и чрезвычайно сложная борьба. Въ королѣ соединились *личные* пороки и достоинства: онъ храбръ, добръ, но горячъ, страстенъ и мстителенъ. Для него существуютъ только законы его натуры. Во всей первой половинѣ трагедіи мы видимъ человѣка съ сильными страстями въ томъ положеніи, гдѣ полный просторъ ихъ произволу. С. Ортисъ принадлежитъ къ числу людей другого рода. Въ немъ воплотилась другая сторона человѣческаго духа, его вѣчная сторона—самоотреченіе во имя

долга. Но въ немъ всѣ тѣ же обыденныя человѣческія страсти, пожалуй, еще сильнѣй чѣмъ въ королѣ. Онъ безумно любитъ сестру своего друга, ждетъ и хочетъ своего счастья, и пока жизнь не встала передъ нимъ своей грозной стороною, онъ самый обыкновенный, самый эгоистическій, пожалуй, человѣкъ. Табера Бусто ревниво стоитъ на стражѣ чести своего долга, съ первыхъ же минутъ свиданія съ королемъ зорко взглядывается въ него и осторожно принимаетъ его милости. Санчо пока только счастливъ общаніемъ короля даровать ему въ жены любимую дѣвушку, счастливъ тѣмъ, что на него палъ лестный выборъ короля — явиться мстителемъ за нанесенное величеству оскорбленіе, которымъ оскорбленъ и самъ Санчо, какъ вѣрноподданный. Не надо забывать, что въ его глазахъ оскорбленіе Бога и короля имѣли равное значеніе. Отсюда полное основаніе считать выполненіе королевской воли своимъ долгомъ. Въ немъ пока спятъ тѣ мощныя силы, которыя *должны* въ немъ проснуться, заглушить всѣ личныя заботы и радости — поднять его духъ на недосигаемую высоту и совершить великія дѣла. Наконецъ, говоря его словами: „Нежданно для него завывла буря

И грянулъ громъ.

Подъ грохотъ этой бури столкнулись два начала: въ первомъ — произволъ и эгоизмъ, во второмъ — долгъ и самоотреченіе. Санчо пораженъ. Онъ не былъ готовъ къ этому. Буря завывала, когда все кругомъ манило къ счастью и радости. Грозный вопросъ долга выросъ внезапно и неотложно. Онъ прочелъ во вскрытой имъ бумагѣ имя брата любимой дѣвушки, имя человѣка, который былъ для него образцомъ доблести и незапятнанной чести. Онъ понимаетъ, что приказъ короля есть „злодѣйскій ходъ“ въ игрѣ, который его убиваетъ. Въ немъ все вопіетъ противъ звѣрства и жестокаго произвола этого приказа, но онъ *долженъ*, и онъ не въ силахъ сдѣлать иначе, чѣмъ онъ *долженъ*. Почему *долженъ* — вопросъ не важный. Это вопросъ условій быта и времени. Но важно его собственное сознаніе долга. Теперь и является вопросъ: какъ *а*кторъ долженъ разрѣшить поставленное имъ положеніе. Если Санчо откроетъ Бусто приказъ короля, соединится съ

нимъ противъ его тиранніи, возбудить народъ къ возстанію противъ вѣроломнаго повелителя, нарушившаго торжественную клятву охранять честь, жизнь и права своихъ подданныхъ, то это будетъ конечно не исполненіемъ долга, а только законнымъ протестомъ возмущеннаго человѣка, протестомъ, въ основѣ котораго все-таки будетъ лежать чисто эгоистическій мотивъ—мести. Чѣмъ бы ни окончилась эта борьба: побѣдой ли короля надъ Санчо и Бусто или ихъ побѣдой надъ королемъ, во всякомъ случаѣ эта побѣда будетъ побѣдой одной матерьяльной силы надъ другой. Авторъ хочетъ иной побѣды и дать ее, какъ вы увидите дальше. Если же Санчо убьетъ себя, то онъ вмѣстѣ съ собой убьетъ и то начало, которое онъ въ себѣ носитъ. Уйти отъ исполненія долга хотя бы въ могилу, есть бѣгство съ поля битвы во время сраженія. Конечно въ тысячу разъ легче умереть, чѣмъ убить брата срастно, безумно любимой дѣвушки, вырыть бездонную пропасть между собой и счастьемъ всей жизни и еще страшнѣе—разбить всю жизнь дорогаго существа. Будь на его мѣстѣ человѣкъ того класса людей, къ которымъ принадлежитъ король, будь даже онъ одаренъ всѣми доблестями и ни однимъ порокомъ, конечно для него, съ точки зрѣнія „что легче“—выходъ былъ бы ясенъ. Но у Санчо сама его натура не даетъ возможности думать о компромиссахъ. Долгъ есть долгъ, и его нужно исполнить, не думая о томъ, что будетъ дальше. Вотъ вамъ трагическая необходимость, въ силу которой Бусто убить, а Санчо—его убійца. Исполненный долгъ купленъ цѣною трехъ жизней, потому что Санчо однимъ ударомъ убилъ вмѣстѣ Бусто, Эстрелью и себя. Но это плодотворныя жертвы. Король, вызванный изъ міра вѣчныхъ угожденій своимъ личнымъ прихотямъ и страстямъ этими мощными и грозными дѣяніями, останавливается, пораженный ихъ величіемъ. Въ его душѣ смутно начинается что-то новое. Его охватываетъ благоговѣйное удивленіе къ незнакомымъ ему до сихъ поръ людямъ. Какъ? На немъ больше чѣмъ на комъ-нибудь лежатъ святыя обязанности, ему для выполненія долга не придется пожертвовать ни однимъ волосомъ съ головы, и онъ его не исполняетъ, а рядомъ съ нимъ люди приносятъ въ жертву этому долгу все, чѣмъ они жили, не

задумываясь, не рассуждая. Все яснѣе и яснѣе онъ видитъ, до чего онъ жалокъ и мелокъ во всемъ своемъ величїи и власти передъ тѣми, кто умѣетъ жить не для себя. Санчо хранить обѣщанное молчаніе. Его осуждаютъ на смертную казнь. Онъ радъ смерти. Значить, онъ могъ бы умереть, и не обагрять рукъ кровью брата. Судьи знаютъ Санчо, но и въ нихъ тотъ же долгъ заставляетъ молчать все остальное. Король велитъ имъ оправдать его, грозить имъ. Они отвѣчаютъ, что ихъ жизнь въ его рукахъ, но не ихъ совѣсть. „Все Ортисы и все Таберы“ вырывается невольный крикъ у потрясеннаго эгоиста. Лучшія струны начинаютъ звучать въ его душѣ. Жажда подвига охватываетъ его съ неудержимой силой, и сладострастный, порочный, мстительный деспотъ добровольно несетъ на площадь всему народу свое покаяніе. Это вѣчный законъ. Правда идетъ по душамъ и по трупамъ, но изъ нея исходитъ просвѣтленіе и жизнь“. Трудно передать впечатлѣніе, которое производилъ С. А. въ эти минуты. Онъ весь горѣлъ. Слѣда не осталось отъ его опечаленной, согнутой фигуры. Онъ выпрямился, голосъ звучалъ какими-то мощными раскатами, весь онъ жилъ каждымъ своимъ словомъ. До свѣту говорилъ и спорилъ С. А. Въ этотъ же вечеръ онъ еще неясно, въ общихъ чертахъ набросалъ планъ грандіозной трагедїи „Табориты“, которую онъ собирался писать. Дѣйствіе происходитъ во время Гусситскаго движенія. Вѣроятно въ бумагахъ покойнаго найдутся отрывки изъ этой трагедїи, и по нимъ вѣрнѣе можно будетъ судить объ ея общемъ планѣ, такъ какъ въ декабрѣ 1885 года писать онъ ее еще не начиналъ, а въ сентябрѣ 1887 г. говорилъ мнѣ, что три первые акта имъ почти закончены. Помню я особенно ярко одну сцену, которую онъ самъ называлъ кульминаціонной. Разбитые имперскимъ войскомъ, Табориты готовятся къ послѣдней рѣшительной битвѣ и приобщаются Святыхъ Тинъ изъ чаши въ то время, когда изъ противнаго лагеря доносятся звуки разгульных пѣсень. Свѣтаетъ. Табориты съ чашей въ рукахъ, одушевленные вѣрой въ свою правду, идутъ на бой. „Я хочу, говорилъ С. А., чтобы тутъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ народъ. Гуссъ сожженъ. Но въ каждомъ изъ Таборитовъ живетъ его духъ. „Во

главъ ихъ идетъ дѣвушка, когда-то безумно любившая молодого красавца герцога Альбрехта, предводительствующаго имперскимъ войскимъ. Но встрѣча ея съ Гуссомъ совершила въ ней коренной переворотъ. Иной образъ сталъ ея идеаломъ, и старый, обреченный на казнь, еретикъ Гуссъ вытѣснилъ изъ ея сердца блестящаго воина, окруженнаго сіяніемъ славы и первыхъ побѣдъ. Она нашла въ себѣ силы пережить сожженіе Гусса, подняла упавшій духъ Таборитовъ и впереди толпы идетъ въ бой за дѣло любимаго человѣка, уже погибшаго въ этомъ дѣлѣ. Трудно представить себѣ что-нибудь прекраснѣе того горячаго чувства, съ которымъ покойный С. А. рисовалъ этотъ чудный образъ. Еще одна сцена въ этой трагедіи произвела на меня сильное впечатлѣніе. Упоминаю объ ней потому, что вѣроятно она не написана имъ, такъ какъ относилась по его плану къ одному изъ двухъ послѣднихъ дѣйствій „Таборитовъ“. Въ послѣднемъ рѣшительномъ сраженіи, въ которомъ имперскія войска все больше и больше одерживаютъ верхъ, была ранена эта дѣвушка. За сценой идетъ бой, она лежитъ подъ деревомъ, почти потерявъ сознаніе отъ тяжелыхъ ранъ. До нея доносятся побѣдные крики враговъ и молитвенное пѣніе окруженныхъ Таборитовъ. Въ ея воспаленномъ мозгу проносятся рядъ картинъ ея прошлаго. Въ полузабытій ей начинаетъ казаться, что побѣда надъ Гусситами, есть побѣда надъ ея собственной душой, что если они будутъ разбиты, то умереть не только ея тѣло, но и душа. Въ страшной тоскѣ и отчаяніи она обращается къ памяти Гусса со страстной мольбой вдохнуть въ нее его мощный духъ и помочь ей одолѣть смерть, которая ее леденитъ. Въ это время бѣгутъ Табориты. Она напрягаетъ послѣднія силы, хочетъ остановить ихъ и падаетъ на колѣни передъ бѣгущими, указывая имъ на духъ Гусса, явившійся ея потухающимъ глазамъ. Она видитъ его, поднимается съ земли, беретъ чашу въ руки и страстной рѣчью пробуждаетъ въ бѣглецахъ потерянную надежду. Схвативъ въ правую руку мечъ, она ведетъ охваченныхъ экстазомъ Таборитовъ опять въ бой, не сводя глазъ съ духа Гусса, который какъ бы оживляетъ ее, отгоняя смерть. Табориты побѣждаютъ окончательно. Въ моментъ,

рѣшившій участь битвы, исчезаетъ духъ Гусса и въ тоже время она падаетъ мертвая. Ея жизнь была въ ея дѣлѣ и сама смерть не могла ее побѣдить, пока она не совершила своего призванія. Все существо ея ушло въ идею, которой она служила, и духъ побѣдилъ немощь тѣла.

Я не знаю, какъ отнеслась бы къ этой сценѣ та часть нашей публики и критики, которая снисходительно признавала въ С. А. только пылкаго фантазера, ничего общаго съ реальной жизнью неимѣвшаго. Но мнѣ кажется, что произведеній, удовлетворяющихъ строгимъ требованіямъ натуральной школы, слишкомъ достаточно въ нашей литературѣ и въ нашемъ репертуарѣ и что идеальная сторона жизни, полная самыхъ свѣтлыхъ и чистыхъ образовъ, могла заявить свои права хоть на небольшой уголокъ современной сцены. „Намъ хотѣлось бы замолвить слово, пишетъ С. А. въ своей статьѣ „О сценическомъ искусствѣ“, и за истинное значеніе художественнаго произведенія, видимо забываемое, потому что наша драматическая литература все болѣе и болѣе спускается до фотографической передачи дѣйствительности, лишенной всякой поэзіи и не одушевленной никакой идеей. Соразмѣрно съ этимъ падаетъ вкусъ; и критика, говоря вообще, и публика, восхищающаяся вѣрностью, рабской передачей не имѣющихъ никакого значенія формъ дѣйствительности, забываютъ, что такой реализмъ жметъ на жизнь человѣка и на природу его, выдавая чисто внѣшнія, ея частныя и случайныя черты, за внутреннее и общее“. Этотъ рѣзкій приговоръ нашей драматической литературѣ является законнымъ протестомъ убѣжденнаго борца за свою программу, очевидно игнорируемую тѣми условіями, въ которыхъ стоитъ современная сцена. Но и въ частныхъ бесѣдахъ и въ другихъ частяхъ своей статьи онъ прямо придавалъ формѣ, внѣшней типичности большой смыслъ, такъ какъ онъ былъ прежде всего человѣкъ жизни въ полномъ смыслѣ этого слова, но вносившій въ ея формы духъ наполнявшихъ его міровыхъ идеаловъ. Признавая громадное значеніе бытовыхъ произведеній и преклоняясь предъ талантомъ корифеевъ нашей современной драмы и комедіи, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ чтобы на ряду съ ними видное мѣсто зани-

мали міровые классики, чтобы на нихъ, такъ сказать, опирался театръ. Нѣсколько разъ онъ высказывалъ мнѣ свою мысль, которую онъ, кажется, предложилъ незадолго до своей послѣдней болѣзни управляющему Московскими театрами, чтобы для пьесъ общечеловѣческаго, какъ онъ выражался, репертуара, былъ отведенъ одинъ постоянный день въ недѣлю, особенно теперь, когда на сценѣ Малаго театра поставленъ цѣлый рядъ вещей классическихкихъ писателей.

21 ноября 1886 года состоялось представленіе „Звѣзды Севильи“ въ Маломъ театрѣ. Репетиціями руководилъ самъ Сергѣй Андреевичъ и завѣдывавшій въ то время репертуаромъ Н. А. Чаевъ. На репетиціяхъ Сергѣй Андреевичъ былъ такимъ же горячимъ и дѣятельнымъ помощникомъ, какъ всегда и во всемъ. Онъ съ живостью и увлеченіемъ показывалъ, спорилъ, поправлялъ, иногда ошибался и первый соглашался съ тѣмъ, что онъ не правъ, но за то если онъ чувствовалъ, что ошибается не онъ, не уступалъ ни подъ какимъ видомъ. Часто, желая выразить свое одобреніе, онъ прямо мѣшалъ репетировать ежеминутно повторяя: „хорошо, хорошо, прекрасно, безподобно“. Но чуть бывало онъ слышитъ фальшивый тонъ или, еще хуже, почувствуетъ, что артистъ не переживаетъ, а читаетъ роль, какъ онъ прерываетъ репетицію, вскакиваетъ со стула и врывается въ самую середину дѣйствующихъ лицъ безапелляціонно произносить: „это никакъ не годится!“ Такое живое и одушевленное отношеніе находило полное сочувствіе. Онъ, если можно такъ выразиться, поднималъ наши нервы своимъ восторгомъ, заражалъ насъ своей удивительной способностью проникнуться духомъ и мыслями трагедіи. Видно было, что онъ безусловно вѣрилъ во все, что онъ перевелъ, отрѣшался отъ современной дѣйствительности и весь уносился вихремъ развивавшейся передъ нимъ драмы, точно суровыя доблести и пороки средневѣковаго рыцарства были ему также близки, если не ближе, какъ и все то, что дѣлалось вокругъ него. И къ слову—это была его постоянная особенность. На репетиціи „Звѣзды Севильи“ никто изъ артистовъ, зная его способность восторгаться, не обращалъ особиннаго вниманія на его „прекрасно“ и „безподобно“, но за то его „никуда

не годится“ всегда предвѣщало, что онъ скажетъ много важнаго и откровеннаго. Кромѣ того, его „никуда не годится“ никогда не обижало. Всегда чувствовалось, что въ эту минуту для него личности не существуетъ, потому что вслушавшись въ какой-нибудь свой же шероховатый стихъ или невѣрное выраженіе, онъ точно такимъ же тономъ вскрикивалъ; „это куда не годится“ и шелъ къ суфлеру передѣлывать фразу. Въ предпоследней картинѣ „Звѣзды Севильи“ есть сцена, о которой была рѣчь выше, когда два алькальда отвѣчаютъ королю отказомъ на его требованіе измѣнить смертный приговоръ Санчо Ортису. Почему то не ладилась на одной изъ первыхъ репетицій эта сцена. Артисты, игравшіе алькальдовъ, были сейчасъ же остановлены словами: „это куда не годится“, хотя за нѣсколько времени еще слышались возгласы „прекрасно“, „безподобно“. С. А. взялъ роль одного изъ алькальдовъ и началъ читать. Н. А. Чаевъ, видя, что и тутъ дѣло не ладится, взялъ роль у другаго алькальда и тоже началъ читать. Оба читали не хорошо, а Н. А. даже костромскимъ говоромъ, но до того сильно было впечатлѣніе этихъ двухъ величественныхъ головъ, этихъ старческихъ убѣжденныхъ голосовъ, что образы двухъ неподкупныхъ ни милостью, ни страхомъ судей, какъ то выросли передъ нашими глазами. Цѣль была достигнута, смыслъ сцены сталъ ясенъ.

21 ноября 1886 года „Звѣзды Севильи“ была сыграна и имѣла огромный, блестящій успѣхъ. Многіе изъ присутствующихъ вѣроятно помнятъ С. А. на этомъ представленіи: онъ сіялъ радостью и торжествомъ, что дорогія ему мысли были поняты и раздѣлены публикой. Въ этомъ же сезонѣ, въ февралѣ 1887 года былъ поставленъ въ Большомъ театрѣ его переводъ „Антоній и Клеопатра“ въ бенефисъ Г. Н. Федотовой. Я не останавливаюсь подробно на этомъ переводѣ, потому что на репетиціяхъ этой трагедіи повторялось тоже, что и на репетиціяхъ „Звѣзды Севильи“.

Между прочимъ уже послѣ 1-го представленія „Антоній и Клеопатра“ имѣлъ мѣсто случай, ярко характеризующій тѣ серьезныя требованія Сергѣя Андреевича къ сценѣ, о которыхъ я говорилъ въ началѣ. Первое представленіе „Антонія

и Клеопатры“ имѣло сценами безспорный и крупный успѣхъ, но страшныя длинноты затянули спектакль до $\frac{1}{2}$ 2-го ночи. Публика была утомлена къ послѣднему дѣйствию, артисты, конечно, еще болѣе. Предложено было сократить нѣкоторыя сцены, какъ затягивающія дѣйствіе. С. А. согласился въ тотъ вечеръ, да и трудно было не согласиться, такъ какъ для послѣднихъ, важнѣйшихъ сценъ трагедіи, смерти Антонія и Клеопатры, публика уже теряла способность внимательно относиться къ дѣйствию. Но на другой же день было получено огромное письмо С. А., въ которомъ онъ бралъ назадъ свое согласіе и писалъ, между прочимъ, что тѣмъ хуже для публики, если она ищетъ въ театрѣ только развлеченія и утомляется вещами, которыя даютъ отдыхать своей красотой и силой, что выпущенныя сцены имѣютъ важное значеніе въ общей картинѣ пьесы и что въ серьезномъ театрѣ нельзя допускать купюръ въ такихъ вещахъ, какъ трагедія Шекспира. Дѣлать было нечего. 2-е представленіе прошло цѣликомъ, но это оказалось рѣшительно невозможнымъ. Часть публики прямо не выносила длиннотъ. Пришлось съ третьяго представленія прибѣгнуть къ сокращеніямъ, не смотря на отчаяніе Сергѣя Андреевича. Онъ все предлагалъ „попытаться еще разъ“, но пришлось и ему убѣдиться, что всякая попытка бесполезна. Третье, сокращенное представленіе имѣло гораздо большій успѣхъ, чѣмъ второе, послѣднія сцены произвели гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе.

Въ сезонъ 1887/8 года С. А. ничего не ставилъ изъ своихъ переводовъ. Къ веснѣ 1888 года былъ предположенъ къ постановкѣ его переводъ „Сна въ лѣтнюю ночь“ или „Бури“. По его мнѣнію въ „Бурѣ“ выразилось все философское міросозерцаніе Шекспира. Калибанъ и Аріэль явились у него, по выраженію С. А., „реальными воплощеніями матеріализма и идеализма“. Самого себя Шекспиръ изобразилъ въ Просперо, удалившемся онъ житейскихъ бурь и борьбы на пустынный островъ, гдѣ онъ создалъ себѣ цѣлый міръ изъ созданій своего генія и явился въ немъ добрымъ, но мощнымъ повелителемъ. Спокойнымъ взглядомъ генія онъ глядитъ на міръ съ его правдой и неправдой, съ его свѣтлыми и мрачными сторонами. Все это покорно его силѣ и несмо-

тря на утомленіе и разочарованія онъ любитъ жизнь во всей ея красотѣ и безобразіи. „Великій реалистъ сказался весь въ этомъ образѣ Просперо, говорилъ С. А. Спокойное, объективное и трезвое міросозерцаніе—есть великая сила, когда ею владѣтъ гений“.

Избранный предсѣдателемъ Общества Р. Д. П. весною 1888 года вмѣсто Н. А. Чаева, отказавшагося по болѣзни отъ этой должности, С. А. главное вниманіе обратилъ на неполноту и неясность устава этого Общества. Въ своемъ проектѣ, къ сожалѣнію, имъ не написанномъ, онъ имѣлъ въ виду расширить цѣли и программу общества измѣненіемъ основныхъ положеній устава, по которымъ цѣль Общества Р. Д. П. ограничивается преслѣдованіемъ исключительно матеріальныхъ цѣлей. По его идеѣ, доступъ въ число членовъ Общества долженъ быть обставленъ при новомъ уставѣ гораздо большими условіями и требованіями, чѣмъ предъявляетъ нынѣ дѣйствующій уставъ. Онъ не дожилъ до осуществленія этой мысли, но если она когда-нибудь осуществится, то и тутъ, какъ во многомъ хорошемъ, его имя будетъ неразрывно связано съ новымъ характеромъ дѣятельности этого общества.

Переводъ „Макбета“ Сергѣя Андреевича отличается особенными достоинствами, признанными Академіей Наукъ, присудившей этому переводу Пушкинскую премію за 1887 годъ. Съ сценической стороны въ немъ особенно выдается роль самого Макбета, переведенная мѣстами съ поразительной силой и образностью.

Давнишней мечтой С. А. было дать переводъ Гамлета. Къ сожалѣнію, онъ успѣлъ перевести очень мало. Въ его бумагахъ найденъ переводъ нѣсколькихъ сценъ 1-го акта, а именно сцена Гамлета съ Гораціо и Марцелло и его же сцена съ духомъ отца, часть 2-го дѣйствія, сцена съ актерами, и монологъ „Быть или не быть“.

Въ февральской книжкѣ „Русской Мысли“ за 1888 годъ началась печатаніемъ статья покойнаго подъ заглавіемъ „Нѣсколько мыслей о сценическомъ искусствѣ“. Такъ какъ ознакомленіе съ этой замѣчательной вещью не представляетъ никакихъ затрудненій, я позволю себѣ не касаться ея содержанія. Но на второй же страницѣ ея есть, между про-

чимъ, нѣсколько строкъ, которыя я считаю настоятельно важнымъ отмѣтить, такъ какъ въ нихъ выразился весь Сергѣй Андреевичъ—въ своемъ отношеніи къ сценѣ. „Мы хотимъ говорить, пишетъ онъ, объ одной изъ могущественнѣйшихъ силъ, дѣйствующихъ на сознаніе человѣка, о воплощеніи драмы, — этого высшаго созданія поэзіи — на сценѣ. Рѣчь наша идетъ о всенародной каеэдрѣ, о всенародномъ краснорѣчіи, говорящемъ не одному уму, а всѣмъ сторонамъ духа,—о томъ краснорѣчіи, въ которомъ соединились всѣ искусства, чтобы овладѣть всѣми инстинктами души. Не дѣло ли великой важности, чтобы это краснорѣчіе, служащее высокимъ началомъ правды, передавало идею, которая его одушевляетъ, во всей обаятельной силѣ, которая только доступна ему... Нравственное и художественно-прекрасное тѣсно связаны другъ съ другомъ, какъ двѣ стороны одной и той же истины“. Эта неразрывная связь нравственного съ прекраснымъ лежала въ основѣ его сценической дѣятельности. Изъ этой связи онъ черпалъ свои начинанія, эта связь толкала его вдохновляться исключительно вѣчными, непреходящими образцами драматической поэзіи, эта связь была критеріемъ требованій, предъявляемыхъ имъ къ артистамъ. Онъ требовалъ *идеи* не только отъ самой драмы или комедіи, но и отъ актеровъ, исполняющихъ ихъ. Сильный подъемъ всего существа артиста, воплощеніе его не только во внѣшній, но главнымъ образомъ, въ духовный обликъ изображаемаго лица, вотъ тѣ условія, которыя С. А. предъявлялъ, какъ непремѣнныя, къ сценическому дѣятелю. И если, какъ критикъ, онъ являлся вслѣдствіе этого въ высшей мѣрѣ требователемъ и строгъ, то какъ помощникъ онъ былъ незамѣнимъ. Достаточно бывало только смотрѣть на него, когда увлекаясь и чертя увѣренной рукой контуры роли, онъ мало по малу вырисовывалъ цѣлый образъ, чтобы этотъ образъ не покидалъ уже васъ потомъ ни на минуту. Горячо, беззабѣтно горячо любилъ онъ сцену. Не даромъ по дорогѣ въ театръ онъ былъ застигнутъ первыми приступами болѣзни, такъ не во время отнявшей у сцены умнаго, горячаго и убѣжденнаго подвижника ея силы и значенія.

И врядъ ли правы тѣ, которое упрекали его, главнымъ образомъ, въ отрѣшенности отъ живыхъ реальныхъ запросовъ, отъ живыхъ явленій современной ему жизни. Онъ только понималъ, что ему назначено всѣми условіями его жизни и натуры, занять извѣстное мѣсто въ общемъ дѣлѣ, выполнять задачу, къ которой онъ былъ призванъ въ силу того, что всѣми силами своего существа вѣрилъ въ ея плодотворность и не жалѣлъ ничего для ея разрѣшенія. Онъ явился выразителемъ тѣхъ запросовъ, которые представляются къ сценѣ не людьми того или другаго направленія, а всей массой, наполняющей театръ, требующей отъ него обновленія упавшихъ душевныхъ силъ, и новаго ихъ запаса. Источникъ этого обновленія онъ видѣлъ въ томъ же источникѣ, изъ котораго всю жизнь черпалъ онъ самъ. Обществу нужно живое воплощеніе тѣхъ неясныхъ и высокихъ порывовъ, тѣхъ мощныхъ образовъ, которые живутъ въ душѣ каждаго отдѣльнаго его члена въ болѣе или менѣе опредѣленныхъ формахъ. И С. А. считалъ назначеніемъ театра давать обществу полныя силы устои, на которыхъ бы могли опереться и вырасти лучшія его стремленія. Предоставляя другимъ анализъ и художественное воплощеніе матеріальной стороны жизни, онъ былъ художникомъ и аналитикомъ ея духовной стороны.

Поэтому-то онъ и былъ такъ близокъ всѣмъ тѣмъ, кто сохранилъ живую вѣру въ свѣтлыя и святыя цѣли жизни, въ вѣчное торжество духа надъ матеріей. Онъ откликался и со сцены и въ личныхъ бесѣдахъ на ихъ странныя порывы, на крики ихъ мятущейся души. Онъ не признавалъ, что есть люди, у которыхъ угасла совсѣмъ искра Божія, умѣлъ находить и раздувать ее. Онъ не умѣлъ быть никому чужимъ и эта любовь къ человѣку освѣщала все, къ чему онъ ни прикасался.

VIII.

За послѣдніе годы судьба приучила насъ къ тяжелымъ потерямъ. Не было года, чтобы русское общество не провозжало кого-нибудь въ могилу, но кончина Сергѣя Андреевича будто отняла у каждаго изъ насъ, его знавшихъ, умнаго, горячо насъ любившаго, горячо нами любимаго ста-

раго дѣда. Онъ разсказывалъ намъ днемъ и ночью свѣтлыя сказки о томъ, что есть міръ добра и правды, что были и есть борцы противъ міра зла и неправды, что жили-были и теперь еще живутъ храбрые паладины долга и бросаютъ эти паладины свои желѣзныя перчатки съ вызовомъ колдунамъ, чародѣямъ и людоедамъ. Слушаешь бывало эти сказки, въ которыхъ, пожалуй, больше правды и смысла, чѣмъ во многомъ изъ того, что безспорно существуетъ, слушаешь-слушаешь, да и стануть изъ глубины души подниматься давно загложшія чувства, слова и мысли тѣхъ людей, которыхъ мы потеряли за послѣдніе годы, начинаютъ ярче и ярче выступать въ нашей памяти; подъ обаяніемъ увлекательной рѣчи стараго дѣда звучать лучшія наши душевныя струны и все громче и громче гремятъ въ нихъ вѣчныя пѣсни.

Пусть теперь каждый, кто переживалъ эти часы вспомнить лицо и всю фигуру стараго дѣда. Точно тѣни всѣхъ тѣхъ людей таланта, мысли, борьбы, съ которыми онъ жилъ одной жизнію, идеалы которыхъ онъ раздѣлялъ и лелѣялъ всей своей чуткой и восторженной душой, осыпали его и вѣяли надъ его сѣдой головой въ эти минуты. Пусть каждый припомнить, какъ грустно становилось, когда затихалъ его голосъ, какъ не хотѣлось отпускать его отъ себя или уходить изъ его маленькаго, полутемнаго кабинета, со стѣнъ котораго такъ и вѣяло всѣмъ, что жизнь дала прекраснаго. Точно цѣлый волшебный міръ рушился... И умеръ нашъ старый дѣдъ. У cadaго изъ насъ въ домѣ постоялъ два дня и былъ вынесенъ на кладбище гробъ съ дорогимъ мертвецомъ, членомъ нашей семьи... Замокли свѣтлыя рѣчи, затихли чудные звуки и вмѣсто волшебныхъ сказокъ, вливавшихъ въ насъ бодрость и силу восторга, слышались похоронныя напѣвы. Много было, есть и будетъ, высокихъ умовъ, большихъ талантовъ, крѣпкихъ духомъ и разумомъ людей. Были, есть и будутъ гениальные люди. Но врядъ ли мы доживемъ до такого сердца. Въ этомъ сердцѣ была вся тайна и похоронивъ его, мы осиротѣли.

Кн. А. Сумбатовъ.

Сергѣй Андреевичъ Юрьевъ, какъ мыслитель *).

Мм. Гг. Наше Общество и всѣ образованные люди Москвы потерпѣли тягостную, невознаградимую утрату. Сошелъ въ могилу одинъ изъ послѣднихъ и самыхъ оригинальныхъ литературныхъ представителей блестящей плеяды людей сороковыхъ годовъ. Оцѣнка значенія покойнаго Сергѣя Андреевича Юрьева, какъ публициста, критика, драматическаго писателя, великаго знатока сценическаго искусства, ученаго, — была уже неоднократно сдѣлана, и, надо думать, къ ней еще не разъ вернутся. Въ нашемъ обществѣ, посвященномъ изученію вопросовъ философіи, всего приличнѣе остановить вниманіе на той сторонѣ личности Юрьева, о которой въ воспоминаніяхъ о немъ до сихъ поръ говорилось лишь мимоходомъ. Я хочу сказать нѣсколько словъ о Сергѣѣ Андреевичѣ Юрьевѣ, какъ мыслителѣ.

Отъ Юрьева не осталось сочиненій спеціально философскихъ. Но всѣмъ его знавшимъ, конечно, извѣстна его горячая любовь къ философіи, а также памятна законченность, цѣльность, идеальная широта его міросозерцанія. Въ исторіи можно наблюдать два типа философовъ: одни изъ нихъ, увѣрившись въ своемъ обладаніи высшею истиною, отдаляются отъ остальныхъ людей, для которыхъ эта истина представляется недоступною, замыкаются въ кругъ собственныхъ мыслей, посвящаютъ свою дѣятельность ихъ тщательному и всестороннему развитію и воздѣйствуютъ на общество, въ которомъ живутъ, своими литературными трудами. Суще-

*) Рѣчь, читанная въ годичномъ засѣданіи Московскаго Психологическаго Общества, 24 января 1889 г.

ствуют философы другой категоріи,—ихъ притязанія гораздо скромнѣе, они не считаютъ себя исключительными собственниками достовѣрнаго знанія,—они прозрѣваютъ истину вещей, но сознаютъ также слабость отдѣльнаго человѣка, чтобы вмѣстѣ ея безконечную содержательность,—они видятъ путь, глубоко въ него вѣрятъ, но понимаютъ въ то же время трудности и препятствія, которыми онъ усѣянъ. Они не рѣшаются высказывать свои взгляды въ законченной системѣ, иногда даже вообще не рѣшаются излагать ихъ письменно, какъ что-то для всѣхъ обязательное, но происходитъ это не отъ шаткости убѣжденій, а отъ сознанія громадности задачи. Тѣмъ не менѣе вѣра въ истину, жажда ея полного раскрытія, одушевляютъ ихъ съ такою непобѣдимую силою, что они уже не могутъ молчать и скрываться. И вотъ эти неутомимые искатели истины дѣлаются вѣчными проповѣдниками, всегда увлекающимися, задушевыми собесѣдниками, добровольными учителями всѣхъ, кто захочетъ ихъ слушать. Значеніе такихъ философовъ опредѣлять трудно,—ихъ слово умираетъ вмѣстѣ съ ними, а между тѣмъ вліяніе ихъ бываетъ иногда громаднымъ. Классическій, всѣмъ знакомый примѣръ тому представляетъ Сократъ. Когда былъ умерщвленъ этотъ странный человѣкъ, безъ устали блуждавшій по улицамъ и площадямъ, безъ конца спорившій со всякимъ встрѣчнымъ, ради вѣчныхъ разговоровъ бросившій все другія занятія,—современники проводили его въ могилу съ холоднымъ недоумѣніемъ, и великихъ усилій стоило его друзьямъ показать людямъ, кого потеряли они въ лицѣ этого скромнаго генія. А вѣдь онъ произвелъ коренной переворотъ въ философіи!

Русскіе философы той эпохи, когда впервые пробудилась самобытная философская мысль въ Россіи, почти все принадлежали къ этому послѣднему разряду. Имена Хомякова, Станкевича, Кирѣевскаго, Юрія Самарина навсегда останутся въ исторіи русскаго просвѣщенія; направленія, ими основанныя, доселѣ живы между нами. А много ли дошло отъ нихъ философскихъ писаній... Покойный Сергій Андреевичъ соединилъ въ себѣ самыя симпатичныя черты этого перваго поколѣнія русскихъ мыслителей. Онъ являлся на-

стоящимъ художникомъ устнаго слова; безъ преувеличенія можно сказать,—помимо его безспорныхъ литературныхъ заслугъ, одинъ уже его бесѣды были серьезнымъ общественнымъ служеніемъ. Кто однажды говорилъ съ нимъ, не забывалъ его никогда,—а говорилъ онъ со всѣми, кто къ нему обращался, и говорилъ отъ всей души. Артистъ, начинающій писатель, студентъ, специалистъ ученый, общественный дѣятель—направлялись къ нему, и каждый почерпалъ въ его горячихъ рѣчахъ что-нибудь такое, что навсегда сохраняло непреходящую цѣну. Юрѣва интересовали самые разнообразные предметы и вопросы, все живое и серьезное сосредоточивало на себѣ его вѣчно-бодрую мысль, но несмотря на такую многосторонность его умственныхъ интересовъ, въ его мнѣніяхъ не было внутренней разрозненности; онъ всегда былъ вѣренъ своимъ основнымъ убѣжденіямъ, онъ никогда не противорѣчилъ себѣ. Я и хотѣлъ бы показать,—какая общая нить связывала всѣ его воззрѣнія въ одно нераздѣльное цѣлое, какое общее философское міросозерцаніе заставляло его смотрѣть на существующее именно тѣми глазами, какими онъ всегда смотрѣлъ на него?

Я знаю, какую трудную, даже неисполнимую задачу я беру на себя. Въ очень короткій срокъ, своими словами, почти исключительно ограничиваясь моими личными воспоминаніями, я долженъ изложить то, что составляло для покойнаго его завѣтныя, глубочайшія вѣрованія, которыя служили для него внутреннимъ мѣриломъ при разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ знанія и дѣятельности, которыя вдохновляли его на очень трудномъ жизненномъ пути. Какъ избѣжать тутъ неполноты, неточности, блѣдности въ передачѣ, даже невольныхъ искаженій? И все-таки я взялся за нее, даже считалъ себя къ тому обязаннымъ. Если мы, люди, знавшіе покойнаго близко, не захотимъ разсказать, что онъ думалъ,—лучше ли будетъ, если его своеобразные взгляды по общимъ вопросамъ философіи пропадутъ безслѣдно? Я очень рано узналъ Сергѣя Андреевича; его симпатичный образъ составляетъ одно изъ самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній моего отрочества; въ долгихъ бесѣдахъ съ нимъ я почерпнулъ свои первые уроки по философіи; многія его воззрѣнія вошли неотдѣ-

лимымъ элементомъ въ мое собственное міросозерцаніе. Было и еще одно соображеніе, меня ободрявшее. Когда я задумался надъ моею темою, я понялъ, что философію Юрьева дѣйствительно можно излагать своими словами, и она отъ этого сравнительно мало пострадаетъ. Мимоходомъ сказать, это рѣдкій признакъ, доказывающій первостепенную серьезность мысли. Знатокамъ исторіи философіи должно быть извѣстно, много ли философскихъ теорій сохранять свою содержательность, если разсѣять ореолъ облекающей ихъ трудной терминологіи?

Во что же вѣрилъ Юрьевъ? Истина, красота, добро,—такъ обыкновенно характеризуютъ общій предметъ вѣрованій у людей сороковыхъ годовъ. Эти слова перешли по наслѣдству и къ намъ, и мы стараемся ими выразить наше идеальное настроеніе, когда оно посѣтитъ насъ. Къ сожалѣнію, отъ долгаго употребленія или отъ другихъ причинъ, болѣе сложныхъ, они въ устахъ большинства потеряли устойчивый и живой смыслъ и обратились въ обозначеніе какихъ-то очень неопредѣленныхъ душевныхъ порывовъ. И вотъ, прежде всего нужно замѣтить, что для покойнаго Юрьева эти понятія или эти слова не были *общими мѣстами воодушевленія*; онъ видѣлъ въ нихъ идеи съ значеніемъ ясно установленнымъ, конкретнымъ, полнымъ содержанія. Онъ служилъ вполне точнымъ, простымъ, ничего притязательнаго въ себѣ не заключающимъ выраженіемъ его пониманія дѣйствительности. Отъ чего это зависѣло? Отвѣтъ мы найдемъ въ воззрѣніи Юрьева на общую жизнь міра.

Въ то время когда Юрьевъ началъ впервые знакомиться съ философскими вопросами,—и въ Германіи, и у насъ на Руси, философская система Гегеля почти неограниченно господствовала надъ умами любителей спекулятивнаго мышленія. Вѣра во всеобщій, безличный міровой разумъ, воплощающійся въ жизни вселенной и разнообразно текущій во всѣхъ ея формахъ,—въ отвлеченную логическую идею, которая отъ вѣка выступаетъ изъ своего внутреннего абстрактнаго бытія, распадается въ природѣ во множествѣ ея силъ и явленій, потомъ опять собирается, сосредоточивается въ себѣ и овладѣваетъ собою въ человѣческомъ сознаніи,—эта

вѣра, безспорно не лишенная возвышающей умъ поэзіи, вдохновляла нашихъ идеалистовъ въ ихъ научномъ и литературномъ творествѣ. Однако Юрьевъ не сдѣлался Гегельянцемъ; онъ примкнулъ къ другому, противоположному теченію, начало которому положили у насъ основатели славянофильства Хомяковъ и Кирѣевскій, но, насколько мнѣ извѣстно, примкнулъ самостоятельно, помимо ихъ непосредственнаго вліянія. Вдохновителемъ Юрьева явился Шеллингъ въ его системѣ *положительной* философіи. Знакомство съ трудами Шеллинга въ послѣдній періодъ его философской дѣятельности имѣло для міросозерцанія Юрьева значеніе рѣшающее. У Шеллинга онъ взялъ основанія для общей критики Гегелевской абсолютной системы разума, критики, поражавшей тонкостью своихъ замѣчаній. Отправляясь отъ Шеллинга, Юрьевъ доказывалъ, что Гегель даетъ только *отрицательную* философію, раскрываетъ только *возможныя* отношенія между вещами, но не объясняетъ ихъ *дѣйствительную* существованія. Этотъ недостатокъ Гегеля, по мнѣнію Юрьева, коренится въ самой его задачѣ: мыслью, которая отвлелась отъ всякаго дѣйствительнаго содержанія жизни, совсѣмъ въ себѣ замкнулась, — діалектически эту жизнь построить. Въ самомъ дѣлѣ, что такое Богъ Гегеля, его абсолютная идея? Связная совокупность отвлеченныхъ законовъ міра, которая будто-бы съ логическою неизбѣжностью создаетъ реальныя вещи, міръ составляющія. Но мыслимо-ли это? Изъ отвлеченнаго, путемъ чисто-логическаго анализа, можетъ быть выведено опять только отвлеченное. Еслибъ даже былъ правъ Гегель, что всѣ законы существующаго усиленіями чистаго мышленія могутъ быть построены изъ абстрактнаго понятія о бытіи, мы въ этой сферѣ дальше самыхъ общихъ законовъ никуда не достигнемъ. А что такое общіе законы вещей, какъ не простыя возможности ихъ различныхъ отношеній? Итакъ, признавъ за начало философіи логическую идею, мы, кромѣ міра *возможностей*, ничего не получаемъ. Откуда же берется дѣйствительность вещей въ ихъ индивидуальности, въ безконечномъ разнообразіи ихъ реальныхъ признаковъ! Почему міръ таковъ, какимъ мы его видимъ, хотя общіе логическіе законы могли бы одинаково хо-

рошо выразиться въ мірахъ, безконечно различныхъ по своему частному, конкретному содержанію? Или скажемъ, что все конкретное въ вещахъ есть продуктъ чистой случайности? Но вѣдь это значить отказаться отъ всякаго объясненія,—хуже того, это значить отринуть руководящее правило всякаго разумнаго разсужденія,—*законъ достаточнаго основанія*. Слишкомъ очевидно, что въ существующемъ, кромѣ элемента *раціональнаго* (отвлеченно-логическаго) присутствуетъ элементъ *ирраціональный* (сверхлогическій). Этотъ послѣдній не заключаетъ въ себѣ никакого *противорѣчія* законамъ логики; напротивъ, онъ только и дѣлаетъ возможною ихъ реализацію въ вещахъ. Но онъ *выше* этихъ законовъ, потому что не ихъ отвлеченнымъ могуществомъ опредѣляется его живое содержаніе, а наоборотъ этимъ содержаніемъ доставляется полнота осуществленія для общихъ отношеній, въ нихъ данныхъ. А если такъ, то истинная основа вселенной—не отвлеченная сущность, не абстрактное *понятіе* о бытіи; она больше какихъ бы то ни было отвлеченій, она самое дѣйствительное изъ всего, что существуетъ, потому что въ ней живой источникъ творческихъ силъ всѣхъ вещей. Необходимость, порождающая міръ, не абстрактная и разсудочная, а *творческая*, такъ сказать *художественная*. Дѣйствительность въ своемъ цѣломъ представляетъ живое воплощеніе верховнаго идеала красоты и внутреннего блага; другаго мотива для ея бытія указать невозможно. Соотвѣтственно этому и разумъ, въ мірѣ дѣйствующій, не есть разумъ безличный; это не абстрактная идея, какъ совокупность совершенно отвлеченныхъ моментовъ мысли, безотчетно отражающихся въ невольномъ теченіи природнаго процесса,—онъ есть разумъ творчески-свободный, собою владѣющій и о себѣ вѣдомый, это—*личная* мысль живаго Бога.

Въ послѣднемъ убѣжденіи исходная точка міросозерцанія покойнаго Сергѣя Андреевича. Онъ былъ Шеллингianецъ, но откинулъ въ системѣ Шеллинга весь арсеналъ ложной и темной схоластики, и умѣлъ внести въ идеи Шеллинга простоту и задушевность своего русскаго ума. Для Юрьева міръ являлся воплощеніемъ красоты и добра, но не такимъ, которое разъ навсегда было бы *совершено* и

оставалось въ мертвой неподвижности, а которое непрерывно *совершается* въ борьбѣ міровыхъ силъ. Какъ истый ученикъ Шеллинга, Сергѣй Андреевичъ былъ увѣренъ, что уже въ первомъ источникѣ вещей заключены основныя начала или *потенціи* дѣйствительности, взаимно противоположныя и тѣмъ не менѣе одно другое предполагающія, начало *реальное*, темное, стихійное и косное, въ немъ корень всякой матеріальности и взаимной розни существъ,—и начало *идеальное*,—свѣтлое, исполненное разума, жизни и гармоніи. Въ Божествѣ *реальная* потенція всецѣло побѣждена, просвѣтлена и поглощена идеальною мощью: не то наблюдается въ мірѣ тварныхъ, конечныхъ существъ. Ихъ существованіе только черезъ то и стало возможнымъ, что начало реальное, въ силу сверхчувственного *метафизическаго* акта свободы, обособилось въ себѣ, проявилось въ своей стихійности и розни. Но этимъ самымъ была возбуждена къ творческой дѣятельности безконечная сила духовнаго принципа. Весь процессъ міроваго развитія представляетъ постоянное и постепенное торжество духа надъ грубою реальностью природы, ведущее къ окончательному возстановленію нормальныхъ отношеній между противоположными силами дѣйствительности, къ уподобленію міра тварнаго міру божественному. Если угодно, Юрьевъ признавалъ внутренний *дуализмъ* природной основы,—но не абстрактный дуализмъ картезіанскихъ субстанцій, а дуализмъ примиренный, самымъ существомъ вещей предназначенный къ упраздненію въ концѣ временъ.

Слѣдовательно, вотъ какая картина бытія предносилась умственному взору покойнаго: дѣйствительность, во всѣхъ своихъ областяхъ и стадіяхъ развитія есть осуществленіе духа въ стихійной неопредѣленности, осуществленіе тѣмъ болѣе полное и совершенное, чѣмъ высшую ступень въ лѣстницѣ міроздавія занимаетъ та или другая форма существованія. Изъ этого коренного пониманія самой сущности жизни объяснялись идеалистическія наклонности Юрьева, отражавшіяся на всѣхъ его научныхъ мнѣніяхъ. Они сказывались уже въ его рѣшеніи вопроса объ элементарномъ веществѣ физическаго міра,—о природѣ *атомовъ*. Въ своихъ воз-

зрѣніяхъ на этотъ предметъ Юрьевъ явно склонялся къ динамическому объясненію, къ признанію механическихъ, непосредственно-наблюдаемыхъ свойствъ вещества за вторичныя и производныя, къ пониманію атомовъ, какъ идеальныхъ центровъ силъ, выражающихъ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ вѣчные законы разума.

Жизнь міра есть непрерывно совершающееся торжество духа надъ природою, идеи надъ исключительностью и разрозненностью реального бытія. Поэтому Юрьевъ глубоко върился во всеобщность закона развитія, хотя представлялъ его себѣ не такъ, какъ понимаютъ его современные эволюционисты. Для сторонниковъ эволюціонизма развитіе есть только постоянное осложненіе формъ бытія, происходящее по однимъ и тѣмъ же механическимъ законамъ, воплощающее въ себѣ одно и то же количество силы (энергіи), всегда себѣ равной. По убѣжденію Юрьева, каждая новая стадія мірового процесса открываетъ поприще для дѣйствія новыхъ творческихъ силъ сущаго, по законамъ дотогѣ невѣдомымъ. Законы физическіе и химическіе господствуютъ надъ всѣмъ обширнымъ царствомъ неорганической природы. Но съ первымъ пробужденіемъ жизни въ міръ вступаетъ новая сила, гораздо глубже проникнутая печатью идеальности, гораздо цѣльнѣе отражающая въ себѣ свободу творчества мірового духа. Жизненная сила (Сергѣй Андреевичъ былъ защитникомъ виталистическаго принципа) является среди стихійной косности, какъ бы лучемъ свѣта, который, побѣждая ее, творитъ разнообразный, художественно-цѣлостный міръ организмовъ.

Но лишь въ человѣческой личности духъ раскрывается въ своей внутренней безконечности, какъ разумный и самодѣятельный, *творческій* центръ жизни. Съ возникновеніемъ человечества наступаетъ новая, высшая эра въ развитіи жизни, — рядомъ съ царствомъ природы устанавливается царство исторіи. Исторія человечества въ области духовныхъ отношеній должна повторить тотъ самый процессъ, который ранѣе совершился въ сферѣ космической. „Исторія человечества“, говоритъ Юрьевъ въ своей статьѣ о „Народной правдѣ“, „представляетъ намъ широкую картину борьбы двухъ міро-

выхъ силъ, двухъ міровыхъ началъ, борьбы, въ которой нравственное начало шагъ за шагомъ завоевываетъ себѣ побѣду надъ физическою необходимостью законовъ царства матеріи, заставляя послѣдніе служить своимъ цѣлямъ“. Исторія начинается отъ стихійной безсознательности и разрозненности, отъ матеріальнаго поглощенія личности тѣмъ, что ее окружаетъ; она отправляется отъ порабощенія человѣка природою и обществомъ. Ея ходъ состоитъ въ постепенномъ нравственномъ возвышеніи и освобожденіи лица отъ вѣшняго и внутренняго гнета, въ торжествѣ свободы, знанія, нравственнаго добра, надъ духовною слабостью, невѣжествомъ, злымъ господствомъ животныхъ страстей. Въ будущемъ предносилось Юрьеву полное раскрытіе нравственныхъ силъ человѣчества, окончательная побѣда самодѣятельной личности надъ противоборствующими ей темными силами,—не той личности, которая будто бы самою природою своею осуждена на бесплодный субъективизмъ, на внутренний разладъ и замкнутость въ себѣ, а той, которая въ нравственномъ единеніи съ остальнымъ человѣчествомъ, — въ томъ, что покойный любилъ называть *хоровымъ* или *соборнымъ* началомъ, обрѣтетъ высшую правду жизни, отыщетъ подлинный путь къ правильному завершенію великаго дѣла исторіи. „Стремленіе къ познанію истины и разума жизни“, говоритъ Юрьевъ, „разрушительное для каждаго человѣка по своей неудовлетворенности, когда оно, обратившись исключительно въ страсть ума, не питается живыми нравственными силами, единящими людей между собой, становится, будучи управлено любовью къ человѣку и идеалами счастья людей, силою созидательною, ведущею человѣка отъ совершенства къ совершенству и вводящею его во святая святыхъ тайнъ жизни, полного удовлетворенія и блаженства“. Человѣкъ только въ союзѣ съ другими людьми является нравственною личностью. Въ этомъ, по Юрьеву, заключается значеніе *народности*. Народъ есть тотъ естественный, стихійный союзъ людей, въ которомъ они прямо рождаются, и на жизнь котораго постоянно воздѣйствуютъ совокупнымъ творчествомъ своего духа. Въ степени сознательности этого творчества лежитъ различіе народа отъ племени. Каждый народъ

обособляется среди других своимъ языкомъ, своею поэзіей, обычаями, религіозными вѣрованіями, и тогда пріобрѣтаетъ самостоятельную народную личность. Поэтому и народы, подобно отдѣльнымъ лицамъ, въ своемъ бытіи преслѣдуютъ высшія нравственныя цѣли, и въ этихъ выработанныхъ ими идеалахъ добра и правды весь смыслъ ихъ существованія. При завершеніи историческаго процесса отдѣльные народности должны превратиться въ свободные органы единой всечеловѣческой жизни. „По мѣрѣ того“, говоритъ Юрьевъ, „какъ возрастаетъ познаніе истины и вселяется ея правда въ жизнь человѣчества, возрастаютъ и самобытность и независимость каждаго народа и каждаго человѣка, возрастаетъ и братство народовъ и людей и ихъ внутреннее единеніе, и близится возвѣщенное Христомъ царство правды, въ которомъ душа каждаго человѣка станетъ для всѣхъ дороже цѣлаго міра, и всѣ будутъ едины, какъ братья“.

Такъ понималъ Юрьевъ внѣшнюю, видимую, феноменальную сторону жизни міра. Но, по его глубокому убѣжденію, она предполагаетъ другую, глубже лежащую и высшаго значенія, — сторону *мистическую*. Въдѣ весь міръ существуетъ лишь потому, что въ немъ вѣетъ Духъ Божественный, вездѣ внося жизнь и радость, вездѣ побѣждая противленіе мрака. Мировой процессъ не былъ бы законченъ, онъ потерялъ бы свою осмысленность, еслибъ темная стихійная потенція, формируемая лишь извнѣ, внутри себя навсегда осталась при своемъ глухомъ антагонизмѣ къ воздѣйствію принципа идеальнаго. Тварь должна быть освящена и просвѣтлена въ самомъ своемъ корнѣ, въ томъ, что составляетъ источникъ ея реальности и тварной самостоятельности. Она должна всецѣло возродиться въ основныхъ потенціяхъ своего существа, должна потушить въ себѣ самый зародышъ лежащаго въ ней противоборства, т. е. она должна воспринять Божество въ себя. Она нуждается въ этомъ, но не можетъ этого совершить собственными силами и средствами; отсюда возникаетъ нравственная неизбежность воплощенія Бога въ тварной формѣ, и въ той формѣ, которая есть самая высшая, сосредоточившая въ въ себѣ всю совокупность потенцій бытія въ ихъ совершеннѣйшемъ выраженіи, — въ формѣ Богочело-

вѣческой. Личность Христа является средоточіемъ мірового и историческаго процесса въ его неуклонномъ теченіи къ очищенію и возрожденію всего сотвореннаго. Искупительный актъ Христовъ былъ для Юрьева не только предметомъ вѣры,—онъ видѣлъ въ немъ верховную истину умозрѣнія.

Изъ всего сказаннаго можно было видѣть, что Юрьевъ въ своихъ воззрѣніяхъ на человѣка былъ убѣжденнымъ спиритуалистомъ. Дѣйствительно, на всѣ попытки разсматривать душу, какъ совокупность функцій тѣлеснаго организма, онъ глядѣлъ какъ на гипотезы, лишенныя внутренней логики, основанныя на произвольныхъ метафизическихъ предположеніяхъ, не имѣющія подлиннаго научнаго достоинства; напротивъ, онъ очень склонялся къ той мысли, что жизнь самаго организма есть лишь выраженіе безотчетнаго душевнаго творчества (вообще въ своихъ взглядахъ на взаимныя отношенія души и тѣла онъ раздѣлялъ многія мнѣнія Фихте Младшаго). Для постоянныхъ собесѣдниковъ Юрьева должно быть памятно, какъ горячо доказывалъ онъ коренную противоположность въ характерѣ законовъ физическаго и психическаго міра. Онъ разсуждалъ такъ: надъ вещами физической природы всецѣло господствуетъ законъ *эквивалентности*, въ ней всякая потенціальная энергія истощается своимъ переходомъ въ энергію кинетическую,—поэтому въ ней собственно не существуетъ того, что мы называемъ развитіемъ и совершенствованіемъ, а только смѣна равноцѣнныхъ формъ движенія. Совершенно иное замѣчаемъ мы въ духѣ: пріобрѣтенія души не поглощаются ихъ переходомъ въ активныя состоянія,—наоборотъ, они имъ закрѣпляются за душою, какъ нѣчто неотъемлемо ей принадлежащее. Ощущеніе, мысль, чувство, проходятъ въ нашемъ сознаніи незамѣтно, если не вызовутъ нашего вниманія и пропадаютъ, повидимому, безъ слѣда. Но, возбудивъ нашу внутреннюю дѣятельность, задержанныя повторными актами нашей памяти,—они становятся неотдѣлимою частію нашего я, тѣмъ болѣе прочною, чѣмъ большее количество дѣятельныхъ энергій они вызвали раньше. Отсюда происходитъ отличающая духъ способность непрерывнаго накопленія пережитыхъ состояній, безпредѣльнаго роста и расширенія его бытія,—короче, воз-

возможность его развития. По внутреннему убеждению Юрьева, ни одно впечатлѣніе для души не должно исчезать совсѣмъ; они хранятся въ ея глубочайшихъ нѣдрахъ и могутъ быть вызваны при удобныхъ обстоятельствахъ. То, что кореннымъ образомъ отличаетъ душу отъ тѣла, есть ея *внутренняя безконечность*.

Внутренняя безконечность души человѣческой одна изъ любимыхъ идей Юрьева. Въ личности каждаго человѣка заключенъ неистощимый запасъ творческихъ силъ, который сказывается въ актахъ его мысли, его фантазіи, его воли,— во всей совокупности его жизненной дѣятельности. Творчество есть то, что приближаетъ человѣка къ Богу, въ немъ по преимуществу выражается абсолютная основа человѣческаго существа. Въ силѣ свободной самодѣятельности заключается та божественная искра, которая теплится въ каждой душѣ, которая является залогомъ возрожденія при самомъ глубокомъ ея паденіи. Именно къ этому коренному убежденію примыкала его горячая, задумчивая вѣра въ безсмертіе души, не покинувшая его до самыхъ послѣднихъ часовъ его жизни. Эта вѣра обосновывалась для него не только теоретически въ его понятіи о духѣ, какъ бытіи существенномъ (субстанціальномъ), какъ творческомъ источникѣ собственныхъ дѣйствій и проявленій, она у него опиралась на практическія, жизненные соображенія, которые никогда не теряютъ своего могущества надъ человѣческимъ сознаниемъ. Въ душѣ человѣка (и въ его индивидуальной душѣ, а не въ какой-нибудь внѣ его находящейся всеобщей субстанціи) лежатъ неограниченныя силы, въ ней живутъ безконечныя потенціи добра и зла, созиданія и разрушенія,—поэтому на земное существованіе, при самыхъ лучшихъ условіяхъ, не можетъ исчерпать того, что дано въ ней дѣйствительно. Еще менѣе можетъ выразить безконечную полноту духовныхъ задатковъ въ насъ заурядная жизнь обыкновенныхъ людей при неизбежной непрочности человѣческой организаціи, при случайности историческихъ обстоятельствъ и личной судьбы. Вотъ почему земля не единственное поприще для жизни и дѣятельности человѣческаго духа; великое будущее открыто человечеству во всѣхъ его членахъ, хотя мы и не можемъ

ясно его себѣ вообразить. Люди не только случайныя единицы въ прихотливомъ ходѣ историческаго процесса, они не только ничтожныя винты и колеса огромной и безпощадной машины. То, въ чемъ обитаетъ сила жизни, не можетъ и не должно погибнуть,—думать иначе значитъ лишать жизнь всякаго смысла, и этого не скрыть никакими хорошими словами. Исторія для человѣка, а не человѣкъ для исторіи; душа человѣка сосредоточила въ себѣ высшую мощь космическаго бытія, „она дороже цѣлаго міра“, какъ любилъ выражаться Юрьевъ, намекая на слова Спасителя.

Повторяю, безсмертіе для Юрьева не было лишь отвлеченнымъ догматомъ, общимъ метафизическимъ выводомъ изъ простаго понятія о субстанціальности души, безъ дальнѣйшихъ поясненій, которымъ такъ часто ограничиваются представители философскаго спиритуализма. Для него оно являлось *живымъ представленіемъ*, на которомъ глубоко отразилось его нравственное міросозерцаніе. По стопамъ великихъ мыслителей церкви, Оригена и св. Григорія Нисскаго, онъ разсматривалъ судьбу душъ за предѣлами гроба, какъ великій очистительный процессъ, ведущій всякую духовную тварь къ примиренію и сочетанію съ ея Божественнымъ Источникомъ, въ вѣчномъ царствѣ безконечной любви и милосердія. Онъ признавалъ различіе въ посмертной участи духовныхъ существъ, но онъ не рѣшился вѣрить въ вѣчную область зла и муки рядомъ съ торжествующимъ царствомъ Христа. Страданіе омраченной души являлось его умственному взору нравственно-необходимымъ слѣдствіемъ духовнаго огрубѣнія, ненормальнаго направленія воли, ея извращеннаго отношенія къ Божеству и низшимъ силамъ дѣйствительности. Однажды покойный выразился такъ, въ неподражаемой наивности своей образной рѣчи: „Представьте человѣка, который живетъ въ *душу живую* (передъ тѣмъ шелъ разговоръ о различіи въ человѣкѣ *души живой*, общей у него съ животными, отъ *духа животворящаго*,—высшаго начала въ немъ), т.-е. въ животныя побужденія,—ѣсть, пить, ищетъ только чувственныхъ наслажденій, и вдругъ онъ умираетъ, остается духъ и только. Поймите, въ какое положеніе онъ попадетъ,—странное, нелѣпое положеніе! Ему не-

ловко, онъ не знаетъ, что съ собой дѣлать, куда дѣться! Онъ точно пьяный среди трезвой и благочинной компаніи! И вотъ является неизбежный рядъ мученій, борьбы, безплодныхъ усилій!“ Но и для этихъ душъ, потонувшихъ въ собственной тьмѣ, по сердечному убѣжденію Юрьева, загорится когда-нибудь яркій лучъ благодати и примиренія.

Если усвоимъ себѣ этотъ взглядъ на сущность и назначеніе человѣка, намъ станетъ понятно отношеніе Юрьева къ вопросу о познаніи, его возможности и окончательныхъ задачахъ. Сергѣй Андреевичъ не былъ ни одностороннимъ рационалистомъ, ни эмпирикомъ, хотя и признавалъ извѣстное право на существованіе за этими двумя противоположными точками зрѣнія на задачи познанія. Разумъ, предоставленный самъ себѣ, въ своей чистой дѣятельности, раскрываетъ намъ всеобщую, отвлеченно-логическую истину вещей, но онъ не въ силахъ объяснить ихъ живой реальности; опытъ, порвавшій всѣ связи съ умозрѣніемъ, научаетъ насъ о частныхъ отношеніяхъ, существующихъ въ непосредственно-данной дѣйствительности, но онъ не въ состояніи обосновать ихъ всеобщаго характера или объяснить ихъ внутренній смыслъ. Полная, живая истина сущаго доступна не спекулятивному разуму и не эмпирическому разсудку въ ихъ разобщенности; она открывается лишь цѣлостному и гармоническому дѣйствию всѣхъ духовныхъ силъ человѣка. Подъ такимъ внутренне-цѣлостнымъ познаніемъ Юрьевъ разумѣлъ не только простое сочетаніе умозрѣнія съ опытомъ; онъ давалъ не менѣе выдающееся мѣсто въ познаніи высшей истины волѣ, направленной къ добру, и чувству, воспріимчивому къ красотѣ мірозданія. „Только въ гармоническомъ единеніи всѣхъ силъ жизни,—говорилъ Юрьевъ,—раскрывается истина всю полноту неисчерпаемаго богатства своего содержанія, всю свою безсмертную красоту и, въ нихъ, неодолимую энергію и непобѣдимую мощь своего творчества“. Чтобы понять Юрьева, мы должны вспомнить главную мысль его философіи и его признаніе въ существующемъ иррациональнаго элемента. Жизнь, какъ она дана, не есть продуктъ математической необходимости, но она не есть порожденіе и случайной игры слѣпыхъ, стихійныхъ силъ природы. Въ

возникновѣніи міра воплотилось свободное творчество божественной мысли, направляемой абсолютнымъ идеаломъ добра; міровой процессъ есть живое искусство всемірнаго духа, руководимое верховнымъ закономъ космической гармоніи. Поэтому, чтобъ постигнуть таинственную картину міра, раскинутую передъ нашими глазами, мы должны настроить себя *созвучно* тому, что въ немъ совершается, должны возвыситься надъ нашею замкнутостью и порабощеніемъ чувственнымъ иллюзіямъ; мы должны внутренне приблизиться къ тому, что жизнью движетъ, и раздуть въ себѣ то пламя, которое теплится въ глубочайшихъ нѣдрахъ природы. Лишь возбудивъ въ себѣ силу аналогичнаго творчества, мы поймемъ въ жизни и то, что не подлежитъ прямымъ и безспорнымъ доказательствамъ.

Источникъ высшей истины для человѣка *есть его разумъ, направляемый любовью*,—вотъ выводъ, который являлся съ неизбѣжностью изъ принятыхъ посылокъ и который имѣлъ рѣшающій смыслъ для отношенія Юрьева къ ученію церкви. По воззрѣнію Юрьева, полнота возможной истины дается не одинокимъ усиліямъ отдѣльнаго ума, всегда одностороннимъ и носящимъ печать субъективной ограниченности; она усваивается соборною всецѣлостью общечеловѣческаго сознанія, объединеннаго свободнымъ дѣйствіемъ любви въ воспріятіи откровенія, т.-е. она осуществляется только въ церкви, мистически обоснованной искупительнымъ актомъ Христа. „Христіанская община,—говоритъ Юрьевъ,—служить полнымъ синтезомъ дилеммы между индивидуальностью и общинностью, дилеммы, которую христіанство выразило во всей абсолютной ея силѣ, въ такой, въ какой не выражало ея дотолѣ никакое слово человѣческое... Эту великую дилемму, объемлющую жизнь, рѣшаетъ сила любви христіанской, свободно уничтожающая обособленность личную въ общемъ единеніи любви и создающая иную, истинную, высшую нравственную личность“. Сергій Андреевичъ Юрьевъ былъ настоящій, искренно-вѣрующій православный христіанинъ, горячій поклонникъ Хомякова и его теории церкви. Примыкая къ воззрѣніямъ славянофильской школы, Сергій Андреевичъ убѣжденно защищалъ тотъ тезисъ, что въ православіи авторитетъ

общеобязательной истины съ внутреннею неизбѣжностью идетъ на встрѣчу свободнымъ усиліямъ и требованіямъ мысли, просвѣщенной любовью. Не виѣшній авторитетъ буквы или папскаго приказанія, не единоличныя умозаключенія отвлеченнаго мышленія утверждаютъ истину Христову, говорилъ онъ,—она сама въ себѣ, въ безконечности своего содержанія, носить свою силу, непобѣдимую для чуткаго сердца. Этимъ убѣжденіемъ объясняется въ Юрьевѣ поразительное для многихъ сочетаніе вѣры въ догматы и постановленія церкви и совершеннаго свободомыслія, задушевной религіозности и широкой терпимости къ мнѣніямъ людей, съ нимъ несогласныхъ. Юрьевъ зналъ, что настоящая вѣра не предписывается, а самобытно создается въ сокровеннѣйшей глубинѣ душевной, и что, навязанная насильно, она обыкновенно приноситъ вовсе не тѣ плоды, какихъ отъ нея ждутъ. Припоминаются мнѣ слова, сказанныя Ѳ. М. Достоевскимъ въ единственномъ разговорѣ, который мнѣ пришлось имѣть съ нимъ во время памятныхъ для Москвы Пушкинскихъ праздниковъ: „Странные нынче являются ревнители благочестія! Чтобы повѣрить въ Бога, они должны пережить такую страшную внутреннюю ломку, такъ должны себя изуродовать и изувѣчить нравственно, что потомъ они боятся пошевелиться,—они пугаются каждаго впечатлѣнія, каждаго новаго проявленія жизни! Въмѣсто просвѣтлѣнія—душа у нихъ только омрачается и ожесточается. Какой-то страхъ ихъ преслѣдуетъ,—такъ трудно имъ достался душевный миръ, для нихъ самихъ подозрительный!“ Покойный Юрьевъ изъ принадлежалъ къ числу *такихъ* ревнителей. Въ его глазахъ христіанская истина не была хрупкимъ сосудомъ, который надо оберегать отъ всякаго прикосновенія, чтобъ онъ не разбился и не рассыпался въ прахъ, какъ иногда представляется дѣло даже искренно благочестивымъ людямъ; онъ зналъ, что ей нечего бояться свѣта, ибо сама она есть наиболѣе могущественный источникъ свѣта! Онъ былъ увѣренъ, что всестороннее развитіе нравственной личности представляетъ лучшее ручательство за торжество истины надъ сердцаами людей. Помню его одинъ отвѣтъ, вызвавшій недоумѣніе во многихъ присутствующихъ, и все-таки выразившій самую сущ-

ность его религіознаго міросозерцанія. Покойный Тургеневъ спросилъ его, какъ онъ миритъ основанный на традиціи авторитетъ православныхъ догматовъ съ свободою личнаго разума? На это Юрьевъ сказалъ, что для него основныя вѣрованія христіанства въ ихъ живомъ внутреннемъ единствѣ суть такіе же постулаты свободнаго нравственнаго сознанія, какими представлялись Канту его абстрактныя утвержденія о бытіи Бога, безсмертіи души и человѣческой свободѣ. При такомъ взглядѣ самобытное развитіе умственныхъ силъ, свободная постановка самыхъ глубокихъ задачъ знанія, отважное стремленіе проникнуть въ самыя тайны Божества—не казались Юрьеву противными духу христіанства; напротивъ, въ нихъ онъ видѣлъ его необходимое слѣдствіе, вѣрный знакъ его побѣды надъ внутреннимъ человѣкомъ. Язычникамъ могло казаться грѣховнымъ овладѣть божественными тайнами,—христіанство уничтожило бездну между темнымъ, неизвѣстнымъ божествомъ и его эфемернымъ созданіемъ. „Духъ христіанства“, говоритъ Юрьевъ, „которымъ сознательно и несознательно живутъ новыя вѣка, ведущіе человѣка къ жизни безконечной, не можетъ считать противуестественными стремленія человѣка познать абсолютную истину и проникнуть духомъ въ нѣдра жизни божественной, но вмѣняетъ въ вину человѣка эгоистическое направленіе его душевныхъ стремленій, эгоистическую отрѣшенность его отъ прочихъ людей, его жизнь исключительно только для себя, и видитъ въ этомъ нравственное извращеніе природы человѣка, и, какъ дѣло противуестественное, источникъ его разрушенія“.

Время не позволяетъ мнѣ остановиться ни на политическихъ воззрѣніяхъ Юрьева, ни на его эстетическихъ теоріяхъ. Но изъ того, что было изложено мною, можно уже видѣть, что его гуманный либерализмъ во мнѣніяхъ о дѣлахъ общественныхъ и политическихъ и его возвышенный идеализмъ въ вопросахъ искусства были тѣсно связаны съ его общимъ пониманіемъ міра. Юрьевъ горячо сочувствовалъ всякому успѣху свободы, гуманности, правды во всѣхъ странахъ; торжество насилія и безчеловѣчности, гдѣ бы ни совершалось оно, вызывало живое негодованіе,—но вѣдь это прямо вы-

текало изъ его понятія о свободной самодѣтельности и о полномъ развитіи силъ личности, не только какъ о правѣ, но и какъ о верховной обязанности человѣка. „Только отрицая духъ въ человѣкѣ“, говоритъ Юрьевъ, „можно отрицать его абсолютное право на индивидуальную, личную самостоятельность и свободу“. „Свобода для человѣка есть возможность для него личнаго самоопредѣленія во имя правды, и право на свободу равносильно праву на то, чтобъ быть вполне *человѣкомъ*“. Это неприкосновенная святыня, за которую онъ долженъ умирать, ибо безъ нея онъ не можетъ служить правдѣ“. „Какъ безконечны силы духа, такъ безконечна и радость ихъ удовлетворенія. Къ этому счастью открываетъ путь свобода, и потому нѣтъ драгоцѣннѣе ея никакого сокровища на землѣ.“ Не менѣе свято для Юрьева было искусство; онъ полагалъ его задачу въ живомъ воплощеніи идеаловъ красоты и правды, онъ требовалъ отъ него не служенія грубымъ вкусамъ, а пробужденія человѣческаго духа къ жизни высшей,—это также глубоко соотвѣтствовало основамъ его міросозерцанія. Вѣдь ему вся вселенная представлялась художественнымъ осуществленіемъ божественнаго творчества; художественный гений, въ его глазахъ, былъ великою силой ясновидѣнія самыхъ коренныхъ тайнъ, движущихъ жизнью природы и человѣка.

Таково было, въ общихъ и скудныхъ чертахъ, философское міросозерцаніе Юрьева, которому онъ не измѣнилъ во всю свою жизнь, которое онъ увлекательно проповѣдывалъ въ своихъ бесѣдахъ, которое налагало на его мнѣнія ихъ оригинальную, возвышенную окраску. Я изложилъ его, какъ могъ, насколько мнѣ сохранила его память, и насколько оно выразилось въ немногихъ статьяхъ покойнаго, соприкасавшихся съ философскими вопросами. Съ Юрьевымъ часто спорили; его иногда называли мистикомъ, неисправимымъ идеалистомъ, мечтателемъ. Но, мнѣ кажется, самый злой противникъ не можетъ отвергнуть въ его воззрѣніи на міръ того великаго достоинства, о которомъ я уже говорилъ, и которое далеко не всегда отмѣчаетъ теоріи даже патентованныхъ философовъ. Никакъ нельзя отрицать въ его міросозерцаніи внутренняго единства, глубокаго соотвѣтствія всѣхъ его ча-

стей между собою, органическаго подчиненія всѣхъ его подробностей одной общей идеѣ. Это единство не было надуманнымъ, оно не было порождено стремленіемъ создать, во что бы то ни стало, философскую систему; Юрьевъ никакой системы строить не желалъ и не считалъ себя къ тому призваннымъ. Единство его взглядовъ было простымъ слѣдствіемъ внутренней невозможности для него мѣрять вещи *не одною* мѣрой; оттого оно было такъ безыскусственно, такъ свободно отъ всякой фальши и софизмовъ, такъ поражало своею искренностью!

Была и другая черта въ міровоззрѣніи Юрьева, которая неудержимо влекла къ нему симпатіи людей самыхъ разнообразныхъ занятій и самыхъ противоположныхъ мнѣній. Въ одномъ изъ недавно появившихся воспоминаній о покойномъ авторъ говоритъ, что къ его нравственной личности во всей силѣ можно приложить слова: *человѣкъ онъ былъ*. Къ этому я прибавилъ бы: *и онъ вѣрилъ въ челоѣка истмъ сердцемъ*. Онъ вѣрилъ въ челоѣчество, вѣрилъ въ неистребимое сѣмя добра и свѣта, тлѣющее въ нѣдрахъ самой загрязненной души, вѣрилъ, что неутомимое исканіе высшей правды есть тотъ голосъ Бога въ челоѣческомъ духѣ, котораго не заглушать никакая ложь, никакія козни зла; а поэтому онъ вѣрилъ въ свѣтлое будущее людей, въ глубокій нравственный смыслъ исторіи. „Стремленіе къ познанію истины“, говоритъ Юрьевъ, „къ осуществленію правды въ жизни, есть основная и центральная сила духовной природы челоѣка, которая влечетъ его на высшія степени совершенствованія, къ высшимъ цѣлямъ его жизни. Это голосъ Бога въ его душѣ, незаглушимый, неистребимый никакими отрицательными силами, въ какія бы уклоненія ни отвлекали онъ его отъ прямого пути, какими бы извилинами ни шелъ онъ въ своей жизни“. Эта тирада въ устахъ Юрьева не фраза и не холодная мысль; въ ней звучитъ глубочайшая струна души его. Въ его сердцѣ жила *настоящая* любовь къ людямъ,— онъ дѣйствительно прощалъ врагамъ своимъ и дѣйствительно помогалъ своимъ ближнимъ. Отсюда происходила его трогательная внимательность ко всѣмъ, его благодушная готовность цѣлые часы бесѣдовать о самыхъ дорогихъ для него

убѣжденіяхъ и съ юношей, въ которомъ впервые проснулись мучительные вопросы, и съ старикомъ, посѣдѣвшимъ въ ученыхъ трудахъ. Въ этой любви, въ этой вѣрѣ во внутреннюю красоту человѣка главнымъ образомъ почерпалъ Юрьевъ тотъ юношескій пылъ, который выдѣлялъ его среди всѣхъ его сверстниковъ, и котораго не могли побѣдить никакія житейскія невзгоды,—а жизнь его далеко нельзя назвать счастливою. Душевный пламень горѣлъ въ немъ, горѣлъ до того самаго дня, когда распалась его тѣлесная оболочка.

Теперь мы переживаемъ печальное, мрачное время,—и не мы одни: образованный міръ Европы остановился, разочарованный и недоумѣвающий, на тяжеломъ историческомъ пути передъ грознымъ, неизвѣстнымъ будущимъ. Всѣхъ охватившее внутреннее броженіе сказывается въ формахъ весьма различныхъ. Въ лучшихъ случаяхъ оно порождаетъ отвлеченную холодность взглядовъ, какую-то старческую осторожность при ихъ выборѣ и проведеніи въ жизнь, неспособность, при всѣхъ усиліяхъ, найти вдохновляющіе двигатели нравственной воли. Въ формѣ наиболѣе рѣзкой—оно переходитъ въ полный скептицизмъ, въ такое развязное отрицаніе самыхъ святыхъ завѣтовъ человѣчества, предъ которымъ можно отступить въ ужасѣ. Что прежде скрывали, если и думали, теперь говорятъ открыто. Сколько дарованій безплодно тратится единственно на то, чтобы топтать въ грязь дотолѣ неприкосновенные идеалы жизни и легкомысленно осмѣивать самыя естественныя требованія и права людей! Въ такое время великаго унынія и великаго безвѣрія во все, что дорого и важно человѣку, надо чаще обращаться мыслію къ прошлому, надо чаще возобновлять въ памяти дорогіе образы отшедшихъ покойниковъ, которые умѣли жить, умѣли бороться и умѣли умирать!

Левъ Лопатинъ.

Отрывокъ изъ неоконченнаго разговора.

Молодой писатель продолжаетъ начатый разговоръ съ старымъ поэтомъ.

Молодой писатель.

На насъ за что-то вы сердиты?
Утѣшьтеся! нами не забыты
Ни пѣсни ваши, ни труды...
И нива, вспаханная вами,
Подъ солнца скудными лучами
Дала хорошіе плоды...
Чего-жь вамъ больше? Васъ когда-то
Дразнилъ и баловалъ почетъ?
Всему свой часъ и свой чередъ!
Вся ваша рожь давно ужь снята,
А наша только-что цвѣтеть.

Старый поэтъ.

Благодарю васъ за сравненье,
Когда ни ваше торжество,
Ни ложь, ни лесть, ни сожалѣнье
Не подсказали вамъ его.
Да! жизнь ужь слишкомъ нервна стала:
Не всѣмъ та истина ясна,
Что, выпивъ влагу всю до дна,
Не должно разбивать бокала.

Молодой писатель.

Кто говоритъ! Зачѣмъ же бить?
Но вѣдь и вы порой не правы.
Нельзя же дѣдовскіе нравы
Къ намъ цѣликомъ пересадить!
Грѣшно намъ предковъ не любить...
Но былъ невѣрно понятъ ими

Міръ вдохновенія святой:
Онъ привлекалъ ихъ мишурой,
Любви слезинками пустыми,
Веселья рѣзвымъ огонькомъ,
Мечты разнузданной размахомъ,
Видѣній адскихъ дикимъ страхомъ
Иль соблазнительнымъ стихомъ.
Въ нашъ вѣкъ борьбы, страстей, печали
Смѣшны такія пѣсни стали.
А вы признайтесь между тѣмъ...

Старый поэтъ.

Да нѣтъ! Позвольте, я не спорю...
Поэтъ, цѣны не знавшій горю,
Не только глухъ, но даже нѣмъ.
Но вѣрьте мнѣ: лишь тотъ сльмѣеть
Слезу достойно оцѣнить,
Кто самъ предъ горемъ не робѣетъ...
Старайтесь въ сердцѣ подавить
Порывъ минутный озлобленья...
Наступить мигъ успокоенья
И вы — смиривши страсть умомъ,
Окинувъ міръ нашъ трезвымъ взглядомъ,
Не назовете жизнь ни адомъ,
Ни мимолетнымъ сладкимъ сномъ!

Молодой писатель.

Живую страсть мечтою сладкой
Вы всѣ привыкли разбавлять!
На міръ глядите вы украдкой,
Боясь въ немъ правду прочитатъ.

Старый поэтъ.

И все-жъ ее мы разгадали
Вѣрнѣй, чѣмъ нынѣшній поэтъ;
Въ немъ пониманья жизни нѣтъ,
Онъ отдался одной печали:
...Порывъ восторга счелъ за ядъ,
А міръ душевный за развратъ.

Молодой писатель.

Намъ правда чувствъ всего дороже.
На эту жизнь, гдѣ каждый годъ—
—Цѣпь неразрывная заботъ,
Печальнѣй смотримъ мы и строже.
И вотъ искусству новый храмъ
Мы въ стилѣ новомъ созидаемъ.
Какой онъ выйдетъ—мы не знаемъ,
Да и судить о немъ не намъ.

Старый поэтъ.

Боюсь, ошиблись вы въ расчетъ;
Откуда вы кирпичъ возьмете?
Откуда мраморъ и гранить?
И гдѣ художникъ тотъ великій,
Который камень этотъ дикій
Дыханьемъ жизни оживить?
Гдѣ онъ возьметъ въ темницѣ душевной,
Запасъ и силу для стиховъ?
Мгновенью, можетъ быть, послушный
Онъ наріемуетъ кучу словъ,
Гдѣ соревнуетъ съ новой модой,
Онъ проклянетъ себя, весь свѣтъ—
Но все-жъ съ своей крикливой одой
Онъ будетъ риторъ, не поэтъ.
Нѣтъ! Вашъ порывъ страстей безплоденъ:
Художникъ долженъ быть свободенъ,
А вашъ—сознайтесь—въ кандалахъ.
Онъ любить міръ лишь на словахъ:
Любить—разсудокъ запрещаетъ,
Прощать—строптивый нравъ мѣшаетъ,
А смѣлымъ быть—мѣшаетъ страхъ.

Молодой писатель.

Да! горемъ и нуждой забита
Въ борьбѣ безплодной протекла
Для насъ та нѣжная пора,
Когда грудь юная открыта
Для мирныхъ чувствъ и для добра.

Насъ на порогъ жизни строгой
Никто не встрѣтилъ: мы пошли
Для насъ невѣдомой дорогой
Среди невѣдомой земли...

Старый поэтъ.

Съ прямой дороги вы свернули.
Васъ ночь застигла на пути?
И чтобъ вѣрнѣй въ потьмахъ идти
Вы нашу руку оттолкнули?

Молодой писатель.

Не смѣйтесь! Мы въ васъ не нашли
Поддержки брата или друга:
Вы наставленье намъ прочли,
Причины-жъ нашего недуга
Вы доискаться не могли
Иль, можетъ быть, не захотѣли.
Вотъ Юрьевъ—онъ насъ понималъ
Во многомъ насъ онъ осуждалъ,
Но мы любить его умѣли...
Иныхъ держался онъ воззрѣній
Служилъ не нашимъ онъ богамъ.
Но чѣмъ старикъ былъ дорогъ намъ?—
Святымъ огнемъ своихъ стремлений
И теплотой сердечныхъ словъ!
Бывало въ спорѣ громогласномъ
Среди заносчивыхъ юнцовъ
Онъ толковалъ намъ о прекрасномъ!
Въ нашъ вѣкъ, прекрасное—мечта:
Хоть мы ей вѣримъ безотчетно,
О ней мы споримъ неохотно.
— Вѣдь молодежь теперь не та.
Но въ спорахъ съ нимъ насъ волновало
Его волненье; насъ прельщало
Его умѣнье быть во всемъ
И молодымъ, и старикомъ.
Поклонникъ красоты разумной,
Какъ вы, любилъ онъ старину,

И кабинета тишину
Предпочиталъ бесѣдѣ шумной—
Входя однако въ кругъ иной,
Иныхъ страстей и разговоровъ,
Не отвращалъ онъ гордо взоровъ
Отъ нашей жизни молодой:
Онъ въ сердцѣ любящемъ и чуткомъ
Связалъ грядущее съ былымъ—
Въ быломъ онъ жилъ своимъ разсудкомъ,
А съ нами сердцемъ жилъ своимъ.

.....
Старикъ! миръ праху твоему!
Весна въ груди твоей дышала,
Она и грѣла, и блистала
Сквозь лѣтъ печальную зиму!

Старый поэтъ.

Мнѣ странно слышать эти рѣчи,
Хоть я имъ очень, очень радъ!
Не часты были ваши встрѣчи;
Былъ даже кажется разладъ
Межъ вами... Онъ былъ разобиженъ...
Сказали вы, что слишкомъ книженъ
Онъ съ метафизикой своей;
Что въ вѣкъ страданій и скорбей
Въ вѣкъ острыхъ, жизненныхъ вопросовъ,
Онъ, замечтавшійся философъ,
Былъ своенравное дитя...
Я помню, съ вами спорилъ я
Тогда сердито... вы не сдались—
Но вотъ теперь и вы признались,
Что онъ не даромъ прожилъ вѣкъ,
Какъ гражданинъ и человѣкъ!

Молодой писатель.

Да! признаюсь, я былъ виновенъ,
Его не сразу разгадавъ.
Въ своихъ рѣчахъ онъ былъ неровенъ,
Но въ чувствахъ искрененъ и правъ,

Не забывалъ онъ, что единой
Мы съ вами скованы судьбой,
Завлечены одною тиною
И спасены одной борьбой...

Отбросьте ложныя мечтанья...
Въ любви соперничайте съ нимъ:
Мы нашъ союзъ вѣрнѣй скрѣпимъ
Слезой любви и состраданья,
Чѣмъ солью ѣдкихъ эпиграммъ
И остроумныхъ словопреній.

Старый поэтъ.

Цѣня въ васъ искренность стремлений,
О томъ-же я напомню вамъ:
Во имя музы вашей гнѣвной,
Въ вѣнецъ священный божеству
Вплели вы сорную траву
Ничтожной злобы ежедневной—
Старайтесь ея пренебречь.
Вѣдь не враждою люди живы:
Чего свершить не въ силахъ мечъ,
Свершить, быть можетъ, вѣтвь оливы.
Вотъ на примѣръ хотъ нашъ старикъ.
Не онъ-ли былъ испытанъ Богомъ?
Не онъ-ли въ мірѣ нашемъ строгомъ
Къ борьбѣ, къ лишеніямъ привыкъ?
Но и слабѣющій языкъ
Сказалъ намъ слово утѣшенья...
На подвигъ мира и прощенья,
Который самъ онъ освятилъ,
Старикъ насъ всѣхъ благословилъ.
Для насъ его могила свята
Какъ святъ при жизни былъ очагъ.

Молодой писатель.

Но... кто возьметъ священный стягъ
Изъ рукъ умершаго собрата?

З. З.

Бѣдный докторъ!

Разсказъ Луиджи Капуана.

Переводъ Александры Веселовской.

— Ну, такъ найди ее самъ!—отвѣтилъ онъ.

И мѣсяцъ спустя, съ помощью каноника, друга дома, отецъ уже отыскалъ сыну невѣсту въ сосѣднемъ мѣстечкѣ Нишѣми.

— Единственная дочь, красавица, отлично воспитанная, съ порядочнымъ приданымъ!—говорилъ онъ.—Увидишь, останешься доволенъ!

Радость добраго старика, ходившаго по комнатѣ, потирая руки, бодрого, менѣе сгорбленнаго, чѣмъ прежде, глядѣвшаго на сына глазами, въ которыхъ сверкала нѣжность, точно предстоявшая свадьба сняла съ плечъ отца цѣлый десятокъ лѣтъ, наконецъ восклицаніе: „увидишь, останешься доволенъ“, произнесенное взволнованнымъ голосомъ,—все это дало послѣдній толчокъ Лоренцо, еще колебавшемуся.

Для него, привыкшаго жить одиноко, безъ хозяйки въ домѣ, холостой быть не представлялъ ничего непріятнаго, и домъ вовсе не казался ему такимъ пустымъ и холоднымъ, какъ отцу.

Зато донъ Джакомо чувствовалъ себя осиротѣвшимъ послѣ смерти жены и сестры, когда онъ остался на рукахъ сонной служанки, дававшей поджогать обѣду, никогда не подметавшей комнату, не снимавшей паутины.

Не можетъ же онъ прогнать ее! Она выросла въ домѣ.... Онъ къ ней привыкъ... Чужой человекъ будетъ ему непріятенъ!—оправдывался старикъ.

— Знаемъ, знаемъ!—отвѣчалъ каноникъ, пока экипажъ катилъ, подпрыгивая, по дорогѣ, среди облака пыли.—Поэтому мы и ѣдемъ въ Нишѣми. Не такъ ли, докторъ?

Молчаливый и задумчивый, Лоренцо дѣлалъ головою утвердительный знакъ, продолжая курить, глядя на холмы, мелькавшіе мимо дверецъ, на дикія растенія и на посѣдѣвшія отъ пыли деревья вдоль дороги, задыхавшіяся подъ палящимъ солнцемъ.

Странно-унылый ландшафтъ наполнялъ его сердце тревогой и печалью.

— Зачѣмъ далъ я уговорить себя? Зачѣмъ?—шепталъ онъ.

Но не успѣлъ онъ увидать дѣвушки, провести часъ въ гостиной, отдѣланной заново ради случая, и посидѣть на диванѣ между Кончеттиной и ея отцомъ, дономъ Паолино, какъ послѣ перваго, не совсѣмъ благопріятнаго впечатлѣнія, произведеннаго на него будущимъ тестемъ, длиннымъ, худощавымъ, чернымъ, какъ уголь, съ лицомъ и глазами напоминавшими хорька, Лоренцо успокоился.

Бѣлокурая и маленькая дѣвушка, съ улыбкою и невиннымъ любопытствомъ глядѣвшая на него, предлагавшая вопросы и отвѣчавшая ему, точно они были старые знакомые, хотя она и краснѣла всякій разъ, когда онъ заговаривалъ съ ней,—это бѣлокурое и крошечное существо было для него настоящимъ сюрпризомъ.

— Вы никогда не бывали въ Нишѣми?

— Нѣтъ.

— Что думаете вы о немъ? Конечно, для васъ, привыкшаго къ большимъ городамъ...

— Мнѣ здѣсь нравится... Это очень хорошенькое мѣстечко...

Она говорила очень мило, безъ аффектаціи, сидя прямо, по временамъ откидывая назадъ прядь волосъ, падавшую ей на лобъ, часто смачивая алыя губки быстрымъ движеніемъ языка. Еще красивѣе становилась она, когда къ ней возвращался ея обыкновенный цвѣтъ лица, обнаруживая всю тонкость и бѣлизну кожи.

Потомъ донъ Паолино захотѣлъ, чтобы дочь спѣла что-нибудь.

— *Casta diva!* Вѣдь это музыка изъ музыкъ! Вѣрно я говорю?

— Что за фантазія! Да эти господа убѣгутъ отсюда!...

Донъ Паолино настаивалъ, покачивая своей черной головой.

— Господа эти будутъ снисходительны. Они знаютъ, что ты не Патти...

— Несносный папа! Принуждать меня къ такой смѣшной роли!...

Вмѣсто того Лоренцо былъ пораженъ, когда она восхищенно спѣла симпатичный романсъ Перротта: *Sogno gentil, tu fuggi...*

— Bravo, bravo!...

— Не смѣйтесь же надо мной!

Сидя въ сторонѣ, каноникъ и донъ Паолино толковали о дѣлахъ.

Можно рассчитывать только на приданое матери, говорилъ донъ Паолино. Въ настоящую минуту онъ не въ состояніи подѣлиться жалкими крохами, кое-какъ хватающими ему на прожитье... Послѣ его смерти, если останутся какіе-нибудь клочья...

Каноникъ качалъ головою.

— Вы все такой же!... Волокита! Да развѣ вы не замѣчаете, что старитесь?

За то донъ Джакомо любовно пожиралъ глазами сына и Кончеттину, говорившихъ о музыкѣ и о сестрахъ милосердія, у которыхъ дѣвушка воспитывалась. Ни одно слово или движеніе этихъ двухъ существъ, казавшихся ему точно созданными другъ для друга, не ускользало отъ него.

Еслибъ это не было неприлично, онъ сказалъ бы имъ: „поцѣлуйтесь“,—до того обезумѣлъ онъ отъ радости.

Теперь ему только остается дожидаться, чтобъ на его колѣняхъ прыгалъ внучекъ и звалъ его: „дѣдя, дѣдя!“—а потомъ онъ очиститъ мѣсто другимъ. Онъ умретъ съ спокойнымъ сердцемъ.

Старикъ безъ умолку говорилъ о будущей невѣсткѣ.

— Настоящій ангелъ! Просто не дожدهшься, когда она будетъ у насъ въ домѣ, эта веселая болтушка!

— Правду сказать, она даже черезчуръ жива,—отвѣчалъ

Лоренцо, который уже нѣсколько разъ побывалъ въ Нишѣми и провелъ немало дней съ невѣстой.

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше!—прерывалъ его отецъ.

Лоренцо не смѣлъ противорѣчить, но непринужденныя манеры Кончеттины, немного странныя для провинціальной дѣвушки, смущали его. А когда онъ слышалъ, какъ она говорила своему отцу такія вещи, которыхъ дочери никакъ не слѣдовало бы произносить, онъ становился серьезнымъ и тревожился.

Наивность ли это или легкомысліе кокетки, желающей произвести эффектъ? Что это такое?...

Онъ не могъ объяснить себѣ этого. Минутами ему даже казалось, что у этой дѣвушки—повидимому такой доброй, искренней, милой—характеръ дурной, немного испорченный, и ему становилось страшно. Еще страшнѣе было ему, когда проявлялись ея привлекательныя свойства, и онъ мало-помалу чувствовалъ себя скованнымъ такъ, какъ не считалъ бы этого возможнымъ, или когда по немъ съ головы до ногъ пробѣгала дрожь удовольствія при мысли, что это бѣлокурое, нѣжное существо, эти темно-голубые глазки и алые губки скоро будутъ принадлежать ему, только ему одному.

Если онъ былъ далеко отъ нея, въ тиши своей комнатки, за книгами, и думалъ о ней, онъ видѣлъ съ чѣмъ-то похожимъ на ужасъ приближеніе времени, назначеннаго для свадьбы. Кончеттина, напротивъ, становилась все экспансивнѣе послѣ каждаго посѣщенія жениха. Лоренцо не вѣрилось, чтобъ ея привязанность была искренняя, и онъ снова жалѣлъ, что такъ легко уступилъ отцу. Даже однажды, когда она взяла его за руку, крѣпко сжала ее въ своихъ ручкахъ, съ пальчиками словно точеными, и сказала: „Какъ я тебя люблю! Какъ я тебя люблю!“—ему стало неловко, хотя онъ и попытался улыбнуться.

Въ другой разъ, вечеромъ, было еще хуже.

Они сидѣли на террасѣ въ темнотѣ; онъ уже собирался вѣхать. Пройдутъ недѣли, прежде чѣмъ онъ вернется; больные нуждаются въ немъ, говорилъ онъ.

— А!—промолвила Кончеттина.

Она внезапно охватила его шею руками.

— Отчего еще ни разу не поцѣловалъ ты меня? шепнула она.

И поцѣловала его дрожа.

Лоренцо вернулся въ Кальтаджироне, немного ошеломленный этимъ поцѣлуемъ и словами, произнесенными слабымъ голоскомъ, въ которомъ слышались слезы.

Что за странная дѣвушка!... Не такую жену нужно ему! Она черезчуръ нервна!

Вслѣдствіе всего этого, въ послѣднюю ночь холостой жизни, проведенную имъ въ той комнатѣ, въ которой онъ спалъ еще мальчикомъ, ему показалось, точно въ немъ мучительно умирало что-то дорогое ему, умирала лучшая часть его самого, чудная свобода одинокаго и любознательнаго юноши. Ему грезилось, будто его узкая постель, столикъ, заваленный научными книгами, мебель, картины на стѣнахъ, грустно говорили ему — прости! и что всѣ его воспоминанія разлетались, точно ихъ изгоняла новая жизнь, начинавшаяся для него. А когда среди мрака беззвѣздной ночи и при сомнительномъ свѣтѣ фонарей, потухавшихъ въ туманѣ, онъ распахнулъ окно, обращенное на сонный городъ, сердце его сжалось.

Зачѣмъ далъ онъ уговорить себя, зачѣмъ? — съ досадой твердилъ онъ.

Въ день свадьбы, видя его грустнымъ и молчаливымъ въ ожиданіи гостей, пока Кончеттина одѣвалась, отецъ съ удивленіемъ спросилъ:

— Тебѣ нехорошо?

— Очень хорошо!

— Такъ что-же съ тобой?

— Должно быть, волненіе....

И онъ постарался принять веселый видъ.

Какъ разъ въ этотъ день Кончеттина казалась ему менѣе красивою, чѣмъ обыкновенно, менѣе граціозною, точно ее стѣсняли бѣлое платье со шлейфомъ, вуаль и гирлянда изъ флеръ д'оранжа.

Но нѣсколько позже, когда, войдя въ брачную комнату, онъ увидалъ на бѣлой подушкѣ эту золотистую головку, съ блестящими глазками, полуоткрытыми, улыбающимися губками, щечками, горѣвшими такимъ румянцемъ, что онъ ка-

зался пятномъ на бѣлизнѣ кожи, Лоренцо на минуту остановился и заглядѣлся. Кончеттина слегка вскрикнула и закрыла лицо руками; Лоренцо тихо отвелъ ихъ и взволнованный не менѣе, чѣмъ она, онъ, до той поры думавшій, что не любитъ невѣсты и женится только, чтобъ сдѣлать удовольствіе отцу, принялся цѣловать эти полуоткрытыя губки, тихо шепча:

— Я люблю тебя, люблю!

— А! Нелегко было вырвать у тебя эти слова! Злой!

Она нѣжно укоряла его, между тѣмъ какъ Лоренцо улыбался, довольный, гордый, охваченный глубокимъ и сладкимъ волненіемъ.

— Этими поцѣлуями я прошу у тебя прощенія!... Развѣ ты не простишь меня?

— О, да, да!

И она ласкала его голову своими дѣтскими ручками и пропускала пальчики сквозь его волосы.

— Да, да! Ты былъ правъ, чувствуя нѣкоторое недовѣріе! Мы такъ мало знаемъ другъ друга. Къ тому же ты былъ счастливъ холостымъ.... Женясь на мнѣ, ты многимъ пожертвовалъ и ничего не приобрѣлъ.... Дай мнѣ это сказать; это правда!... Но я... я полюбила тебя еще раньше, чѣмъ мы познакомились, съ той самой минуты, когда узнала, что, быть можетъ, ты сдѣлаешься моимъ избавителемъ.... Я такъ страдала у отца! Ужасно страдала! Ты даже вообразить этого не можешь!... А когда я увидала тебя въ первый разъ....

Кончеттина смолкла, замѣтивъ, что Лоренцо не цѣлуетъ ее больше и даже старается высвободиться изъ ея объятій.

— Что съ тобой?

Она быстро отдернула руки.

— Ничего, говори, говори!—слабымъ голосомъ повторялъ Лоренцо, съ трудомъ совладавъ съ собою.

Онъ припалъ ухомъ къ ея трепетавшей груди и сквозь тонкое полотно сорочки ощущалъ на своей щекѣ непріятное чувство холода.

— Говори же! Говори! Я хочу слышать, какъ бьется твое сердце.... Дай мнѣ убѣдиться въ томъ, насколько ты меня любишь... Дай мнѣ послушать!

— Нѣтъ, Лоренцо, нѣтъ!—шептала она, жмуря глаза, точно утопая въ волнахъ безконечнаго блаженства.

А Лоренцо все прислушивался, затаивъ дыханіе.

Боже мой! Возможно ли это!... Эти хрипы! Этотъ шумъ въ легкихъ!... Нѣтъ, нѣтъ! Это не можетъ быть!....

И, испуганный ужаснымъ открытіемъ, не вѣря собственнымъ чувствамъ, онъ выпрямился.

Тогда Кончеттина открыла глаза и потянулась, точно просыпаясь отъ сна.

— Получилъ ты отвѣтъ?... Доволенъ ты?

И она улыбалась, между тѣмъ какъ у Лоренцо подкашивались ноги, и все, постель, занавѣсы, бѣлокурая головка, вихремъ закружились передъ нимъ.

Это вздоръ! Это невозможно! Онъ раньше замѣтилъ бы это!

Онъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, жадно нагнулся къ ней, взялъ обѣими руками и осыпалъ поцѣлуями ея маленькое, нѣжное личико. Это личико было немного худо и тонко, но становилось прелестно, когда она улыбалась, какъ дѣлала именно въ эту минуту, опираясь на подушки. Голубые глаза казались двумя звѣздочками, зубки проглядывали между алыми губами; ротикъ былъ крошечный, точно колечко.

А Кончеттина все твердила:

— Получилъ ты отвѣтъ? Доволенъ имъ?

Это, конечно, только страшный сонъ!

Такъ думалъ Лоренцо, но не рѣшался выяснять вопроса теперь, когда былъ увѣренъ, что любимъ, и имѣлъ возможность оцѣнить сокровище, которымъ обладалъ.

Если Кончеттина попадалась ему на террасѣ подъ руку съ ея новымъ „папой“, тоже требовавшимъ своей доли общества милой невѣстки, если Лоренцо видѣлъ ее свѣжею, розовою, веселою, онъ дрожалъ отъ радости.

Что это было со мною? Это все нелѣпныя докторскія галлюцинаціи, увѣрялъ онъ себя.

И онъ бралъ жену за руки.

— Ревнивецъ!—говорилъ отецъ, толкая Кончеттину въ его объятія.

Но она оборачивалась, чтобы поцѣловать свекра, смѣясь, какъ дитя, прыгая.

— Они часто бѣсятъ его, не такъ ли?—говорила она.

Такимъ образомъ холодный и пустой домъ въ Кальтаджироне, по которому бѣдный старикъ безцѣльно бродилъ столько лѣтъ, сразу наполнился, когда въ немъ поселилась неvěстка; теперь онъ казался донъ Джакомо теплымъ, согрѣтымъ любовью этихъ двухъ дѣтей, походившихъ на влюбленныхъ, еще не поженившихся.

Пустынныя и унылыя террасы украсились въ короткое время зеленью и цвѣтами. Анфилада комнатъ, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ погруженныхъ въ безпробудное молчаніе, всегда печальныхъ и неприбранныхъ, съ мебелью покрытою пылью и тусклыми стеклами, стала веселѣе, чѣмъ когда-либо, благодаря Кончеттинѣ, точно ласточка летавшей повсюду, все замѣчавшей, обо всемъ заботившейся и заставившей помолодѣть даже старую служанку, которая не сжигала теперь обѣда и увѣряла всѣхъ кумушекъ, что у хозяйки золотыя ручки.

Въ гостиной часто раздавались звуки фортепіано, въ особенности, когда, вернувшись отъ больныхъ, Лоренцо садился на кресло, куря, закинувъ ногу на ногу, полузакрывъ глаза, пока жена пѣла, поворачивая бѣлокурую головку, чтобы съ улыбкою взглянуть на него, совсѣмъ опьяненного музыкой. Иногда Лоренцо вспоминалъ свое недовѣріе, свой страхъ за будущее... И вотъ, вмѣсто того—покойная домашняя жизнь среди книгъ ни въ чемъ не измѣнилась, а стала только интимнѣе, пріятнѣе, какъ бы облагородилась... Настоящая поэзія!...

Ему не вѣрилось, чтобы это была правда.

Кончеттина тоже чувствовала себя вполне счастливою. По ея словамъ, она точно вошла въ рай.

Вспоминалось ей все, что она выстрадала у отца, когда безъ всякаго стѣсненія, безъ уваженія къ ея дѣвичьему достоинству, онъ вводилъ въ домъ всѣхъ женщинъ, которыхъ отыскивалъ Богъ вѣсть гдѣ, и переворачивалъ все вверхъ дномъ.... И Кончеттина нервно встряхивала головой, чтобы отдѣлаться отъ такихъ воспоминаній, отъ которыхъ ей было

больно. Въ эти грустные минуты она радовалась, что отецъ навѣстилъ ее всего разъ или два. Теперь онъ воленъ таскать за собою, сколько ему угодно, женщинъ, и осквернять комнату, гдѣ умерла ея святая мать... Кончеттина и думать объ этомъ не хочетъ. Нѣтъ!

Иногда ей казалось, что ея здоровье, вмѣсто того чтобы ухудшаться, поправляется.

— Ты чувствуешь себя хорошо?—спрашивалъ Лоренцо-мучимый подозрѣніемъ, все еще по временамъ охватывавъ, шимъ ея.

— Отлично!—отвѣчала она.—Мнѣ никогда не было такъ хорошо.

Но это была неправда. Съ недавней поры она испытывала необъяснимое недомоганье и не смѣла признаться въ этомъ мужу изъ стыдливости, а отчасти и изъ деликатности. Она чувствовала во всемъ тѣлѣ слабость; дыханіе и пищевареніе были плохи; мѣстами у ней болѣла грудь; ночью ей становилось тяжело и душно, и она не могла спать.

— Это все пустяки!—утѣшала она себя.

Если мужъ пристально и пытливо глядѣлъ на нее, когда имъ снова овладѣвало страшное подозрѣніе, Кончеттина употребляла всѣ усилія, чтобы казаться веселою, цвѣтущею.

— Это все пустяки!—твердила она.

И вдругъ, однажды, послѣ нѣсколькихъ бессонныхъ ночей, у нея не хватило силы встать.

Лоренцо рано вышелъ изъ дому и только что вернулся отъ больныхъ.

— Кончеттина нездорова,—объявилъ ему донъ Джакомо.

Глаза его посмѣивались.

— Должно быть, внучекъ въ дорогѣ,—прибавилъ онъ.

Но, увидавъ, что сынъ поблѣднѣлъ и схватился руками за волосы, старикъ точно окаменѣлъ.

— Что случилось?

Донъ Джакомо не смѣлъ войти въ комнату невестки и вертѣлся у двери, ожидая появленія Лоренцо.

— Что же случилось?

Упавъ на стулъ около столика и склонивъ голову на руки, Лоренцо рыдалъ.

— Это моя вина!... Я эгоистъ!... Да, я виновать.

Только это и говорилъ онъ бѣдному старику, ничего не понимавшему и плакавшему вмѣстѣ съ сыномъ, самъ не зная о чемъ. Но когда, прерывая себя и ломая руки, Лоренцо могъ сдѣлать отцу нѣсколько намековъ, донъ Джакомо попытался его ободрить.

— Ты преувеличиваешь!... Мы устроимъ, если это нужно, консультацію въ Катаніи, въ Неаполѣ... Зачѣмъ такъ отчаяваться?... Ужъ не хочешь ли ты, чтобы твой отецъ умеръ отъ страха?

Пока Кончеттина не замѣчала опасности, бѣда была еще не велика. Средства, прописанныя Лоренцо, доставляли ей облегченіе. Снова бродила она по дому, веселая, безпечная, хотя и немного смущенная заботливостью и вниманіемъ, которыми ее окружали; по временамъ она чувствовала себя нервною, была подвержена припадкамъ унынія, длившимся недолго и казавшимся странными даже ей самой.

Играла она теперь чаще, чтобы развлечься, но любимый ею романсъ Перротта,—память о первомъ посѣщеніи Лоренцо,—глубоко потрясалъ ее, точно его исполнялъ кто-нибудь другой. Звуки получали иное выраженіе, иной смыслъ и отѣнокъ; они казались ей жалобою, вздохомъ измученной души, и однажды она не могла дойти до конца.

Ей больно отъ этого, хочется плакать! — говорила она

— Такъ не играй!—ласково останавливалъ ее Лоренцо. Что тебя тревожитъ? Тебѣ нуженъ покой; ты должна избѣгать сильныхъ потрясеній.хлопотать въ домѣ такъ, какъ ты это дѣлаешь...

Еще вся дрожа отъ волненія, Кончеттина сѣла къ нему на колѣни, лаская его бороду, глядя ему въ глаза, пока онъ говорилъ.

— Ты слишкомъ худенькая! То, что для другихъ было бы ничтожнымъ недомоганьемъ, становится для тебя почти серьезнымъ. Понимаешь. Да?

Она отрицала, закидывая назадъ головку.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Значить, я, по твоему, больна? Какой грубіянь!

— Я не говорю, что ты больна, но...

— Хочешь ты все узнать? Лекарства эти ты береги для своихъ больныхъ... Я не стану больше ничего глотать! Я сама себя вылечу, я тоже докторша!... Мои лекарства здѣсь... и здѣсь....

И она цѣловала его разъ за разомъ, внезапно поддавшись безумной нѣжности, мучившей ее ужъ цѣлую недѣлю.

— Мнѣ хотѣлось бы, чтобъ ты былъ всегда со мною, какъ въ эту минуту! Я ненавижу твоихъ гадкихъ больныхъ, которые никакъ не хотятъ выздороветь и задерживаютъ тебя съ утра до ночи!... Мнѣ кажется, точно ты не мой.

Въ прекрасные весенніе дни они гуляли вмѣстѣ на городской *Виллѣ*. Кончеттина крѣпко опиралась на руку мужа, чтобы чувствовать себя ближе къ нему и дать и ему чувствовать ея близость. Шли они медленно, мало разговаривая, останавливаясь, чтобы полюбоваться цвѣткомъ, посмотрѣть на щегленка, качавшагося на вѣткѣ изгороди, и прислушиваться къ его щебетанью, или разглядѣть выпуклыя фигуры на прекрасныхъ вазахъ изъ терра-котты, работы Ваккаро.

— Мнѣ хотѣлось бы пропитаться солнцемъ и чистымъ воздухомъ, среди этой зелени, на этихъ дорожкахъ, поднимающихся, опускающихся, вьющихся змѣйкою. Какъ жаль что онѣ такъ пустынны!—говорила Кончеттина.

И когда она снова возвращалась туда и видѣла необъятный пейзажъ, открывавшійся передъ нею, зеленую равнину съ Этною въ глубинѣ, и холмы, чернѣвшіе оливковыми деревьями, она расширяла легкія, хотя ей и тяжело было дышать глубоко.

— Какъ это красиво! Ни за что на свѣтѣ не ушла бы я отсюда... А ты? Что у тебя на умѣ? Отчего смотришь ты такимъ растеряннымъ взглядомъ?...

Увы, онъ не смѣлъ сказать ей, что у него на умѣ!

Могъ ли онъ передать ей то мученіе, съ которымъ, изо

дня въ день, съ часу на часъ, онъ слѣдилъ опытнымъ взглядомъ врача за страшнымъ развитіемъ болѣзни въ ея нѣжномъ организмѣ, не имѣвшемъ силы оказывать ни малѣйшаго сопротивленія? Смѣлъ ли онъ признаться, какъ его немолчно терзала совѣсть за то, что онъ, докторъ, могъ пренебречь недугомъ въ самомъ началѣ?...

И все это изъ эгоизма. О, это непростительно! Это настоящее преступленіе!

Теперь всѣ ласки, поцѣлуи, объятія, всѣ жгучія радости влюбленныхъ, которымъ они отдавались безпечно, съ наслажденіемъ, точно онъ, эгоистъ, не зналъ, что бѣдняжка погибнетъ отъ этого еще скорѣе,—теперь все это превращалось для Лоренцо въ мученія, въ пытку...

Онъ заслужилъ это!... Онъ заслуживаетъ еще худшаго!

Въ первое время, утомленный постояннымъ притворствомъ, онъ пытался обмануть самого себя.

Развѣ природа не дѣлаетъ часто чудесъ, изумляющихъ науку? Кто знаетъ?

И онъ позволялъ себѣ надѣяться.

Но съ той ночи, когда Кончеттина разбудила его крикомъ: „Лоренцо, Лоренцо!“ и онъ увидалъ ее, сидящую на постели, съ распущенными волосами, совершенно обезумѣвшую при видѣ крови, обогравшей подушку, Лоренцо пересталъ надѣяться.

— Она погибла!

Тутъ впервые и сама Кончеттина ясно поняла свое положеніе. Рыдая, повисла она на шеѣ мужа; въ глазахъ ея выражался ужасъ.

— Лоренцо!... Лоренцо! Помоги мнѣ! Я не хочу умереть!

— Ничего, ничего, глупенькая!—твердилъ онъ.—Все это вздоръ!

Но она читала свой приговоръ въ его отчаянномъ взглядѣ, на помертвѣломъ лицѣ, искаженномъ внутреннею судорогою.

— Моя мать умерла отъ этой болѣзни!... Боже мой, и я умру такъ же!... Не хочу умирать!... Я счастлива!... Лоренцо мой! Я не хочу умирать!—съ ужасомъ восклицала она.

Страшное уныніе водворилось въ домѣ. Лоренцо, его бѣдный старый отецъ, даже служанка, подавленные томитель-

ною тишиной, казались тѣнями чистилища, вращающимися на мѣстѣ своей казни.

Кто бы могъ это думать! Такое цвѣтущее здоровье!

Донъ Джакомо также испытывалъ страшныя угрызения совѣсти.

— Это я принудилъ сына жениться, я!... Но кто же этого ожидалъ! Такой цвѣточекъ!

Кончеттина оставалась въ спальнѣ, свернувшись клубочкомъ на креслѣ, полузакрывъ глаза, капляя, задыхаясь, терзаемая лихорадкою, теперь уже не покидавшею ее болѣе, изнуряемая ледянымъ потомъ, выступавшимъ каплями на лбу, блѣднымъ, какъ воскъ, вглядываясь въ свои худыя ручки, сквозь прозрачную кожу которыхъ можно было счесть одну за другою всѣ жилки.

Мучимая страшною ревностью къ будущему, когда ея не станетъ, какъ и ея бѣдной матери, она желала имѣть постоянно около себя своего Лоренцо. Ей даже хотѣлось увлечь его за собою, чтобъ любить его и быть любимою въ могилѣ, въ будущей жизни, вѣчно...

— Цѣлуй меня, цѣлуй!—говорила она ежеминутно.

И когда Лоренцо колебался, видя, что это постоянное напряжение нервовъ только усиливаетъ болѣзнь, Кончеттина прибавляла голосомъ, задыхавшимся отъ рыданій:

— Ты боишься!... Я внушаю тебѣ отвращеніе!

— Что-жъ, ты хочешь насильно, что ли, убить себя? Ты не вѣришь?...

Она прижимала свои побѣлѣвшія, лихорадочныя губы къ его губамъ, охватывала его шею своими худенькими ручками, цѣловала его горячо, страстно, непрерывно, чтобъ передать ему этими поцѣлуями свой страшный недугъ. Ночью она крѣпко обнимала мужа, жалась къ его груди, чтобъ сообщить ему лихорадку, ее пожиравшую; смертельный потъ, который леденилъ ея тѣло, долженъ былъ, во что бы то ни стало, убить и его. И если Лоренцо противился ея болѣзненнымъ капризамъ, она принималась кричать, плакать, съ нею дѣлались нервныя припадки, пугавшіе его, точно она сейчасъ испуститъ духъ въ его объятіяхъ.

Въ такія минуты она бывала безжалостна.

— Увы! Ты меня не любишь больше! Я тебѣ надоѣла! Вижу это!

Лоренцо умолялъ ее взглядомъ, протягивалъ къ ней руки.

Да! Да! Она видитъ это! Она стала ему невыносима!... Онъ не дожидается, когда избавится отъ такого трупa! Ужъ не возненавидѣлъ ли онъ ее?

— Кончеттина! Кончеттина!

— Да, я не могу обманывать себя! Я читаю въ твоей душѣ! О, это низость! Я любила тебя больше чѣмъ Бога, я отдала тебѣ всю жизнь! Я... умираю... отъ любви... къ тебѣ! А вмѣсто того ты.... О, неблагодарный, неблагодарный!

И она закрывала худыми ручками блѣлое, безкровное личико, съ отчаяніемъ качая головою, пока у нея не дѣлался приступъ кашля, отъ котораго она задыхалась и падала безъ силъ на подушки, поддерживавшія ее съ обѣихъ сторонъ, между тѣмъ какъ, стоя передъ нею на колѣнахъ, обливаясь слезами, молчаливый, болѣе блѣдный, чѣмъ она сама, Лоренцо подавалъ ей на ложкѣ успокоительное лекарство.

— Ради меня, ради самой себя, замолчи! Ты хочешь убить себя такими выходками!

Видя его у своихъ ногъ, слыша его голосъ, полный тако-го отчаянія, что у нея перевертывалось сердце, она выпрямлялась и глядѣла на мужа, глядѣла долго, охваченная состраданіемъ, какъ женщина влюбленная, готовая на всѣ жертвы.

— Прости меня, шептала она, прости. Нѣтъ, не трогай меня, не цѣлуй! Я зачумленная! Отойди!... Ты долженъ жить!... Живи!... Оставь меня умирать здѣсь, всѣми покинутою... Довольно съ меня и того, что я вижу тебя, слышу твой голосъ .. Только скажи, что ты все еще любишь меня, какъ прежде!... Совершенно такъ, какъ прежде?

— Даже больше!

— Въ такомъ случаѣ... поклянись мнѣ, что когда я умру, ты не полюбишь никакой другой женщины.

— Клянусь!

— Что ты будешь попрежнему спать въ этой комнатѣ, на этой кровати, на этомъ бѣльѣ!...

— Клянусь!

— О, если ты лжешь!... Подойди поближе... Поцѣлуй меня, всего только одинъ разъ. Я подурнѣла... я это знаю, даже не глядя въ зеркало... но я тебя такъ люблю! Ты вѣдь мой, не такъ ли, Лоренцо?

— Весь твой, и тѣломъ, и духомъ!

— Повтори это, повтори!

— Весь, весь, и тѣломъ и душой!

— Благодарю! Какъ мнѣ хорошо отъ этихъ словъ!... О, еслибъ я могла выздороветь! Еслибъ я могла жить по крайней мѣрѣ хотъ такъ! Я готова бы страдать вдвое, въ двадцать, въ тридцать разъ больше...

— Ты выздоровѣешь! Надежда не потеряна. Еслибъ не твой страхъ, не твои вспышки...

— Я буду добрая, тихенькая, вотъ увидишь! Стану слушаться тебя, точно собаченка... Дай мнѣ тебя поцѣловать... Вѣдь я тебѣ не противна, не правда ли? Нѣтъ? Такъ прижми же меня крѣпче къ сердцу, мой Лоренцо! Мой, мой!...

Но подобные промежутки длились всего день, иной разъ только нѣсколько часовъ. Потомъ тревога снова овладѣвала ею.

Ужасно было видѣть Кончеттину въ ея бѣлой спальнѣ, при свѣтѣ лучезарнаго майскаго дня, проникавшемъ въ большія окна, среди безмолвія, длившагося по цѣлымъ часамъ и нарушавшагося лишь тихими жалобами или приступами кашля, отъ которыхъ она почти задышалась. Худенькое тѣло ея состояло теперь только изъ кожи и костей, глаза ввалились и казались громадными на съежившемся личикѣ; нечесанные волосы все еще сохраняли свой золотистый отливъ. Она сидѣла на креслѣ, опираясь на подушки; лежать въ постели она уже не соглашалась.

Лоренцо не смѣлъ двинуться изъ этой комнаты, куда она не допускала никого, даже свекра, развѣ на самое короткое время. Состарившійся, почти совершенно посѣдѣвшій въ эти ужасные мѣсяцы, бѣдный Лоренцо самъ себя не узнавалъ. Она точно изводила его, молча, глядя на него глазами, въ которыхъ сверкала злорадный огонекъ.

Она хочетъ взять его съ собой, отнять его у *той*, неизвѣстной, которая, быть можетъ, только и ждетъ ея смерти, чтобы броситься въ его объятія такою здоровою, красивою, любящею и торжествующею, что изгонить изъ его сердца всякое воспоминаніе о женѣ. Нѣтъ, не получить *она* его! Не получить! Они исчезнутъ вмѣстѣ, будутъ обниматься мертвые, какъ обнимались живые. Онъ принадлежитъ ей. Не достанется онъ *той*.

И чтобы не дать ему ускользнуть отъ нея, вѣчно боясь, что ея недугъ еще недостаточно передался ему, она снова принималась цѣловать Лоренцо въ губы, щеки, шею, глаза, волосы, всюду... Иной разъ она кусала его съ бѣшенствомъ дикаго животнаго...

— А! Ему больно!

И она тотчасъ же цѣловала то мѣсто, которое укусила, чтобы заглушить боль... Иногда онъ долженъ былъ утирать себѣ лицо ея платкомъ, влажнымъ отъ испарины, пить изъ ея стакана то молоко, до котораго касались ея губы... Нѣтъ, не оставитъ она свою дорогую добычу *той*, *другой*...

Мало-по малу Лоренцо въ самомъ дѣлѣ начало казаться, что и онъ умираетъ. Теперь онъ никогда не приближался къ Кончеттинѣ безъ суевѣрнаго, неопредѣленнаго страха. Предчувствія его сбывались. Глухой ужасъ передъ катастрофой, казавшейся неизбежною, совершенно подавлялъ его.

Однако, въ тѣ дни, когда она утверждала, что ей лучше, онъ все еще охотно вѣрилъ.

— Да, да, я чувствую себя хорошо; я точно разомъ выздоровѣла. Ужъ не дѣйствіе ли это прекраснаго дня, чуднаго солнца?

Она становилась доброю, милою, ласковою, какъ въ первые дни, даже подшучивала надъ собственной болѣзнью.

— Значить, побѣда останется за мною!... Такъ и должно быть! На моей сторонѣ громадная сила: любовь!

— У тебя есть еще другая сила—молодость.

И они шутили вмѣстѣ.

Въ одинъ изъ такихъ дней Кончеттина захотѣла повидаться съ своимъ бѣднымъ старымъ свекромъ и попросила у него прощенія за то, что была съ нимъ неласкова.

— Когда боленъ, не сознаешь, что дѣлаешь,—говорила она.—Теперь, когда мнѣ лучше, видишь, какая я?

Но дона Джакомо не обмануло это ложное улучшение.

— Увы! Свѣча бросаетъ послѣдніе лучи. Надо позвать священника, если еще не поздно!—твердилъ онъ.

Силы разомъ покинули ее, какъ будто готова была порваться нить, связывавшая ее съ жизнью. Кончеттина упала на спинку кресла, и во взглядѣ ея, брошенномъ на Лоренцо, сквозила ожесточенная зависть.

Такъ онъ остается? Онъ не исчезнетъ вмѣстѣ съ нею?

Она поманила его къ себѣ головою.

— Я хочу, чтобъ меня вынесли на террасу на креслѣ. Хочу въ послѣдній разъ видѣть городъ и поля... Торопись, торопись!

Лоренцо машинально повиновался.

— Взгляни на эту колокольню!

Онъ растерянно посмотрѣлъ въ ту сторону.

— Помни, что ты видѣлъ ее въ послѣдній разъ со мною!... И эти холмы... эти деревья.... Помни, помни... что передъ моей смертью мы смотрѣли на нихъ вмѣстѣ, и что я говорила тебѣ: гляди, гляди!... А эти куполы Santa Maria di Gesu... тамъ, налѣво... куда мы такъ часто ходили гулять... Помни, помни!...

Лоренцо говорилъ: да! да! и голосомъ, и наклоненіемъ головы, точно во снѣ.

Колокольня, холмы, деревья, куполы церкви Santa Maria di Gesu—все это врѣзывалось ему въ глаза точно какою-то волшебною силой... Всю жизнь будетъ онъ видѣть только ихъ! Вѣчно, вѣчно ихъ!...

А Кончеттина, привлекая его къ себѣ на грудь, съ послѣднимъ усиліемъ ища его губъ, въ то время какъ онъ поддерживалъ ее за талію, все шептала:

— Уми со мной!... Уми со мной!...

Посвященіе къ неизданной комедіи.

Не жди ты пѣсенъ стройныхъ и прекрасныхъ,
У темной осени цвѣтовъ ты не проси!
Не зналъ я дней сіяющихъ и ясныхъ,—
А сколько призраковъ недвижныхъ и безгласныхъ
Покинуто на сумрачномъ пути!

Таковъ законъ: все лучшее въ тумавѣ,
А ясное иль больно, иль смѣшно.
Не миновать намъ двойственной сей грани:
Изъ смѣха звонкаго и изъ глухихъ рыданій
Созвучіе вселенной создано.

Звучи же, смѣхъ, свободною волною!
Негодованія не стоять наши дни.
Ты, муза блѣдная, надъ смутною стезею
Явись хоть разъ съ улыбкой молодою
И злую жизнь насмѣшкою незлою
Хотя на мигъ одинъ угомони.

Владиміръ Соловьевъ.

Н. В. Гоголь.

Его отношенія къ гр. А. П. Толстому.

С. Т. Аксаковъ въ „Исторіи моего знакомства съ Н. В. Гоголемъ“ говоритъ, что Гоголь, „погруженный безпрестанно въ нравственныя размышленія, начиналъ думать, что онъ можетъ и долженъ поучать другихъ и что поученія его будутъ полезнѣе юмористическихъ сочиненій. Во всѣхъ его письмахъ тогдашняго времени, къ кому бы они ни были писаны, уже начиналъ звучать этотъ противный мнѣ тонъ наставника. Въ это время сошелся онъ съ графомъ А. П. Толстымъ *), и я считаю это знакомство рѣшительно губительнымъ для Гоголя“.

Послѣ приведенныхъ словъ можно подумать, что С. Т. Аксаковъ былъ нѣсколько склоненъ объяснять учительскій тонъ въ Гоголѣ, громадную самоувѣренность, мистически-религіозное настроеніе, которые въ 1847 году такъ необычайно сказались въ поразившей всѣхъ „Перепискѣ съ друзьями“, знакомствомъ съ гр. Толстымъ, его вліяніемъ. Но Аксаковъ не признавалъ въ духовномъ развитіи Гоголя, какъ признаютъ еще многіе до настоящаго времени, рѣзкой перемѣны, такъ называемаго перелома. „Да не подумаютъ,—пишетъ онъ,—что Гоголь мѣняется въ своихъ убѣжденіяхъ, напротивъ, съ юношескихъ лѣтъ онъ оставался имъ вѣренъ. Но Гоголь шелъ постоянно впередъ; его христіанство становилось чище, строже; высокое значеніе цѣли писателя яснѣе и судъ надъ

*) Графъ Александръ Петровичъ Толстой—оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода. Въ его домѣ на Никитскомъ бульварѣ (по правую сторону, если идти отъ Никитскихъ воротъ) умеръ Гоголь.

самимъ собой суровѣе“. Самъ Гоголь подтверждаетъ эту же мысль: „Но внутренно я не измѣнялся никогда въ главныхъ моихъ положеніяхъ. Съ 12-лѣтняго, можетъ быть, возраста я иду тою же дорогою, какъ и нынѣ, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнѣніяхъ главныхъ, не переходилъ изъ одного положенія въ другое“ *).

И стоитъ внимательно просмотрѣть всѣ письма Гоголя, чтобы убѣдиться въ справедливости этихъ словъ. Не трудно усмотрѣть въ письмахъ къ сестрамъ и къ матери отъ 1840 года, какъ много онъ высказывалъ влеченія къ религиозному чувству, къ религиозному самоуглубленію. А если заглянемъ въ болѣе раннія—дѣтскія—и тамъ опять поражаетъ та же религиозность, склонность къ мистическому, какъ въ религіи, такъ и въ жизни. И Гоголь самъ подтверждаетъ это, и нѣтъ основанія ему не вѣрить: „Отъ ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я былъ только скрытенъ, потому что былъ не глупъ,—вотъ и все“ **). Но почему-то до сихъ поръ не хотѣли повѣрить словамъ его, которыя дышали несомнѣнной искренностью, и изо всѣхъ силъ старались настаивать на совершившемся въ его душѣ и направленіи рѣзкомъ переломѣ. Гоголь рѣзко не мѣнялся; онъ только, какъ вѣрно замѣчаетъ Аксаковъ, не останавливаясь, продолжалъ идти и развиваться въ давно намѣченномъ направленіи.

Сталкиваясь съ такими развитыми, свободомыслящими людьми, какъ Аксаковы, Станкевичи и т. д., Гоголь, конечно, не поворачивался къ нимъ своей религиозной стороной, и они его съ этой стороны не знали. Другое дѣло, когда его судьба столкнула съ семьей графа А. П. Толстого, гдѣ всѣ помыслы были устремлены на самоусовершенствованіе, самоанализъ; Гоголь радостно раскрылъ передъ ними свое постоянное влеченіе къ религіи и, несомнѣнно, съ этихъ поръ, со времени его знакомства съ Толстыми, эта сторона стала въ немъ усиленно развиваться. И только съ этой точки зрѣнія можно признать знакомство Гоголя съграфомъ

*) Письмо къ С. Т. Аксакову 1844 г. Франкфуртъ (Рус. Арх. 1890, № 8).

**) Къ С. Т. Аксакову. Неаполь. 1847. 20 ген.

Александромъ Петровичемъ Толстымъ „губительнымъ“ для Гоголя. Его отъ природы мистически-религіозная сторона въ этомъ знакомствѣ нашла пищу и стала усиленно прогрессировать.

(Объ иномъ каксмъ-нибудь вліяніи на Гоголя семьи Толстыхъ и рѣчи быть не можетъ. Гоголь былъ черезчуръ стойкій, самостоятельный человѣкъ, скорѣе способный другихъ подчинить своему вліянію, чѣмъ самому подчиниться. Это именно подтверждаетъ и находящаяся у меня въ рукахъ переписка Гоголя съ графомъ и графиней Толстыми *).

Содержаніе писемъ преимущественно религіозно-нравоучительное. Гоголь говоритъ съ графомъ, какъ учитель, наставляетъ, дѣлаетъ указанія, подобно тому, какъ нѣкогда поучалъ художника А. А. Иванова: „Будьте тверды, не уставайте въ моленіяхъ, исполните буквально все, что я вамъ писалъ относительно чтенія Тихона. Не пропускайте ни одной обѣдни. Молитесь о себѣ и обо мнѣ крѣпко и сильно. Не позабывайте душеспасительныхъ ученій—во время поста“ **). Не только по части молитвы и спасенія души, Гоголь даже въ обыденныхъ жизненныхъ вопросахъ принимаетъ по отношенію графу тотъ же тонъ наставника и иногда, случается, покрикиваетъ на него. Когда гр. Александръ Петровичъ писалъ Гоголю насчетъ своего безпокойства о зубахъ, о необходимости вставить искусственные, Гоголь отвѣчалъ довольно сурово: „Оставьте въ сторону дрянные ваши зубы, которые не стоятъ гроша даже и тогда, еслибы были хороши; душа лучше зубовъ и всего на свѣтѣ“ ***). Но, долго не получая на это письмо отвѣта, онъ безпокоился, не

*) Переписка эта любезно предоставлена въ нашъ Сборникъ княжвой Александрой Владиміровной Голицыной (за что и приносимъ глубокую благодарность) въ видѣ точныхъ копій, обязательно снятыхъ Е. А. Маклаковой. Всѣхъ писемъ въ собраніи болѣе 20. Они относятся ко времени заграничной жизни Гоголя и Толстыхъ (за исключеніемъ 2—3, писанныхъ въ Россіи)—съ 1839 по 1850 г. включительно; большая часть писемъ приходится на 2-ю половину 40-хъ годовъ.

**) Почти этотъ же тонъ слышенъ и въ напечатанныхъ письмахъ Гоголя къ гр. Толстому въ изд. Кулиша, VI т., гдѣ помѣщены три письма (изъ которыхъ одно дополнено въ Рус. Стар. 1889 г., январь), и въ письмахъ обращенныхъ къ гр. Толстому въ „Перепискѣ съ друзьями“.

***) Письмо отъ 2 ав. 1847 г. изъ Остенде.

огорчилъ ли какъ графа,—чего, конечно, не имѣлъ въ виду,—и пишетъ второе письмо, гдѣ уже самъ первый заводитъ рѣчь о зубахъ. „Увѣдомьте меня также о томъ, въ какой степени вы довольны дантистами и владѣете ли вы хорошо тѣми зубами, которые вставлены, и какъ много вы ихъ себѣ вставили“ *).

Гоголь самъ иногда не замѣчалъ, какъ, увлекаясь ролью наставника, проповѣдника, учителя, говорилъ довольно странныя вещи. Вотъ любопытное въ этомъ отношеніи мѣсто изъ письма 1846 года, 2 августа, изъ Остенде, писаннаго въ отвѣтъ на жалобы гр. Толстого касательно бѣдствій, постигающихъ Россію. „Но, какъ подумаю, *вѣдь намъ прежде всего нужно жить въ Богѣ, а не въ Россіи*. Вѣдь мы знаемъ, что безъ Божьей воли ничего не дѣлается. А воля Божья разумна, воля Божья знаетъ, что намъ нужно. Думаемъ исполнять законъ Христовъ относительно тѣхъ людей, съ которыми намъ придется столкнуться (законъ этотъ можно исполнять всюду), а о Россіи Богъ позаботится и безъ насъ. Какъ Ему оставить ее, если есть столько людей, которые о ней молятся. Помолимся и мы о ней крѣпко, какъ только можемъ молиться, а потомъ палку въ руки и вновь въ путь-дорогу по примѣру всякаго помышляющаго о душѣ своей человека“.

И нѣтъ ни одного письма, гдѣ бы Гоголь не просилъ или не приглашалъ графа и графиню Толстыхъ помолиться то за нихъ самихъ, то за себя, то за какихъ-нибудь страдающихъ. Онъ просилъ даже служить за него молебны... И весь тонъ писемъ выходитъ какой-то библейскій, напыщенный. Читая ихъ, иной разъ можно подумать, что читаешь письма какого-нибудь духовнаго лица—священника или монаха. „Сердце мое говоритъ мнѣ, что вы такъ обо мнѣ молитесь, какъ никогда еще ни о комъ не молились, и низведутъ ваши молитвы благодать и милость Бога обоюдно и на меня, и въ вашу собственную душу. Богъ весь милость и чуденъ въ милостяхъ своихъ“ **). „Помолимся оба, чтобы намъ обо-

*) Остенде. 14 августа 1847.

**) Римъ. 1846 г. января 2.

имъ было свиданіе наше и въ душевную и въ духовную радость“ *).

Знакомство Гоголя съ гр. Толстымъ С. Т. Аксаковъ относитъ къ сороковымъ годамъ, кажется, къ 1843. Изъ находящейся у меня переписки видно, что знакомство съ Толстымъ произошло раньше, еще въ 30-хъ годахъ. Въ 1839 году Гоголь уже переписывался съ гр. Александромъ Петровичемъ. Отъ этого времени сохранилось одно письмо. Его тонъ гораздо проще, и содержаніе касается исключительно новостей дня, придворныхъ и чиновничьихъ повышеній.

Съ годами это знакомство крѣпло все сильнѣе, и во второй половинѣ 40-хъ годовъ дошло до того наставительно-поучительнаго тона, который сейчасъ былъ отмѣченъ. Гоголя влекла къ Толстымъ ихъ природная доброта, религіозная настроенность, а главное—способность сокрушаться о грѣхахъ и стремленіе къ совершенствованію. Должно быть, на этомъ основаніи казалась ему важна и ихъ молитва. Гоголь рассчитывалъ и въ Іерусалимѣ ѣхать вмѣстѣ съ графомъ, но почему-то эта совмѣстная поѣздка не состоялась. Не менѣе, чѣмъ графа, Гоголь любилъ и графиню Толстую, жену Александра Петровича, недавно скончавшуюся въ Москвѣ Анну Егоровну (Георгіевну). „Я васъ полюбилъ искренно, — пишетъ онъ ей, — полюбилъ какъ сестру, во первыхъ, за доброту вашу, во вторыхъ за ваше искреннее желаніе творить угодное Богу, Ему служить, Его любить и Ему повиноваться“ **).

Онъ былъ увѣренъ, что и Толстые его любятъ не менѣе. Не проходитъ ни одного письма, чтобы Гоголь не сообщилъ имъ о своемъ здоровьѣ, причемъ часто входитъ въ мельчайшія подробности о своемъ желудкѣ. Онъ знаетъ, что все, что касается до него лично, все интересно Толстымъ и потому, не стѣсняясь, почти въ каждомъ письмѣ отъ 1845 года, когда, какъ извѣстно, Гоголь сильно расхворался, — пишетъ о своихъ физическихъ недугахъ; даетъ порученіе графу переговорить съ докторомъ, взять въ парижской аптекѣ

*) Римъ. 1846 г., апрѣль.

**) Письмо безъ даты.

лекарство и переслать ему. Онъ такъ былъ близокъ съ Толстыми, что не стѣснялся давать имъ порученія, а когда прїѣзжалъ въ Парижъ, куда ѣздилъ не разъ нарочно для свиданія съ ними, онъ останавливался у нихъ на квартирѣ. Онъ не только былъ хорошъ съ названными Толстыми, но хорошо зналъ и ихъ родственниковъ, зналъ обоихъ братьевъ графа Толстого: Алексѣя Петровича и Ивана Петровича, а въ 1845 году въ Римѣ познакомился и очень сошелся съ сестрой графа Толстого — Софьей Петровной Апраксиной и ея дѣтьми: Натальей Владиміровной и Викторомъ Владиміровичемъ.

Гоголь зналъ Толстыхъ за людей крайне добрыхъ и обязательныхъ и при своихъ близкихъ отношеніяхъ къ нимъ не стѣснялся обращаться даже съ денежными просьбами, — разумѣется, для другихъ. Въ январѣ 1846 г. онъ просилъ графа вывести изъ критическаго положенія брата художника Иванова, архитектора Иванова, который былъ посланъ за границу Академіей Художествъ и за невысылкою казенныхъ денегъ не могъ прїѣхать изъ Парижа въ Римъ къ своему брату.

Толстые, разумѣется, исполняли всѣ его просьбы, какъ денежные, такъ и касающіяся молитвъ. Графъ и графиня не только молились за него, служили молебны, но и вынимали просвиры. Они думали объ его душевномъ спасеніи и, должно быть, въ видахъ этого въ 1847 году познакомили Гоголя съ священникомъ города Ржева, Матвѣемъ Александровичемъ Константиновскимъ, извѣстнымъ въ біографіи Гоголя больше подъ именемъ отца Матвѣя, съ которымъ Гоголь впоследствии состоялъ въ постоянной перепискѣ и котораго называлъ умнѣйшимъ человѣкомъ.

Душа, ея спасеніе, сокрушеніе о грѣхахъ — вотъ тѣ стороны, которыми прикасался Гоголь съ этими людьми. Другіе вопросы въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ рѣдко затрогивались, если не считать физическихъ недуговъ и постоянного приглашенія свидѣться. Даже въ ту критическую минуту, когда по выходѣ „Переписки съ друзьями“ на Гоголя сыпался ударъ за ударомъ, и онъ, измученный, писалъ С. Т. Аксакову: „Ради самого Христа прошу васъ теперь не изъ

дружбы, изъ милосердія, которое должно быть свойственно всякой доброй и страдающей душѣ,—изъ милосердія прошу васъ взойти въ мое положеніе, потому что душа моя изныла, какъ ни крѣплюсь и ни стараюсь быть хладнокровнымъ“ *),—въ эту критическую минуту, не смотря на всю свою любовь къ Толстымъ, онъ не только не жалуется въ письмахъ на свое состояніе, не проситъ ни поддержки, ни утѣшенія, но даже ни словомъ не намекаетъ на него и старается казаться спокойнымъ и хладнокровнымъ. Получивъ письмо отъ Бѣлинскаго, извѣстное письмо, которое Гоголю было крайне тяжело, онъ спокойно говоритъ гр. Толстому о полученіи этого письма—и ни слова о той боли, какую причинило оно... Это и показываетъ, что Гоголь другихъ своихъ сторонъ передъ Толстыми, съ которыми былъ несомнѣнно близокъ и которыхъ любилъ,—не открывалъ. Онъ не показывалъ имъ своей души въ минуты тяжелыхъ страданій, не просилъ поддержки и помощи, какъ чловѣкъ сильный и считающій скорѣе себя болѣе способнымъ поддерживать ихъ, чѣмъ ждать отъ нихъ помощи. Они не должны были знать въ немъ этой слабости—изнемогать отъ жизненныхъ невзгодъ, какъ другіе не знали въ немъ до извѣстнаго времени тѣхъ сторонъ души, которыя давно раскрылись передъ Толстыми.

Отношенія Гоголя къ этимъ добрымъ и радушнымъ людямъ, которые его искренно любили, уважали, у кого онъ прожилъ послѣдніе дни своей жизни среди полного комфорта графской обстановки, гдѣ чувствовалъ себя какъ дома и гдѣ наконецъ умеръ, разумѣется, должны быть предметомъ общаго интереса. Ради этого я выбираю изъ названной переписки все интересное, характерное въ смыслѣ біографическаго матеріала и касающееся взаимныхъ отношеній Гоголя съ Толстыми.

Е. Некрасова.

*) Письмо отъ 1847 г., іюль.

Письма Н. В. Гоголя къ гр. А. П. Толстому.

Франкфуртъ. 1845, марта 29 *).

Ваше письмо отъ 10 марта нѣсколько грустно. Понимаю, какъ трудно переносить *черствость* душевныхъ состояній, но знаю вмѣстѣ съ тѣмъ, что велико Божіе милосердіе. Не трудно веселиться и свѣтлѣть духомъ, когда съ нами пребываетъ благодать Божія и Богъ не оставляетъ насъ ни на минуту. Но за то въ нѣсколько разъ выше подвигъ того, кто, не получая благодати, не отстаётъ отъ Бога и выноситъ крестъ тягчайшій всѣхъ *крестовъ*—*крестъ черствости душевной*. Повѣрьте, что искать, желать, просить и молить о благодати есть уже дѣйствіе и подвигъ. А потому, чѣмъ меньше исполняется наше моленіе и замедляется отвѣтъ намъ, тѣмъ сильнѣй и тверже должны мы быть въ надеждѣ на Бога, и поступающій такъ не будетъ въ убытокъ въ будущей жизни и получить мѣсто передъ многими праведниками, изъ которыхъ нѣкоторымъ относительно его можетъ сказаться то же, что сказано было человѣку, вкусившему удовольствіе на землѣ, т.-е. ты имѣлъ уже на землѣ многое. А потому мнѣ кажется, болѣе изъ насъ грѣшенъ тотъ, кто, возгордившись благодатнымъ состояніемъ души своей, возмнилъ бы, что онъ уже достигъ того, что нужно, что ему нечего уже дѣлать, что ему можно уже покойно умереть, что онъ уже достоинъ Небеснаго Царствія. Будьте же тверды и не уставляйте въ моленіяхъ, исполните буквально все, что я вамъ писалъ относительно чтенія Тихона **), хотя я и не знаю, получили ли вы письмо мое вмѣстѣ съ посланною книгою. Какъ вижу изъ письма вашего, вы не получили вовсе тѣхъ двухъ писемъ, которыя были посланы ко мнѣ изъ Франкфурта Жуковскимъ съ аккуратной выставкой адреса вашей

*) Судя по содержанію, это письмо написано раньше слѣдующаго за нимъ, которое помѣчено „28 марта изъ Франкфурта“,—потому надо думать, что это письмо не вѣрно помѣчено 29 марта,—по всему вѣроятію, надо читать не 29, а 20-е марта.

**) Т.-е. сочиненія св. Тихона.

квартиры *). Убѣдительно прошу васъ развѣдать и допросить самого шефа парижской почты. Весьма можетъ быть, что они лежатъ тамъ въ *poste restante*, и ваша привратница отправила почтальона лаконическимъ словомъ: уѣхалъ. Впрочемъ здѣшніе купцы жалуются непрерывно на парижскія почты, сознаваясь, что неисправнѣе ихъ нѣтъ въ Европѣ. Ваше письмо, означенное 10 числомъ марта, получено здѣсь 20 марта; стало быть, оно шло ровно десять дней, если только было отправлено тотчасъ по написаніи. О себѣ ничего не могу сказать вамъ утѣшительнаго. Здоровье мое хуже и хуже. Появляются такіе признаки, которые говорятъ, что пора наконецъ знать честь и, поблагодаривъ Бога за все, уступить, можетъ быть, свое мѣсто живущимъ. Но да будетъ во всемъ Его святая воля. Угодно будетъ необыкновеннымъ чудомъ Ему спасти и продлить жизнь мою, велика тогда будетъ сила Его и высшая премудрость. Угодно будетъ прервать ее, велика также будетъ Его сила и высшая премудрость — и это будетъ знакъ, что смерть моя, вѣрно, была полезнѣй и нужнѣй самой моей жизни. Но во всякомъ случаѣ не прекращайте вашихъ моленій, сильнѣй и сильнѣй молитесь обо мнѣ Богу, чтобы не оставлялъ Онъ меня ни на минуту. Тѣмъ болѣе, что болѣзненные мои минуты бывають теперь труднѣе, чѣмъ прежде, и трудно-трудно бываетъ противостать противу тоски и унынія. Часто желалось бы имѣть подъ бокомъ васъ или подобно вамъ думающаго только о спасеніи души человѣка, тѣмъ болѣе, что братски и союзно-согласованное чтеніе книгъ полезныхъ душѣ мнѣ много помогало всегда. Самому не все и не такъ читается, съ человѣкомъ безучастнымъ и незнакомымъ съ подобнымъ положеніемъ души тоже не такъ читается. Не разъ случалось мнѣ очутительно **) слышать всю силу словъ Христовыхъ: гдѣ васъ двое—тамъ и церковь Моя.—И потому я думаю, что тоскующій долженъ искать тоскующаго и, братски подавъ одинъ другому руку, молиться отъ всѣхъ силъ

*) Графъ А. П. Толстой жилъ въ это время въ Парижѣ: Paris. Rue de la Paix, 9. Hôtel Westminster.

**) Должно быть — „ощутительно“?

ко Христу, да придетъ къ нимъ. Все теперь тоскуетъ. Сила природы, кажется, тоскуетъ: зима, повергая въ изумленье всѣхъ, длится безъ конца, не стаетъ *) уже дровъ въ здѣшнихъ лѣсахъ и продается на вѣсь всякое полѣно, находятъ непрерывно людей замерзшихъ, барометръ поднимается непрерывно вверхъ, и здѣшніе лазареты наполняются безпрестанно больными по причинѣ необыкновеннаго и вредоноснаго состоянія воздуха. До сихъ поръ не прекращался морозъ, и непрерывно показывался вновь снѣгъ. Благословенъ Богъ, испытующій насъ, и да внушитъ намъ стоять твердо въ наши нетвердыя минуты. Не пропускайте ни одной обѣдни. Молитесь о себѣ и обо мнѣ, крѣпко и сильно молитесь. Просите и графиню **), о которой я также буду молиться, какъ и о васъ, и которой посылаю искренній и душевный поклонъ и желанье сердечное благодатнаго говѣнья. Весь вашъ Г.

Пишу къ вамъ въ день пасхи лютеранской и католической и да удостоитъ насъ Богъ дожидаться и нашей, и такъ, чтобы сказать еще съ большей вѣрою и надеждою противу прежняго другъ другу: Христосъ воскресъ.

Марта 28. Франк. (1845 г.).

Я получилъ ваше письмо, писанное 19 марта. Благодарю васъ за него и за участіе. Здоровье мое, кажется, лучше, хотя я и не смѣю еще предаваться надеждѣ совершенно поправиться. Но Богъ милосердъ, благодарю васъ и за молитвы, я чувствую, что вы молились. Не скрою, что признаки болѣзни моей меня сильно устрашили, сверхъ исхуданія необыкновеннаго боли во всемъ тѣлѣ. Тѣло мое дошло до страшныхъ охлаждѣваній, ни днемъ, ни ночью я ничѣмъ не могъ согрѣться ***). Лицо мое все пожелтѣло, а руки распухли и почернѣли и были ничѣмъ несогрѣваемый ледъ, такъ что

*) „Не (до) стаетъ“?

**) Графиня—Анна Егоровна (Георгіевна) Толстая, жена графа Александра Петровича Толстого.

***) Это охлаждѣванье доходило у Гоголя до того, что онъ на ноги надѣвалъ шерстяные чулки, теплые сапоги, но и это мало помогало. Онъ могъ согрѣвать ноги только ходьбою.

прикосновеніе ихъ ко мнѣ меня пугало самого. Я однакожъ крѣпился духомъ и даже скрылъ все состояніе болѣзни отъ Жуковского *), замѣтивши, что онъ началъ обо мнѣ беспокоиться и за меня побаиваться. Теперь съ оттепелью какъ будто бы оттаялъ и я, но, вѣроятно, не скоро приду въ возможность совершить какую-либо дорогу, хотя бы она была мнѣ и полезна. Притомъ вы, вѣрно, уже слышали о несчастіи, постигшемъ всѣхъ по поводу разлитія рѣкъ. Никогда никто не запомнитъ подобныхъ наводненій. Полъ-Франкфурта въ водѣ. Въмѣсто улицъ, каналы и лодки. Нашъ домъ, какъ среди моря: всюду волны и вода прибываетъ, и бѣдные жители уже донныѣ понесли большія потери. Видъ водныхъ пространствъ, выбирающихся изъ домовъ и перевозящихъ жителей грустенъ и поневолѣ надрываетъ жалостью. Дай Богъ, чтобы это продолжалось недолго. Помолитесь и вы. Помолимся всѣ и о всѣхъ, потому что несчастныхъ будетъ много и бѣдствовать придется многимъ. Но да обратитъ Богъ все во спасеніе всѣмъ. Не позабывайте душеспасительныхъ чтеній во все время поста. Покамѣстъ писать вамъ много не въ силахъ, по причинѣ слабости и изнуренія душевнаго, отъ которыхъ еле прихожу (въ себя). Притомъ не знаю даже, когда дойдетъ до васъ это письмо: всюду моря и нѣтъ проѣзда. Къ графинямъ не пишу, но скажите имъ, что мнѣ лучше. Письмо отъ графини **), писанное 14-го марта, получилъ. Отъ васъ я получилъ также вмѣстѣ съ вашимъ и то, которое вы получили на имя мое въ Парижѣ и которое, завернувъ въ другой пакетъ, отправили мнѣ. Но двухъ писемъ, отправленныхъ Жуковскимъ, я не получалъ до сихъ поръ; что съ ними сдѣлали въ Парижѣ—незнаю. По сдѣланнымъ справкамъ изъ Франкфурта, они точно отправлены. Посылаю вамъ нарочно росписку изъ здѣшней почты на Тихона, если вы его не получили, дабы могли показать ее парижскимъ почтовымъ плутамъ. Увѣдомьте, отчего письмо изъ Брюсселя было отправлено обратно и что значить *обратно?* въ Брюссель ли, или во Франкфуртъ? Журналовъ русскихъ здѣсь

*) Съ В. А. Жуковскимъ Гоголь жиялъ вмѣстѣ во Франкфуртѣ.

**) Т. е. жены графа Толстого, Анны Егоровны.

не имѣется никакихъ, равно какъ и новостей, а потому еслибы вы сдѣлали тѣ выписки, насчетъ которыхъ изъясняете готовность, то это былъ бы подарокъ *). Затѣмъ обнимаю отъ всей души васъ, а графинѣ посылаю душевный поклонъ.

Весь вашъ Г.

Дрезденъ, 1 сентября (1845 г.).

Наконецъ могу вамъ дать извѣстіе о себѣ. Изъ Берлина не успѣлъ, пишу изъ Дрездена. Съ Шоплейномъ **) перего- ворилъ окончательно только передъ отъѣздомъ, впрочемъ, по его мнѣнію, болѣе рѣчей тратить было незначѣмъ, и слѣдо- вало поспѣшать въ Римъ. Выслушавши все довольно внима- тельно, онъ рѣшилъ, что во мнѣ разстройство въ нервиче- ской системѣ, такъ называем. *nervoso fascoloso* (въ брюшной области); надъ Карусомъ, его печенью и Карлсбадомъ по- смѣялся и опредѣлилъ: пріѣхавши въ Римъ, поутру выти- раться мокрой простыней, потомъ принять двѣ капли пропи- санныхъ капель, а ввечеру — двѣ пилюли. Въ апрѣлѣ же мѣсяцъ ѣхать въ Неаполь и начать морское купанье въ Ка- стеллямаре и пить въ то же время тамъ обрѣтающуюся воду *Aqua Media*. Когда же сдѣлается слишкомъ жарко, переѣхать на сѣверное море, воспользоваться, сколько можно, побольше морскимъ воздухомъ и купаньемъ, — словомъ, почти то же, что и я думалъ; въ пищу ѣсть побольше мяснаго и зелени и поменьше мучнистаго и молочнаго. Когда я изъяснилъ ему опасенье насчетъ кофею, сказалъ, что это вздоръ, что кофей для меня даже здоровъ и лучше, нежели одно молоко, и когда я объявилъ ему, что выпивалъ трактирную порцію, онъ ска- залъ, что это немного, что еслибъ даже и двѣ, но съ моло- комъ и хлѣбомъ и поутру, а не послѣ обѣда или ввечеру, то это для меня имѣетъ укрѣпляющее свойство. Сему бы, вѣро- ятно, я обрадовался прежде. Но теперь отъ кофея отсталъ,

*) Гоголь охотно собиралъ всѣ рецензіи, которыя писались на его произ- веденія, нерѣдко даже ихъ переписывалъ собственноручно.

**) Известный докторъ, для союта съ которымъ Гоголь нарочно ѣздилъ въ Берлинъ. Онъ считалъ его особенно талантливымъ въ опредѣленія болѣзней. Аксаковъ С. Т. въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ доктора называетъ Шейлейномъ, а не Шоплейномъ (Рус. Архивъ 1890 г., № 8).

и принялъ холодно такое разрѣшеніе. Впрочемъ я въ противоположность вашего мнѣнія всегда былъ увѣренъ, что кофей мнѣ не вреденъ, и это узналъ изъ опыта. Какъ нарочно именно въ то время, когда я пилъ кофей покрѣпче, у меня нервы были хороши. Именно въ Остенде, да въ первый разъ въ Римѣ (послѣ великаго нервическаго разстройства въ Вѣнѣ) пилъ я кофей въ большомъ количествѣ (оба раза непосредственно вслѣдъ за нервами и оба раза былъ здоровъ),—и такъ вотъ вамъ отчетъ. Обсудивши и подумавши обо всемъ строго, я рѣшилъ внутренне послѣдовать пословицѣ: Людей разспрашивай побольше, а держись своего разума. Умными совѣтами воспользуйся, а изучай въ то же время свою собственную натуру для того, чтобы умѣть примѣнить къ ней умные совѣты.—Совѣщаніемъ съ Шоплейномъ я доволенъ, и оно отнынѣ да будетъ послѣднее мое совѣщаніе съ докторомъ насчетъ главнаго свойства болѣзни. Его мнѣніе уже потому для меня значительно, что не противорѣчитъ мнѣніямъ другихъ докторовъ, на его сторонѣ большинство. Болѣзнь пояснена, и стало мнѣ открытѣй, чего слѣдуетъ мнѣ придерживаться, въ главномъ я уже знаю, а потому спокойнѣй и съ Божьей помощью буду умѣть обходиться съ собой. Затѣмъ уложимъ это дѣло, какъ рѣшенное, въ архивъ и не будемъ больше никогда заикаться о моихъ недугахъ. Мы слишкомъ грѣшили, что часто говорили о такихъ предметахъ, т. е. я. Государыню всѣ въ Берлинѣ нашли въ хорошемъ состояніи, она взбѣжала весьма скоро на лѣстницу, такъ что видѣвшіе ее незадолго до того въ Петербургѣ почти не узнали. Въ Палермо ей никто не совѣтовалъ изъ докторовъ, но она сама ее избрала. Рѣшеніе это произошло во время сильнаго жару, который сдѣлался вдругъ въ Петербургѣ и въ продолженіе котораго она значительно почувствовала (себя) лучше. Шоплейна на совѣтъ въ Берлинѣ не призывали *). Не знаю, получили ли вы письмо, которое послано было на мое имя въ Фрейвандау гр(афомъ) Мих. Мих. Вьельгорскимъ **),—я его по крайней мѣрѣ обратно не получалъ. Мнѣ жаль, если

*) Т.-е. для совѣщанія о здоровьи Государыни.

**) Сынъ гр. Михаила Юрьевича Вьельгорскаго.

вы не догадались его распечатать. Въ этомъ письмѣ было приложено письмо къ вамъ отъ графини Апраксиной *), выѣхавшей изъ Берлина въ Римъ за нѣсколько дней до моего пріѣзда (кстати отнынѣ не чинитесь относительно писемъ на мое имя, распечатать всегда можете, ибо, вопервыхъ, секретовъ въ письмахъ ко мнѣ не бываетъ, а вовторыхъ, если бы и было написано что, о чемъ не всякому слѣдуетъ знать, то въ вашей скромности я увѣренъ). Вьельгорскому Апраксины очень понравились, онъ кажется съ ними хорошо познакомился. Римъ, какъ вы видите, наполняется вашими родственниками и близкими людьми, а потому вамъ и графинѣ **) будетъ теперь почти непростительно не бывать въ немъ.

Затѣмъ до слѣдующихъ писемъ! Жду съ нетерпѣніемъ описанія вашего пріѣзда въ Парижъ и всего, что послучилось съ вами на пути, что все надѣюсь узнать въ Римѣ.

Вашъ Н. Гоголь.

Октября 31 (Римъ, 1845 г.).

Что съ вами дѣлается, безцѣнный Александръ Петровичъ? и отчего до сихъ поръ отъ васъ ни строчки? я справлялся и на почтѣ, и въ посольствѣ... а между тѣмъ я думалъ, что тотъ же часъ по пріѣздѣ въ Римъ найду отъ васъ письмо. О себѣ скажу, что дорога мнѣ сдѣлала пользу. Римъ и общество, которое я здѣсь нашелъ, въ числѣ котораго ваша сестрица ***) (съ которою я, разумѣется, сейчасъ же познакомился)—все это подѣйствовало хорошо на духъ мой, и хотя я еще не осмотрѣлся, не усѣлся плотно и ничего еще не начиналъ добраго, но надѣюсь на милость Божію, что она оживитъ меня вновь охотой и ревностью къ труду, для котораго, какъ извѣстно, призванъ со времени своего грѣхопаденья человѣкъ и безъ котораго ему тоска. Вы, безъ сомнѣнія, уже знаете, что государь ****) въ Палермо. Говорятъ

*) Графиня Апраксина, Софья Петровна, родная сестра гр. Александра Петровича Толстого.

**) Анна Егоровна, жена гр. А. П. Толстого.

***) Сестра гр. Александра Петровича Толстого, Софья Петровна Апраксина.

****) Государь Николай Павловичъ.

даже, что онъ будетъ въ Римѣ на два дни, вслѣдствіе этого много русскихъ проѣзжаетъ черезъ Римъ. Я видѣлъ пока еще весьма немногихъ. Бутеневъ *) отправился вчера въ Палермо; я не видалъ его передъ его выѣздомъ, — извѣстно только то, что онъ вызванъ туда государемъ. Ваша сестрица **) вамъ уже писала письмо, вѣроятно, съ самымъ убѣдительнымъ приглашеніемъ ѣхать въ Римъ. Я же для вящаго къ тому соблазну вашему скажу только, что здѣсь не осень, а лѣто, всѣ въ лѣтнихъ панталонахъ, а народъ безъ куртокъ. Солнце просто голубить своею теплотою и дышетъ материнской любовью ко здѣсь пребывающимъ людямъ. Таковыхъ дней, каковы здѣсь постоянно весь мѣсяцъ (ни одного еще дни не было дурного или дождливого, или холодного), мы не видали ни разу въ Грешенбергѣ. Солнце и солнце, а воздухъ сушая благотворность и благодѣяніе. Въ теченіе двухъ недѣль всѣ русскіе, пріѣхавшіе въ Римъ проѣздомъ, разъѣдутся, и Римъ останется наполненъ только тѣми, которыхъ вамъ пріятно видѣть.

Впрочемъ и теперь нѣтъ никого изъ тѣхъ вашихъ знакомыхъ, съ которыми вы бы хотѣли не видаться. Прилагаю къ вамъ письмо отъ вашей сестрицы, которая, узнавъ, что я пишу къ вамъ, присовокупляетъ отъ себя нѣсколько строкъ и нѣкоторое письмо, по словамъ ея, для васъ интересное. Ожидаю отъ васъ отклика, времени извѣстіями о прочемъ и спѣшу отдать на почту сіе небольшое передовое посланіе. Ради Христа не молчите, но пишите. Адресуйте въ *Via de la croce* № 81. 3 piano. Можете прибавить еще для большей точности: Palazzo Poniatoffsky. Графиня ***) передайте мой душевный поклонъ.

Весь вашъ Гоголь.

Римъ. Января 2 (1846 г.) ****).

Податель сего письма есть архитекторъ нашъ Ивановъ, котораго вы, можете быть, уже знаете и ради котораго я

*) Русскій посланникъ въ Римѣ.

**) Графиня Софья Петровна Апраксина.

***) Графиня Аня Егоровна, жена гр. А. П. Толстого.

****) Это письмо Гоголь написалъ по просьбѣ художника Александра Андрее-

безпокою васъ убѣдительною просьбою дать ему (если у васъ случатся) денегъ на проѣздъ въ Римъ. Проѣздъ этотъ, разумѣется, въ художественномъ смыслѣ, съ осматриваніемъ всѣхъ архитектурныхъ памятниковъ, стоитъ издержекъ. Изъ академіи имъ до сихъ поръ еще не выслали слѣдующихъ денегъ, а онъ бы не хотѣлъ изъ(-за) этого потерять даромъ драгоценное время. Если вы можете его ссудить отъ 500 до 1000, то симъ крайне обяжете какъ его, такъ и брата его, знаменитаго нашего и рѣшительно перваго живописца, поборника и защитника иконной живописи, который крайне заботится и беспокоится съ примѣрной братской любовью о своемъ братѣ и проситъ меня обо всемъ этомъ убѣдительно. Съ нимъ вы можете переслать мнѣ книги и все, о чемъ проситъ васъ. Здоровье мое, какъ и всѣхъ насъ, въ рукахъ Божіихъ. Хотѣлъ бы обнять васъ лично, крѣпко и сильно благодарить за все и поговорить съ вами, добрейшій и близкій моему сердцу Александръ Петровичъ. Много бы далъ, чтобы увидать васъ здѣсь въ Римѣ, гдѣ все уже совершенно успокоилось, стало привольно, уединенно и тихо. Такъ что можно сказать, что здѣсь теперь одни болящіе и недужные, въ числѣ которыхъ находится и вашъ грѣшный богомолецъ, нуждающійся попрежнему въ вашихъ молитвахъ.

Н. Г.

Графинѣ мой душевный и дружескій поклонъ. Благодарю обѣихъ *) много и много за то, что вынимаєте частицы обо мнѣ, молитесь обо мнѣ и просите другихъ обо мнѣ молиться. Попросите добраго священника нашего *) (передавши ему мой искренній поклонъ) отлужить обо мнѣ молебень о ниспосланіи силъ мнѣ душевныхъ и тѣлесныхъ на совершенье того труда, который нужнѣй и нужнѣй чѣмъ долѣ стано-

вича Иванова, жившаго въ Римѣ; а Ивановъ переслалъ его своему брату, архитектору, Сергію Андреевичу, который находился въ качествѣ пенсіонера Россійской академіи художествъ въ Парижѣ и который долженъ былъ снести это письмо къ гр. Александру Петровичу Толстому на rue de la Paix, № 9.

*) Употребляется постоянно „обѣихъ“, вмѣстѣ обѣихъ.

*) Т.-е. священника при русской церкви въ Парижѣ, гдѣ въ это время жили графъ и графиня Толстые.

вится въ нынѣшнее время и который хотѣлъ бы совершить
быстрѣе и умнѣй, и во имя Божіе.

Поздравляю васъ обѣихъ съ наступающимъ нашимъ но-
вымъ годомъ.

Римъ. 2 января 1846 г.

Меня также тронуло много ваше письмо. Въ немъ столько участія и доброты! Что сказать вамъ о моемъ здоровьѣ? Великъ Богъ, посылающій намъ все!—это должны мы говорить ежеминутно. Вотъ вамъ мое нынѣшнее состояніе: я забну теперь до такой степени, что ни огонь, ни движеніе, ни ходьба меня не согрѣваютъ. Мнѣ нужно много бѣгать, чтобы сколько-нибудь согрѣть кровь, но этого теперь нельзя, потому что совсѣмъ ослабѣли и ноги, и силы, жилы болятъ и пухнуть. Но, благодаря милосерднаго Бога, что, не смотря на невыносимо—болѣзненное чувство, которое слышитъ все мое тѣло, находящееся вѣчно въ лихорадочномъ состояніи, ни хандра, ни скорбь еще не находили на меня. Я худѣю, вяну и слабѣю и съ тѣмъ вмѣстѣ слышу, что есть что-то во мнѣ, которое по одному мановенію высшей воли выбросить изъ меня недуги всѣ вдругъ, хотя бы и смерть летала надо мной. Да будетъ же во всемъ святая воля надъ нами Создавшаго насъ! да обратится въ насъ все на вѣчную хвалу Ему, и болѣзни, и недуги, и все существованье наше, да обратится въ неумолкаемую пѣснь Ему!—Благодарю васъ много и много, добрѣйшій мой Александръ Петровичъ, за ваши молитвы обо мнѣ, поблагодарите также и графиню. Ваши молитвы, именно ваши, мнѣ нужны; сердце моего говоритъ мнѣ, что вы такъ обо мнѣ помолитесь, какъ никогда еще ни о комъ не молились, и низведутъ ваши молитвы благодать и милость Бога обоюдно и на меня, и въ вашу собственную душу. Богъ весь милость и чуденъ въ милостяхъ своихъ. О государь вамъ мало скажу *). Я его видѣлъ раза два - три мелькомъ. Его наружность была прекрасна, и ею онъ произвелъ впечатлѣніе большое въ Римля-

*) Т.-е. о Николаѣ Павловичѣ, объ его пребываніи въ Римѣ въ декабрѣ 1845 года.

нахъ. Его повсюду въ народѣ называли просто *Imperatore*, безъ прибавленія *de Russia*, такъ что иностранецъ могъ подумать, что это былъ законный государь здѣшней земли. О чемъ былъ разговоръ съ папой, это *), разумѣется, не извѣстно, хотя, впрочемъ, слѣдствія, вѣроятно, будутъ тѣ, какихъ и ждали, т.-е. умягченіе мѣръ относительно къ католикамъ. Донесенія **) оказались ложью, и она созналась, что была уже подучена потомъ внѣ Россіи польской партіей. Къ художествамъ и къ искусствамъ государь былъ благосклоненъ ***). Показалъ вкусъ въ выборахъ и въ заказахъ и даже въ томъ, что заказалъ немного. Помощь оказанная бѣднымъ тоже сдѣлана съ разсмотрѣніемъ. Богъ да спасетъ его и да внушитъ ему все, что ему нужно, что нужно истинно для доставленія счастья его подданнымъ. Если онъ помолится и если молится такъ сильно и искренно, какъ онъ дѣйствительно молится, то вѣрно Богъ внушитъ ему весь ходъ и надлежащій законъ дѣйствій. Сердце царя въ рукъ Божіей, — говоритъ намъ Божій же глаголь. И если медлить, когда исходитъ отъ царя всѣмъ очевидное благо, то вѣрно такъ нужно, вѣрно мы стоимъ того за грѣхи наши, вѣрно далеко не достойны еще. Помолимся же вновь, добрый другъ мой, Александръ Петровичъ, о томъ, да преклонится Богъ на милость ко всѣмъ намъ, да сниметъ законный и праведный гнѣвъ свой на все поколѣніе наше и все проститъ намъ, показавъ, что нѣтъ на свѣтѣ грѣховъ, которые въ силахъ бы были пересилить Его милосердіе. Обнимаю васъ, а также и графиню. Прощайте. Напишите о себѣ и о здоровьи. Не смущайтесь никакими препираньями о церквахъ и тѣмъ, что совершается въ мірѣ. Время теперъ молиться, а не препираться. Одной молитвы отъ всего сокрушеннаго сердца нашего требуетъ Богъ, слезъ и воздыханья отъ самой глубины души нашей.

Весь вашъ Г.

*) Т.-е. разговоръ государя Николая Павловича съ папой Григоріемъ XVI.

**) Неразобрано нѣсколько словъ.

***) Государь, будучи въ Римѣ, заходилъ въ мастерскую художника Иванова, смотрѣлъ его знаменитую картину „Явленіе Христа“; остался доволенъ работой и подарилъ Иванову 300 червонцевъ, прося непременно ковчать картину.

О гр. Вьельгорскихъ могу сообщить вамъ только то, что они слава Богу все и здоровы, и довольны, въ хорошемъ состояніи душевномъ.— Лорнетку для вашего брата *) мнѣ обѣщаль Мих. Мих. **) отправить въ Варшаву, но исполнилъ ли, или позабылъ—не знаю. Совѣтую вамъ написать къ нему, тѣмъ болѣе, что вы должны спросить о цѣнѣ и что ему должны запла(атить).

Поздравляю васъ съ наступающимъ здѣшнимъ новымъ годомъ и преддверіемъ наступающаго нашего новаго года. Да обратитъ его Богъ намъ все въ *великое благо*.

(Остенде). Іюль 28.

Пишу къ вамъ нѣсколько строчекъ изъ Остенде, куда прѣхалъ на прошлой недѣлѣ и гдѣ прежде всего расклеился въ здоровьи. Сдѣлайте милость, спросите у Груби ***), приняты ли мнѣ за тотъ порошокъ, который былъ предписанъ назадъ тому годъ? Потому что припадки нѣсколько похожи на прежде бывшіе... Слабость замѣтная во всемъ тѣлѣ и замѣтное исхуданье въ немного дней. Я посылаю на всякій случай копию съ прежняго рецепта, и если онъ скажетъ, что онъ годится или на мѣсто его дастъ другой или найдетъ нужнымъ кое-что прибавить къ прежнему, то во всякомъ случаѣ прошу васъ послать въ аптеку и, заказавши двѣ порціи, послать съ желѣзной дороги сюда, въ Остенде. Потому что здѣсь, какъ вы знаете, въ аптекахъ нельзя найти никакихъ медикаментовъ. Этимъ меня много одолжите, а, впрочемъ, пора бы вамъ, какъ мнѣ кажется, и самому заглянуть сюда. Дорога въ Лондонъ черезъ Остенде ****). Черезъ недѣлю или

*) У графа А. П. Толстого было два брата: Алексѣй Петровичъ и Иванъ Петровичъ Толстые.

**) Михаилъ Михайловичъ Вьельгорскій, сынъ графа Михаила Юрьевича и графини Луизы Карловны.

***) Груби—докторъ въ Парижѣ, гдѣ въ это время жилъ гр. Толстой.

****) Графъ Толстой собирался въ Лондонъ; Гоголь сообщалъ ему разные свѣдѣнія о жизни въ Англіи, необходимыя для путешественника, въ первый разъ предпринимающаго такую поѣздку. Свѣдѣнія эти Гоголь собиралъ у гр. М. Ю. Вьельгорскаго, ѣздившаго въ Англію.

полторы прїѣдетъ сюда Хомяковъ *), который собирался также въ Лондонъ; мнѣ бы также хотѣлось взглянуть. Хомяковъ можетъ, по моему мнѣнію, больше, чѣмъ кто-нибудь другой поговорить съ англичанами толково о православіи. Онъ въ продолженіе послѣднихъ пяти лѣтъ, какъ мы съ нимъ не видались, имѣлъ множество новыхъ диспутовъ съ раскольниками въ разныхъ мѣстахъ и вездѣ славно побѣждалъ, такъ что имя его пронеслось по Руси. Увѣдомьте меня хотя двумя словечками о графинѣ **), уѣхала ли она изъ Парижа и благополучно (ли), то-есть безъ хлопотъ, при надлежащемъ состояніи здоровья и безъ печальныхъ приключеній съ двушками ***). Отъ всей души желаю ей самага благодатнаго пути и благодатнаго прибытія на родину. Напишите ей, что я помню ея доброту и радушіе, и буду просить всѣхъ, кого ни встрѣчу во святой землѣ молящихся, помолиться о ней и о васъ вмѣстѣ. Но прощайте. Сильно желалось бы васъ обнять еще разъ въ Остенде.

Весь вашъ Г.

Скурыдину передайте поклонъ.

1847. Неаполь. Февраля 6.

Давно уже я не писалъ къ вамъ, добрый мой Александръ Петровичъ. Случилось это, во первыхъ, оттого, что было много всякихъ заботъ, а во вторыхъ оттого, что просто не писалось и не находилось о чемъ писать. По дѣламъ моимъ относительно книги ****) произошла въ Петербургѣ страшная безтолковщина. Образовалось что-то въ родѣ демонскаго возстанія къ тому, чтобы воспрепятствовать ея выходу. Какія-то таинственныя партіи европейцевъ и азїатцевъ вмѣстѣ совокупились, чтобы смутить и сбить съ толку цензуру.

*) Хомяковъ Ал. Степ., близкій родственникъ поэта Языкова.

**) О графинѣ Толстой, Аннѣ Егоровнѣ.

***) При графинѣ Толстой всегда въ Россіи и за границей было много молодыхъ горничныхъ, съ которыми въ Парижѣ могли быть, конечно, несмотря на ея заботливость, разные приключенія.

****) Относительно изданія „Переписки съ друзьями“.

Вмѣсто толстой книги, вышла небольшая брошюра, которую, вѣроятно, уже вы получили, потому что я писалъ посылать къ вамъ два экземпляра. Всѣ статьи и письмо къ разнымъ чиновникамъ и должностнымъ лицамъ, по мнѣнію моему, нужнѣйшія, не пропущены. Все это однако-жъ меня не смутило, не смотря на хворость мою (ибо я опять началъ болѣть и расклеился). Всѣ непропущенныя статьи идутъ на разсмотрѣніе государя и черезъ мѣсяцъ или два на мѣсто вами полученнаго куска книги, объѣденнаго и обгрызеннаго цензурой, получите второе изданіе уже въ видѣ полной и порядочной книги. Сердце мое говоритъ мнѣ, что все обдѣлается хорошо. Государь былъ такъ милостивъ ко мнѣ и еще мѣсяцъ тому назадъ, узнавши о моемъ путешествіи, мной предпринимаемомъ, спрашивалъ съ участіемъ обо мнѣ у Мих. Юрьев. Вьельг(орскаго) и далъ приказаніе канцлеру написать во всѣ посольства, миссіи и начальства тѣхъ земель на востокъ, гдѣ ни буду проходить *), оказывать мнѣ особенное покровительство. А вы, какова ни есть моя книга въ нынѣшнемъ видѣ ея, все-таки дайте мнѣ чистосердечное и откровенное ваше мнѣніе и скажите ощущеніе ваше. Хотя сюда и не попали статьи, направленные собственно къ вамъ, но вы все-таки прочитайте ее нѣсколько разъ и что вамъ не придетъ новое по поводу ея на мысли, мнѣ передайте. Путешествіе мое, какъ вы видите, во всякомъ случаѣ должно быть отложено къ будущему году **). Теперь же лѣто мнѣ нужно будетъ полѣвиться, потому что источникъ всѣхъ недуговъ, кажется, тѣ же нервы. Можетъ быть, опять поѣду въ Остенде. Безъ сомнѣнія, мы съ вами встрѣтимся, если не тамъ, то во Франкфуртѣ, куда я въ концѣ весны или въ началѣ лѣта, а потому напишите вашъ маршрутъ. Недугъ мой состоитъ въ бессонницахъ, которыя продолжаются уже скоро два мѣсяца, въ разслабленіи тѣла, въ сыпяхъ на ногахъ, но, не смотря на все это, даже на волненія нервовъ, душа по милости Божіей пребываетъ въ спокойномъ равно-

*) Гоголь въ это время собирался совершить путешествіе въ Іерусалимъ.

**) И дѣйствительно, Гоголь, совершилъ путешествіе ко святымъ мѣстамъ не равьше начала 1848 года.

вѣси. Самая смерть Язы(кова) *) не произвела во мнѣ тревожныхъ чувствъ печали, но что-то неопредѣленное и какъ бы свѣтлое **). Какъ будто бы онъ для меня не умеръ. Прощайте! На это письмо дайте мнѣ немедленный отвѣтъ, адресуя въ Palazzferandino (sic!) обиталище доброй вашей сестрицы.'

Графинѣ мой душевный поклонъ.

Остенде. Августъ 2 ***) (1847).

Отъ васъ давно нѣтъ вѣстей, наилюбезнѣйшій мой Александръ Петровичъ. Мухановъ тоже на это жалуется. Вчера пріѣхалъ сюда вашъ племянникъ Викторъ Владиміровичъ Апраксинъ ****). Онъ поправился здоровьемъ. Вамъ надобно его узнать. Онъ очень умный и очень желающій дѣйствовать полезно. Только и думаетъ, чтобы заняться деревней, хозяйствомъ и благосостояніемъ крестьянъ. Отъ Вьельгорскихъ я получилъ на дняхъ извѣстіе. Они ѣдутъ къ 1-му сентября. Обнимаю васъ отъ всей души. Напишите хоть словечка два—или еще лучше пріѣзжайте сами. Право, люди, которые ждутъ васъ и любятъ васъ, и хотятъ васъ видѣть—не бездѣлица. Оставьте въ сторону дрянные ваши зубы *****), которые не стоятъ гроша даже и тогда, еслибы были хороши. Душа лучше зубовъ и всего на свѣтѣ.

Вашъ Г.

*) Николай Михайловичъ Лязковъ—извѣстный поэтъ и близкій пріятель Гоголя; Гоголь былъ съ нимъ во многомъ солидаренъ, а главное, сходилса къ своимъ воззрѣніямъ на литературу, поэзію и религію.

**) Въ письмѣ къ С. Т. Аксакову отъ 1844 г. 21 декабря Гоголь такъ объясняетъ свое равнодушіе къ утратамъ: „Вы меня извѣстили вдругъ о разныхъ утратахъ. Прежде утраты меня поражали больше; теперь, слава Богу, меньше. Впервыхъ, потому, что я вижу со дня на день яснѣе, что смерть не можетъ отъ насъ оторвать человѣка, котораго мы любили, а вовторыхъ потому, что некогда и грустить: жизнь такъ коротка, работы вокругъ такъ много, что дай Богъ поскорѣй запасть сколько-нибудь тѣмъ въ этой жизни, безъ чего нельзя явиться въ будущую“.

(Записки о жизни Н. В. Гоголя. Кулиша. 1858 г. т. II, 15 стр.).

***) Въ оригиналѣ ошибочно помѣчено 21 августа: по содержанію видно, что это письмо написано раньше предъидущаго.

****) Сынъ Софьи Петровны Апраксиной, урожденной гр. Толстой.

*****) Графъ А. П. страдалъ въ это время отсутствіемъ зубовъ, жаловался Гоголю на свои дурные зубы и высказывалъ намѣреніе вставить искусственные.

Остенде. Августа 14.

Увѣдомьте меня хотя двумя строчками, получили ли мое письмо отъ 2 августа, въ которомъ я извѣщалъ васъ о Вьельгорскихъ и о томъ, что они ѣдутъ въ Остенде? Увѣдомьте меня также о томъ, въ какой степени вы довольны дантистами, и владѣете ли вы хорошо тѣми зубами, которые вставлены и какъ много вы ихъ себѣ вставили? Наконецъ словечка два о вашемъ маршрутѣ. На дняхъ я получилъ письмо отъ Матвѣя Александровича *) отвѣтъ на мое (и такъ вы можете копію, находящуюся у васъ, изорвать **). Въ письмѣ этомъ многое пришлось очень кстати моему душевному состоянію. Я увѣренъ, что еслибы я умѣлъ изъяснить ему и прочее, что онъ покуда принялъ въ другомъ смыслѣ, онъ бы мнѣ и тамъ сказалъ много путнаго. Письмо это имѣло отрадно-успокоительное на меня дѣйствіе. Душа ангельская слышна въ его строкахъ. Я вѣрю, что онъ обо мнѣ молится, какъ братъ молится о братѣ, и не знаю, какъ благодарить за это Бога. За эти молитвы я обязанъ также вамъ, какъ и за многое другое ***). Но прощайте. Мысль, что проведу съ вами ползимы въ Неаполѣ и наговоримся обо всемъ, очень радостна, а покуда на это письмо хоть двѣ строчки!

Весь вашъ Н. Гоголь.

Я нѣсколько замедлилъ отвѣчать вамъ, добрыйшій Александръ Петровичъ. Вы спрашиваете о письмѣ Матвѣя Александровича: оно скорѣе длинно, чѣмъ коротко. Видно, что сердце въ немъ разговорилося и что онъ, точно какъ купецъ, радъ отъ всей души продать товаръ свой ****). Тексты, приводимые изъ Св. Писанія, показываютъ въ немъ полнаго хозяина, который знаетъ, гдѣ, въ какомъ мѣстѣ нужно что

*) Матвѣй Александровичъ Константиновскій, священникъ въ городѣ Ржевѣ. Гоголь его очень любилъ.

**) Т.-е. копію съ письма Гоголя, писаннаго къ священ. Константиновскому.

***) Еще изъ Неаполя 1847 г. Гоголь по совѣту гр. А. П. Толстого послалъ въ Ржевъ о. Матвѣю два экземпляра своей „Переписки съ друзьями“. И съ этихъ поръ начались сношенія и сближеніе Гоголя съ этимъ священникомъ.

****) Такъ характеризуетъ Гоголь письмо ржевскаго священника, писанное по поводу только-что вышедшей „Переписки съ друзьями“.

братъ. Говорить онъ о томъ, какъ всѣ мы церкви живаго Бога и должны слушаться духа въ насъ живущаго, а не земной тѣлесности нашей. Что никому изъ насъ не прожить столько, какъ мы прожили, и потому, оставивши всѣ хлопоты и вещи міра, слѣдуетъ намъ повернуться во внутреннюю жизнь. Почти половина письма пришлась мнѣ кстати, другая потому не пришлась, что онъ не въ томъ смыслѣ взялъ нѣкоторыя слова мои, но тѣмъ не менѣе и эта половина справедлива. Мнѣ чувствуется, что слѣдующее письмо, которое получу отъ него, можетъ уже прійтись цѣликомъ къ душѣ моей. Скажу, что вслѣдствіе письма его я больше осмотрѣлся и хочу снова перечитать все мною читанное для души, начиная съ Ефрема Сирина, Златоуста и Макарія Египетскаго, какъ совѣтуетъ онъ. Тѣмъ болѣе, что я замѣчалъ, что послѣ всякаго такого чтенія становится яснѣе взглядъ на Евангеліе и многія мѣста въ немъ становятся доступнѣе.—Впрочемъ обо всемъ этомъ, равно какъ и о прочемъ, поговоримъ при свиданіи. А покамѣстъ сдѣлаете не дурно и вы, если займетесь такимъ же чтеніемъ хоть по главѣ въ день, разумѣется, съ обращеніемъ на себя и припоминаніемъ себѣ всей прежней жизни своей. Вамъ станеть тоже потомъ доступнѣе Евангеліе и яснѣе всякое слово Спасителя. О дѣлахъ римскихъ и кардиналъ Вентур. не могу судить, потому что не знаю, въ какомъ именно смыслѣ разумѣеть онъ самъ сказанныя слова. Демонъ излишества такъ теперь раздуваетъ рѣчи всѣхъ, такъ всякъ почти противъ собственнаго желанія переливаетъ черезъ верхъ, что мнѣ покамѣстъ звучить въ ушахъ: не судите, да не осужденны будете. Еслибы я всю рѣчь прочелъ, тогда, можетъ быть, что-нибудь сьумѣлъ сказать.

О Вьельгорскихъ не могу сказать, когда будутъ. Кажется, не раньше 1-го сентября. Стало-быть графиня Анна Егорьевна *) можетъ ихъ встрѣтить еще, проѣзжая Франкфуртъ. О племянникѣ **) вашемъ я подумалъ ***), потому что

*) А. Г., жена графа А. П. Толстого.

**) Викторъ Владиміровичъ Апраксинъ.

***) Гоголь въ предшествующемъ письмѣ писалъ, что въ Остенде пріѣхало

въ немъ есть большая ревность къ хозяйству и забота объ устроении судьбы крестьянъ. Вотъ почему мнѣ подумалось о томъ, что ему нужна была бы умная помощница въ такомъ дѣлѣ. Вообще же насчетъ женитьбы я думаю, что тѣмъ, которые ѣздятъ на воды, не слѣдуетъ вступать въ бракъ, а лучше бы подумать о томъ, какъ служить Богу, предоставивъ браки тѣмъ, которые здоровы и еще годятся на расплодъ. Я уже вамъ писалъ, что мнѣ стало лучше еще до приниманья порошковъ, тѣмъ не менѣе я сталъ принимать порошки *). Теперь началъ принимать второй номеръ, — что будетъ отъ этого, не знаю. Немножко было вновь началось бурчанье около сердца, но теперь прошло. Зато, мнѣ кажется, стали больше охладѣвать оконечности, то-есть руки и ноги.

Мухановъ мнѣ сказывалъ, что васъ смущаетъ множество русскихъ, наѣхавшихъ въ вашу гостиницу, въ числѣ которыхъ находится даже и литераторъ Бѣлинскій. Кстати о Бѣлинскомъ: я получилъ отъ него недавно письмо **), которое, по словамъ его, само просилось вслѣдствіе моего приглашенія всемъ говорить мнѣ правду. Письмо дѣйствительно чистосердечное и съ тѣмъ вмѣстѣ изумительное увѣренностью въ непремѣнность своихъ убѣжденій. Онъ видитъ совершенно одну сторону дѣла и не можетъ даже подумать равнодушно о томъ, что существуетъ и можетъ существовать другая сторона того же дѣла. Я написалъ ему въ от-

много знакомыхъ, между прочимъ — графиня Анна Михайловна Вьельгорская. И вотъ по этому случаю Гоголь звалъ туда же и племянника гр. Толстого, Вик. Владиміровича Апраксина. „Хорошо еслибы онъ познакомился и узналъ гр. А. М. Вьельгорскую, — прибавлялъ Гоголь. — Почему знать? можетъ-быть, они бы понравились другъ другу. У Виктора Владиміровича желанье сильное сдѣлаться помѣщикомъ и заняться, не шутя, благоустройствомъ крестьянъ. Въ такомъ случаѣ врядъ ли ему во всей Россіи найти гдѣ лучшую помѣщицу, которая дѣйствуетъ и разсуждаетъ такъ умно объ этомъ дѣлѣ, какъ я не встрѣчалъ никого изъ нашей братьи мужчинъ.“ (Соч. Гоголя изд. Кулиша. Т. VI, стр. 414).

*) Порошки были высланы гр. Толстымъ изъ Парижа по совѣту доктора Груби.

**) Извѣстное письмо В. Г. Бѣлинскаго къ Гоголю по поводу вышедшей „Переписки съ друзьями“.

вѣтъ только то, что мы всѣ еще плохо понимаемъ тѣ вещи, о которыхъ говоримъ, что прежде всего слѣдуетъ намъ излѣчить себя отъ самоувѣренности въ себѣ и торопливости выводить заключенія. Если вы встрѣтите Анненкова, того самаго, который—помните—былъ у меня въ Парижѣ при васъ, то, пожалуйста, спросите его, получилъ ли онъ мое письмо къ нему, адресованное въ poste restante вмѣстѣ съ письмомъ къ Бѣлинскому *), съ которымъ онъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Но прощайте. Тороплюсь отправить и царапаю такъ, что вы едва ли прочтете. Хомякова до сихъ поръ еще нѣтъ изъ Лондона.

Графинѣ душевный поклонъ.

Вашъ Н. Г.

Неаполь. Ноября 24 (1847).

Спѣшу къ вамъ написать нѣсколько строчекъ изъ Неаполя, куда я прибылъ благополучно хотя послѣ долгаго странствованія **). Въ Неаполѣ такъ прекрасно и тепло, въ душѣ моей стало такъ пріятно и свѣтло здѣсь, что я не сомнѣваюсь, что и съ вами будетъ то же, если вы сюда заглянете. Какъ вы обрадуете вашу сестрицу ***) своимъ пріѣздомъ! Русскихъ здѣсь почти ни души, покойно и тепло, какъ нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Солнце просто грѣетъ душу, не только что тѣло. Какая разница даже съ Римомъ, не только съ Парижемъ. Изъ Петербурга я еще не имѣю никакихъ извѣстій и писемъ, но это меня ни чуть не смущаетъ; душа моя глядитъ свѣтло впередъ, все будетъ прекрасно, потому что все будетъ такъ, какъ угодно Богу, а Богу угодно только что прекрасно и что въ добро(й) душѣ нашей. Вашей племянницѣ, Нат(альѣ) Влад(иміровнѣ ****), гораздо лучше противъ того состоянія, въ которомъ я видѣлъ ее въ Римѣ.

*) Эти слова уничтожаютъ существовавшее сомнѣніе о томъ, былъ ли написанный Гоголемъ отвѣтъ на извѣстное письмо Бѣлинскаго отосланъ къ Виссаріону Григорьевичу.

**) Гоголь до пріѣзда въ Неаполь ѣздилъ по разнымъ мѣстечкамъ сѣверной Европы.

***) Софья Петровна Апраксина, урожденная графиня Толстал.

****) Дочь Софьи Петровны Апраксиной.

Воздухъ ее цѣлить видимо. Напишите мнѣ слова два объ Иванѣ Петровичѣ *). Я полагалъ, что уже найду его здѣсь, о немъ беспокоился. Усердный поклонъ графинѣ. Ради Бога не забудьте написать отвѣтъ на это письмо, немедленно, и объявите о себѣ все, что ни случается съ вами теперь. Изъ Франкфурта я писалъ къ вамъ письмо; не знаю, получили ли. Ваше письмо съ приложеніемъ письма Иконникова пришло ко мнѣ весьма странно въ ту минуту, когда я садился въ дорогу. Вы говорите, можетъ быть оно будетъ мнѣ кстати. Я не понялъ, въ какомъ смыслѣ. Иконниковъ вамъ отсовѣтываетъ въ немъ пускаться въ дальнюю дорогу **). Не есть ли это также и ваша мысль? Не хотѣли ли также и вы сказать мнѣ этимъ, что мнѣ теперь еще не слѣдуетъ пускаться въ Іерусалимъ? Какъ бы то ни было, но обстоятельства такъ устроятся, что, можетъ быть, поѣздъ мой точно на нѣсколько времени отдалится ***). Еще страннѣе, что почти со всѣми тѣми людьми, которые подобно мнѣ хотѣли ѣхать въ этомъ году, случились непредвидѣнныя задержки, иные даже возвратились съ дороги. Во всякомъ случаѣ я никакъ не руководствуюсь въ этомъ дѣлѣ собственной волей и не иду упрямо наперекоръ всему, но жду указаній Божіихъ, которыя мнѣ проявятся въ попутномъ ходѣ всѣхъ споспѣшествующихъ къ моему путешествію обстоятельствъ. Знаю только то, что будетъ въ нѣсколько (разъ) лучше то, что придумаетъ воля Божія, а поглядѣвши на себя пристально, видишь въ то же время, что еще далеко не готовъ къ этому путешествію и что несравненно нужно сдѣлать больше того, что сдѣлалъ я для того, чтобы ѣхать съ совѣстью покойной въ этотъ путь. Божья милость дала мнѣ силу уже сдѣлать одно, чего я и не думалъ сдѣлать при моемъ безсиліи и тѣлесномъ, и душевномъ, вѣрю, что дастъ она уже мнѣ силу сдѣлать и другое, которое болѣе подвинетъ впередъ, т.-е. къ

*) Иванъ Петровичъ, родной братъ графа Александра Петровича Толстого.

**) Гоголь надѣялся, что графъ Толстой вмѣстѣ съ нимъ поѣдетъ въ Старый Іерусалимъ.

***) Мы уже напоминали, что отъѣздъ Гоголя къ святымъ мѣстамъ отдаленся къ началу 1848 года.

готовности въ дорогу. Но до слѣдующаго письма! Прощайте, не позабудьте отвѣчать.

Весь вашъ Г.

Августъ 20. Д. Васильевка (1850).

Благодарю васъ много, добрыйшій Александръ Петровичъ, за ваше обстоятельное и любопытное письмо. Всѣ извѣстія, вами сообщенныя, были для меня очень интересны. Очень бы я хотѣлъ взглянуть на сочиненіе Neali. Стыдъ однако же нашему духовенству, если она не будетъ скоро переведена на русскій языкъ. Историческія разысканія о такомъ важномъ предметѣ особенно полезны молодымъ священникамъ, заставляя ихъ нечувствительно пристращаться къ своему дѣлу, прежде чѣмъ собственныя душевныя бури и событія заставляютъ почувствовать всю святость своего званія. Книгу эту слѣдовало бы даже издать великолѣпно такъ, чтобы и самыя гаэры почувствовали, что это должно быть что-то важное.

Очень жалѣю, что не попалось мнѣ также въ руки русское сочиненіе о служеніи и чиноположеніи православной церкви съ планами. Не знаю, отыщу ли ее въ Одессѣ. Жаль, если Пальмеръ не напишетъ своего путешествія по Востоку. Это была бы нужная книга. Подъ этимъ именемъ можно многое сказать въ уши тѣмъ, которые не читаютъ книгъ подъ другими заглавіями. 2-го тома Святогорцевъ я также не имѣю и надѣюсь отыскать въ Одессѣ. Отъ Стурдзы *) я получилъ на дняхъ весьма милое и дружелюбное письмо съ гостепріимнымъ зазывомъ въ Одессу. Еслибы Одесса была хоть сколько-нибудь похожа климатомъ на Неаполь, разумѣется, я и не подумалъ бы о выѣздѣ за границу. Но головѣ и тѣлу моему необходимъ—и особенно во время работы—благорастворенный воздухъ и ненатопленное тепло, а мнѣ нужно всю эту зиму поработать хорошо, чтобы приготовить второй томъ къ печати **), приведя его окончательно къ концу. Покуда слава Богу дѣло идетъ еще

*) Пріятель Гоголя, жившій въ Одессѣ.

**) Т.-е. второй томъ „Мертвыхъ душъ“.

недурно. Когда я передъ отъѣздомъ изъ Москвы прочелъ нѣкоторымъ изъ тѣхъ, которымъ *) знакомы были, какъ и вамъ, двѣ первыя главы, оказалось, что послѣдующія сильнѣй первыхъ, и жизнь раскрывается чѣмъ далѣ—глубже. Стало быть, не смотря на то, что старѣю и хирѣю, тѣ же силы умственныя, слава Богу, еще свѣжи. А при всемъ никакъ не могу быть увѣренъ за работой. Если не поможетъ Богъ, ничего не выйдетъ. Никогда еще не чувствовалъ такъ ясно, какъ теперь, что за всякой строкой слѣдуетъ взывать: Господи, помилуй и помоги! Если паче чаянія не выйду изъ Одессы за границу, а поворочу въ южный Крымъ, то увидимся раньше. Но во всякомъ случаѣ вѣрнѣе то, что въ Москвѣ буду весной. Впрочемъ все будетъ такъ, какъ распорядит(ся) Богъ. До 15-го числа сентября адресуйте въ Полтаву, а послѣ въ Одессу.

Затѣмъ вашъ весь Н. Гоголь:

*) Передъ отъѣздомъ изъ Москвы Гоголь въ этотъ разъ прочелъ семь главъ изъ II т. „Мертвыхъ душъ“ С. П. Шевиреву и А. О. Смирновой („Исторія моего знакомства съ Н. В. Гоголемъ“, С. Т. Аксакова).

На озерѣ.

Волны стремятся чредой непрерывною,
Къ дальнимъ идутъ берегамъ,
Пѣсню лепечуть таинственно-дивную,
Но непонятную намъ!..

* *
*

Въ пѣснѣ той чудится голосъ минувшаго
Горя, трудовъ и борьбы,
Отзвуки счастья, внезапно блеснувшаго,
Гуль возбужденной толпы.

* *
*

Вѣкъ богатырства съ тоскою глубокою
Вспомнила въ пѣснѣ волна.
Шепчетъ про битвы и древность далекую,
Шепчетъ о славѣ она.

* *
*

И, пораженной тоскою невольною,
Вспомнилось ей, какъ вдали
Шумно сходило на пѣснь колокольную
Вѣче родимой земли.

* *
*

Старые годы, бывлыя сраженія,
Дни торжества и невзгодъ,—
Все, что умчало столѣтій теченіе,
Въ пѣснѣ волны не замреть.

* *
*

Но не къ былому лишь, славному времени
Насъ переносить волна,—
Гордо слагаетъ могучему племени
Пѣснь о грядущемъ она.

* *

Грезится слава ей, сила народная,
Грезятся чудные сны,
Шепчетъ о будущемъ влага свободная
Въ лепетѣ смутномъ волны...

* *

Волны стремятся чредой непрерывною,
Къ дальнимъ идутъ берегамъ,
Пѣсню лепечутъ таинственно-дивную,
Но непонятную намъ!..

Ю. В—скій.

Отрывки изъ старой переписки

съ поясненіями Алексѣя Веселовскаго.

„Я получилъ вчера любопытнѣйшее письмо отъ Салтыкова. Вотъ я сейчасъ его вамъ покажу“, — и, прищуривая глаза, Юрьевъ пытался разглядѣть, не лежитъ ли гдѣ-нибудь среди вороха бумагъ, газетъ, корректуръ и книгъ желанный почтовый листочекъ. Конечно, онъ, какъ на зло, не подвертывался подъ руку. Тогда начиналось выдвиганіе многочисленныхъ ящиковъ стола, и все съ тѣмъ же результатомъ. „Ну, да я найду его непременно“, говорилъ С. А., — и зная, что къ этой заключительной фразѣ сведется дѣло, бывало остановишь поиски въ самомъ началѣ просьбой показать письмо „въ другой разъ“, тѣмъ болѣе, что содержаніе его тутъ же прекрасно передавалось по памяти.

Переписываться прежде любили гораздо больше нашего, но не всегда умѣли сберегать письма, этотъ любопытный матеріалъ для характеристики людей и времени. Въ этомъ былъ повиненъ и С. А. Писалъ онъ множеству лицъ, столько же отвѣтовъ получалъ отъ нихъ, а оставшаяся послѣ него корреспонденція далеко не охватываетъ всѣхъ его сношеній. Не сохранилось наприм. слѣдовъ его близости къ старшимъ славянофиламъ въ пятидесятыхъ годахъ, нѣтъ переписки съ нимъ чешскихъ политическихъ дѣятелей, слишкомъ мало писемъ отъ лицъ, съ которыми онъ былъ близокъ до самой смерти.

Но и пересматривая то, что уцѣлѣло и образуетъ нѣсколько связокъ, подобранныхъ теперь по именамъ корреспондентовъ, получаешь въ извѣстной степени наглядное представленіе и о характерѣ отношеній Юрьева къ нимъ, и объ нихъ самихъ.

Вотъ нѣсколько записокъ, выдѣляющихся крупнымъ, почти дѣтскимъ почеркомъ, дружескихъ по тону, незамысловатыхъ по содержанію и только разъ покидающихъ этотъ складъ для запутаннаго оправданія, почему новый романъ отданъ не въ юрьевскій журналъ, а въ „Огонекъ“,—это рука Писемскаго. Многочисленныя, всѣхъ цвѣтовъ и форматовъ, записочки и посланія Гилярова-Платонова воспроизводятъ многолѣтнія сношенія обоихъ пріятелей, переписывавшихся обо всемъ, о вчерашней передовой статьѣ, о прочитанной книгѣ, о разговорѣ не доведенномъ наканунѣ до конца, о вопросахъ философіи и политики. Юрьевъ иногда бывалъ раздраженъ статьёй Гилярова въ „Современныхъ Извѣстіяхъ“ и, очевидно, подъ первымъ же впечатлѣніемъ писалъ ему обширное письмо съ рѣзкимъ разборомъ его мнѣній; отвѣтъ шагъ за шагомъ отражаетъ обвиненія и порою переходитъ въ тонъ интимной *profession de foi*. Иной разъ, напротивъ, изъ нѣсколькихъ словъ гиляровской записочки видно, что онъ только-что получилъ отъ Юрьева посланіе, полное сочувствія и благодарности, одно изъ тѣхъ ласковыхъ писемъ, которыя производили впечатлѣніе крѣпкаго дружескаго рукопожатія.

Много писемъ Н. А. Чаева, давнишняго друга Юрьева; облеченныя въ прихотливую форму, то въ прозѣ, то въ стихахъ, они отъ патетическаго тона переходятъ къ шутливому, отъ мистическихъ толкованій „вселенской истины“ къ мѣткому сужденію о дѣлахъ и людяхъ нашего времени; въ нихъ послѣдовательно выступаютъ литературные замыслы автора,—сборы его къ историческимъ пьесамъ, для которыхъ онъ съ увлеченіемъ изучалъ старину,—зарожденіе и развитіе его романовъ, непродолжительная дѣятельность въ театральномъ управленіи, гдѣ ему предстояло замѣнить Островскаго.

Удѣляло лишь нѣсколько писемъ гр. Л. Н. Толстого; личныя и письменныя сношенія Юрьева съ нимъ начались, сколько мнѣ извѣстно, со временъ *Бесѣды*, гдѣ помѣщенъ былъ рассказъ „Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ“. Къ той же порѣ относилось сближеніе С. А. съ профессоромъ А. Градовскимъ; въ ихъ перепискѣ обсуждались одинаково волновавшіе обоихъ національный вопросъ, задачи иностранной политики, социальныя нужды; это, очевидно, было про-

долженіемъ и развитіемъ того, что высказывалъ Градовскій въ своихъ статьяхъ, считавшійся въ нихъ съ условіями печати, на письмѣ же непринужденно высказывавшійся. Для его біографа они могли бы послужить любопытнымъ матеріаломъ, отражая въ себѣ послѣдовательные переходы во взглядахъ и мучительное исканіе истины.

Съ И. С. Тургеневымъ Юрьевъ увидался въ первый разъ, когда Тургеневъ проѣзжалъ черезъ Москву подъ свѣжимъ еще впечатлѣніемъ разгрома Франціи въ прусскую войну и потянувшагося вслѣдъ затѣмъ безцвѣтнаго режима Тьера и Макъ-Магона. Юрьевъ, конечно, поспѣшилъ завести разговоръ о судьбѣ Франціи и потомъ передавалъ мнѣ, какое болѣзненное впечатлѣніе произвелъ на него безнадежный пессимизмъ, съ которымъ тогда Тургеневъ смотрѣлъ на будущность французскаго народа. Нечего и говорить, что С. А. принялъ подъ свою защиту французовъ, много и горячо ратовалъ въ этотъ вечеръ за нихъ.

Потомъ сношенія съ Тургеневымъ возобновились передъ изданіемъ „Русской Мысли“; при содѣйствіи М. М. Ковалевскаго предполагалось привлечь его къ сотрудничеству въ журналѣ. И. С. отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ:

Bougival. Les Frénes. Chalet.

(Seine et Oise).

Воскресеніе $\frac{2}{21}$ ^{полб.} _{окт.} 79.

Многоуважаемый С. А. Спѣшу отвѣтить на ваше любезное письмо. Общій нашъ пріятель Ковалевскій вѣроятно не такъ меня понималъ: вотъ уже скоро три года, какъ я не писалъ ни одной строчки, за исключеніемъ небольшого отрывка изъ моихъ „литературныхъ и житейскихъ воспоминаній“, подъ заглавіемъ „Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ“, который появится въ первомъ томѣ новаго (Салаевскаго) изданія моихъ сочиненій.—Два, три сюжета вертятся у меня въ головѣ, но не вышли оттуда и врядъ ли выйдутъ.—Пожалуйста, вѣрьте мнѣ: я слишкомъ уважаю васъ, чтобъ говорить что-нибудь противное истинѣ. Я очень обрадовался, когда узналъ, что вы становитесь во главѣ новаго журнала, и душевно былъ

бы радъ содѣйствовать, по мѣрѣ силъ, его успѣху, такъ какъ заранѣе увѣренъ въ его честности и дѣльности... но что же дѣлать, когда мошна пуста, хотъ встряси!—Продолжительное литературное бездѣйствіе сдѣлало то, что мнѣ теперь даже какъ-то дико браться за перо, чтобъ *сочинить* что нибудь. Могу только завѣрить васъ въ одномъ: еслибы, паче чаянія, у меня вышло что-нибудь достойное вашего журнала, я съ величайшею готовностью предоставляю эту вещь вамъ—и даже постараюсь заставить себя приняться за работу: но больше этого ничего обѣщать не въ состояніи.— Вотъ вамъ послѣднее доказательство справедливости моихъ словъ,—если только вы въ этомъ нуждаетесь: „Вѣстникъ Европы“, съ которымъ я болѣе 8 лѣтъ нахожусь въ постоянныхъ и близкихъ сношеніяхъ, *ничего не ждетъ отъ меня* и ничего уже и не спрашиваетъ.

Нынѣшней зимой я прибуду въ Россію,—и конечно увижу васъ въ Москвѣ.

А до тѣхъ поръ желаю вамъ всего хорошаго—и какъ чело-вѣчку и какъ издателю—и дружески жму вашу руку. Преданный вамъ Ив. Т.

Р. S. Прошу васъ передать Ковалевскому, что онъ на дняхъ получитъ отъ меня письмо о памятникѣ Гоголю.

Дѣйствительно, они часто видѣлись и слѣдующей зимой, и въ началѣ лѣта, когда Юрьевъ весь отдался приготовленіямъ къ пушкинскимъ празднествамъ. Слѣдующія три письма носятъ слѣды этихъ приготовленій. Тургеневъ занятъ былъ составленіемъ своей рѣчи, которую, по первоначальному замыслу Сергѣя Андреевича, вмѣстѣ съ другими важнѣйшими рѣчами, предполагалось напечатать въ большомъ количествѣ экземпляровъ и бесплатно раздавать на память о торжествѣ, для объясненія народной массѣ его значенія. Первое письмо имѣетъ въ виду именно эту часть праздничной программы.

С. Спасское-Лутовиново. (Орловской губ. г. Мценскъ).

Суббота, 11-го мая 1880.

Любезнѣйшій Сергѣй Андреевичъ, я вчера кончилъ свою рѣчь, сегодня принялся ее переписывать, а во вторникъ

перешлю ее къ вамъ.—Изъ первыхъ же словъ вы убѣдитесь, что эта вещь немыслимая для народнаго чтенія—и слѣд. для бесплатнаго изданія и т. п. Но, прочтя ее съ часами въ рукахъ, я съ ужасомъ увидалъ, что она продолжается 30 минутъ, а потому, такъ какъ ни одна публика этого не вынесетъ, да и надо же оставить мѣсто другимъ, то я и сдѣлалъ вырѣзы на цѣлыхъ 10 минутъ, которые и обвелъ карандашомъ. Вы ихъ просмотрите, и когда мы свидимся 23-го утромъ,—то мы и рѣшимъ дѣло: можетъ быть, вы укажете на другія мѣста, а эти сохраните... Объ этомъ мы обо всемъ потолкуемъ. А что это вышло—Господь знаетъ! Не очень-то я способенъ къ такимъ обобщеніямъ.

Жму дружески вашу руку и до свиданія. Вашъ И. Т.

P. S. Прошу васъ оставить мнѣ 2 мѣста на чтеніи, если возможно.

Спасское-Лутовиново. Суббота, 17-го мая 80.

Любезнѣйшій С. А.! Посылаю вамъ при семъ мою рѣчь. Позволяю себѣ просить васъ имѣть ее въ сохранности, ибо у меня другаго списка нѣтъ; а также не читать ея иначе какъ en petit comité—и не давать списывать ни въ цѣломъ, ни по частямъ, такъ какъ она обѣщана „Вѣстнику Европы“, гдѣ появится 1-го іюня.

Что же касается до весьма для меня лестныхъ возраженій, сдѣланныхъ вами въ вашемъ письмѣ на счетъ сокращеній, то я полагалъ—вы сами найдете нѣкоторыя изъ обведенныхъ карандашомъ мѣстъ неудобными; во всякомъ случаѣ я придерживаюсь той мысли, что 20 минутъ цифра почтенная—и что не надо рисковать утомить публику; впрочемъ мы еще успѣемъ объ этомъ потолковать.

Будьте такъ добры, напишите мнѣ, въ какой именно день мнѣ придется читать; если только 27-го или 28-го, то я могу остаться здѣсь до субботы 24-го. У меня здѣсь дѣла. Если же я читаю 25-го, то я выѣду 23-го.

Извѣстите также о полученіи этого письма.

До скорого свиданія, жму вамъ крѣпко руку и остаюсь преданный вамъ И. Т.

Спасское-Лутовиново, среда, 21-го мая 1880.

Многоуважаемый С. А.! Я выезжаю отсюда въ субботу 24-го утромъ (раньше было невозможно)—и къ 7 часамъ вечеромъ я въ Москвѣ, у Маслова, въ Удѣльной Конторѣ.—Я получилъ здѣсь письма отъ В. Гюго, Теннисона и Ауербаха, которыя привезу съ собою.—Не будете ли вы такъ любезны и не прѣдете ли въ субботу вечеромъ къ Маслову, чтобы намъ сговориться? (я бы вамъ тогда и письма вручилъ). Я также получилъ письмо отъ И. О. Золотарева, котораго Славянскій комитетъ въ С.-Петербургѣ назначилъ депутатомъ вмѣстѣ съ Достоевскимъ.—Онъ бы желалъ получить приглашительные билеты на самое открытіе памятника и всѣ имѣющія быть собранія, а также на обѣды. Всѣ обращаются ко мнѣ за этимъ. Полагаю, что, какъ депутатъ, онъ все это получить.

До скораго свиданія. Жму вамъ дружески руку. Преданный вамъ И. Т.

Слишкомъ два года отдѣляютъ эти письма отъ послѣдняго и самого замѣчательнаго. Оно включено въ „Первое собраніе писемъ Тургенева“, но такъ характеризуетъ отношенія И. С. къ Юрьеву, что мы приводимъ его вполнѣ, съ подлинника, въ которомъ кое-что, къ тому же, было очевидно неразобрано. Въ первыхъ письмахъ отражалась веселая суетливость и возбужденность праздничнаго кануна,—оно же писано больнымъ, осужденнымъ на затворничество, уже близкимъ къ смерти и сознающимъ это. Гуманная натура Тургенева и его любовь къ Россіи живо сказались въ этомъ письмѣ. На Юрьева оно произвело большое впечатлѣніе.

Парижъ. 50, rue de Douai.

¹⁴/₂₆-го дек. 82.

Многоуважаемый С. А.! Отъ времени до времени я порывался написать вамъ слова два, памятуя наши добрыя московскія отношенія...да такъ и остался при одномъ намѣреніи. Болѣзнь моя—и пр. и пр. мнѣ помѣшали. Вотъ теперь наконецъ пишу вамъ... Кстати у меня есть до васъ просьба. Начну прямо съ нея.—Вы на дняхъ получите рукописный, впрочемъ,

очень хорошо сдѣланный переводъ одной повѣсти П. Гейзе—*Getheiltes Herz*.—Вамъ вовсе не нужно помѣщать ее въ „Русской Мысли“, если она вамъ не приглянется; но напишите мнѣ, что вы ее приняли и *со временемъ* помѣстите и даже готовы деньги выслать впередъ... Все это придумано мною для одного здѣсь живущаго Русскаго, который лежитъ въ больницѣ, не только какъ неизлѣчимый, но какъ умирающій... онъ и 6 недѣль не проживетъ.—Денегъ у него, разумѣется, ни гроша, а онъ гордъ (вообще онъ очень хорошій человѣкъ) и никакого вспомошествованія не принимаетъ.—Вотъ я и придумалъ эту *pia fraus*; деньги я ему выдамъ какъ будто полученные за переводъ; но вы пожалуйста, съ своей стороны, не выдайте меня и согласитесь разыграть роль въ этой маленькой и печальной комедіи. — Напишите, что вы даете 200 *франковъ*.—Вполнѣ надѣясь на ваше доброе сердце, я придумалъ это средство ужъ точно „*in extremis*“.—Самую же повѣсть вамъ, можетъ быть, удастся куда-нибудь помѣстить; но дѣло, какъ видите, вовсе не въ этомъ, а въ возможности доставить деньги умирающему.

Я подписался на вашу „Русскую Мысль“; но, по глупости, распорядился такъ, что буду получать ее только съ будущаго года.—Я много слышалъ о ней хорошаго; да вы и не можете стоять во главѣ нехорошаго журнала.

Дайте мнѣ о себѣ вѣсточку.

Что касается до меня, то я едва ли не похеренный человѣкъ.—Недугъ мой оказывается неизлечимымъ—и состоитъ въ невозможности ходить или стоять. Когда я лежу или сижу, то болѣй почти цѣтъ—и спать я могу; но чуть только приведу себя въ перпендикулярное положеніе, въ груди и въ плечѣ просыпаются боли очень несносныя, въ родѣ зубной. Эта мерзость называется: *angina pectoralis nervosa*;—и по медицинскимъ учебникамъ относится къ разряду *morborum incurabilium*, что я могу подтвердить собственнымъ опытомъ—и съ чѣмъ я, впрочемъ, совершенно примирился.—Только мучить меня мысль, что я, пожалуй, не увижу больше Россіи.

А впрочемъ—довольно о семъ. Будьте здоровы, поклонитесь всѣмъ знакомымъ и отвѣтите мнѣ. Крепко жму вамъ руку. Преданный вамъ Ив. Тургеневъ.

Сношенія С. А. съ Достоевскимъ начались во время изда-
нія *Бесѣды*. Юрьевъ обратился къ нему съ письмомъ, пригла-
шая къ сотрудничеству. Но, несмотря на то, что Достоевскій
любезно отвѣтилъ на этотъ вызовъ, и, кажется, свидѣлся
потомъ съ С. А., въ послѣдствіи онъ самъ не могъ уже
припомнить ни одной подробности этого ранняго періода
своихъ сношеній съ Юрьевымъ. Все сгладилось въ сла-
бѣвшей постепенно памяти автора „Преступленія и Нака-
занія“. Сношенія возобновились лѣтомъ 1878 года, когда и
къ Достоевскому послано было приглашеніе участвовать въ
„Русск. Мысли“. Затѣмъ пушкинскія празднества, во время
которыхъ Достоевскій произнесъ рѣчь, произведшую сильное
впечатлѣніе, дали новый поводъ сначала къ перепискѣ, по-
томъ и къ личнымъ свиданіямъ. Не разъ бесѣдовали они въ
Москвѣ объ общихъ вопросахъ, и Юрьевъ долго вспоминалъ
объ одномъ изъ такихъ разговоровъ, сочувствуя многому
изъ того, что говорилъ его гость, но удивляясь болѣзненной
туманности нѣкоторыхъ его взглядовъ.

Сохранилось только четыре письма Достоевскаго; если
три изъ нихъ преимущественно дѣловыя, за то одно особен-
но любопытно въ автобіографическомъ отношеніи.

Петербургъ, 27 октября 1871 г.

Милостивый государь Сергѣй А—чъ. Извините, во пер-
выхъ, что, не зная вашего отчества, ограничиваюсь буквою.
Справиться въ настоящую минуту не у кого, а замедлить
отвѣтомъ не хочу.—Вчера, зайдя случайно въ магазинъ Ба-
зунова, получилъ письмо ваше отъ 14 октября. Еслибъ не
зашелъ, то пролежало бы у Базунова сколько угодно, хотя
имъ и извѣстенъ мой адресъ.

Спѣшу отвѣтить вамъ по порядку. Письма вашего ко мнѣ
въ Дрезденъ я не получалъ совсѣмъ и вчера только въ пер-
вый разъ узналъ отъ васъ, что вы мнѣ уже писали.—Быть
сотрудникомъ вашего журнала считаю за большое удоволь-
ствіе, а обращеніе ваше ко мнѣ съ приглашеніемъ сотру-
дничества—весьма для себя лестнымъ. Но въ настоящую ми-
нуту я весь занятъ работою въ Русскомъ Вѣстникѣ и до
окончанія этой работы долженъ отказать себѣ въ удоволь-
ствіи прислать повѣсть въ прекрасный журналъ вашъ, ко-

торый доставилъ мнѣ много пріятныхъ часовъ. Если и не соглашаешься иной разъ съ иными приводимыми мыслями (впрочемъ, очень рѣдко), то все-таки всякую статью читаешь съ любопытствомъ, а инныя статьи обратили на себя вниманіе всеобщее и запомнятся.

Пишу для того, что вы сами, въ письмѣ вашемъ, какъ бы поощряете меня высказать мое мнѣніе. Оно искренно и каждую книгу Бесѣды, передъ появленіемъ ея, я (да и всѣ) ожидаю съ большимъ любопытствомъ.

Къ Рождеству я, можетъ быть, буду въ Москвѣ и въ такомъ случаѣ надѣюсь лично засвидѣтельствовать вамъ мое уваженіе.

Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь быть, м. г., вашимъ покорнѣйшимъ слугою, Ѳеодоръ Достоевскій.

Адресъ мой: С.-П.-бургъ, Серпуховская улица, домъ № 15.

Старая Русса, 11-го іюля 78.

М. Г. Сергѣй Андреевичъ! Я получилъ ваше письмо третьяго дня, 9 іюля. Я узналъ васъ и сталъ васъ уважать съ того времени, какъ начала издаваться редактированная вами „Бесѣда“. Съ тѣхъ поръ я слышалъ отъ нѣкоторыхъ, что и вы отзывались обо мнѣ съ симпатіей. Я очень бы радъ былъ съ вами познакомиться лично. Въ письмѣ вашемъ прочелъ выраженіе, что я сохранилъ о васъ мое мнѣніе, „несмотря на то, что мы съ Вами такъ давно уже не видѣлись“. Но развѣ мы съ вами когда-нибудь видѣлись и были лично знакомы? Вы не повѣрите, какъ часто подобныя напоминанія тяжело на меня дѣйствуютъ. Дѣло въ томъ, что у меня, уже двадцать пять лѣтъ, падучая болѣзнь, приобрѣтенная въ Сибири. Эта болѣзнь отняла у меня мало-помалу память на лица и на событія до такой степени, что я (буквально) забылъ даже всѣ сюжеты и подробности моихъ романовъ, и такъ какъ иные не перечитывалъ съ тѣхъ поръ, какъ они напечатаны, то они остаются мнѣ буквально неизвѣстны. И потому не разсердитесь, что я забылъ тѣ обстоятельства и то время, когда мы были знакомы и когда встрѣчались съ вами. Со мной это часто бываетъ и относительно другихъ

лицъ. Если будете столь любезны, напомните мнѣ, хотя бы когда при случаѣ, о времени и обстоятельствахъ нашего прежняго знакомства.

На счетъ моего романа, вотъ вамъ вся полная истина, въ отвѣтъ на ваше лестное приглашеніе:

Романъ *) я началъ и пишу, но онъ далеко не доконченъ, онъ только-что начать. И всегда у меня такъ было; я начинаю длинный романъ (NB. форма моихъ романовъ 40—45 листовъ) съ середины лѣта и довожу его почти до половины къ новому году, когда обыкновенно является въ томъ или другомъ журналѣ, съ января, первая часть. За тѣмъ печатаю романъ съ нѣкоторыми перерывами въ томъ журналѣ, весь годъ до декабря включительно, и всегда кончаю въ томъ году, въ которомъ началось печатаніе. До сихъ поръ еще не было примѣра перенесенія романа въ другой годъ изданія.

Когда я послѣ долгаго сотрудничества въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ напечаталъ мой романъ „Подростокъ“ у Некрасова, по предложенію послѣдняго, хотя ждалъ этого романа „Р. Вѣстникъ“,—я увѣдомилъ М. Н. Каткова, что все-таки считаю себя преимущественно его сотрудникомъ. Вотъ почему на счетъ теперешняго романа *уже вошелъ* въ сношеніе съ Мих. Никифоровичемъ и даже взялъ изъ ихъ редакціи 2000 руб. впередъ (какъ и всегда прежде бралъ впередъ). Тѣмъ не менѣе о романѣ моемъ мы съ нимъ окончательно не рѣшили, по причинамъ, которыя, по подробностямъ ихъ, трудно умѣстить въ письмѣ, но которыя, въ сущности ихъ, заключаются въ обстоятельствахъ постороннихъ, до литературной сущности романа не относящихся, но могущихъ случиться и быть разъясненными лишь въ концѣ сентября или въ октябрѣ сего 1878 года.

Такимъ образомъ я и могу дать вамъ совершенно точный отвѣтъ на ваше предложеніе помѣстить мой романъ въ „Русской Думѣ“ лишь въ октябрѣ мѣсяцѣ, если сами вы къ тому времени будете находиться въ Москвѣ. Тогда именно объяснится, *иде* я буду печатать мой романъ.

Что же касается до „Русск. Думы“, то извѣстіе объ ея

*) Вѣроятно, „Братья Карамазовы“.

началъ я принялъ съ чрезвычайнымъ и искреннимъ сочувствіемъ, помня „Бесѣду“, и всегда буду считать для себя лестнымъ ей по мѣрѣ силъ служить.

Если найдете нужнымъ меня о чемъ нибудь увѣдомить, то я до 25-го августа здѣсь въ Старой Руссѣ.

Петербургъ, Апрѣля 9-го 1880.

Глубокоуважаемый С. А. Я дѣйствительно здѣсь громко говорилъ, что ко дню открытія памятника Пушкина нужна серьезная о немъ (Пушкинѣ) статья въ печати. И даже *мечталъ*, въ случаѣ еслибъ возможно мнѣ было пріѣхать ко дню открытія въ Москву, — *сказать* о немъ нѣсколько словъ, но изустно, въ видѣ рѣчи, предполагая, что *рѣчи* въ день открытія непременно въ Москвѣ будутъ (въ своихъ мѣстахъ) произнесены. Но въ настоящее время я такъ связанъ моею нескончаемою работой по роману, который печатаю въ Р. Вѣстникѣ, что врядъ ли найду сколько-нибудь времени, чтобы написать что-нибудь. Написать же — не то, что сказать. О Пушкинѣ нужно написать что-нибудь вѣское и существенное. Статья не можетъ уместиться на немногихъ страницахъ, а потому потребуетъ времени, котораго у меня рѣшительно нѣтъ. Впослѣдствіи можетъ быть. Во всякомъ случаѣ ничего не въ состояніи, къ чрезвычайному сожалѣнію моему, обѣщать положительно. Все будетъ зависѣть отъ времени и обстоятельствъ, и *если возможно будетъ*, то и на майскую книжку Р. Мысли пришлю. Журналъ вашъ читаю съ большимъ любопытствомъ и искренно желаю вамъ наибольшаго успѣха. Благодарю за присылку его. Сотрудничать же въ немъ сочту за великое удовольствіе, — вотъ только было бы время. Простите ради Бога за помарки, не считите за небрежность.

Петербургъ.

5 мая 80. Понедѣльникъ.

Глубокоуважаемый С. А.! Отвѣчаю разомъ на оба ваши столь любезныя письма.

Я хоть и очень занятъ моей работой, а еще больше *вся-*

кими обстоятельствами, но, кажется, рѣшусь съѣздить въ Москву по столь внимательному ко мнѣ приглашенію вашему и глубокоуважаемаго Общества Любителей Русской Словесности. И развѣ только какое нибудь внезапное нездоровье или что-нибудь въ этомъ родѣ задержать. Однимъ словомъ, постараюсь приѣхать къ 25 числу навѣрно въ Москву и явлюсь 25-го же числа къ вамъ, чтобъ узнать о всѣхъ подробностяхъ, а главное повидаться съ вами, ибо давненько ужъ мы не видались и уже конечно накопилось много о чемъ переговорить.

На счетъ же „слова“ или рѣчи отъ меня, то объ этомъ еще не знаю какъ сказать. По вашему письму вижу, что рѣчей будетъ довольно и все такими выдающимися людьми. Если скажу что-нибудь въ память величайшаго нашего поэта и великаго русскаго человѣка, то боюсь сказать мало, а сказать побольше (конечно въ мѣру), то послѣ рѣчей Аксакова, Тургенева, Островскаго и Писемскаго найдется ли для меня время? Впрочемъ это дѣло рѣшимъ при свиданіи съ вами. Но вотъ что главное и весьма любопытное: у насъ здѣсь въ Петербургѣ на самомъ невинномъ литературномъ чтеніи (а чтенія всю зиму страшно были въ модѣ) непременно всякая строка, хотя бы и 20 лѣтъ тому написанная, поступала на предварительное разрѣшеніе къ прочтенію къ попечителю учебнаго округа. Какъ же будетъ у васъ въ Москвѣ? Я, напримѣръ, если скажу что-нибудь, то по написанному, или руководствуясь написаннымъ. Неужели же разрѣшать читать вновь написанное безъ предварительной *чьей-нибудь* цензуры? Аксаковъ, Тургеневъ и проч. какъ будутъ читать: съ цензурой или безъ цензуры, à vive voix или по написанному? Если же съ цензурой, то я наприм. если приѣду къ 25-му, то поспѣютъ ли мои *нѣсколько словъ* въ цензуру? Обо всемъ этомъ весьма прошу васъ, глубокоуважаемый Сергѣй Андреевичъ, меня заранѣе увѣдомить, чтобъ уже знать и быть готовымъ. Я на дняхъ (въ среду, я думаю) выѣзжаю изъ Петербурга съ моей семьей на лѣто въ Старую Руссу, а потому, если захотите мнѣ теперь написать, то адресуйте прямо: Въ Старую Руссу, Новгородской губерніи. А. М-чу Достоевскому (Это самый полный адресъ).

Вчера вечеромъ было у насъ общее собраніе членовъ славянскаго Благотворительнаго Общества. Предсѣдатель Бестужевъ-Рюминъ, узнавъ отъ меня, что я отправляюсь на открытіе памятника въ Москву, немедленно провозгласилъ Обществу предложеніе: выбрать меня уполномоченнымъ (депутатомъ) отъ Славянскаго Благотворительнаго Общества участвовать въ московскихъ торжествахъ по открытію памятника, какъ представителю Общества, на что послѣдовало немедленное и горячее всеобщее согласіе. Итакъ, если я приѣду, то какъ выборный отъ Общества представитель его. Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ говорилъ мнѣ вчера жъ, въ этомъ засѣданіи, что и онъ отъ васъ получилъ приглашеніе. Вѣроятно, онъ самъ вамъ отвѣтитъ, но мнѣ сообщилъ, что до того заваленъ дѣлами, что кажется не поѣдетъ.

Участвовать въ вашемъ журналѣ—повторяю еще и еще разъ—сочту за весьма лестное мнѣ удовольствіе. Итакъ, *всею вѣроятіемъ* до свиданія. А отвѣтовъ на вопросы буду ждать въ Старой Руссѣ.

Съ истиннымъ къ вамъ *почтеніемъ* и глубокою преданностью остаюсь и проч.

М. Е. Салтыковъ родился всего въ семи верстахъ отъ села Воскресенскаго, родины Юрьева. Дружба ихъ, начавшаяся въ дѣтствѣ, еще болѣе скрѣпилась въ школѣ; оба они учились сначала вмѣстѣ въ Дворянскомъ институтѣ, въ Москвѣ. Потомъ пути ихъ разошлись: Салтыковъ перешелъ въ Александровскій лицей, Юрьевъ—въ Московскій университетъ. Служба будущаго сатирика въ Петербургѣ и годы ссылки въ Вяткѣ еще дальше, казалось, развели ихъ. Но возвращеніе Салтыкова къ литературной дѣятельности и нѣсколько новыхъ попытокъ его служить опять скрѣпили старыя отношенія. Оба друга видѣлись и въ Москвѣ, куда Салтыковъ прежде часто заѣзжалъ, также и въ Твери, гдѣ онъ одно время служилъ, наконецъ въ Петербургѣ. Вѣроятно, и прежде они обмѣнивались письмами, но дошедшія до насъ относятся уже къ петербургскому періоду жизни Салтыкова, и именно, за исключеніемъ одного, очевидно писаннаго въ 1871 году, и другого,

по всей вѣроятности 1880 г. (всѣ они безъ обозначенія года), къ порѣ послѣ прекращенія „Отечественныхъ Записокъ“.

Салтыковъ до послѣднихъ дней своихъ сохранилъ необыкновенно ласковое, я бы прямо сказалъ — нѣжное, отношеніе къ другу своего дѣтства. Иной разъ и на его счетъ вырывалась у него шутка, вспоминался какой-нибудь анекдотъ, но въ нихъ выступали лишь сильная впечатлительность, сказочная разсѣянность, обильное краснорѣчіе и неистощимая способность Юрьева увлекаться идеею, — и въ остроумной шуткѣ слышалось сочувствіе мечтателю. Это замѣтно и въ письмахъ Салтыкова, откровенный тонъ которыхъ показываетъ, какимъ близкимъ человѣкомъ былъ ему Юрьевъ.

Зная это, друзья С. А., задумывая изданіе настоящаго сборника, рѣшили обратиться къ Салтыкову съ просьбой написать для него хоть нѣсколько отрывочныхъ воспоминаній о школьныхъ годахъ въ Дворянскомъ институтѣ. „Пошехонская Старина“ съ ея несомнѣнно-автобіографическимъ фономъ располагала, казалось, къ припоминанію всѣхъ частныхъ прошлаго; работа подобнаго рода, думалось намъ, была бы всего менѣе утомительною для больного.

Когда въ первыхъ числахъ февраля 1889 года я вошелъ въ кабинетъ Салтыкова, я засталъ его одинокимъ сидѣвшимъ въ глубокомъ креслѣ: ноги были заботливо закутаны пледомъ; на столикѣ виднѣлось нѣсколько стекляноѣ съ лекарствомъ; на исхудавшемъ лицѣ, въ недвижномъ взорѣ застыло неотвязное, безсмѣнное страданіе. Ни души въ сосѣднихъ комнатахъ, ни звука; все было уныло и мертво. Съ первыхъ же словъ Салтыковъ сталъ увѣрять, будто я „одинъ изъ немногихъ, которые о немъ еще помнятъ“; затѣмъ рѣчь зашла о Юрьевѣ — и на страдальческомъ лицѣ мелькнула добрая улыбка. Нѣсколькими штрихами обрисовалъ онъ тутъ же характеръ умершаго товарища, его вѣчную страсть къ театру, Мочалову, Шекспиру, но отъ писанія воспоминаній рѣшительно уклонился. „Не могу ничего припомнить связаннаго, говорилъ онъ, — да и голова совсѣмъ не работаетъ; за нѣсколько недѣль вотъ все, что я написалъ“, — и онъ указалъ на лежавшій передъ нимъ листъ писчей бумаги; первая страница была далеко не вся исписана, и мно-

гія строки зачеркнуты (это была рукопись *Забытыхъ словъ*). Но я все еще не терялъ надежды. — „Вѣроятно у васъ не мало было курьозныхъ педагоговъ, — говорилъ я, наводя разговоръ опять на прежнюю тему, — вѣдь старая школа была полна оригиналами“. — „Да, — отвѣчалъ онъ, — теперь такихъ уже не бываетъ, — небритые, вѣчно пьяные, ходили въ фризowychъ шинеляхъ“ — и онъ сталъ какъ будто вглядываться во что то и продолжалъ говорить, не отрывая глазъ отъ сцены, которая въ эту минуту, вѣроятно, живо представлялась его воображенію. Я зналъ, что за тѣмъ послѣдуетъ неподобная комическая импровизація, и не ошибся въ ожиданіяхъ. Забывъ, что за нѣсколько минутъ онъ печалился, что ничего не можетъ припомнить, Салтыковъ разсказалъ въ лицахъ картинку изъ прежней школы. На слушателя пахнуло стариной, съ допотопными учителями, патриархальными средствами исправленія, битьемъ линейками по рукамъ, надѣваніемъ колпака съ огромными ушами. Героемъ разсказа былъ учитель русской словесности Суриновъ, никогда не являвшійся въ классъ въ трезвомъ состояніи и не замѣчавшій, что во время его урока ученики чуть не на головахъ ходили. Но вотъ однажды шумъ сталъ до того оглушительнымъ, что онъ рѣшилъ положить ему предѣлъ. На самой дальней скамейкѣ увидалъ онъ Юрьева въ рукопашной схваткѣ со своимъ сосѣдомъ и, чтобы застичь его въ расплохъ, устремился къ нимъ, шагая прямо по класснымъ столамъ, выволокъ Юрьева на середину комнаты, поставилъ на колѣни и украсилъ его голову страшнымъ колпакомъ. „Вотъ какъ сейчасъ вижу эту сцену“, закончилъ свой разсказъ Салтыковъ, и закашлялся.

Нѣсколько разъ, мимоходомъ, М. Е. выводилъ (по его же словамъ) нѣкоторыя черты Юрьева въ своихъ произведеніяхъ (наприм. въ *Пестрыхъ Письмахъ* въ лицѣ Семена Семенича), и указалъ мнѣ на только что явившуюся тогда въ „Вѣстникѣ Европы“ главу изъ „Пошехонской Старины“, гдѣ всего полнѣе характеризовалъ его. Въ героѣ разсказа, Валентинѣ Бурмакинѣ, говорилъ онъ, много юрьевского, хотя обстоятельства его жизни, его женитьба и т. д. съ умысломъ измѣнены и расходятся съ дѣйствительностью.

Но воспоминаній своихъ Салтыковъ все-таки не согласился написать, и, желая сдѣлать свой вкладъ въ сборникъ, предложилъ четыре свои сказки, ходившія въ свое время по рукамъ,—все, что у него было въ эту минуту законченнаго и не напечатаннаго.

То была прежде всего сказка „Медвѣдь на воеводствѣ“, распадающаяся на три отдѣльныхъ разсказа, надписанныхъ именами ихъ героевъ. Введеніемъ служатъ нѣсколько строкъ, заключающихъ въ себѣ „сихъ басенъ мораль“ и поясняющихъ, что „злодѣйства крупныя и серьезныя нерѣдко именуются блестящими и въ качествѣ таковыхъ заносятся на скрижали исторіи. Злодѣйства же малыя и шуточные именуются срамными, и не только исторію въ заблужденіе не вводятъ, но и отъ современниковъ не получаютъ похвалы“. Затѣмъ выступали поочередно медвѣди на воеводствѣ; одинъ изъ нихъ, „старый служака-звѣрь умѣлъ берлоги строить и деревья съ корнями выворачивать,—слѣдовательно, до нѣкоторой степени и инженерное искусство зналъ“, но въ особенности „желалъ во что бы то ни стало на скрижали исторіи попасть, и ради этого всему на свѣтѣ предпочиталъ блескъ кровопролитій“. Когда въ дальнемъ лѣсу узнали, что онъ идетъ къ нимъ на воеводство, всѣ встревожились. „Такая въ ту пору вольница между лѣсными мужиками шла, что всякій по-своему норовилъ. Звѣри—рыскали, птицы—летали, насѣкомыя—ползали; а въ ногу никто маршировать не хотѣлъ. Понимали мужики, что ихъ за это не похвалятъ, но сами собой остепениться не могли. Вотъ ужъ пріѣдетъ маіоръ, говорили они:—засыплетъ онъ намъ, тогда мы и узнаемъ, какъ Кузькину тещу зовутъ“. Онъ дѣйствительно задумалъ сразу изумить свирѣпствомъ, но подъ пьяную руку, разсердившись на чирика, невинно прыгавшаго по его сонному тѣлу, сгрѣбъ его въ лапы, съѣлъ—и спохватился: зачѣмъ очъ это сдѣлалъ? Но „административная ошибка“ была совершена; лѣсъ наполнился насмѣшливыми криками, до самаго Льва дошла вѣсть о бесполезномъ злодѣйствѣ. Воевода старался загладить впечатлѣніе громкими дѣяніями: перерѣзалъ стадо барановъ, ограбилъ бабу, разбилъ печатные станки и „произведенія ума человѣческаго въ яму свалилъ“,

но ничто не помогло, и Левъ приказалъ „отчислить его по инфантеріи“. Неудача эта должна была послужить урокомъ для второго медвѣдя-воеводы, рѣшившаго начать прямо съ крупныхъ поступковъ. Сталъ онъ добираться до умственной дѣятельности лѣсныхъ жителей, но оказалось, что „во ввѣренной ему трущобѣ“ таковой не имѣется. „Лѣсные куранты“ не существуютъ еще со временъ Магницкаго; распространіе политическихъ новостей возложено на скворцовъ, которые, летая, разносятъ ихъ по лѣсу. Правда, „дѣтель на древесной корѣ, не переставаячи, пишетъ *Исторію лѣсной трущобы*, но и эту кору, по мѣрѣ начертанія на ней письменъ, точатъ и растаскиваютъ воры—муравьи. Такимъ образомъ лѣсные мужики жили, не зная ни прошедшаго, ни настоящаго и не заглядывая въ будущее“. Школъ тоже никакихъ не оказалось, потому что Магницкій давно уже предвосхитилъ намѣренія новаго воеводы. „Потужилъ онъ, но вѣуныніе не впалъ. Коли душу у нихъ, у мерзавцевъ, за немѣніемъ, погубить нельзя,—сказалъ онъ себѣ, стало быть, прямо за шкуру приняться надо“. Но въ первую же ночь, когда, забравшись на дворъ къ сосѣднему мужику, онъ задралъ весь его скотъ и сталъ уже разорять избу, онъ не рассчиталъ напора своей туши и повисъ на воздухъ на обломкѣ крыши; сбѣжавшіеся мужики его „уважили“. Умудренный двумя предшествовавшими опытами, третій Топтыгинъ избираетъ правило „laissez passer, laissez faire“, и многіе годы проводитъ въ лѣнивомъ благополучіи и бездѣйствіи, и только случайно, выйдя изъ берлоги въ поле, попадаетъ на встрѣчу „мужикамъ-лукашамъ“ и „его постигаетъ участь всѣхъ пушныхъ звѣрей“.

Наконецъ четвертая и самая обширная сказка, выдержки изъ которой уже были въ печати (въ статьяхъ по поводу смерти Щедрина), изображала судьбу вяленой воблы: ее „поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывѣсили на веревочкѣ на солнцѣ: пускай проявится. Повисѣла вобла денекъ-другой, а на третій у ней и кожа на брюхѣ сморщилась, и голова подсохла, и мозгъ, какой въ головѣ былъ, вывѣтрился, дряблый сдѣлался. И стала она жить, да поживать.— „Какъ это хорошо,“—

говорила она,—что со мной эту процедуру продѣлали! Теперь у меня ни лишнихъ мыслей, ни лишнихъ чувствъ, ни лишней совѣсти,—ничего такого не будетъ! Все у меня лишнее вывѣтрили, вычистили и вывелили, и буду я свою линію полегоньку, да потихоньку вести!“ У нея даже развивается страсть къ пропагандѣ умѣренности. „Встрѣтится съ кѣмъ нибудъ — непременно въ разговоръ вступить; откровенно мнѣніе свое выскажетъ, и всѣхъ основательностью восхитить. Не рвется, не мечется, не протестуетъ, не клянеть, а резонно объ резонныхъ дѣлахъ калякаетъ. О томъ, что тише ѣдешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чѣмъ большой тараканъ, что поспѣшишь—людей насмѣшишь, и т. п. А всего больше о томъ, что уши выше лба не растутъ“. Но широко развившаяся житейская философія воibly не спасаетъ ее отъ недовѣрія и подозрительности; она гибнетъ отъ руки клеветника, усмотрѣвшаго и у нея неблагонамѣренность. „Пестрые люди смотрѣли на это зрѣлище, плескали руками и вопили: да здравствуютъ ежовыя рукавицы! Но Исторія взглянула на дѣло иначе и втайнѣ положила на сердцѣ своемъ: годиковъ черезъ сто я непременно все это тисну!“

Будемъ надѣяться, что въ одномъ изъ слѣдующихъ собраній сочиненій Салтыкова появятся и эти рассказы вполне. Намъ же хотѣлось хоть при помощи слабой передачи содержанія и немногихъ выдержекъ исполнить желаніе одного изъ ближайшихъ къ Юрьеву людей сдѣлать свой вкладъ въ сборникъ, посвященный его памяти.

Приводимъ почти всѣ уцѣлѣвшія письма Щедрина къ С. А., (нѣкоторыя пока еще нельзя было бы напечатать) съ немногими, къ сожалѣнію неизбежными, сокращеніями:

Многоуважаемый С. А.! Начинаю свое письмо извиненіемъ въ замедленіи отвѣта; но тутъ виноватъ болѣе Унковскій, нежели я. Письмо твое я тотчасъ же ему передалъ и онъ вознамѣрился было обсудить твое предложеніе, но теперь сообщилъ мнѣ, что рѣшительно не имѣетъ возможности отвѣтить на твою просьбу удовлетворительно по тремъ причинамъ, кои суть: вопервыхъ, онъ по совѣсти не можетъ

отрицать заслугъ тѣхъ лицъ, въ пользу которыхъ предполагаются оваціи въ Москвѣ *). Вовторыхъ, ему кажется неловкимъ писать статью, отчасти рекомендующую публику его самого, хотя бы статья эта появилась въ твоёмъ журналѣ и безъ подписи. Втретьихъ, наконецъ, онъ не имѣетъ времени для публицистики, ибо по горло погружёнъ въ свое аблакатство.

Я съ своей стороны, полагаю, что статью, какую ты желаешь, могъ бы удовлетворительно написать И. В. Павловъ **).

Я первую книжку „Бесѣды“ уже имѣю и рассматриваю съ большимъ интересомъ. Но, признаюсь тебѣ откровенно, чаяній твоихъ насчетъ возможнаго совокупленія философіи съ не раздѣляю. Скорѣе можно сокупить ее съ виннымъ откупомъ, какъ это и дѣлалъ А. И. К., но духа изслѣдованія съ духомъ безусловнаго вѣрованія слить нельзя.

Впрочемъ, когда буду въ Москвѣ, то непременно тебя посѣщу, и лично осмотрю ту лабораторію, въ которой происходитъ соединеніе философіи съ

Иванъ Вас. Павловъ на эти дѣла мастеръ: онъ докажетъ, что пользоваться общечеловѣческою цивилизаціею значить носить чужіе подштанники и сморкаться въ чужой платокъ. Докажетъ, разумѣется, не логическимъ путемъ, а посредствомъ „живыхъ образовъ“. Онъ мнѣ самъ недавно все это въ частномъ письмѣ изображалъ и общался, что такъ именно и изобразить въ твоёмъ журналѣ.

Впрочемъ, помимо..., есть множество частныхъ вопросовъ въ жизни, къ которымъ, я вполне увѣренъ, журналъ твой отнесется дѣльно и честно.

Въ ожиданіи удовольствія видѣть тебя лично остаюсь искренно тебя уважающій М. Салтыковъ.

8-го февраля. Петербургъ.

*) Теперь трудно опредѣлить, о какихъ оваціяхъ и какой статьѣ шла рѣчь.

**) Близкій знакомый обоихъ друзей, Ив. Вас. Павловъ, долгое время бывший предсѣдателемъ казенной палаты въ Витебскѣ. Юрьевъ высоко цѣнилъ его дарованія и былъ въ постоянной перепискѣ съ нимъ. Уцѣлѣло нѣсколько любезныхъ писемъ И. В. П., по преимуществу философскаго содержанія.

Петербургъ. Литейная, 62. 8 мая.

Многоуважаемый С. А.! Сегодня послалъ тебѣ письмо (въ отвѣтъ) на приглашеніе Общества Любителей Словесности *) (сегодня же полученное). Не могу я пріѣхать въ Москву,—нестерпимо боленъ. Задыхалъ, кашляю и ничего другого не желаю, кромѣ смерти.

Вѣроятно, я тебѣ обязанъ, что Общество вспомнило обо мнѣ. Теперь мнѣ остается еще одна почесть: чтобы Галаховъ помѣстилъ меня въ Христоматію. Затѣмъ—нанять факельщиковъ и ѣхать на Волково.

Цѣлую зиму я надѣялся увидѣть тебя въ Петербургѣ—и тщетно. Ежели ты былъ и не заѣхалъ ко мнѣ—грѣхъ это. Ежели же не былъ, то я рѣшительно не понимаю, какъ можно издавать журналъ и время отъ времени не чувствовать потребности (*не разобрано*) идоламъ.

Я до 10-го іюля пробуду въ Петербургѣ, даже на дачу не поѣду. Въ субботу отправляю семью за границу, а самъ въ половинѣ іюля, по совѣту Боткина, ѣду въ Эмсъ и оттуда въ Парижъ **). Хоть не много нужно отдохнуть. А ты, вѣроятно, поѣдешь въ Воскресенское, на общую родину.

До свиданія. Если обстоятельства когда-нибудь загонять тебя въ Петербургъ, то не забудь преданнаго тебѣ М. С.

15-го октября (1884?); Литейная, 62.

Многоуважаемый С. А.!

Должно быть, воздухъ Москвы имѣетъ усыпляющее свойство. Въ апрѣлѣ я послалъ въ редакцію „Русской Мысли“ повѣсть „Дѣло“ (въ корректурныхъ листахъ), доставленную мнѣ, болѣе года тому назадъ, Тургеневымъ и мною передѣланную. Я хотѣлъ ее печатать въ „Отеч. Зап.“, но она слишкомъ смахиваетъ на „Совр. Ид.“ (Идиллію) и потому могла бы показаться назойливостью. Да и строгости цензурныя остановили. Разумѣется, я отвѣта никакого не получилъ. Это само собой. Но недавно здѣсь были г-жа Н. и г. Г., и я

*) Очевидно, приглашеніе пріѣхать на пушкинскія празднества.

**) Заграничная поездка, послѣ которой написано было „За рубежомъ“.

лично просилъ ихъ справиться, но вотъ прошло больше двухъ недѣль—и молчокъ. Ужели и это само собою разумѣется?

Проснись, о сибаритъ! ты спишь!

Вѣдь меня Тургеневъ почти до послѣднихъ дней пилилъ этою повѣстью. Печатать ее или не печатать—это другое дѣло, но надо же резонъ какой-нибудь имѣть.

Я совсѣмъ боленъ. Къ прежнимъ болѣзнямъ, составляющимъ, такъ сказать, неприкосновенный фондъ, присоединяются случайныя: пострѣлъ, флюсъ, болѣзнь сѣдалищнаго нерва. А главная болѣзнь—„Отеч. Зап.“

Весь твой М. С.

Я даже нотаріусу Орлову говорилъ, чтобъ онъ разузналъ о „Дѣлѣ“. Остается только буйному вѣтру на вашу компанію жаловаться.

Пиши, ради Христа, адресъ на письмѣ твоемъ.

11-го ноября (того же года).

Многоуважаемый С. А. Извини, что я вновь обращаюсь съ вопросомъ о судьбѣ статей Фирсова. Я дѣлаю это не для себя, а чтобы отвѣтить Фирсову, который меня понуждаетъ. При томъ же я самъ передалъ его романъ въ редакцію „Рус. Мысли“ и слѣдовательно принялъ на себя отвѣтственность за участь его. Прошу тебя на этотъ разъ не оставить меня безъ отвѣта, потому что въ другой разъ даю тебѣ слово никакими рекомендаціями не отягощать редакцію „Р. Мысли“. Искренно тебѣ преданный М. С.

Отчего во вновь открытомъ библиографическомъ отдѣлѣ не говорится, что въ 1884 г. вышло 4 №№ журнала, называвшагося „Отеч. Записки“? Это многихъ интригуешь.

20-го марта (1885?)

Многоуважаемый другъ С. А.! Извини, что нѣсколько замедлилъ отвѣтомъ на твое письмо. Работалъ надъ одной вещью, да ничего не вышло, такъ и бросилъ. Теперь считаю себя свободнымъ.

Всѣ описываемыя тобою обстоятельства вполне понимаю, и жалѣю только объ одномъ, что они нашли себѣ разрѣше-

ніе не въ контрактныхъ условіяхъ, а въ славянскомъ „по душѣ“... Ты не былъ бы вынужденъ писать письмо, которое теперь красуется въ началѣ мартовскаго №. Согласись теперь, что и въ буржуазныхъ порядкахъ бываетъ нѣчто недурное. Напримѣръ, хоть контрактъ: тѣмъ хорошъ, что не затрогиваетъ „человѣка“. Впрочемъ, разъ это дѣло прошлое, я душевно радуюсь, что ты развязался...

Что касается до меня, то я, по обыкновенію, хирѣю. Тебя хоть Барнай интересуешь, а у меня и этого удовольствія нѣтъ. Но, ради этой болѣзни, я совершенно лишена всякихъ развлеченій. Къ тому же, у меня цѣлыхъ 8 недѣль болѣлъ сынъ скарлатиной, и еслибы не вступился Боткинъ, то, вѣроятно, я бы лишился его. Все это время я былъ подъ секвестромъ и никого не видалъ, а въ томъ числѣ и Унковскаго съ Плещеевымъ. Но и теперь, я никого почти не вижу, да оно и понятно: въ отживающихъ старцахъ никому нѣтъ надобности, а прочіе такіе же старцы разлагаются каждый въ своемъ углу, жалуясь на свой специальный недугъ: у кого почки болятъ, у кого легкія, и отъ всѣхъ пахнетъ тлѣніемъ. Въ семь видѣ ничего другого не остается желать, кромѣ смерти, что я и исполняю, только безъ успѣха. Работаю съ великимъ трудомъ и очень часто бросаю не кончивъ, чего со мною прежде не бывало.

Ежели ты исполнишь свое намѣреніе побывать на Святой въ Петербургѣ, то буду душевно радъ тебя видѣть. Только не вѣрится какъ-то, чтобъ ты пріѣхалъ. Собственно говоря, нѣтъ и особенной радости быть здѣсь: смутно и скучно.

Во всякомъ случаѣ, до свиданія.

Желаю тебѣ всего лучшаго, поздравляю съ праздникомъ и остаюсь искренно тебя любящій и преданный М. Салтыковъ.

Литейная, 62. 10 марта (очевидно 1888 года).

Любезный другъ С. А. Посылаю тебѣ, по желанію твоему, портретъ съ надписью, и при семъ повторяю, что дружба моя къ тебѣ, начавшаяся съ дѣтства, пребываетъ и до днесь неизменною.

Здоровье мое таково, что ежели смерть не стоитъ прямо

за плечами, то во всякомъ случаѣ не въ большомъ отдаленіи, а если такое положеніе продолжится, то тѣмъ хуже, ибо я во-истину мученикъ. Въ декабрѣ и въ январѣ выпадали дни, когда я могъ писать (и въ апрѣльской книжкѣ В. Е. будетъ продолженіе „Старины“), но съ февраля даже письмо короткое съ трудомъ могу написать. Память пропадаетъ, выраженій не могу сыскать. Какой тутъ можетъ быть вопросъ о творчествѣ! Цѣлый день дремлю и мучительно кашляю. Если не умру, то выброшусь въ окошко, — силъ моихъ нѣтъ больше терпѣть. Къ тому же и доктора охладѣли ко мнѣ и почти не оказываютъ помощи на томъ основаніи, что я хроническій больной и меня все равно что лѣчить, что нѣтъ.

Прощай. Рука отказывается писать. Искренно тебѣ преданный М. С.

Переписка А. И. Кошелева съ Юрьевымъ очень обширна; онъ затрогивалъ въ своихъ письмахъ множество любопытныхъ вопросовъ внутренней и внѣшней политики, отчасти и литературы, съ большою свободой, напоминающей тонъ извѣстныхъ въ свое время заграничныхъ брошюръ автора. Въ нихъ разсѣяны характеристики административныхъ дѣятелей недавняго прошлаго, критическіе разборы мѣропріятій и т. д. Рядъ писемъ, относящихся ко времени изданія „Бесѣды“, отражаетъ въ себѣ пересказанныя выше разногласія и споры, вызванные самостоятельнымъ образомъ дѣйствій Юрьева.

Изъ Кошелевскихъ писемъ выбираемъ одно изъ позднѣйшихъ, весьма любопытное, такъ какъ оно бросаетъ новый свѣтъ на характеръ писавшаго, до сихъ поръ не вполне объясненный.

Въ *Бесѣду* прислалъ онъ протестъ противъ сочувственныхъ отзывовъ о Бѣлинскомъ, и очень недоволенъ былъ, когда Юрьевъ заявилъ ему, что помѣститъ эту замѣтку, и тутъ же напечатаетъ возраженіе на нее. Но въ ту пору Кошелевъ былъ мало знакомъ съ дѣятельностью Бѣлинскаго и взялся за перо лишь по вызову своихъ славянофильскихъ друзей. Прошли годы, и ему пришлось изъ книги А. Н. Пыпина узнать впервые, что за глубоко-симпатичный человекъ былъ тотъ непріятный

ему противникъ; письма, помѣщенные въ біографіи, приохотили его перечитать самыя произведенія Бѣлинскаго, и результатомъ этого поздняго чтенія явилось слѣдующее замѣчательное письмо, откровенно признающее фактъ прежней ошибки*): (Лакашъ) 8-го іюля 1877.

Писалъ къ вамъ съ мѣсяцъ тому назадъ, любезнѣйшій Сергѣй Андреевичъ, но и до сихъ поръ не имѣю отъ васъ ни строчки въ отвѣтъ. Пишу къ вамъ теперь потому, что чувствую потребность покаяться вамъ въ одномъ грѣхѣ, хотя и невольномъ, но тѣмъ не менѣе тяжкомъ.

Прочелъ я на дняхъ книгу Пыпина: „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“. Вообще я Пыпина не очень жалую, но въ этой книгѣ важны не слова Пыпина, а пространныя выписки изъ переписки Бѣлинскаго съ Станкевичемъ, Боткинымъ, Кольцовымъ и др. Долженъ теперь сознаться, что я Бѣлинскаго до сихъ поръ вовсе не зналъ и судилъ о немъ по чужимъ словамъ. Дѣятельность Бѣлинскаго была преимущественно въ 1840—1848 годахъ, т.-е. въ то время, когда я, по обстоятельствамъ, утопалъ въ откупахъ и мало имѣлъ времени читать журналы. Возвратившись въ 1850 году къ общественной и литературной дѣятельности, я слышалъ о Бѣлинскомъ самыя невыгодныя отзывы отъ Погодина, Шевырева и другихъ. Самъ я почти ничего не читалъ изъ сочиненій Бѣлинскаго. Изъ книги, только-что мною прочтенной, вижу, что Бѣлинскій былъ человѣкъ откровенно-даровитый, пламенный, что онъ во всю жизнь страстно любилъ истину и искалъ ее неустанно; что всѣ его крайнія выходки исходили изъ самыхъ благородныхъ источниковъ; что онъ безповоротно и съ самоотверженіемъ боролся съ тѣмъ, что считалъ ложью и вреднымъ для человѣчества; наконецъ, что онъ мученикъ въ полномъ смыслѣ слова. Я никакъ не воображалъ, что онъ даже религіозенъ; что разрѣшеніе вопросовъ религіозныхъ и нравственныхъ было для него постоянною и жгучею потребностью, и что онъ былъ социалистомъ въ хорошемъ и вовсе не въ западномъ смыслѣ.

*) Нѣсколько строкъ изъ этого письма были приведены Юрьевымъ въ некрологѣ Кошелева, напечатанномъ въ „Р. Мысли“.

Помню, что мы съ вами не разъ спорили насчетъ Бѣлинскаго и что я высказывалъ мнѣнія совершенно противоположныя тѣмъ, которыя имѣю теперь и которыя Вы тогда защищали съ горячностью, и потому считаю долгомъ передъ вами покаяться. Этотъ человѣкъ, конечно, новаго ничего не сказалъ; онъ развивался постоянно и быстро, и вслѣдствіе того часто мѣнялъ свои мнѣнія; но жизни въ немъ было чрезвычайно много и онъ имѣлъ благое вліяніе на ходъ образованія въ нашемъ обществѣ. Конечно, онъ не дошелъ до твердыхъ началъ; конечно не дали ему вполне развиться, но толчокъ онъ далъ значительный, и за это ему спасибо и вѣчная память.

Газеты читаемъ съ жадностью, но грустно, тяжело ограничиваться теперь только чтеніемъ. Великія событія совершаются; такъ и рвешься принять въ нихъ участіе. Кабы не 71-й годъ, уже конечно не усидѣлъ бы я на мѣстѣ.

Что дѣлается у васъ? Какъ можете сами? отвѣтьте же хоть словечкомъ. Вамъ преданный А.

Пишу къ вамъ отъ дочери изъ Лакаша. Прилагаю ея записку. Въ ночь ѣду въ Песочное.

Закончимъ наши выдержки изъ старой переписки стихотвореніемъ Н. А. Чаева, взятымъ изъ письма его отъ 19-го іюля 1884 г. Еслибъ не продолжительная болѣзнь, Н. А. конечно одинъ изъ первыхъ откликнулся бы на мысль объ изданіи настоящаго сборника. Это стихотвореніе (какъ и все письмо) какъ будто проникнуто предчувствіемъ этой болѣзни, даже думами о смерти; два, три славянизма, къ которымъ авторъ всегда имѣлъ нѣкоторую склонность, не ослабляютъ выразительности этой задумчиво-грустной думы:

Близъ рубежа страны, откуда нѣтъ возврата,
Съ вершины старыхъ лѣтъ я въ прошлое смотрю;
Надъ пройденнымъ путемъ горятъ лучи заката,
Румяня предо мной вечернюю зарю.
Ночь будетъ не длинна, заря съ зарей сойдется;
Вдохнувъ о дорогихъ, я сброшу лишній хламъ,
Забудусь, и душѣ избавленной займеся
Заря нездѣшная, съ весеннимъ утромъ тамъ,

Въ краю, гдѣ нѣтъ ни тучъ свинцовыхъ, ни ненастья,
Ни фарисейской лжи подъ маскою добра,
Ни мыльныхъ пузырей, даровъ земного счастья,
Ни злобы, ни разлукъ у смертнаго одра.
Орошена дождемъ Господней благодати,
Озарена лучомъ святой любви, страна
Благоухаетъ вѣкъ цвѣтами сѣножати
И нивъ съ колосьями нетлѣннаго зерна.
Отъ юности душа туда устремляла,
Какъ птица вольная въ лѣса изъ западни,
Давно въ семью друзей отшедшихъ зазывала,
Мечтою уносясь въ былые дѣтства дни.

Путешественникъ.

(РАЗСКАЗЪ.)

— Представьте себѣ товарищество на паяхъ въ родѣ... ну, хоть бы въ родѣ тѣхъ, какія составляли за послѣднее время актеры. Да наконецъ были же испоконъ вѣку странствующие музыканты. Почему бы не быть странствующимъ литераторамъ?

Бѣлокурый человѣкъ въ очкахъ, говоря эти слова, улыбнулся нѣжнымъ, необыкновенно тонко и изящно очерченнымъ ртомъ, и съ вопросительнымъ, оживленнымъ лицомъ обратился къ слушателямъ.

Почти всѣ также засмѣялись, а одна изъ дамъ отвѣчала:

— Очень хорошо, допустимъ. Но въ чемъ же будутъ состоять права и обязанности этихъ новыхъ... *commis-voyageurs* отъ литературы?

— Въ самомъ дѣлѣ любопытно!—вставилъ слово безъ улыбки одинъ изъ гостей, красивый брюнетъ.

— А вотъ сейчасъ, позвольте!—продолжалъ съ прежнимъ шутливымъ оживленіемъ бѣлокурый:—прежде всего изъ среды самаго товарищества избирается...

— Администрація! О!..

— Нѣтъ, зачѣмъ! Скажемъ: завѣдующіе хозяйственной частью предпріятія. Нѣтъ, нѣтъ! Это необходимо. Знаете, правильная организація, раздѣленіе труда—это прежде всего.

— Что же, вы заставите ихъ счета вести?—какъ всегда, не давая договорить, въ нѣсколько голосовъ продолжали допрашивать дамы.

— Сейчас, господа, я скажу все по порядку.

Говорившій для большей вразумительности вышелъ, раздвинувъ стулья, на свободное мѣсто посрединѣ кружка и, не садясь, взялся обѣими руками за спинку плетенаго садоваго кресла.

— Начнемъ съ начала,—продолжалъ онъ попрежнему шутиливо и весело, обращаясь къ дамамъ по преимуществу.— И такъ, я сказалъ, собирается общество, кружокъ писателей, литераторовъ. Допустимъ, что затѣвается и затѣмъ получаетъ осуществленіе примѣрное, по счету первое литературное путешествіе. Избираются завѣдующіе хозяйственной частью. На обязанности избранныхъ, *comme de raison*, лежать хозяйственныя заботы. Это будетъ означать въ данномъ случаѣ хлопоты по устройству во время путешествія: публичныхъ чтеній, бесѣдъ, лекцій при пріѣздѣ въ каждый изъ городовъ. Хлопотъ будетъ довольно. Мѣсто дѣйствія, разумѣется, Россія. Образъ дѣйствія слѣдующій: пріѣзжаетъ общество, положимъ, куда-нибудь въ городъ; надо билеты печатать, афиши, подыскивать помѣщеніе. Ну, и затѣмъ, разъ все устроено...—Онъ улыбнулся своей привлекательной улыбкой и на минуту остановился.—Затѣмъ, я думаю, предоставляется каждому отличиться передъ публикой, декламировать, бесѣдовать, читать, словомъ, пожинать лавры по своей специальности. Выручка поступаетъ безраздѣльно въ кассу товарищества. Кончается чтеніе,—снимаются съ якоря, переѣзжаютъ всѣмъ обществомъ въ новый городъ. Я мало знаю провинцію за послѣднее время, но въ прежніе годы слова: *литераторъ, писатель* имѣли для нея особое обаяніе.

На этихъ словахъ говорившій остановился. Онъ откинулъ мягкіе, слегка сѣдѣющіе уже волосы со лба маленькой, бѣлой рукой и съ вопросительнымъ видомъ улыбающимися глазами обвелъ присутствующихъ.

Всѣ слушали съ оживленнымъ вниманіемъ.

Эlegantный брюнетъ началъ возражать.

По наружности онъ походилъ не то на педагога изъ модныхъ, открывающихъ собственныя учебныя заведенія, не то на помощника присяжнаго повѣреннаго, изъ тѣхъ, что отбиваютъ практику у патрона и имѣютъ успѣхъ у дамъ.

— Я полагаю, если обаяніе и сохранилось, въ чемъ позволительно усомниться въ наши дни,—замѣтилъ онъ вскользь,—путешествіе подобнаго рода будетъ, конечно, наилучшимъ средствомъ для того, чтобы разрушить это обаяніе. Да, всякій литературный престижъ въ глазахъ русской публики,—добавилъ онъ, перемѣщаясь въ креслѣ и съ почти педантическою серьезностью, странно противорѣчившей игривому тону собесѣдника.

— Почему?—невозмутимо спросилъ тотъ.

— Странное отношеніе, мнѣ кажется, къ литературѣ! Литераторы—странствующие музыканты, комми-вояжеры! Я полагалъ... важность задачи... и если литераторы уважаютъ себя, и вообще литература...

— Ахъ, господа, какъ скучно! Господа!—прервала хозяйка, досадливо сморщивъ хорошенькое личико. Спорить потомъ можно будетъ. Не правда ли, успѣете потомъ? А теперь, пожалуйста,—обратилась она къ рассказчику:—чѣмъ окончится вашъ voyage? Это любопытно. Какимъ образомъ вы доведете до конца ваше интересное путешествіе?

— Если угодно, я dokonчу,—отозвался рассказчикъ, видимо на минуту занятый соображеніями, посторонними дѣлу, но тотчасъ же оживился и вошелъ снова въ колею разсказа.

— На чемъ я остановился? Да! Итакъ, рѣшено, будутъ чтенія, лекціи,—продолжалъ онъ, бросивъ папиросу и прохаживаясь маленькими шагами взадъ и впередъ въ серединѣ кружка.—Ну, а затѣмъ, въ результатъ этихъ повторенныхъ чтеній и лекцій, литературныхъ утръ и вечеровъ,—сколько ихъ понадобится, разумѣется, трудно заранѣе опредѣлить,—какъ бы то ни было, благодаря имъ литературская пустующая касса пополнится. Въ этомъ задача, и тогда... тогда конецъ путешествію официально, такъ сказать. Basta и à rebour! Долой громкія имена и литературные титулы! Строжайшее инкогнито. Нашъ знаменитый и прославленный писатель N. N. превращается... — ну, хоть въ домашняго учителя N. N. Наша талантливая и интересная писательница, оставаясь такой же талантливой и интересной, забываетъ на время о своемъ писательствѣ. Предприимается новое путе-

шествіе, въ размѣрахъ грандіознѣйшихъ, куда-нибудь въ Крымъ, на Кавказъ, по Россіи, подальше... Происходитъ какъ разъ обратное предыдущему и, коли на то пошло, уже явно компрометирующее „важность задачи“, да и всякую „важность“ вообще,—замѣтилъ онъ по адресу противника. Какъ бы то ни было, только лишь наполненная касса не пополняется, а напротивъ расточается. При этомъ, равенство и братство.... Природа и жизнь на лонѣ ея,—природа и красота, и любовь, и искусство, литература и поэзія... Дамы украшаютъ собою общество и не отказываютъ въ просьбахъ и желаніяхъ...

— Довольно! Довольно!—раздалось изъ кружка дамъ.

Общій смѣхъ не далъ дополнить картины. Начались перекрестные восклицанія и разговоры.

— Что же, мысль недурная,—удовлетворивъ любопытство, какъ бы успокоившись, и скрестивъ худенькія руки на впалой груди, отозвалась съ задумчивымъ видомъ дама, немолодая уже, по выраженію, наружности и костюму писательница, гувернантка или учительница, женщина существующая на собственный страхъ и средства, безъ поддержки мужчины.

— Ново по крайней мѣрѣ, оригинально. Отъ скуки... Скучно вѣдь мы живемъ!—слышались замѣчанія.

— Да, хоть что-нибудь, только бы не былъ похожъ одинъ день на другой, одинъ годъ на другой, и всѣ люди похожи другъ на друга... А мужчины болѣе всѣхъ,—замѣтила послѣднія слова, какъ бы про себя, темноглазая, тоненькая дѣвушка.

Общество съ стаканами и тарелками въ рукахъ размѣщалось вокругъ стола на террасѣ. Прислуга по знаку хозяйки, исполнивъ приказанія, удалилась. Хозяинъ дополнилъ стаканы. Разговоръ не умолкалъ.

Говорили понемногу всѣ. И, однако, въ первую же минуту легко было замѣтить, что центръ кружка составляло собственно одно лицо. Это былъ авторъ проекта литературнаго путешествія, пріѣзжій чело́вѣкъ, невысокій и широкоплечій, блѣдный, хотя и не худой. Лицо было скорѣе даже пухлое, тою особенной пухлостью, какая бываетъ отъ двухъ причинъ: злоупотребленія напитками, а иногда отъ частаго и долгаго

голодація. Но стаканъ съ виномъ на высокой ножкѣ во все время почти нетронутый стоялъ передъ нимъ. Онъ курилъ, разсѣянно зажигая и роняя спички, закуривая папиросы одну отъ другой. Собравшемуся обществу онъ былъ мало знакомъ, попалъ въ него случайно, проѣздомъ, исполняя порученіе общаго пріятеля къ хозяину дома, получилъ приглашеніе остаться, провести вечеръ, и воспользовался приглашеніемъ.

Повидимому самъ онъ недавно возвратился изъ путешествія. Разказы, прерываемые замѣчаніями слушателей, слѣдовали одинъ за другимъ. По складу рѣчи и по наружности трудно было опредѣлить профессію говорившаго. Кое-какія подробности туалета, борода сбритая до половины щекъ, придавали ему какъ бы нѣсколько иностранный видъ. Онъ касался разнообразныхъ темъ, и повидимому долженъ былъ посящать самые разношерстные кружки въ Россіи и за границей. Въ пріемахъ и умѣньѣ владѣть языкомъ сказывался талантъ настоящаго рассказчика, который привыкъ къ тому, чтобы его слушали. Рядомъ съ этимъ поражали качества, всего рѣже встрѣчающіяся у присяжныхъ нашихъ рассказчиковъ: онъ говорилъ просто; что-то искреннее слышалось въ тонѣ и ни на одну минуту не выставлялось собственное я, которое всегда такъ назойливо надоѣдаетъ слушателямъ въ повѣствованіяхъ путешественниковъ, начиная отъ странниковъ съ котомкой и палочкой и кончая великобѣдными вояжерами, читающими публичные лекціи.

Женщины слушали его внимательно. Большая терраса освѣщалась лампами въ длинныхъ, сборчатыхъ абажурахъ; въ полусвѣтѣ блистали, устремленные на рассказчика, молодые и оживленные женскіе глаза.

Мужчины относились сдержаннѣе.

Общество представляло собой, до извѣстной степени сплоченный, кружокъ мѣстной интеллигенціи. Сплоченность была, впрочемъ, на русскій манеръ. Людей сблизили между собою не убѣжденія политическія, даже и не личныя симпатіи. Связью послужили, какъ водится у насъ, случайныя служебныя и общественныя положенія и отношенія. Мужья служили вмѣстѣ, и жены перезнакомились между собой. Узлы затянулись тѣснѣй. Голоса подстроились по одному камертону.

Все осыло кругомъ въ опредѣленной формѣ, скучно и монотонно порой, за то прочно, уютно и покойно.

Присутствіе новаго лица заставляло поневолѣ подтянуться, и быть насторожѣ во все время. Къ этому присоединялось со стороны мужчинъ чувство ревнивой досады на женщинъ, вѣчно готовыхъ увлекаться новизной, въ какомъ бы видѣ ни представилась эта новизна: въ формѣ ли новой моды, новой шляпки или книжки, или случайно встрѣтившагося, словно съ неба свалившагося человѣка.

Общій хохотъ по поводу проекта литературнаго странствованія,—каждый предлагалъ къ нему свои забавныя дополненія,—продолжался нѣсколько минутъ. Струя неудержимаго оживленія охватила общество.

Тоненькая дѣвушка тихо смѣялась сдержаннымъ смѣхомъ, ломая стебельки брошенныхъ на столъ, увядающихъ цвѣтовъ. Глаза ея медленно поднялись и остановились на разскащикѣ. Онъ не оставлялъ своей шутки, убѣждая общество попытаться осуществить ее.

— Ничего не выйдетъ. Перессорятся всѣ, — съ улыбкой, качая головой, замѣтилъ хозяинъ дома.—Помните кто-то... да, какой-то испанскій сатирикъ... Ларра его звали, что ли... Ну, такъ вотъ онъ говорилъ: „человѣкъ съ выраженіемъ *зависти* на лицѣ, въ которомъ тотчасъ можно признать литератора“. Слишкомъ много возбужденнаго самолюбія, я думаю.

— Нѣтъ, отчего же! Все зависитъ отъ обстановки. Кавимъ воздухомъ дышать, — возразилъ путешественникъ. — Что можетъ быть напряженнѣе самолюбія политическаго, напримѣръ! Каждый день поднимаются и опускаются чашки у вѣсовъ, а бываютъ же времена, когда люди дѣйствуютъ какъ одинъ человѣкъ, все равно—литераторы и не-литераторы.

— А какія это времена? Разскажите о такихъ временахъ... чтонибудь еще,—обратилась къ нему неожиданно для всѣхъ, кажется даже и для самой себя, маленькая гувернантка и подняла вверхъ на первыхъ же словахъ сконфуженно-закраснѣвшееся, крохотное личико. — Я слышала, вы знали Гарибальди. Вы ѣздили къ Гарибальди?—стремительно, слово за слово, выговаривала она.—Въ Парижѣ во время осады...

Путешественникъ сдѣлалъ движеніе плечами, не спѣша отвѣтомъ.

— Я зналъ Гарибальди,—проговорилъ онъ коротко и всталъ съ мѣста, чтобы обойти кругомъ стола за стаканомъ чаю, который передавала ему хозяйка.

Красивая головка за серебрянымъ самоваромъ освѣтилась лукавой усмѣшкой.

— Мы ловимъ васъ на словѣ,—заговорила молодая женщина, непринужденнымъ движеніемъ задерживая стаканъ въ рукахъ, послѣ того, какъ пальцы гостя взяли уже за него съ другой стороны.—Ну, вотъ вамъ чай! Придумайте въ самомъ дѣлѣ что нибудь разсказать намъ о такихъ временахъ изъ своей итальянской жизни. Нѣтъ?—Ну, парижской, испанской... Да, да!—весело болтала она.—Въ письмѣ „общаго друга“ имѣются подробныя свѣдѣнія о вашихъ подвигахъ и походахъ. Разскажъ, непременно разскажъ!

— Позвольте!—заговорилъ путешественникъ, замѣчая, что общество молчитъ, ожидая его отвѣта.—Я и безъ того, кажется, наговорилъ сегодня здѣсь больше, чѣмъ во всю остальную свою жизнь. И что же я могу! Моя итальянская жизнь! Это было такъ давно. Я тогда мальчуганомъ былъ. Да и какъ это разсказывать такъ вдругъ, безъ всякаго повода!—замѣтилъ онъ, усмѣхаясь.—Это у писателей только бываетъ обыкновенно въ началѣ разсказовъ и повѣстей, что сойдутся нѣсколько человѣкъ въ гостиной у камина и—„уступая общей просьбѣ“—Петръ Петровичъ или Иванъ Ивановичъ начинаютъ разскажъ. Очень удобный литературный приѣмъ, но я не литераторъ, и разскажъ—это вѣдь не то, что проектъ литературнаго странствованія. Лучше возвратимся къ нему. На чемъ же порѣшили? Признается ли планъ неосуществимымъ? Жаль!—сказалъ онъ, обращаясь ко всему обществу.—За границей между актерами самая обыкновенная вещь. Приходилось слышать отъ иностранныхъ театральныхъ знаменитостей...

— Вы не пренебрегали и легкомысленнымъ театральнымъ міромъ? И вамъ удалось проникнуть въ него?—спросилъ неожиданно съ нотой прозвучавшаго недовѣрія эффектный

брюнетъ, сощуривъ глаза и обводя боковымъ незамѣтнымъ взглядомъ невзрачный костюмъ путешественника.

— Что-жь, это было сдѣлать легче всего, — отвѣчалъ тотъ просто. — Я, разумѣется, не театралъ и не бывалъ имъ никогда, но меня интересовалъ иногда этотъ мѣръ, театръ. Такая эффектная и могучая, затягивающая трясина. Да и наконецъ — тамъ жизнь. Какъ бы бѣдно и вяло ни шла она вокругъ, тамъ всегда оживленіе, страсть, борьба... на свой ладъ, разумѣется.

Разговоръ перешелъ къ театру.

Завязался извѣстный споръ объ игрѣ „нутромъ“ и необходимости школы въ смыслѣ сценической подготовки для артистовъ вообще.

Путешественникъ поддерживалъ мысль относительно подготовки, подкрѣпляя ее примѣрами иностранныхъ авторитетовъ.

Мнѣнія раздѣлились.

— Странно! — снова замѣтилъ брюнетъ съ вѣжливой ужимкой, обращаясь къ нему. Слова онъ произносилъ съ такой осторожностью, какъ будто отъ cadaго зависѣло рѣшеніе чьей-нибудь участи. — Удивительно, что вы, такой защитникъ свободы безусловной, — насколько могу я понять до сихъ поръ, — вездѣ и во всемъ, вы требуете школы, то-есть прежде всего стѣсненія, узды для того, кто... Какъ бы лучше выразиться! Да, кто всего чувствительнѣе относится къ малѣйшему стѣсненію для себя, для артистическаго генія, самаго капризнаго, какъ мнѣ кажется, и своевольнаго изъ всѣхъ.

Пріѣзжій въ свою очередь на секунду внимательнымъ взглядомъ оглянулъ собесѣдника. Онъ вдругъ всталъ и закурилъ папиросу надъ лампой съ высокимъ стекломъ. Свѣтъ снизу освѣтилъ неподвижныя, твердо-сложенныя губы. Выраженіе непоколебимаго самообладанія лежало въ этомъ лицѣ, въ складкѣ нѣжныхъ губъ, въ движеніяхъ мускуловъ подъ тонкой, кое-гдѣ морщившейся уже кожей.

— Я не охотникъ до общихъ мѣстъ, но если угодно... началъ онъ. — Я не о геніяхъ говорилъ. Геніи всегда и во всѣхъ сферахъ не подлежатъ общему приговору и сужденію. А я просто говорилъ о заурядныхъ артистахъ, о нашихъ обык-

новенныхъ актерахъ, которыми полны наши театры и которые безъ этой школы, что называется, ступить не умѣютъ, не знаютъ куда руки дѣвать.

— Я до сихъ поръ никогда не могла рѣшить этого вопроса: что лучше? — вмѣшалась въ разговоръ, застѣнчиво краснѣя, молодая дѣвушка и отодвинула смятые цвѣты. — Какая школа? Трудно рѣшить, мнѣ кажется, что выгоднѣе для артиста: когда нѣтъ выдержки, школы, ничего заранѣе положеннаго и выученнаго, но за то есть искренность, или же напротивъ: всѣ эти позы и жесты à la Sarah Bernhardt, декламация и вмѣстѣ съ тѣмъ плохая школа, а взамѣнъ ничего правдиваго, какъ въ жизни бываетъ, какъ въ самомъ дѣлѣ...

Она заторопилась и умолкла.

— Зачѣмъ же брать крайности? — улыбаясь, обратился уже прямо къ ней путешественникъ.

— Нѣтъ, не крайности, а вообще... Вообще я не люблю декламации.

— А, ужъ это другой вопросъ!

— Я оттого не люблю, что это всегда не правда, — продолжала она тономъ убѣжденія.

На видъ ей было не болѣе двадцати, можетъ быть девятнадцати лѣтъ. Гладко причесанные по старой модѣ, съ проборомъ на двѣ стороны, волосы оставляли открытымъ весь чистый, прелестный лобъ. Глаза смотрѣли внимательно и серьезно. Поперечная, тонкая морщина смотря по выраженію появлялась и пропадала между бровей.

Ее слушали съ тѣмъ снисходительнымъ выраженіемъ, какое бываетъ у мужчинъ, когда они слушаютъ женщину не ради того, что она скажетъ, а любуясь тѣмъ, какъ она говорить.

Разговоръ разбился на группы. Между отдѣльными лицами продолжалось обсужденіе литературнаго путешествія, заинтересовавшаго дамъ. Черноволосый красавецъ перемѣнилъ мѣсто и съ нескрываемымъ вниманіемъ прислушивался къ спору въ концѣ стола. Спорившіе увлеклись и не замѣчали его.

— Развѣ можетъ быть что-нибудь дороже? Правда дороже

всего, съ возраставшимъ одушевленіемъ поддерживая свою мысль, настаивала молодая дѣвушка.— Да вотъ хотите примѣръ! Не случилось ли вамъ, слушая декламацию, испытать очень странное чувство? Это случается, когда слушаешь въ простой обстановкѣ, въ комнатѣ на примѣръ,— поясняла она.— Представьте себѣ, такъ просто комната, гостиная или зала... стулья по стѣнамъ, кресла, часы стоятъ и вдругъ... декламация съ жестами, паеосъ напускной, или даже хотя бы просто черезчуръ выразительное, какъ говорится, „сценическое“ чтеніе. Такое чувство дѣлается каждый разъ: какъ будто совѣстно, неловко становится за себя и за того, кто читаетъ такъ. Вы этого не испытали? Это оттого, что не правда,—горячо заключила она.

— Да, въ этомъ вся причина,—замѣтилъ путешественникъ.

— То-есть въ чемъ? Какая вы думаете?

— Да вотъ эта самая, что „не правда“,—какъ вы сейчасъ сказали. Въ ней вся сила. Паеосъ напускной. Нѣтъ, значить, соотвѣтствія между словами и самимъ положеніемъ. А вы представьте себѣ: что, еслибы оно было—это соотвѣтствіе? Еслибы была правда, одна правда, и вся до послѣдняго слова. Тогда и эффектъ вѣдь получился бы совершенно другой. Бываютъ такіа положенія...

— Мнѣ кажется, здѣсь упускаются изъ виду условія сцены, — сказалъ, вмѣшиваясь въ разговоръ хозяинъ дома.— А между тѣмъ ихъ нельзя оставлять безъ вниманія; они предъявляютъ требованія, съ которыми нужно считаться. Нельзя писать декораціи, какъ картины, на примѣръ; нельзя...

Онъ хотѣлъ прибавить что-то еще, но дѣвушка безъ церемоніи перебила его.

— Одну минуту... Пожалуйста! Вы сказали, бываютъ положенія,—начала она, обращаясь къ пріѣзжему.— Какія положенія? Что вы хотѣли сказать?

— Я хотѣлъ сказать, бываютъ положенія жизненные, житейскія,—отвѣчалъ онъ.— Сложатся такъ обстоятельства и выйдетъ само собой что то, что прозвучало бы въ другое время, можетъ-быть, фальшиво или по крайней мѣрѣ дѣланно, при тѣхъ условіяхъ покажется простымъ и вполне

нѣ естественнымъ. Я говорю какъ разъ именно про декламацию,—замѣтилъ онъ, встрѣтивъ недоумѣвающий взглядъ.— Мнѣ случилось слышать такого рода декламацию.

— Въ комнатѣ?

— Да, въ комнатѣ, въ простой комнатѣ, безъ эстрады, хотя и въ присутствіи довольно многочисленной публики. Я не помню болѣе сильнаго впечатлѣнія. Было это, помнится, въ Парижѣ, на одномъ изъ вечеровъ...

Въ обществѣ произошло какъ бы невольное движеніе. Всѣ поправились на мѣстахъ и повернули головы въ одно направленіе. Эффектный брюнетъ съ бородой откинулся къ плетеной качалкѣ и лишь время отъ времени дѣлалъ движенія глазами, не поворачивая шеи въ тугихъ, крахмаленныхъ воротничкахъ. Молодая дѣвушка оперлась сложенными руками о столъ, нахмурилась и насторожилась.

Пріѣзжій господинъ продолжалъ.

— Это случилось сравнительно недавно на одномъ изъ музыкальных сборищъ тамъ... за границей, въ русской колоніи. По какому случаю—справлялись ли чьи нибудь именины, или новый годъ встрѣчали, или провожали кого-нибудь—не помню теперь въ точности; но все устроилось какъ-то съ особенной торжественностью, шумно, людно и, даже можно сказать, весело. Собрались будущія звѣзды и свѣтила артистическаго опернаго міра, ученики и ученицы Віардо. Я вошелъ съ этимъ пестренькимъ народомъ. Играли, пѣли дуэты, тріо и вою на всѣхъ языкахъ. Аплодировали по обыкновенію, кричали, требовали повторенія и повторяли...

— Да, вотъ кто умѣетъ веселиться!—меланхолически замѣтилъ кто-то изъ кружка.

— Не всегда, но бывали вечера, о которыхъ вспоминается съ удовольствіемъ,—отозвался рассказчикъ и продолжалъ: — Роль хозяевъ или, точнѣе сказать — распорядителей, играли въ этотъ вечеръ по обыкновенію два-три члена кружка,—старожилы колоніи и давнишніе habitués на этого рода вечеринкахъ. Исполняли роль съ умѣньемъ и толково. Каждый изъ присутствовавшихъ имѣлъ случай выказать разнообразныя качества своихъ дарованій.

Среди группъ, большею частію знакомыхъ между собой,

помню, бродилъ долгое время, повидимому неизвѣстный большинству, небольшого роста невзрачный человекъ. Съ виду, типомъ лица онъ напоминалъ итальянца и дѣйствительно оказался имъ. Кто-то больше изъ вѣжливости, должно быть, предложилъ ему продекламировать что-нибудь. Публика не слишкомъ усердно поддерживала предложеніе. Большинство были русскіе, французы.—По-итальянски?—Ну, что! не поймешь ничего...

Однако, предложеніе было принято.

Итальянецъ улыбнулся въ отвѣтъ. Какъ сейчасъ вижу странную, вызывающую, какъ бы торжествующую улыбку. Какъ будто онъ ждалъ этого приглашенія,—ждалъ и былъ счастливъ, что дождался. Онъ потупился на секунду и вдругъ поднялъ голову. Затѣмъ, не сходя съ мѣста, прислонился къ роялю и началъ.

Я не помню теперь, чьи были стихи: Леопарди или Джустини. А можетъ быть—и это вѣрный—какого-нибудь совсѣмъ неизвѣстнаго маленькаго поэта, но съ первыхъ же словъ, раздавшихся среди нестихнувшей толпы въ глубинѣ большой комнаты, всѣ смолкли; головы и глаза обратились въ сторону говорившаго.

Вещица была не велика, на мотивъ часто повторяющійся въ итальянскихъ стихотвореніяхъ.

Друзья, не видавшіеся въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, встрѣчаются между собой. Обстоятельства разъединили ихъ. Жизненные пути разошлись въ противоположныя стороны. Одинъ изъ нихъ оказывается предателемъ и доносчикомъ.

„Lasciami, scellerato!“—говоритъ пострадавшій, и невыразимое, холодное презрѣніе слышится въ тонѣ этихъ, въ первый разъ произносимыхъ словъ.

Но каждый куплетъ начинается негодующимъ обращеніемъ:

„Lasciami, scelleerato“...

Тонъ измѣняется. Какъ удары кинжала падаютъ ужасающія слова.

„Отойди отъ меня, презрѣнный! Видъ твой внушаетъ мнѣ ужасъ. Sei un delatore! Ты доносчикъ“.

Все словно умерло вдругъ въ большой комнатѣ. Слышно было чье-то взволнованное дыханіе, да голосъ, великолѣп-

ный голосъ декламатора звучалъ съ каждой нотой грознѣе, казалось, побѣдительноѣе, неотразимѣе... Онъ не боялся аффектаціи, — замѣтилъ рассказчикъ въ сторону молодой женщины. — Напротивъ! Ничагого подъемъ голоса, казалось, не въ силахъ былъ достигнуть высоты охватившаго его одушевленія.

Sei un delatore!

Съ каждымъ куплетомъ возрастаетъ crescendo. Это sei онъ произноситъ съ змѣинымъ шипѣньемъ. Отъ холоднаго, уничтожающаго презрѣнія онъ переходитъ къ негодованію, къ гнѣву, къ бѣшенству, и когда въ послѣдній разъ прозвучала послѣдняя, въ бѣшеной ярости задыхающаяся нота *Sei un delatore!* — въ залѣ нѣсколько секундъ длилось тоже мертвое, гробовое молчанье.

Буря рукоплесканій нарушила тишину. Женщины окружили маленькаго человѣка. Онъ отказался повторить или продекламировать что-либо еще. Но тутъ совершилось нѣчто для всѣхъ неожиданное.

Я не отводилъ глазъ отъ его лица.

Ропотъ похвалъ раздавался кругомъ, но, казалось, онъ не слышалъ ихъ. Огромные и черные, какъ два угля горѣвшіе во впадинахъ глаза, неподвижно устремлены были въ одну точку въ глубинѣ комнаты. Тамъ замѣтно было смятеніе.

Высокій человѣкъ, прижавъ шляпу локтемъ, пробирался посреди мгновенно образовавшейся толпы. Онъ шелъ сгорбившись, низко наклонивъ голову и вдругъ, какъ бы повинувшись невидимой силѣ, выпрямился на одно мгновенье во весь ростъ и обернулся лицомъ.

Взоры ихъ встрѣтились поверхъ толпы.

Итальянецъ захохоталъ, рванулся впередъ. Было поздно. Его удержали. Другой успѣлъ скрыться въ дверяхъ. На секунду наступила тишина. Потомъ поднялась суматоха. Потомъ...

— Ну, и что же? Что же было потомъ? — проговорилъ срываясь, громко на всю террасу, молодой, взволнованный женскій голосъ.

— Потомъ... потомъ... ничево особеннаго. Все кончилось. Стали чай пить, — отозвался рассказчикъ.

Онъ выпустилъ изъ рукъ стулъ, который машинально захватилъ во время разсказа, и провелъ рукой по лицу.

— А послѣ вечера? Послѣ чаю?—краснѣя и съ умоляющимъ выраженіемъ настаивала молодая дѣвушка.

— Послѣ стали прощаться, расходиться по домамъ...

— Какъ разъ именно то, что остается и намъ сдѣлать теперь,—перебивая на словѣ, замѣтилъ черноволосый господинъ и въ ту же минуту поднялся съ кресла.

Никто, очевидно, не раздѣлялъ его мнѣнія. Никто, однако же, не возразилъ ему, но и не послѣдовалъ его примѣру. Всѣ остались на прежнихъ мѣстахъ и въ продолженіе нѣсколькихъ секундъ поднявшійся простоялъ выпрямившись одинъ посреди террасы.

Все сразу какъ-то стихло и примолкло кругомъ. Происходило видимо нѣчто необыкновенное.

Хозяева вопреки обычаю не высказывали сожалѣнія и не пробовали удержать гостя.

Маленькая гувернантка съ выраженіемъ крайняго волненія подняла обѣ ручки, всплеснула ими по воздуху и, вся съежившись въ сѣренькомъ, какъ футляръ узкомъ платьицѣ, наклонила голову надъ чашкой и не поднимала ея.

Молодая дѣвушка подвинулась съ мѣста; блестящіе глаза ея, быстро переходя, обвели собраніе и остановились съ дѣтски-испуганнымъ изумленіемъ.

Гость, шумно двигаясь между стульями, торопливо прощался съ окружающими. Ему отвѣчали молчаливыми рукопожатіями. Становилось замѣтнымъ, какъ онъ блѣднѣлъ съ каждой минутой и казался взволнованнымъ, несмотря на видимое стараніе овладѣть собой. Проходя мимо разсказчика, онъ слегка наклонилъ голову. Ни тотъ, ни другой не протянули руки.

Всѣ замѣтили это и переглянулись.

— Что это! Что значитъ?—спросилъ хозяинъ дома, когда заперлась калитка и замокъ по аллеѣ шумъ одинокихъ шаговъ.

Но вдругъ, не дождавшись отвѣта, онъ остановился посреди комнаты, блѣднѣя въ свою очередь, и схватилъ себя за голову.

— Понял!... Вы это нарочно? Вы не простились съ нимъ.

— Да я и не здоровался,—отвѣчалъ пріѣзжій.—Тогда незамѣтили....

— Разсказъ пришелся кстати. Я давно это... Вы его знали?—продолжалъ онъ все тѣмъ же нервическимъ шепотомъ, указывая на дверь.—Вы нарочно привели свой разсказъ?

— И не думалъ,—возразилъ пріѣзжій.—Всего второй разъ вижу его. Слышалъ раньше, и признаюсь...—Онъ остановился, улыбаясь.—Проектируя здѣсь свое литературное странствование, я заранѣе исключалъ его изъ числа возможныхъ членовъ. Но разсказъ—это случайность чистѣйшая. Я ничего не злоумышлялъ, хотя и не расказываюсь теперь, что случилось такъ. Это вотъ барышня виновата,—замѣтилъ онъ, обращаясь въ сторону, гдѣ сидѣла молодая дѣвушка. Ея уже не было въ комнатѣ.

Наступила пауза. Всѣ молчали.

— Да! задумчиво проговорилъ хозяинъ.—Да, вотъ оно что.

Онъ успѣлъ уже оправиться и стоялъ, заложивъ руки за спину и прислонившись къ стѣнѣ.

— На Западѣ вамъ чаще приходилось, вѣроятно, быть свидѣтелемъ подобныхъ сценъ,—обратился онъ къ пріѣзжему,—а у насъ въ Россіи....

— Не беспокойтесь! Не замедлять и у насъ. Да и есть онъ, не считая нынѣшняго вечера. Къ тому идетъ. Сортируется, подбирается понемножку...—отвѣчалъ пріѣзжій и взялся за шляпу.

— Какъ, уже уходить! А путешествіе? Проектъ путешествія?—въ одинъ голосъ заявили дамы и окружили его.

Онъ съ комическимъ видомъ развелъ руками.

— Въ настоящую минуту мнѣ какъ разъ предстоитъ оно—путешествіе своего рода,—сказалъ онъ, показывая рукой на аллею, темнѣвшую безконечной перспективой передъ освѣщенной террасой.—Какъ темно и мрачно! Право, можно подумать, что въ концѣ находится спускъ въ подземное царство,—шутливо говорилъ онъ, направляясь въ уголъ за шляпой.

— Вы знаете по крайней мѣрѣ дорогу?—заботливо осведомилась хозяйка.

— Не знаю, но въ сущности это безразлично,—отвѣчалъ

онъ съ равнодушнымъ видомъ, набрасывая на плечи пальто, поношенное и потертое даже при вечернемъ освѣщеніи и драпировавшееся на немъ не хуже плаща сказочнаго принца.

— Поручаю судьбу мою путевой звѣздѣ своей, звѣздѣ одинокихъ путниковъ... Не безпокойтесь, пожалуйста,—прибавилъ онъ, прерывая сочувственныя замѣчанія.— Не въ первый разъ и не въ послѣдній, смѣю надѣяться. Покойной ночи!

Неудовимое выраженіе подавленного чувства мелькнуло на мгновеніе въ его чертахъ. Въ блѣдномъ освѣщеніи подъ широкою шляпой черты казались тоньше и строже.

Онъ закурилъ папиросу, приподнялъ еще разъ шляпу и повернулся, чтобы идти, но на порогѣ столкнулся съ бѣлой фигурой, медленно поднимавшейся по лѣстницѣ.

— Вы уходите? Позвольте, одну минуту. Что случилось съ итальянцемъ? Вы не видѣли его потомъ?

Молодая дѣвушка появилась въ дверяхъ изъ сада, загоравшая собою выходъ, опустивъ руку на перила. Бѣлый, въ лѣтнемъ платьѣ, стройный обликъ ея отчетливо выдѣлился, какъ въ рамѣ, въ темномъ промежуткѣ раскрытой двери.

Пріѣзжій обвелъ восхищеннымъ и въ то же время тронутымъ взглядомъ тоненькую, дѣвичью, взволнованную фигурку, стоявшую передъ нимъ.

— Вамъ, я вижу, во что бы то ни стало хочется узнать, что было *потомъ*,—проговорилъ онъ, усмѣхаясь.—Итальянецъ умеръ черезъ годъ при довольно исключительныхъ обстоятельствахъ... А впрочемъ что же это я!—тотчасъ же перебилъ онъ самого себя.—Все это я имѣлъ честь докладывать вамъ лишь въ подтвержденіе того нехитраго положенія, что декламация возможна и въ комнатѣ,—продолжалъ онъ съ обычной шутливостью, на прощаніе пожимая протянутую ему маленькую, горячую руку.—Да, это была настоящая сценическая декламация въ салонѣ. Какъ видите, она удается иногда.

Л. Нелидова.

Евлампеева дочь.

(повѣсть.)

...Всяко, сударь, на свѣтѣ бываетъ. Идетъ, къ примѣру сказать, по улицѣ тортуаромъ человѣкъ, здоровый, веселый, идетъ и мечтаетъ о жизни; и вдругъ обваливается съ высокаго дома карнизъ, и прямо ему на голову; человѣка ужъ того и нѣтъ! Или такъ: изъ ничтожества сразу другой превознесется и станетъ надъ многими повелѣвать. А иной цѣльную жизнь мается, какъ рыба объ ледъ бьется и неожиданно, передъ кончиною, Богъ ему богатство пошлетъ. Рѣдко, а бываетъ это. И выходитъ, никто заранѣе судьбы своей опредѣлить не властенъ. Случается, однако, что счастье человѣкъ и самъ беретъ, не дожидаясь череда; но въ такомъ разѣ, по размышленію людей благочестивыхъ, врядъ-ли безъ грѣха дѣло обходится...

Разскажу я вамъ одну исторію. Жила въ нашемъ городѣ дѣвица. Нельзя сказать, чтобы она знатнаго рода или высокаго происхожденія была, а изъ самаго простаго званія: прямо надо говорить, папаша ея былъ прежде дворовымъ человѣкомъ, а мамаша небольшую коммерцію вела—жареной печенкой, пирогами да разнымъ мужицкимъ овощемъ на базарѣ торговала. Не природные они городскіе, а *натѣки*, то есть, пришлые, чужестранные. Фамилья ихняя объявилась въ нашемъ городѣ тому назадъ лѣтъ двадцать. Такъ какъ Евлампей Иванычъ,—папаша этой дѣвицы—съ-измалѣтства служивши при своихъ господахъ, въ совершенствѣ лакейскую должность произошелъ, то съ перваго-же разу на

хорошую линію попалъ: занялся въ городѣ официантской частью... По нашему мѣсту, ежели такое занятіе да въ настоящія руки попадетъ, то лучшаго маленькому человѣку ничего и пожелать невозможно: потому, во-первыхъ, — прибыльно, а во-вторыхъ, — официантъ ничѣмъ не обязанъ, грозы хозяйской надъ собой не чувствуетъ, живетъ на полной слободѣ, и самъ себя господинъ. Шибко тогда пошелъ въ гору Евлампей Ивановичъ: богачи рвутъ его на всѣ стороны, едва съ артелью поспѣваетъ заказы принимать. Старшенькую дочку — по двѣнадцатому годку была — въ школу опредѣлили, потомъ, когда подучится, думалъ даже въ гимназію перевести; остальные ребятишки еще малы, на печкѣ сидѣли, но и тѣхъ въ свое время хотѣлъ въ училище отдать: но по прошествіи не больше какъ всего трехъ годовъ почти скоропостижную кончину принялъ. Зимой это случилось: случилъ онъ на богатой свадьбѣ и, бѣгая во фракъ да бѣломъ галстукѣ изъ теплыхъ покоевъ черезъ дворъ по морозу на кухню, жестоко простудился, схватилъ скоротечную чахотку и черезъ два мѣсяца лежалъ подъ образами. Со смертью семейству его уже не до высокаго образованія!... Пока нажитое покойнымъ изъ рукъ не выплыло, семейство ничего — существовало, а какъ все попрожили, нужду пришлось терпѣть. Но вдова оказалась женщиной предприимчивой и открыла эту самую коммерцію. Сама съ утра до ночи на базарѣ торгуетъ, а старшая дочь по дому за сестренкою, да братишками присматриваетъ. Такъ и жили, переколачивались.

Подросли дѣти. Матери новая забота: нужно ихъ къ дѣлу опредѣлить, чтобы хлѣбъ себѣ добывали. Пристроила вдова старшую дочь къ намъ на фабрику, въ ткацкое отдѣленіе по шпульной части; младшую къ портнихъ въ ученіе отдала, а мальчишекъ къ намъ же, на прядильню, въ присучальщики за машины поставила. Поразсовала такимъ манеромъ дѣтишекъ, а сама коммерцію продолжала вести.

Наша мануфактура одна изъ первыхъ въ городѣ: у насъ и прядильная, и ткацкая, и ситцевая. Народа разнаго больше трехъ тысячъ пропитаніе отъ нея получаютъ. Ежели издали посмотрѣть на фабрику, — настоящая картина! Пятиэтажные, да шестиэтажные каменные корпуса, трубы вы-

ше иной колокольни, вездѣ олигеля, да разныя зданія улицами идутъ, а по лугу разноцвѣтныя ситцы разстилаются: что иной уѣздный городъ—никуда въ сравненіи съ ней не годится! И мѣстоположеніе прекрасное: по отлогому берегу зданія расположены, рѣка, словно лентой синей, фабрику огибаешь, а на другомъ, возвышенномъ берегу, поблизости, лѣсъ большой стоитъ. Ужъ очень прекрасно и для глазъ, и для воздуха было. Извѣстно, на фабрикахъ какими ароматами несетъ: тутъ и пыль маслянистая отъ трепальныхъ да чесальныхъ машинъ, отъ красокъ да паровъ ядовитыхъ не продохнешь, а по корридорамъ и двору, мѣстами, какъ ни привычны мы, безпремѣнно за носъ схватишься, зажмешь его и бѣжишь прочь, какъ отъ заразы. Ну, вотъ лѣтней порою откроешь окошко или форточку—изъ лѣсу и потянетъ сосновымъ запахомъ, да пріятнымъ воздухомъ. Я по лѣтамъ домой иначе и не ходилъ, какъ черезъ этотъ лѣсъ, а обѣдать приносили мнѣ на фабрику. Обыкновенно два часа на обѣдъ давалось: перекусишь наскоро—и въ рощу! Слава Богу, зиму-то зимскую всего наглотаешься въ мотальной, и дорога одна и та же опротивѣетъ до невозможности! Ну, лѣтомъ и поблаженствуешь! Въ будни часокъ погуляешь, а въ праздники съ утра заберешься въ лѣсъ и до ночи тамъ время въ удовольствіе свое проводишь. Наровишь только всегда поглуше куда забиться, чтобы на глаза хозяевъ не попадаться, потому какъ въ праздники всѣ богачи въ рощу съ семействами пріѣзжаютъ: напитковъ всякихъ съ закусками привезутъ, чай кушаютъ, а молодые въ бесѣдкѣ танцуютъ подъ музыку. Жюки эти, черно-работіе фабричныя, залягутъ на травѣ и поглядываютъ изъ-за деревъ на увеселенія хозяйскія; а нашему брату, приказчику, какъ-то и неловко: увидить кто изъ хозяевъ—свой или чужой—все равно, подзоветъ къ себѣ, и стоишь передъ нимъ, пока онъ съ тобою говоритъ, безъ фуражки, словно передъ иконою или въ храмѣ Господнемъ; а попробуй, накрой голову, такъ безпремѣнно на худомъ счету послѣ очутишься, скажутъ: „гордеянъ, страху передъ хозяевами не чувствуетъ и должнаго почтенія къ нимъ не оказываетъ.“! Разумѣется, главный приказчикъ не будетъ безъ шапки стоять, особенно

который изъ ярманочныхъ, тоже нѣмецъ колеристъ или англичанинъ директоръ; вмѣстѣ съ господами хозяевами чай и напитки кушаютъ, и мало передъ ними стѣсняются; ну, а я въ то время должность не очень важную занималъ, раздавалъ пряжу мотальщицамъ и въ полномъ подчиненіи у главнаго конторщика находился.

Хозяева наши были люди холостые. Одинъ старшій братецъ еще при жизни своего папаши женился на богачихѣ и ушелъ къ ней въ домъ, такъ какъ у родителей его супруги другихъ дѣтей не было, и, кромѣ наличнаго капитала, фабрику отъ тестя своего получилъ. Остались хозяева послѣ своего папаши совсѣмъ молоденькими, а дѣло повели не хуже, пожалуй что и лучше, чѣмъ люди зрѣлыхъ лѣтъ. Не только заминки въ дѣлахъ или умаленія въ производствѣ не произошло, а наоборотъ, кругъ дѣятельности расширили, порядки учредили строгіе. Когда, по прошествіи десяти лѣтъ, начали сводить баланецъ, оказалось, что наслѣдственный отъ родителя капиталъ вдвое приумножился. Правда, на первыхъ порахъ они пользовались совѣтами старшаго брата: такого ума и характера неограниченнаго былъ господинъ, что многіе фабриканты съ нимъ въ дѣлахъ совѣтовались, а мѣщанки однимъ именемъ Конона Яковлевича своихъ ревуновъ, ребятишекъ, въ трепетъ приводили и заставляли сразу притихнуть. Но какого чрезвычайнаго ума ни былъ бы человекъ, а въ пустопорожнюю голову другого онъ ничего не вложитъ; значить, въ младшихъ братьяхъ ужъ свой, прирожденный талантъ былъ! И дѣйствительно, сами такіе молоденькіе, а лица у нихъ стариковскія: серьезные, говорятъ про одно дѣло и никогда не усмѣхнутся, — развѣ иной разъ, по какому особому случаю, выпьютъ, ну такъ нѣсколько повеселятъ, но это въ годъ разъ, много два случилось, не больше. Первые миллионщики, а жили нераскочно, отъ всякихъ общественныхъ дѣловъ отстранялись, ни во что въ постороннее не входили, занимались своей фабрикой и жили только для однихъ себя. Основательные молодые люди, фундаментальные! Характеромъ, кромѣ середняго, всѣ по старшему братцѣ: гордые и неприступные! Старикъ покойный, папаша ихній, другого склада и понятій былъ человекъ. Тотъ,

бывало, со всякимъ простымъ рабочимъ поговорить, распросить его, кто онъ, велика-ли семья, и во все вникнуть и ежели узнаеть, что человекъ нужду терпять, безпремѣнно ему помощь окажетъ. Доступный, съ открытымъ сердцемъ быть покойникъ!... При томъ же и помнигъ, что родитель на его глазахъ самъ эти ситцы набивалъ, да вмѣстѣ съ набойщиками капиталъ свой наживалъ. Ну, а нонѣшніе хозяева ужъ этого не помнятъ, потому и великаты!

Каждый братъ завѣдывалъ своей частью. Хотя и были директоры, механики и колеристы, но хозяева до всего сами доходили. У насъ, на ткацкой, распоряжался средній братъ, Геннадій Яковлевичъ,—всего ему тогда было двадцать два года. Онъ въ другихъ братьевъ не вышелъ, а больше по своему папашѣ пошелъ, хотя наружностью мало на родителя походилъ: тотъ высокій, дюжій и представительный былъ мужчина, а Геннадій Яковлевичъ роста средняго, сложенія нѣжнаго, темнорусый и тонколицый, но характеромъ и улыбкою своего пріятнаго лица совершенный папаша: обходительный, простой и ко всѣмъ доброжелательный. Увидить, кто изъ служащихъ что не такъ дѣлаетъ, только учтиво скажетъ: „Ты, Иванъ Петровъ, вотъ такъ-бы“!... и больше ничего. А если кто провинится въ чемъ, то никогда не прогнать человека и штрафъ на него не прикажетъ писать; пожурить тихонько, скажетъ: „впередъ этого не дѣлай, дуракъ“! и велитъ опять къ своему дѣлу идти. „Только, пожалуйста, до братцевъ объ этомъ не доводите“, просить насъ. Дѣйствительно, попадись виноватый на Павла Яковлевича,—другой братъ, что подъ Геннадѣемъ Яковлевичемъ,—бѣда: никакихъ словъ въ оправданіе не приметъ, даже и слушать не станетъ, а затопаетъ, забранится и закричитъ: „гоните его съ фабрики въ шею“!

Три мѣсяца прошло, какъ Евлампеева дочь къ намъ въ ткацкую опредѣлилась. Звали ее Ниною,—дворовые часто своимъ дѣтямъ благородныя имена давали, господамъ своимъ подражали. Молоденькая, лѣтъ шестнадцати, много семнадцати, а въ работѣ пожилымъ не уступала. Собою была не дурна: высокенькая, личико бѣленькое, словно у природной барышни, а глаза какъ васильки, и волосы свѣтлые да

густые; одѣвалась хотя бѣдненько и просто, но всегда къ лицу. Одно только дѣвушку портило: щедушна очень! Известно, живя въ сиротствѣ да въ заботахъ, не раздужѣешь. Вела себя очень даже скромно. Другія мотальщицы, особливо изъ себя которыя посмазливѣе, завсегда стараются передъ глазами приказчиковъ вертѣться, а Нина держалась въ сторонкѣ, вида своего ничѣмъ не доказывала; тише монашенки жила, воды не замутить.

Однажды, вскорѣ послѣ Пасхи, отобѣдавши въ конторѣ, пошелъ я по роцѣ разгуляться. Весна въ томъ году, помню очень хорошо, была ранняя: еще въ апрѣлѣ земля просохла, кругомъ все зазеленѣлось, и по лугамъ желтые цвѣточки запестрѣли, а въ началѣ мая такая ужъ благодать наступила, что и сказать невозможно! Вошелъ я въ лѣсъ,—Боже мой!—воздухъ какой, благоуханіе и отъ пѣнія птичекъ по всей роцѣ веселіе да радость идетъ. Такъ бы никогда, кажется, оттуда и не вышелъ, жилъ бы тамъ и умеръ. Погулялъ съ часокъ, поблаженствовалъ — и на фабрику. Выхожу на проѣзжую дорогу—Геннадій Яковлевичъ изволитъ прогуливаться. Снялъ я картузъ, поклонился и хотѣлъ дать ему пройти, а онъ ко мнѣ съ вопросомъ:

— На фабрику. Дороей Ильичъ?—говорить.

— Точно такъ, сударь!—отвѣчаю.—Вздумалось разгуляться!

— Такъ пойдемъ вмѣстѣ.

— Слушаю-съ.

Пошли. Идемъ прокладно, не торопимся.

— Да ты что же,—спрашиваетъ,—безъ фуражки? Жарко. что-ли, тебѣ?

— Никакъ нѣтъ-съ,—говорю.—А такъ какъ вы хозяинъ, такъ изъ уваженія...

— Накройся,—говорить.—Ты знаешь, не люблю я этого...

— Слушаю-съ.

Надѣлъ картузъ. Идемъ. Думаю, о чемъ бы съ нимъ разговоръ начать... Вижу—книжка у хозяина въ рукѣ.

— Книжечку изволили читать?—предлагаю ему вопросъ.

— Да, хотѣлъ читать, но въ лѣсу такъ хорошо, что и страницы не прочелъ. Чудесный день!

— Это точно такъ,—поддерживаю разговоръ:—рѣдкостную

весну намъ Богъ послалъ. Посмотрите, сударь, всякое Божіе твореніе радуется, птички звонко распѣвають, каждая вѣточка, былиночка къ солнышку тянутся, словно поцѣловаться хотятъ...

Взглянулъ онъ на меня сбоку, посмотрѣлъ такъ въ лицо.

— Ты любитель природы,—говорить.—Вотъ я читаю—показалъ на книжку—сочиненія Тургенева. Какъ онъ вѣрно и хорошо природу описываетъ! Ты не читалъ?

— Гдѣ же, сударь, намъ читать! Сами изволите знать, много-ли у насъ свободнаго времени. Въ праздникъ ину пору и почиталъ бы, да книжекъ-то у насъ нѣтъ.

— Ежели желаешь,—говорить,—я тебѣ могу дать. Нынѣшніе сочинители описываютъ настоящую жизнь. Кромѣ удовольствія, можешь даже изъ книжки и пользу себѣ извлечь.

Поблагодарилъ я хозяина. Дорогою онъ рассказывалъ, про что въ книжкахъ нонѣчные сочинители пишутъ, и такъ меня заинтересовалъ, что я тутъ же хотѣлъ попросить книжечки, но помѣшали... Не подалечку изъ лѣсу дѣвушка показалась, повернула на проѣзжую дорогу и сама къ фабрикѣ направляется. Вижу, съ длинной косой, въ бѣлоземельномъ съ голубенькими цвѣточками платьицѣ, фигурка такая высокенькая да стройная, словно тростиночка гибкая. Хозяинъ замѣтилъ.

— Не знаешь, что за барышня?—спросилъ.

— Да, кажется, изъ нашихъ... Глядѣть, не мотальщица-ли, Евлампеева дочь, — отвѣчаю. — Можетъ, изволили когда ее видѣть?

— Можетъ быть, и видѣлъ, но хорошо не помню.

Догнали мы дѣвушку, изравнялись; она пообернулась и поклонилась намъ. Хозяинъ пріостановился.

— Ты у насъ работаешь?—спросилъ.

— Такъ точно, — отвѣчаетъ, — я у васъ въ мотальщицахъ, Геннадій Яковлевичъ.

— Что я тебя не помню, точно никогда и не видалъ?—говорить.

— Гдѣ же вамъ меня помнить? Насъ много на фабрикѣ, каждую трудно признать, — отвѣчаетъ, и въ лицѣ у ней алый румяничекъ выступилъ. — Вотъ я васъ такъ каждый день вижу.

Сказала эти слова и на хозяина своими васьками по-смотрѣла, а щеки такъ и алѣютъ, словно въ саду розанъ нѣжный. Даже она мнѣ о ту пору не въ примѣръ красивѣе показалась, чѣмъ прежде.

— Славная дѣвушка,—сказалъ хозяинъ, когда мы отъ Нины нѣсколько впередъ поотошли.— Давно она у насъ служить?

— Четвертый мѣсяцъ, сударь.

— Удивительно, какъ я раньше ее не видѣлъ! Зналъ, что живетъ Евлампія Ивановича дочь, а самое ее не видалъ.

Началъ спрашивать, какъ она работаетъ и тому подобное, а подъ конецъ такой вопросъ задалъ:

— Ведетъ себя... хорошо?

— Поведенія хорошаго, — отвѣчаю: — держать себя даже очень скромно. Аккуратная дѣвушка, очестливая.

Хозяинъ посматриваетъ на травку и кустики, а по лицу у него что-то свѣтлое перебѣгаетъ.

— Хорошее личико у дѣвушки, — погода сказалъ,—и манеры славныя, а голосокъ какой!

— Не дурна собою,—говорю,—только въ одномъ есть недостаточекъ.

— Въ чемъ, въ чемъ?

— Надо бы подюжѣ хоть немножко, а то очень ужъ тоща.

Усмѣхнулся.

— У тебя вкусъ особенный,—сказалъ.—Вонъ коровы—дюжія, а красы въ нихъ мало.

Вышли мы изъ лѣсу, прошли дугъ, и къ плотинѣ.

— Славная дѣвушка!—сказалъ хозяинъ и оглянулся.— Ну, ты къ себѣ, а мнѣ на ситцевую фабрику надо пойти.

Слышу: первый свистокъ—къ сбору фабричныхъ. Возшелъ я на крылечко, поглядѣлъ въ слѣдъ хозяину. Идетъ не спѣша къ ситцевымъ корпусамъ, а самъ нѣтъ-нѣтъ, да въ сторону рѣки и оглянется. Смотрю: Евлампеева дочь по лугамъ идетъ, спѣшитъ, слышавъ свистокъ, и такъ-то легко да красиво идетъ.

На другой день Геннадій Яковлевичъ пришелъ въ контору, прямо къ столу старшаго конторщика; посидѣлъ недолго, поговорилъ съ нимъ, и къ намъ,—только рѣшотка отдѣляла

контору отъ мотальной. Спросилъ меня, какова пряжа, не часто ли рвется и прочее, что дѣла касается. Потомъ отправился по корпусу, гдѣ женщины со шпуль пряжу эту разматываютъ. У одной посмотреть на работу, взглянуть у другой и такимъ манеромъ идетъ черезъ весь корпусъ. Я не выпускаю его изъ виду и потихоньку посматриваю... Обыкновенно онъ такъ дѣлывалъ: пробѣжитъ шпульной, видѣть, что всѣ на своихъ мѣстахъ, за работой, и живо назадъ вернется. А въ этотъ разъ какое-то особенное вниманіе оказывается. Любопытно! Вижу, далеко ужъ прошелъ и, какъ будто, въ нерѣшительности: поглядываетъ по сторонамъ и кого-то глазами отыскиваетъ. Повернулся въ глаголикъ... Тутъ я догадался. Въ нашемъ отдѣленіи было эдакое въ сторонѣ мѣстечко, какъ-бы закоулочекъ: мы прозвали его глаголикомъ. Рѣдко туда кто даже изъ нашего брата, прикащика, заглядывалъ: работали тамъ дѣвви пожилыя, да лицомъ всѣ не красивыя. Нинѣ-то вотъ промежду ихъ мѣсто и досталось. Недолго, однако, въ глаголикъ хозяинъ пробылъ: вижу, обратно идетъ.

— Пряжа — говоритъ — хороша, — и остановился у моего стола: — моталки не жалуются.

— Точно такъ-съ, отвѣчаю: — послѣдняя партія вышла очень даже доброкачественная.

Заглянулъ ко мнѣ въ книгу, въ которой росписана выдача работъ, увидѣлъ графу Нины Евлампеевой и слегка улыбнулся... Ушелъ въ машинное отдѣленіе, гдѣ миткаль ткуть. Передъ вечеромъ шпульницы принесли сдавать работу; съ ними и Нина. Принимаю я отъ нихъ выработку, записываю имъ въ книжки, и у себя въ книгѣ отмѣчаю, а самъ украдкой на Евлампееву дочь взглядываю. — Недурна дѣвченочка, — думаю... Желательно было мнѣ Нину пора спросить, на счетъ чего съ нею хозяинъ разговаривалъ, но при другихъ постѣснился: пожалуй, съ дуру еще на что подумаютъ, а я чело-вѣкъ женатый и держалъ себя въ обращеніи съ женскимъ поломъ сурьезно. Опять и то принялъ въ соображеніе: какое мнѣ дѣло до ихняго разговора? Одно пустое любопытство!

Только съ этого самаго дня и начало развиваться: какъ хозяинъ въ шпульную, такъ ужъ безпремѣнно къ Евлампее-

вой дочери. Слово-другое скажетъ, посмотреть на нее и отойдетъ. Сядетъ въ конторѣ, разговариваетъ съ бухгалтеромъ, а самъ глаза за перегородку устремляетъ. — Приглянулась, должно быть, дѣвченка хозяину, раздумываю про себя. Ну что-жь, отчего же и не поиграть, не потѣшить себя? Не только хозяева молодые или главные лица по фабрикѣ, а даже незначительные прикащики имѣютъ свой предметъ. У насъ на этотъ счетъ очень просто водилось: приглянулась кому моталка или прядилька, подмигнулъ ей, выходи, молъ, въ коридоръ, и съ двухъ-трехъ словъ дѣло полагено! Даже люди пожилые, степенные, которые супругой и дѣтьми обязаны, и тѣ на фабрикѣ свой предметъ заводятъ. Такой ужъ, значить, у насъ климатъ особенный... Сталъ я примѣчать. Хоша дѣло самое обыкновенное, но лицо-то въ этомъ случаѣ важное замѣшалось—хозяинъ.

Недѣля минула, двѣ, съ мѣсяцъ времени прошло, а положительнаго ничто не предвидится. Зайдетъ Геннадій Яковлевичъ въ мотальную, перемолвится тамъ словомъ,—и только, а яснаго обозначенія все нѣтъ. Товарки Нинины пересмѣиваются и шушукать промезъ себя, но прямо и онѣ ничего не высказываютъ. Ну а у насъ ежели что такое пронюхаютъ, первымъ долгомъ все на улицу вынести. Разгуливаясь когда по лѣсу, встрѣтишь Геннадія Яковлевича; если увидить, поговорить, а то углубится въ книжку и никого не замѣчаетъ. Приводилось и такъ его видѣть: гуляетъ, держитъ въ рукѣ разогнутую книжку, а самъ куда-то въ даль смотреть и мыслями Богъ знаетъ гдѣ носится. Иногда въ лѣсу повстрѣчаешь и Нину,—послѣ обѣда возвращается на фабрику,—но чтобы когда-нибудь съ хозяиномъ вмѣстѣ увидѣть,—ни разу не доводилось. Значить, ничего такого нѣтъ, не стоитъ понапрасну и любопытничать. Бросилъ я эту глупость и пересталъ вниманіе обращать... Но что-жь вы полагаете, сударь? Вѣдь дѣвченка-то завлекла хозяина!

Отправился я разъ обѣденной порой въ рощу. Неоднократно замѣчая, что Геннадій Яковлевичъ прогуливается съ книжкой по одной и той-же дорогѣ, я, чтобы не отвлекать

его отъ чтенія, сталъ выбирать другія мѣста, гдѣ ни дорожки, ни тропинки не проложено. Походишь, присядешь гдѣ, и любишься, а иногда и на травку приляжешь, глядишь сквозь зеленныя верхушки дубовъ, да сосенъ, на небо лазоревое и блаженствуешь... Вотъ такъ-то однажды я прилежъ, лежу между кустами и мечтаю. Тишина въ лѣсу, однѣ птички весело распѣвають и на разные голоса заливаются.— Господи! какая это красота и вверху и внизу,—развожу такъ я мыслями:—тамъ вонъ небо ясное, солнышко красное свѣтитъ; здѣсь роща, деревья въ пышномъ убранствѣ, цвѣточки разные изъ травы повысунулись и глядятъ, и благоуханіе вокругъ распространяется... Значить, это все на радость человѣку создано!.. А мы злобствуемъ, другъ другу осуждаемъ и топимъ своего ближняго. И всему этому причина—дьяволъ, который нами руководствуетъ и человѣка на человѣка направляетъ... Зачѣмъ только Господь Богъ дозволилъ окаянному смущать міръ, зачѣмъ допустилъ властвовать надъ сердцами человѣческими?.. Итакъ я, сударь, въ ту пору высоко занесся разными мечтаньями, что послѣ даже своему духовному отцу на исповѣди признался. Помню, батюшка меня за это пожурилъ. „Это“—сказалъ онъ,—тебя бѣсъ свободомыслія искушалъ. Впередъ избѣгай, а то для тебя не хорошо можетъ выдти“... Ну-съ, лежу я, мечтаю и мыслями своими нивѣсть какъ высоко заношусь,—вдругъ... Я даже отъ испуга перекрестился. — За кустами, почти надъ самымъ правымъ ухомъ, мужской голосъ не громко раздался:

— Скажи мнѣ только одно слово...

И голосъ порвался... Жду... Отвѣта нѣтъ.

— Я тебѣ все сказалъ, — слышу черезъ минуту мужской голосъ,—и голосъ тотъ мнѣ знакомъ.—Я долго не рѣшался говорить, думалъ, что это такъ... пройдетъ... Но вотъ ужъ мѣсяцъ, а чувства во мнѣ все сильнѣе; я измучился... Скажи-же, милая!

На этотъ разъ я услыхалъ другой голосъ.

— Нѣтъ.

— Что „нѣтъ?“ Не любишь?!

Не могу достовѣрно сказать, точно ли это такъ было,

или только мнѣ почудилось: не то вѣтерокъ по листьямъ прошелестилъ, не то изъ чьей-то груди вздохъ протяжный вылетѣлъ.

— Зачѣмъ вы это мнѣ сказали!—словно жалобой какой зазвучалъ другой, женскій ужъ голосъ.

— Да вѣдь я люблю тебя! Неужели ты мнѣ не вѣришь?

— Ахъ, не говорите!—взмолился женскій голосъ.—Не слышала бы я отъ васъ ничего, жила бы вѣкъ спокойно и никто въ жизнь не узналъ, что у меня на сердцѣ, — и сквозь тихія рыданья слышались эти самыя слова...

Первое, что мнѣ пришло въ голову,—это вскочить и какъ можно скорѣе безъ оглядки бѣжать! Но скоро опаматовался и перемѣнилъ намѣреніе. Вѣдь меня услышать, подумаютъ, что нарочно подкрался и подслушиваетъ. Нѣтъ, будь что будетъ, а я останусь: притворюсь, что заснулъ, и не пошевелинусь... Вы догадались, сударь, на кого я налетѣлъ?

— О чемъ же ты плачешь?—спрашиваетъ мужской голосъ. Развѣ я тебя обидѣлъ?

— Ничѣмъ вы меня не обидѣли, Геннадій Яковлевичъ,—но только чувствъ своихъ я вамъ не открою, — отвѣчалъ женскій голосъ.—Нѣтъ, не бываетъ нашей любви!

Каково? Молоденькая, а какой отпоръ!

— Отчего же не бываетъ?—спрашиваетъ Геннадій Яковлевичъ.

— Вамъ нельзя меня любить... Годъ, два, пожалуй, вы еще будете любить, а тамъ жениться вамъ надо. Тогда я не перенесла бы этого... Зачѣмъ мы такія несчастныя!

— Никогда я не женюсь! Нина, милая, хорошая, такъ ты любишь меня?

— Позвольте, — и почудилось мнѣ опять, будто она затрепетала и поднялась.—Забудьте про слова свои прелестныя!.. Я бѣдная, простая дѣвушка.

— Постой! куда ты?

— Не бываетъ этому! — воскликнула. — Ахъ, зачѣмъ вы только про свою любовь мнѣ сказали! — и упорхнула птичка.

Повыждалъ я немного времени, осторожно приподнялся, съ минутку прислушался и тихонько эдакъ пораздвинулъ кус-

ты: вижу,—прогалинка, гдѣ бесѣдовала парочка, трава попримята, и никого ужъ нѣтъ. Повернулъ я въ противоположную фабрику сторону и, давай Богъ ноги, бѣжать, бѣжать! такого кривуля задалъ, едва, едва ко второму свистку поспѣлъ!

Ничего я, кажется, худого не сдѣлалъ,—не нарочно же я ихъ подслушивалъ! — а чувствовалъ, точно я чужую вещь похитилъ или что другое не хорошо сдѣлалъ. Молодъ—двадцати восьми лѣтъ еще тогда мнѣ не исполнилось—и потому малодушень былъ. Насилу вечера дождался. На мое счастье, хозяина послѣ обѣда не видалъ, а на ту, Нину, и глазъ поднять не смѣлъ. Вотъ какой легкомысленный характеръ имѣлъ!

Дома поужиналъ и завалился спать; началъ было уже засыпать,—вдругъ эта самая лѣсная исторія поднялась!.. И полѣзло, и полѣзло въ голову, ворочаюсь съ боку на бокъ и хоть-бы на секунду какую забылся. Жену даже обезпокоилъ, раза два она пробуждалась.

— Что ты все ворочаешься? — спросить. — Али что кушаетъ?

— Да, покусывается,—промолвишь.—Сейчасъ засну.

А куда спать! Все думаю про исторію за кустами. Слышу, что онъ говорить и что она ему отвѣчала... Хитрая видно, дѣвченка; сразу не хочетъ поддаться, упорствомъ больше хозяина увлекаетъ. Но какъ вспомню: „ахъ, зачѣмъ вы про любовь свою мнѣ сказали!“ и въ ушахъ опять жалоба да тихій плачъ слышатся, такъ инда жалко сдѣлается дѣвченку. Вѣдь она любитъ хозяина чистосердечно, а его любовь не принимаетъ. Значить, за судьбу свою опасается... Оно и дѣйствительно: склонись она на его любовь, а дальше-то что? Положимъ, Геннадій Яковлевичъ доброй души человекъ, не кинетъ несчастную на произволъ, какъ прочіе, не оставитъ безъ всякаго вниманія и наградить, но все же... особенно, ежели дѣвушка станетъ продолжать къ нему свои чувства. Представляется мнѣ Евлампеева дочь, какъ она въ первый разъ съ хозяиномъ встрѣтилась: щеки заалѣлись, глазки-васильки на него уставились и лицо словно все преобразилось... Но врядъ ли, думаю, на самъ дѣлъ она такова, вѣрнѣе всего просто фокусничаетъ. Откуда чему въ

ней взяться, чѣмъ она превосходитъ другихъ мотальщицъ? Тѣ — мѣщанскія дочери, а эта изъ лакейской семьи. Не много, полагать надобно, особенныхъ чувствъ отъ папашы съ мамашей получила, образованія тоже высокаго не достигла. Развѣ только одно, родилась она въ то время, когда еще Евлампей Ивановичъ за господами состоялъ, и въ ней три золотника дворянской крови находится. Но про это мы неизвѣстны. Почему жъ хозяинъ къ ней такое пристрастіе возымѣлъ?.. Не постигаю!.. Словно бы ужъ это не просто... Но опять тоненькая фигурка мнѣ представляется, личико нѣжное съ алыми щечками, глазки лазоревые, и сдается, что если бы я самъ на мѣстѣ хозяина очутился, безпремѣнно бы Нину Евлампееву полюбилъ... Право, ей Богу, сударь, такъ вотъ точно и подумалъ! Какихъ несообразностей съ человѣкомъ не бываетъ... Всю ночь напролетъ продумалъ, на зорькѣ лишь забылся.

Ну-съ, что-то дальше будетъ—посмотримъ! Прежде всего Евлампеева дочь прекратила хожденіе черезъ лѣсъ, хоша ей рощей гораздо ближе къ домику, гдѣ она квартиру снимала, чѣмъ улицами ходить, потому у самаго моста онъ приткнулся, а городомъ идти на полверсты дальше выйдетъ. Стала она на фабрику и домой улицами въ компаніи съ товарками ходить, а ужъ не одна, какъ прежде она хаживала. Геннадій Яковлевичъ по шпульной прогуливается, но къ ней рѣдко подходитъ... Точно промежду ними отчужденіе произошло. По видимости, оно такъ и выходило, но на самомъ-то дѣлѣ совершенно на оборотъ,—по крайней мѣрѣ что хозяина касается. Чѣмъ рѣже онъ къ Нинѣ навѣдывался, тѣмъ больше въ немъ сердце распалось. Понятно, часто подходитъ не было никакого резонта, потому со всѣхъ сторонъ глаза и уши, стало про чувства свои изъясняться неудобно, а свидѣться съ ней на-единѣ не выпадаетъ случай. Вижу, покоя не знаетъ себѣ Геннадій Яковлевичъ, нигдѣ мѣста не найдетъ: убѣжить въ тѣвѣкую—летитъ ужъ обратно; пойдетъ по шпульной,—съ половины назадъ, присядетъ въ конторѣ, возьметъ книжку и будто читаетъ, а глаза за перегородку путешествуютъ. Вчужѣ за него становилось больно! Такое важное лицо, первая, можно сказать, персона въ городѣ, а отъ ла-

кейской дочери прискорбіе души имѣть! А та хоть бы улыбнулась ему когда, съ пріятностью на него посмотрѣла,—ничего, только вспыхнетъ, увидить его, и притаится, какъ птичка пойманная, и глядитъ испуганно... Не выдержалъ хозяинъ. Улучилъ разъ минуту, увидалъ, что я одинъ, и пошелъ ко мнѣ.

— Дорогеей Ильичъ,—заговорилъ, и на лицѣ у него безпокойство написано.—Могу я на тебя въ одномъ частномъ дѣлѣ положиться?

— Помилуйте, сударь! я для васъ...

— Хорошо, — перебилъ, — благодарю... Вотъ эту записочку,—подаетъ мнѣ конвертикъ—пожалуйста, отдай Нинѣ Евлампіевнѣ... Но сдѣлай это такъ, чтобы изъ постороннихъ никто не замѣтилъ и она не знала, черезъ кого ей письмо доставлено.

— Слушаю-съ, въ точности самымъ аккуратнымъ образомъ исполню. Прикажете отвѣтъ получить?

— Отвѣта не будетъ. А если она завтра у тебя пораньше домой попросится, то отпусти ее.

Такъ вотъ оно какой оборотъ дѣло принимаетъ! подумалъ я... Можетъ, по настоящему, мнѣ слѣдовало отказаться отъ такого порученія, такъ какъ рискъ большой съ моей стороны передъ другими хозяевами, если бы отъ этого что особенное случилось. Но, во первыхъ, видя со стороны Геннадія Яковлевича такое безпокойство и большую совѣстливость, а во вторыхъ,—онъ же надо мной главный хозяинъ!—оказываетъ мнѣ передъ всѣми прочими довѣріе, то я не посмѣлъ его воли послушаться и порученіе точнымъ образомъ исполнилъ.

Весь слѣдующій день Евлампеева дочь была сама не своя: то покраснѣетъ, то побѣлѣетъ и сидитъ въ задумчивости, о работѣ и не заботится. Однако, до пяти часовъ кое-какъ протянула, а потомъ является ко мнѣ и говоритъ:

— Дозвольте мнѣ отлучиться, Дорогеей Ильичъ.

Ну, я такую политику показываю, какъ-будто ничего и не знаю.

— Что-же, говорю—ты своего урока не окончила?

Потупилась, вся зардѣлась.

— Дѣло одно требуетъ...—чуть слышно промолвила.

Хотѣлъ, было, легонько выговорить, принимая отъ нее урокъ, что мало сработала, но какъ вижу ея большое смущеніе—промолчалъ.

Не утерпѣлъ я, въ окошечко за ней посмотрѣлъ: вижу, къ роцѣ направилась и походка у ней какая то нерѣшительная... И съ чего, самъ незнаю, сердце во мнѣ ту же минуту упало!... Надо полагать любопытство ужъ очень разгорѣлось!... Ну, значить, сегодня должно быть рѣшеніе... Думалъ я такъ на фабрикѣ, думалъ дома, и на утро съ тѣми же думами въ мотальную прибѣжалъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаю развязки. Грудь словно что сжимаетъ.

Какіе въ лѣсу разговоры велись, что тамъ происходило, про это я ужъ много времени спустя узналъ. Утромъ Нина, какъ ни въ чемъ не бывало, въ свое время явилась, поздоровалась со мной безъ всякаго конфуза и открыто мнѣ въ лицо посмотрѣла. Вотъ тебѣ и нѣ! Что же это такое?.. Примѣтилъ только, что какъ будто у дѣвушки горькая усмѣшка шевельнулась... Хозяинъ раза три въ контору прибѣгалъ, но на самое короткое время и въ какомъ-то будто разстройствѣ, а къ намъ въ отдѣленіе и не заглянулъ. Это ужъ окончательно меня сразило: ничего постигнуть не могу! А дня такъ черезъ три Геннадій Яковлевичъ въ Москву уѣхалъ: получилъ депешу отъ Василія Яковлевича, брата своего, что подъ Конономъ Яковлевичемъ шелъ и большую часть года по дѣламъ мануфактуры въ столицѣ проводилъ. Только хозяинъ уѣхалъ, Евлампеева дочь неожиданно такого рода заявленіе дѣлаетъ:

— Увольте меня, Дорошей Ильичъ...

— Какъ? что такое?

— Я дала обѣщаніе.

— Какое обѣщаніе? Кому?

— Въ Боголюбово сходить, Божіей Матери помолиться.

— Это отъ работы-то? Подожди, въ августѣ Владычица сама къ намъ въ гости пріѣдетъ. Намолишься, сколько будетъ душъ твоей угодно.

— Я должна исполнить свое обѣщаніе, отпустите...

Не понимаю! Что говорить, нѣтъ словъ, что путешествіе къ святымъ мѣстамъ или на богомолье къ чудотворнымъ ико-

намъ дѣло похвальное; но всему есть свое время и опредѣленный часъ. Наши хозяева на что ужъ, кажется, люди небожые, ни одного праздника не пропускаютъ, чтобъ къ заутренѣ и обѣднѣ въ храмъ Божій не съѣздить, и очень любятъ, когда ихъ подданные аккуратно службу церковную посѣщаютъ; но изъ-за работы, хотя бы и на богомолье,—строго воспрепачалось; а если ужъ ты не можешь преодолѣть своего усердія, то получи чистый расчетъ и убирайся съ фабрики. У насъ такое положеніе существовало: живи пока не прогонять, а ушелъ по доброй волѣ—въ другой разъ не смѣй и являться, не примутъ. Полагая, что Нина фабричныхъ порядковъ не знаетъ, сталъ ей излагать и совѣтовать. Жалко мнѣ ее было.

— Все равно,—говорить,—пожалуйте мнѣ расчетъ.

— Да вѣдь у тебя семейство. Братишки много ли добудутъ,—шесть цѣлковыхъ всего оба въ мѣсяцъ,—а надо себя на что-нибудь содержать, жизнь у насъ въ городѣ дорога.

Ничего въ резонъ не принимаетъ. Экой карактерецъ!

— Ну, на время поставь кого за себя. Мѣсто, по крайности, за тобою останется!...

Подумала.

— Очень хорошо,—говорить,—я найду кѣмъ замѣстить.

Доложилъ я главному конторщику. Отпустилъ, только хотѣлъ заработокъ придержать до возвращенія, но подоспѣла дачка, и я исходатайствовалъ выдать ей зажитыя деньги. Обѣщала въ пять сутокъ свое богомолье окончить.

Наступилъ срокъ—не подъявляется. Геннадій Яковлевичъ изъ Москвы воротился. Первымъ долгомъ—въ наше отдѣленіе, не заходя даже въ контору; ласково такъ кивнулъ мнѣ головой и по шпульной побѣждалъ. Минуты такъ черезъ двѣ назадъ ко мнѣ, самъ въ безпокойномъ видѣ. Я догадался: узналъ ужъ отъ моталокъ!

— Не знаешь, когда Нина Евлампіевна придетъ?—спрашиваетъ.

— Да ужъ срокъ прошелъ: хотѣла въ пять сутокъ обернуться.

Постоялъ, словно въ нерѣшительности какой, и потомъ промолвилъ:

— А какъ ты полагаешь: воротится она къ намъ на фабрику?

Я, не подумавши, въ отвѣтъ ему и брякнулъ:

— Безъ всякаго сомнѣнія, сударь: не сегодня, такъ завтра подъявится.

Посмотрѣлъ онъ на меня испытующимъ окомъ, какъ будто что на лицѣ моемъ желалъ прочесть, и медленно повернулся, направилъ шаги въ контору.

И жестоко же, сударь, я ошибся, сказавъ такія слова хозяйну! Которую на свое мѣсто Нина моталку поставила, первая она мнѣ и вѣсть принесла, что дѣвченка больше работать у насъ не станетъ. Такъ этимъ супризомъ меня испровергнула, что я не скоро могъ съ чувствами собраться и въ свой разумъ взойти. Передъ хозяиномъ себя оконфузилъ—разъ, а другой, что очень мнѣ обидно сдѣлалось: зачѣмъ обманнымъ образомъ поступила? Надумала совсѣмъ уходить,—сказала бы прямо, а то богомолье выдумала... Но нечего дѣлать, при первомъ же случаѣ, скрѣпя сердце, Геннадію Яковлевичу доложилъ. Посоловѣлъ даже хозяйнѣ, услышавши про самовольный уходъ Евлампеевой дочери! Посидѣлъ у меня за столомъ, руками лицо свое закрылъ и тяжело такъ вздохнулъ.

— Богъ съ ней!—съ трудомъ слово вынесъ и поднялся.

— А эту, сударь, моталку, что на мѣсто бѣглянки поступила, уволить прикажете?—спросилъ я.

— Зачѣмъ? Если она хорошо свое дѣло знаетъ, пускай работаетъ. Ужь потому одному ей не откажу, что она Ниней Евлампіевной рекомендована.

Какъ за обманнѣйшій поступокъ отплатилъ! Что значить душа въ человѣкѣ добрая!

Въ большемъ уныніи Геннадій Яковлевичъ все время пребывалъ, а порою, я замѣчалъ, даже какъ бы онъ виѣ себя... Да чего, сударь, мое дѣло ужъ совсѣмъ стороннее, а я самъ безъ Нины въ какую-то грусть впалъ. Пройдешь мотальной, взглянешь, гдѣ она работала, и внутри что-то сразу пусто сдѣлается... Ей Богу, сударь, правду вамъ сказываю. Хоша она у насъ и пяти мѣсяцевъ не прожила, а ужъ очень я привыкъ каждый день видѣть ее личико бѣленькое, да глазки хорошіе!...

Такъ это мы и продолжали вплоть до Нижегородской ярмонки: хозяинъ въ уныніи и внѣ себя ходить, а я въ этой самой грусти...

Отправили на ярманку товаръ, ситцы, стали прикащики собираться, понадобился лишній человѣкъ; Петръ Яковлевичъ, меньшой братъ, который ситцевою фабрикою управляетъ, требованіе въ нашу контору: нѣтъ ли у насъ надежнаго кого изъ приказчиковъ для ярмоночной торговли? Геннадій Яковлевичъ прямо на меня указалъ.

— Хотя мнѣ и не хотѣлось бы тебя отпускать,—сказалъ,—но ты можешь себя тамъ заявить и со временемъ перейти на должность ярмарочнаго приказчика.

— Покорно благодарю, сударь,—говорю.—Чего же бы ужъ лучше для меня!

Укатилъ я къ Макарью. Взялъ ярмонку, отторговался вмѣстѣ съ прочими служащими и въ началѣ сентября домой воротился. А у хозяевъ вообще такое правило: всѣ приказчики, сколько бы ихъ тамъ на ярмонку не ѣздило, обязаны, по возвращеніи, прямо съ дороги въ домовую контору вѣхаться. Въ числѣ прочихъ и я попалъ. Тамъ ужъ всѣ хозяева насъ ждутъ. Вижу, Геннадій Яковлевичъ пріѣтно и весело мнѣ кланяется; пріѣхалъ и самый старшій братецъ, Кононъ Яковлевичъ,—его капиталы, что послѣ родителя достались, въ общемъ съ другими братьями производствѣ находились. Встрѣтили насъ очень хорошо, потому торговали мы отлично на Нижегородской; главному прикащику хозяева руку подали, исключая Конона Яковлевича, который только головой ему, но не безъ пріятности мотнулъ, а это по нашему очень много означало: ужъ если Кононъ Яковлевичъ только обойдется съ человѣкомъ какъ слѣдуетъ, не обругаетъ и не нагонитъ страха, такъ каждый почитаетъ себя за самаго счастливаго человѣка на свѣтѣ. Главный прикащикъ первымъ долгомъ шкатулку съ деньгами, при помощи двухъ артельщиковъ, на столъ передъ хозяевами поставилъ, ключикъ отъ нея и отчетъ Василью Яковлевичу съ почтеніемъ вручилъ.

— Садитесь, молодцы!—приглашаютъ насъ хозяева.

— Эй, Степка! чаю живо подавай!—командуетъ Павелъ Яковлевичъ.

— Хорошо поторговали, господа,—говоритъ Василій Яковлевичъ—онъ, находясь постоянно въ Москвѣ, научился болѣе вѣжливо обращаться со служащими, особливо съ ярмоночными прикащиками,—такъ не собачился, какъ старшій братецъ.

— Слава Богу,—отвѣчаетъ главный прикащикъ,—если бы вдвое больше товара препорція была, такъ и тотъ бы весь продали. Торговали преимущественно за наличныя, а платежи всѣ аккуратно должники оправдали.

— Это намъ очень пріятно слышать,—говоритъ Павелъ Яковлевичъ.

— Старайтесь и на будущее время за наличныя торговать,—вставилъ слово и младшій, Петръ Яковлевичъ:—главное, чтобы не распускать въ кредитъ!

Не угодно ли, ему отъ рожденія семнадцати еще нѣтъ, а понятія какія имѣетъ зрѣлыя!

— Торговлей-то вы мастера хвастаться,—сказалъ Кононъ Яковлевичъ, — а сколько за ярмонку вы промотали — объ этомъ умалчиваете? Чай, не мало хозяйскихъ денежекъ въ трактиръ у Барбатенко оставили, да въ Кунавинѣ спустили!

Главный нашъ съ усмѣшкой почтительно отвѣчаетъ:

— Сколько на себя израсходовали,—увидите изъ представленнаго отчета, сударь. Что на счетъ веселыхъ мѣстъ, то наши молодцы, кажется, туда и не заглядывали, Кононъ Яковлевичъ. Развѣ только, кто потихоньку отъ меня,—въ этомъ завѣрять васъ не могу; въ одномъ смѣю поручиться: хозяйскіе интересы въ такомъ случаѣ нисколько не пострадали.

— Ну, ты за себя ручайся, а за другихъ-то не очень!—вспыллъ было старшій хозяинъ, но сейчасъ же обошелся, услышавъ вопросъ Василья Яковлевича.

— Прикажете, братецъ Кононъ Яковлевичъ, пересчитать деньги?

— Чего же дожидаться? Начинай!

Какъ открыли шкатулку, увидѣлъ старшій хозяинъ сверт-

ки съ золотомъ, да пачки съ радужными и прочими, такъ весь и осатанѣлъ, впился глазами въ деньги и не оторвется... Другіе братья считаютъ, а онъ глядитъ и только одно твердить:

— Разсматривайте каждую, смотрите, фальшивой бумажки не всучили-ли!

Мы, младшіе приказчики, въ отдаленіи отъ стола, за которымъ деньги считаютъ, кушаемъ чай и любуемся на эту картину. Въ первый разъ я удостоился такой великой чести, попалъ въ домовую контору, сижу теперь на мягкомъ стулѣ въ присутствіи всѣхъ господъ хозяевъ и вижу, какъ при мнѣ огромныя суммы повѣряютъ. Такъ это важно происходитъ, въ полной тишинѣ и почтительности, что съ непривычки, что ли, на меня страхъ даже сталъ находить... Конона Яковлевича голосокъ: „разглядывайте хорошенько, нѣтъ ли фальшивой“, раздается среди тишины. Признаться сказать, съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда церемонія эта окончится, и я пойду домой, чтобы вмѣстѣ съ своимъ семействомъ чаю напиться!... Часа два считали, наконецъ насъ освободили.

— Съ отчетомъ вѣрно,—сказалъ Василій Яковлевичъ:—вся касса на лицо. Подробности послѣ на досугъ разсмотримъ. Ты, Иванъ Михайловичъ, съ нами еще посидишь, а вы, господа, можете и по домамъ расходиться.

Мы всѣ поднялись, стали хозяевъ за угощеніе благодарить. Геннадій Яковлевичъ смѣется,—глядитъ на меня съ улыбкой, самъ такой веселый.

— Иванъ Михайловичъ,—къ главному обращается.—Доволенъ ли ты Корягинымъ?

Тотъ взглянулъ на меня глазами—Корягинъ я и есть самый,—и отвѣчаетъ.

— Молодецъ расторопный. Новичекъ въ торговомъ дѣлѣ, а не ударилъ себя лицомъ: быстро въ знаніе дѣла вникнулъ и пониманіе въ обращеніи съ покупателями большое оказалъ. Геннадій Яковлевичъ такъ весь и просіялъ.

— А ты при немъ подобнымъ образомъ не отзывайся—поосадишь немножечко главнаго Конона Яковлевичъ:—возмечтаетъ о себѣ молокососъ и начнетъ зазнаваться. Поди, больше въ

Кунавинъ, да у Кузнецова вникалъ, чѣмъ хозяйскимъ дѣломъ занимался *).

Приказчики на шутку хозяина тихонько хихикаютъ, а онъ смотритъ на меня и усмѣхается, но не ядовито, какъ за- всегда. Лицо у Конона Яковлевича было круглое, чисто выбритое, только однѣ жиденькія бачки за щеками торчали, а волосы черные коротко острижены и съ макушки мѣсяцъ свѣтилъ. Даже большое сходство съ прежними подъячими имѣлъ, которые послѣ своего уничтоженія въ нашемъ городѣ адвокатствомъ промышляли. Ну, довольные хозяйской лаской и угощеніемъ, повышли мы вонъ изъ конторы.

— Удивленіе, какой сегодня Кононъ Яковлевичъ веселый—переговариваютъ дорогой приказчики.—Шутилъ даже... Это съ нимъ въ три года только разъ случается...

Дома мнѣ, конечно, обрадовались. Матушка—родительница, жена съ сынишкомъ встрѣтили. Разумѣется, всѣмъ по подарочку и гостинчиковъ привезъ. Разспросы про ярмонку посыпались, сами мнѣ разныя новости сообщаютъ. Что-то ужъ очень прекрасно мнѣ послѣ разлуки въ своемъ гнѣздѣ показалось. Поужинали—и спать. Когда мы съ супругой улеглись, она и говорить:

— А у меня, Дороей Ильичъ, для тебя есть что-то новенькое. Нарочно къ ночи берегла... Рассказать ли?

Я зѣвнулъ. Съ дороги спать хотѣлось.

— Ну что, говори, пожалуй.

— Ты ничего про своего хозяина, Геннадія Яковлевича, не слыхалъ?

— Гдѣ же мнѣ про что слышать? Сама знаешь, два мѣсяца въ отлучкѣ пробылъ.

— Такъ. А я думала, что и до васъ слухъ ужъ дошелъ. У насъ весь городъ про это толкуетъ.

— Да что? Не тяни, рассказывай скорѣе, а то засну.

— Геннадій Яковлевичъ съ Евлампеевой дочерью очень близокъ,—должно быть, сошлись.

*) Кунавино (слобода) и заведеніе Кузнецова—притонъ всевозможныхъ безобразій въ Нижегородской ярмаркѣ.

У меня и сонъ прошелъ.

— Что ты?! Врешь!

— Что мнѣ врать то,—не много пообидѣлась супруга:— истинную правду тебѣ сказываю. Весь городъ ужъ знаетъ.

— Да что знаетъ то?... Мало ли, что зря болтають, такъ всему и надо вѣрить?

— Да ты подожди. Чай, не одинъ разъ ихъ вмѣстѣ видали: рядышкомъ въ шарабанѣ катаются. Онъ сидитъ, а Нина лошадыю править.

Я даже съ подушки приподнялся.

— Окрестись,—говорю,—образуй себя! Развѣ это статочное дѣло, чтобы хозяинъ открыто со спульницей себя показывалъ? Геннадій Яковлевичъ человекъ совѣстливый, благородный.

— А ты слушай,—супруга продолжаетъ.—Хозяева нонѣшнымъ лѣтомъ на дачу не выѣзжали. Геннадій-то Яковлевичъ туда Нину и укрылъ, самъ по вечерамъ къ ней ѣздитъ, а въ праздники цѣлые дни вдвоемъ проводятъ и катаются. Ваши же моталки, когда по грибы ходять, встрѣчали ихъ постоянно.

— Да неужь-то все это правда? И давно?

— Съ мѣсяцъ времени будетъ. А теперь онъ ей фатеру налялъ! У Фирсычева, что на прогонѣ, повыше моста, гдѣ прежде онѣ жили,—большой домъ на каменномъ фундаментѣ въ пять комнатъ и съ мезониномъ... Мамаша Нинина теперь ужъ и торговлишку свою прекратила: не видать ее больше на базарѣ.

— Еще-бы она за лоткомъ съ печенкою сидѣла! съ злобой ужъ какой-то я женѣ сказалъ:—довольно, кажется, вполне и того, что дочка не стѣсняется публично себя съ хозяиномъ показывать! Бестыдница, миллионщика срамить!

— Ну ужъ ты и опрокинулся! Не совѣмъ-то публично: это на дачѣ они только вдвоемъ катаются, а по городу ни разу ихъ вмѣстѣ никто не встрѣчалъ.

Хитрая дѣвченка! лежу это я и съ злостью думаю. Нечего сказать, ловко умѣла обойти хозяина и дѣльцо чисто обработала: на полномъ, значить, теперь содержаніи!.. Прекрасно! Такъ вотъ для чего всѣ эти фокусы она тогда продѣла-

вала! Не всякая актриса, пожалуй, на театрѣ свою роль такъ сыграть, какъ у насъ лакейская дочка... Молодецъ Нина Евлампеевна!.. Внутри меня ворочается что-то, словно мельничный жерновъ, и ударяется,—даже грудь нѣда стало ломить... Досада все эта разбираетъ... На ярмонѣхъ жить—вспоминаль о дѣвченкѣ, иногда по ночамъ, — днемъ, за дѣлами, вспомнишь ли о комъ!—она живо мнѣ представлялась: въ образѣ кроткомъ и съ тихою печалью на лицѣ... такъ что и жалѣль-то я ее и тяжести никакой не чувствовалъ, а даже совѣмъ на оборотъ легость и веселость духа испытывалъ... А теперь кромѣ одной злости и вражды къ ней ничего въ себѣ не находилъ. Самъ знаю, что глупо злиться, и такъ думаю: что мнѣ до нея? Развѣ она когда чѣмъ завлекала меня? Да вѣдь и я женатый человекъ, сынишка у меня ужъ пяти годковъ; что я за оболтусъ, что такими мыслями озадачился!.. Супруга, притронувшись къ моему плечу, должно приласкаться желала... Я, какъ на нее зыкнулъ:

— Отстань!

— Господь съ тобой, — проговорила: — что ты сердитый какой?

— Спать хочу... Чай, знаешь, умаялся въ дорогѣ-то.

Не то чтобъ я съ женою плохо жилъ, чтобъ ссорились мы съ нею и тому подобное—нѣтъ, этого не было; а только я равнодушно къ ней относился, приверженности особой не чувствовалъ: жилъ, какъ всѣ у насъ мужья съ женами, живутъ... Только я отъ жены не баловалъ... Ну а тутъ еще эта, Евлампеева дочь!..

Жена заснула ли, — не могу объяснить, а я все думаю про дѣвченку и злюсь, злюсь...

На фабрикѣ скверно день провелъ. Всѣ съ прїѣздомъ меня поздравляютъ, разныя новости передаютъ, и самъ главный конторщикъ со мною куда обходительнѣе, чѣмъ раньше, и даже первый на исторію съ хозяиномъ намекалъ; но я слушаю и принимаю все равнодушно! Замѣнявшій меня приказчикъ сдалъ книги, вступилъ я въ свои прежнія обязанности, и сажу за столомъ статуемъ каменнымъ. Одинъ изъ моихъ подручныхъ, Васька, — въ мальчикахъ еще онъ на фаб-

рикѣ служилъ—подлетѣлъ ко мнѣ и пачалъ, было, про счастье Нины Евлампеевны докладывать. Я какъ схвачу его за вихры и давай трясти, да приговаривать: „молодъ еще, молодъ! подожди не много, сперва годы въ мальчикахъ выживи, въ приказчики выдь и настоящимъ человѣкомъ сдѣлайся, а потомъ ужъ и про счастье дѣвокъ разсуждай“! Приговариваю такъ, а самъ подручнаго трясю. Больно надралъ ему вихры! Въ теченіе дня еще нѣсколькимъ мальчишкамъ далъ по рвачкѣ, къ моталкамъ за всякую бездѣлицу придирался и пушилъ ихъ до невозможности... Прямо сказать, въ родѣ какого изверга своимъ подчиненнымъ себя показалъ. Геннадій Яковлевичъ, веселый да радостный, подбѣжалъ, поздоровался такъ легко и словомъ пріятнымъ меня обласкалъ.

— Я очень радъ за тебя, Дорофей Ильичъ,—сказалъ.— Иванъ Михайловичъ вчера, послѣ вашего ухода изъ конторы много для тебя лестнаго говорилъ. Надѣюсь, Макарій къ повышенію тебѣ по должности послужить.

Не почувствовалъ я, сударь, добродѣтели и расположеніи хозяйскаго.

— Что же, Ивану Михайловичу недовольнымъ мною быть не чѣмъ, сударь,—отвѣтилъ:—старался изъ всѣхъ силъ, въ поведеніи себя ни чѣмъ не замаралъ...

Хозяинъ посмотрѣлъ мнѣ въ рожу идольскую.

— Да ты чтó? Или нездоровъ?

— Съ дороги, должно быть, сударь, а можетъ и отъ пищи перемѣнной... не совсѣмъ здоровится.

— Обратись къ доктору. Въ одиннадцать часовъ онъ будетъ на фабрикѣ.

— Пройдетъ и такъ, сударь.

Вижу, хотѣлъ онъ еще что-то сказать, но, взглянувъ опять на харю мою, промолвилъ: „ну да объ этомъ послѣ“... и отошелъ.

Вмѣсто признательности, злоба во мнѣ поднялась и противъ Геннадія Яковлевича.

Дня съ три я извергомъ себя велъ. И чего въ эти дни не наслушался! По фабрикѣ говоръ о хозяинѣ, встрѣтишься съ кѣмъ изъ знакомыхъ—разговоръ про него же, на базарѣ, въ лавкахъ только и словъ, что про Геннадія Яковлевича,

да Евлампееву дочь! И какихъ басенъ только не насочиняли! Просто до нестерпимости ужъ стало! А хозяинъ опять порадовать меня захотѣлъ, въ субботу объявилъ:

— Тебѣ жалованье прибавлено: пять рублей въ мѣсяцъ. Не много, но ты самъ знаешь, какъ мои братцы на этотъ счетъ тугоньки: не любятъ служащимъ жалованья прибавлять. Все же тебѣ годится; получалъ двадцать, а теперь будешь получать двадцать пять рублей въ мѣсяцъ.

Еще бы не годилось! Шестьдесятъ рублей въ годъ, по тогдашнему моему положенію, много значило. Но и тутъ, сударь, настоящей признательности я хозяину не выразилъ, поблагодарилъ я его прехолодно и самымъ безсовѣстнымъ образомъ... Не обидѣлся на скотство мое, а улыбнулся приятно и сказалъ:

— Иванъ Михайловичъ тебя на Крещенскую въ Харьковъ возьметъ: онъ объ этомъ ужъ говорилъ со мной. А потомъ, года черезъ два — конечно, отъ старанія твоего будетъ зависѣть — и окончательно на должность армоночнаго перейдешь.

И опять что-то желалъ еще другое сказать, но улыбнулся и головою лишь тряхнулъ: „послѣ, молъ, скажу, а теперь ты все еще идоломъ глядишь“.

Домашнимъ, однако, я объявилъ о прибавкѣ жалованья. Конечно — рады! Матушка на икону перекрестилась, а жена повеселѣла, и сынишка запрыгалъ. Но меня и жалованье не куражить.

Лежимъ мы ночью съ женой и оба не спимъ. Думала ли она о чемъ — не знаю, а я все про Евлампееву дочь... Какъ я жалѣлъ ее, непутную, а она что сдѣлала! Отговаривалъ ее отъ богомолья; выхлопоталъ ей заработокъ и устроилъ на время ея отлучки, чтобъ она мѣсто не потеряла, другую моталку... Прямо надо говорить, дурака хорошаго разыгралъ!.. На богомолье увольте!.. Экъ на какія ужъ хитрости поднялась!.. Безбожница!..

— Жалко Геннадія Яковлевича, — сказалъ я вслухъ. — Ничего она не стоящая дѣвчонка и совсѣмъ пропащая. Помнишь, по лѣту къ Боголюбимой отпросилась, обѣщаніе, видишь, она должна исполнить, — а вмѣсто моленья-то просто

ловушку хозяину подстроила. Не побоялась даже грѣха, — святыми мѣстами дурной умыселъ прикрыть!

— Не грѣши самъ, — супруга-то мнѣ въ отвѣтъ. — Недавно на базарѣ я съ Палагеей кривой повстрѣчалась, такъ она мнѣ рассказывала, какъ онѣ вмѣстѣ съ Евлампеевой дочерью въ Боголюбово ходили. „Не ожидала я, что съ ней попритчилось,“ — рассказываетъ Палагея. „Пришли мы въ монастырь, стали передъ иконою Царицы Небесной. Нинушка пала на колѣна и таково то усердно молится, къ Заступницѣ хорошо вздыхаетъ!.. Я ужь отмолилась, устала, отъ поклоновъ-то и поясницу у меня разломило, а Нина, знай, все молится, и такъ молится, что я ровно бы въ жизнь свою такой моельщицы непривидывала. — „Пойдемъ“, говорю: — „вонъ товарки наши ужь вышли изъ церкви“. А она и не слышитъ, все молится, все молится, да къ землѣ передъ Заступницей Небесной припадаетъ и горькими, слезами сама обливается. — „Пресвятая Богородица“ — шепчетъ, — „спаси меня! Помогите!.. Не дай мнѣ, сиротѣ беззащитной, погибнуть!“ „Инда меня“, — рассказываетъ Палагея, „слезы прошибли, гляючи какъ она, эдакая молоденькая, да убивается“...

— Стой! — закричалъ я. — Это правду кривая тебѣ передавала?

— Экій ты, испугалъ меня! — супруга замѣчаетъ. — Ну что кричишь!.. Съ чего кривой лгать-то? Чай, ужь она не молоденькая, и хоть глазъ одинъ у нея съ изъяномъ, а совѣсть въ ней не поврежденая, прямая.

— Ну, рассказывай, что дальше-то?

— А дальше вотъ что она говорила: „Вывела я дѣвушку изъ церкви, заглянула ей въ лицо, а у ней глазыньки въ кулакъ наплаканы. Послѣ, какъ пошли мы въ обратный путь, къ домамъ, я Нину дорогой и спросила: — „Видно,“ — говорю, — „у тебя дѣвонька, горе-печаль большая есть на сердцѣ?“ — А она, помолчавши мало, мнѣ и отвѣчаетъ: — „Горе меня впереди ждетъ, Палагея Евстигнѣевна, а пока одна тоска мучить — сме-е-ертная тоска! Если я превозмогу себя, тоску свою преоборю, то, можетъ, и горя того впереди избѣгну, а нѣтъ... Богъ одинъ знаетъ, какая участь меня постигнетъ“.. —

„Такъ объ этомъ ты, касатушка, со слезами къ Владычицѣ припадала, что-бъ она, Матушка, злосчастную судьбу твою отвратила“?—„Молила о томъ я Пресвятую Дѣву Богородицу“,—отвѣчала Нина,—„чтобъ Она помогла мнѣ тоску мою одолѣть да избыть“.—„Должно быть“, замѣтила кривая, протеперешнее свое тогда и намекала“.

Выслушалъ я супругу и такъ легко вздохнулъ, точно бы съ меня тяжелая гора свалилась. А жена вотъ что промолвила: — А ты впередъ, Дороша, не осуждай человѣка, а прежде разузнай доподлинно, и потомъ ужъ говори. Евлампееву дочь ты обвинилъ въ страшномъ грѣхѣ, а на повѣрку вышло, что она дѣйствительно къ Владычицѣ ходила. Хотя многія теперь и завидуютъ ей, а Богъ одинъ знаетъ, что у нея на душѣ. По новости своего положенія дѣвушкѣ теперь и весело, любовь ее радуетъ, а послѣ, можетъ, она еще и не такими слезами станетъ обливаться!

Не вытерпѣлъ ужъ тутъ я, обхватилъ рукой жену и крѣпко ея головушку къ груди своей прижалъ.

— Добрая ты моя!—выговорилъ я. — Золотое у тебя сердечушко, Аксиньюшка!

И такъ она мила и дорога мнѣ вдругъ стала, что и выразить словами невозможно. Словно я жену свою въ эту минуту и узналъ, какъ слѣдуетъ, впервые увидалъ душу въ ней хорошую, человѣческую, а не бабью... Совѣстно мнѣ, сударь, во всѣхъ своихъ слабостяхъ вамъ признаваться,—я человѣкъ уже пожившій,—но какъ вспомнишь про эту самую исторію, и что съ нею въ моей жизни связано, такъ, повѣрите ли, будто вотъ сейчасъ опять все передъ глазами проходить, и кровь въ жилахъ сильнѣе забьется. Ни злобы ужъ этой дурацкой, ни чувствъ прежнихъ къ Нинѣ Евлампеевнѣ съ этой минуты во мнѣ не стало, а что-то новое, хорошее, да тихое появилось, и жалость—только не прежняя, а человѣку доброжелательная.

— Боролась дѣвушка,—разсуждаю,—съ горькими слезами молилась... Какую, значить, муку въ душѣ своей она носила, преодолая себя!.. Но любовь ее поборола... Ну и рѣшилась!

— Ты что бормочешь-то? — жена пробудилась.—А я, До-

роша, какъ у тебя на груди-то сладко забылась! Пора и тебѣ спать; усни, родной!

Такъ-то вотъ, сударь.

Хотя перемѣна въ судьбѣ Нины Евлампеевны огромная произошла, но сама она нисколько не измѣнилась. Другія, въ ея положеніи очень возгордятся или отчаянность на себя напустятъ, а она даже еще скромнѣе да тише стала. Переѣхала съ семействомъ на новую квартиру и уединенный образъ жизни повела. Братишки, по прежнему, на прядильной въ присучальщикахъ продолжали работать, а она съ мамашей, кромѣ хозяйства по дому, ничего другого не знали. Геннадій Яковлевичъ къ нимъ ежедневно прѣзжалъ, все равно какъ въ свой домъ, нисколько не стѣсняясь, что сосѣди его видятъ: открыто себя держалъ. А по прошествіи нѣкотораго времени, Нина Евлампеевна начала у себя принимать барышень, учительницъ изъ женской гимназіи: какъ я узналъ, она съ ними науками стала заниматься, — въ гимназію она, какъ я уже докладывалъ вамъ, не могла, такъ теперь хотѣла въ образованіи себя подогнать. Ну, конечно, въ городѣ поговорили, посудачили, а потомъ и перестали косточки перемывать. Дѣло самое обыкновенное! Только за одно хозлина осуждали: очень открыто къ ней ѣздилъ; слѣдовало бы, какъ другіе прочіе, въ секретъ попридерживать и виду не показывать. Разумѣется, за глаза Нину Евлампеевну иначе не называли, какъ „сударынею Геннадія Яковлевича“, а фабричные мальчишки, когда она по улицѣ проходила, кричали вслѣдъ: „вонъ, Нина Геннадія Яковлевича идетъ“! Но въ глаза всѣ передъ ней лебезили, уваженіе большое оказывали и всякія лстивыя рѣчи говорили. Братцы Геннадія Яковлевича тоже про эту исторію узнали, но вниманія никакого не обратили: — дѣло самое обыкновенное. Такъ все само собой и образовалось.

Но узналъ я Нину Евлампеевну, какой она есть человекъ, когда сталъ у нея бывать и увидѣлъ, какъ она при всемъ довольствѣ жила и вела себя. Когда я отъ глупостей своихъ освободился, пришелъ опять въ свой прежній образъ, Геннадій Яковлевичъ разъ мнѣ и говоритъ:

— Ты, Дорожей Ильичъ, побывалъ бы у Нины Евлампіевны: она давно желаетъ тебя видѣть.

Вотъ я, сударь, въ праздничекъ однажды пріодѣлся получше и отправился,—конечно, постарался такъ пройти, чтобы сосѣди ихніе меня не примѣтили. Предосторожность эту я потому взялъ, что могутъ на дѣвушку разное наплести... Приняла меня, какъ ближайшаго сродственника! Но что то словно бы слегка меня кольнуло... Ничего, прошло. Усадила на кресла, велѣла подать самоваръ и сама на диванчикъ усѣлась, чай разливать стала и угощать. Мамаша ея сухарей обсыпныхъ въ корзинкѣ подала, къ намъ присоединилась. Осматриваюсь: комната, свѣтлая и чистая съ приличной, но не богатой обстановкой: диванъ мягкій, два кресла и съ дюжину вѣнскихъ стульевъ, по угламъ кругленькіе столики, покрытые вязаными салфеточками, на диванѣ и креслицахъ тоже такіа вязанья, въ одномъ простѣнкѣ большое зеркало, а у глухой стѣны—фортопьяны. Не очень чтобы роскошно!

— А что-жь, мамаша, братцы къ чаю не вышли?—къ матери обратилась Нина Евлампеевна.

— Праздникъ сегодня—погулять пошли.

Сперва разговоръ шелъ обыкновенный; хозяйка разспрашивала, какъ я поживаю, что на фабрикѣ дѣлается и тому подобное. А потомъ ужъ, когда мамаша чаю напилась и ушла по хозяйству хлопотать, Нина Евлампеевна въ такомъ родѣ разговоръ начала:

— Какъ я обрадовалась, Дорожей Ильичъ, когда мнѣ мужъ сказалъ, что вамъ жалованья прибавили и современемъ васъ ирмоночнымъ прикащикомъ сдѣлаютъ.

Я немножко было позамялся, но вижу, что она спокойно это сказала и на лицѣ ея миломъ будто радость,—сейчасъ же оправился отъ своей конфузливости.

— Да-съ,—говорю,—сударыня, премногоя Геннадіемъ Яковлевичемъ доволенъ. Очень имъ обязанъ!

— Что же, онъ только должное вамъ оказалъ, потому что вы работаете добросовѣстно и много лѣтъ у нихъ служите, а жалованье получали небольшое... Только вы,—прибавила она,—называйте меня по имени, а сударыней не величайте,

мнѣ не нравится это слово. Хотя я и жена Геннадію Яковлевичу, но съ нимъ не вѣнчана, и я знаю, многіе меня за это осуждаютъ. Такъ вы ужъ не называйте меня „сударынею“.

— Слушаю-съ.

Пособрался я съ духомъ и предложилъ такой вопросъ:

— А какъ вы, Нина Евлампеевна, привыкаете ли въ новомъ своемъ положеніи?

Она посмотрѣла на меня. Что за личико! Глазки сивіе любовью сіяютъ, по щечкамъ нѣжная краска разливается, и вся она чѣмъ-то особеннымъ да новымъ мнѣ показалась.

— Я счастлива, Дорожей Ильичъ, я люблю, и меня любить, а это въ жизни все. Пускай меня люди осуждаютъ, Богъ съ ними! я зла никому не сдѣлала, и мнѣ ничего не нужно. Изъ-за любви своей я все готова перенести, и перенесу. Мнѣ нечего стыдиться, я всѣмъ прямо могу въ лицо смотрѣть!... Вотъ одно, если онъ любить меня перестанетъ, тогда я несчастье свое не перенесу...

— Что вы говорите! Развѣ это возможно?...

— Бываетъ,—сказала.—Но я въ Геннадія вѣрю. Знаю, что ему не дозволятъ со мной обвѣнчаться, такъ мнѣ этого и не нужно: только бы онъ любилъ меня!

Признаюсь, не мало я тутъ подивился, слушая отъ нея слова эти рѣшительныя и видя въ ней такую самоувѣренность.

Мамаша въ горницу нѣсколько разъ входила, подсаживалась къ намъ и въ разговоръ вступала, подконецъ и братишки съ гулянья пришли. Замѣтилъ я также, что Нина Евлампеевна къ родительницѣ своей съ большимъ почтеніемъ относится, братьевъ любить и попеченіе о нихъ большое имѣетъ, но держитъ себя съ ними, какъ старшая. Я полюбопытствовалъ, спросилъ, не думаетъ ли она братьевъ снять съ должности, потому, какъ будто теперь имъ ужъ не ловко на прядильной въ присучальщикахъ оставаться; но она и договорить мнѣ не дала.

— Что вы,—перебила:—развѣ можно мальчиковъ къ праздности приучать? Если бы имъ поменьше лѣтъ было, я отдала бы ихъ въ школу, но теперь ихъ не примутъ. Такъ пускай они работаютъ, трудятся и сами на ноги станутъ.

Показала она мнѣ свои комнаты.

— Вотъ эта,—говорить,—мамашина комната. Здѣсь кабинетъ Геннадія... эту вы знаете—передняя. Братъ въ мезонинѣ помѣщаются... А вотъ тутъ (когда мы въ залѣ воротились)—рядомъ, моя спальня.

Чистыя комнаты, вездѣ прибрано, но роскошества никакого. Только въ спальнѣ ширмочки орѣховаго дерева; кровать съ бѣлосѣжнымъ покрывальцемъ изъ-за нихъ виднѣется; у стѣнки столикъ, зеркальцо на немъ, разныя вещицы, да въ овальной рамкѣ портретъ Геннадія Яковлевича поставленъ. Еще шкафчикъ съ книжками стоитъ.

— Очень хорошо у васъ,—говорю,—но обстановка довольно скромная.

— А другой мнѣ и не надо,—говорить,—если бы я была даже богачиха, на свои деньги жила, то и тогда лучше обстановки не завела. Вотъ только одна у меня роскошь — рояль.

— Сами играете?—полюбопытствовалъ.

— Гдѣ же мнѣ еще играть? Только еще учиться начинаю... Вѣдь, я, Дороеей Ильичъ, стала опять и наукамъ обучаться. Покойный папаша мечталъ въ гимназію меня отдать, но померъ, и я должна была тогда даже школу оставить. А я хочу себя образовать.

Часа два просидѣлъ,—и не замѣтилъ, какъ время пролетѣло!

На прощанье зоветъ, чтобы я посѣщалъ ее, и если супруга моя не постѣснится, то очень бы желала съ ней познакомиться. Я къ себѣ ее въ гости приглашаю.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчаетъ,—у меня знакомыхъ, кромѣ учительницъ, никого нѣтъ. Но я не знаю,—говорить,—какъ ваша супруга на мое положеніе смотритъ.

Домой я такой довольный собою и веселый воротился, что жена замѣтила, что лицо у меня красивѣе сдѣлалось. Ну, про все женѣ рассказалъ; она выслушала меня съ большимъ вниманіемъ.

— То-то же вотъ,—сказала.—А ты что намеднишь мнѣ говорилъ, какихъ мнѣнѣевъ о ней былъ?... А она, голубушка, къ тебѣ со всѣмъ своимъ расположеніемъ, и со мной же-

лаетъ познакомиться. Безпремѣнно я сама къ ней первая схожу.

Ну-съ, сударь, больше ужъ году любовь хозяйина съ Ниной Евлампеевной продолжалась. Самъ я изрѣдка къ ней за-хаживалъ, чаще-то стѣснялся ходить, а супруга моя постоянно ее посѣщала, и Нина Евлампеевна у насъ бывала. Не только женѣ, но и родительницѣ моей она до чрезвычайности полюбилась, просто нахвалиться никакъ не могли. Геннадій Яковлевичъ, черезъ это самое знакомство, еще больше ко мнѣ расположенія возымѣлъ и доброжелательство оказывалъ: на всѣ главныя ярмонки меня посылаетъ. Все шло отлично, но хозяину, Павлу Яковлевичу, пришло желаніе въ супружество вступить. А у насъ по купечеству, да и по мѣщанству такой изстари обычай установленъ: никогда младшій братъ не женится раньше старшаго. Василій Яковлевичъ почему-то себя на безбрачіе обрекъ; значить, очередь какъ разъ за Геннадіемъ Яковлевичемъ стояла. Вотъ хозяева и мамаша ѣхняя Геннадію Яковлевичу и говорятъ, что надо ему себѣ невѣсту найти и жениться, во первыхъ потому, что ужъ пора, двадцать четыре года исполнилось, а во вторыхъ—другой братецъ Павелъ Яковлевичъ положилъ намѣреніе въ бракъ вступить и невѣсту уже себѣ нашелъ—милліонщицу. Геннадій Яковлевичъ имъ отвѣчаетъ, что пока расположенія къ супружеской жизни не чувствуетъ. Павлу Яковлевичу непріятно это показалось, но уступилъ, такъ какъ невѣстѣ его полныя лѣта не вышли: шестнадцати годовъ ей не было. Оставили Геннадія Яковлевича на время въ покоѣ. Ну, полгода скоро пролетѣли, опять за него принялись: „женись!“ Онъ отпѣкивается: „не желаю“ говоритъ.

— Да надо же,—ему говорятъ:—ты задерживаешь своего брата.

Тотъ въ отвѣтъ:

— Такъ пускай онъ женится, я ему не препятствую.

Тѣ настаиваютъ.

— Ты старше, ему нельзя раньше тебя.

Не поддается Геннадій Яковлевичъ; „не желаю“, и конецъ.

Тутъ Павелъ Яковлевичъ осердился.

— Ты что же,—спрашиваетъ,—на безбрачіе себя, какъ братецъ обрекаешь, что ли?

— Да, я жениться не намѣренъ,—отвѣчаетъ.

Павель Яковлевичъ изъ себя вышелъ.

— А любовницу намѣренъ содержать?—вспыхнулъ какъ порохъ.—Мы тоже про твою развратную жизнь знаемъ.

Мамаша ихняя, какъ услышала подобныя слова, по своей женской слабости, конечно, въ слезы, а другіе братья сторону Павла Яковлевича приняли и напали... Слушалъ ихъ Геннадій Яковлевичъ, слушалъ, да подъ конецъ всего и сказалъ:

— Хорошо, я исполню ваше желаніе, женюсь; но въ выборъ невѣсты вы мнѣ не препятствуйте.

Разумѣется, родные обрадовались; но мамашѣ пришло на умъ полюбопытствовать:

— У тебя на примѣтѣ есть невѣста?

Геннадій Яковлевичъ въ отвѣтъ прямо объявилъ:

— Невѣста у меня давно ужъ есть,—сказалъ,—Нина Евлампьевна.

Такая тутъ кутерьма поднялась, рассказывали послѣ горничныя и лакеи, что только Боже упаси!

— Какъ, на любовницѣ жениться?—кричитъ одинъ.

— Шпудльницу хочешь взять!—другой налетѣлъ.—Въ родство съ лакеемъ... Безстыдникъ! Весь нашъ родъ, фамилію почетную хочешь осрамить, пятно наложить...

И пошли, и пошли... а мамаша вся въ слезахъ, только съ трудомъ могла выговорить:

— Ты убьешь меня, Генаша!... Я не перенесу такого удара.

Можете себѣ представить, сударь, какая съ этого времени катавасія въ хозяйскомъ домѣ пошла! Рѣдкій день того не проходило, чтобы къ Геннадію Яковлевичу не приставали, да не требовали, что бы онъ прекратилъ всякое сношеніе съ Ниной и женился. Но онъ крѣпко на своемъ стоитъ:

— Кромѣ Ниночки ни на комъ не женюсь.

— Ну,—сказалъ Павель Яковлевичъ,—ничего намъ съ тобой не остается дѣлать, какъ доложить о твоихъ поступкахъ братцу Конону Яковлевичу.

— Можете,—отвѣчаетъ.—Хотя онъ и старшій мнѣ братъ, я во всемъ другомъ готовъ ему подчиниться, но чувство свое и совѣсть я никому не позволю насиловать.

Видятъ, что угрозами ничего съ нимъ не подѣлаешь, стали лаской его уговаривать.

— Если тебѣ кажется, что Евлампеева дочь не достаточно удовлетворена, можешь ее вознаградить: ты въ своемъ капиталѣ воленъ и можешь поступать, какъ тебѣ угодно.

— А чѣмъ,—спрашиваетъ,—я могу Нину за любовь ея ко мнѣ вознаградить?

— Любовь ваша дѣло было обоюдное, а чтобы она, отвыкнувши отъ работы, не шлалась, опредѣли ей извѣстную сумму... Пожалуй, если желаешь, выстрой ей домъ.

— А чувство мое, совѣсть моя останутся покойны?—спрашиваетъ.

— Ты напрасно такъ близко къ сердцу принимаешь. Это въ тебѣ слабость отъ академіи осталась... Повѣрь, какъ будутъ у ней денешки, да свой домъ, такъ она гораздо счастливѣе заживетъ, чѣмъ съ тобой. Можетъ замужъ выйти: женихъ хорошій при ея состояніи найдется.

— Въ самомъ дѣлѣ?! Хорошо, совѣтомъ вашимъ воспользуюсь—домъ ей выстрою, а тамъ увидимъ. Благодарю васъ за поданную мысль.

Отъ Нины Евлампеевны хозяйинъ скрывалъ, всячески старался никоимъ образомъ виду ей не подать, что у него съ братьями такія непріятности. Но сколько не тая, какъ ни скрывай, а рано или поздно все наружу выйдетъ. Разговоры промежду хозяевами въ четырехъ стѣнахъ велись, а всѣ уже на фабрикѣ объ этомъ знали и по городу въ трубы протрубили.

Конечно, Пина Евлампеевна и сама догадалась, но при Геннадіѣ Яковлевичѣ никакого безпокойства она не показывала. Домъ, дѣйствительно, хозяйинъ для нея выстроилъ. Лѣтомъ плотники срубъ изъ крупнаго отличнѣйшаго лѣса срубили, поставили на мѣсто, явились печники да столяры, и къ осени, не подалеку отъ хозяйскаго дворца, выросли такія прекрасныя хоромы, что только всѣмъ на заглядѣнье. И домъ этотъ съ землею Геннадій Яковлевичъ на имя Нины

Евлампеевны записалъ. Слышалъ я потомъ отъ него самого, что о постройкѣ дома онъ ничего ей не сказывалъ, а когда совсѣмъ отстроили, онъ пріѣхалъ къ ней на квартиру, поцѣловалъ въ руку и объявилъ:

— А у меня, Ниночка, для тебя подарокъ есть — и подалъ ей бумагу на домъ.

Такъ она, вмѣсто того чтобы обрадоваться, поблѣднѣла вся, а потомъ, заглянувши въ бумагу, съ горечью ему сказала:

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? Развѣ я тебя за богатство твое, да подарки люблю. Ничего мнѣ отъ тебя не надо, милый, только люби ты, не покидай меня!...

Да какъ всплакнетъ! Упала къ нему на грудь и плачетъ, рѣкой разливается. Должно быть, провѣдала, что домъ этотъ братья ему посовѣтовали выстроить... Къ чести Нины Евлампеевны, надо прямо сказать, не интересантка она была, ничего отъ него лишняго не требовала и строго на-строго запрещала цѣнныя вещи себѣ дарить. Большого труда ему стоило тогда успокоить бѣдную.

— А домъ я на тебя подписалъ, чтобы ты никогда въ другой разъ не подумала, что я могу тебя разлюбить или оставить. Я знаю, что тебя городскія сплетни тревожатъ, но ты не обращай на нихъ никакого вниманія...

— Я тебѣ вѣрю, милый, — сказала, — я знаю, что ты не кинешь свою Нину... Но твои родные... Я ужасно ихъ боюсь!

— И бояться ихъ нечего. Чего бы ты еще могла съ ихъ стороны опасаться, то и это устроено: ты имѣешь теперь землю и свой домъ.

— Дорогой! На что мнѣ домъ и земля?

— Все къ тому, чтобы ты была спокойна.

Вотъ, сударь, передъ Здвиженъемъ Нина Евлампеевна съ семействомъ въ свой домъ перешла, новоселье справдновала. Самъ я, признаться, поопасался ее поздравить, потому до другихъ хозяевъ объ этомъ могло дойти — и Геннадій Яковлевичъ меня предупредилъ, а супруга моя была тамъ и повеселилась. Не много гостей собралось: двѣ барышни — учительницы, Геннадій Яковлевичъ съ пріятелемъ, — тоже онъ пзъ учителей нашей гимназіи, — да свое семейство и больше никого. Потанцовали подъ фортопьяны, пѣсенокъ хорошихъ попѣли и въ

большое удовольствіе время провели. Хозяйка дома, рассказывала жена, такую веселою да счастливою глядѣла, что Аксинья моя просто налюбоваться вдоволь на нее не могла.

— И такой она красавицей мнѣ показалась,—говорить,—и рѣчи у нея умныя, обращеніе съ людьми тихое да привѣтливое, что я тутъ же и подумала: какъ хозяину не любить эдакую разумницу? А барышни эти, и учитель такъ хорошо да любовно съ нею ведутъ себя.

Только въ свой домъ, благослови Богъ,—она переѣхала, какъ по всему городу и затрубили:

— Ну, значить, теперь скорая отставка „сударынѣ“.

— Далъ клятву братьямъ, какъ домъ выстроить, такъ и невѣсту будетъ сватать.

— Довольно съ нея: два года проклаждалась, да барствовала.

— Отошли красные дни сударынѣ. Глядите, мамашенька-то опять скоро на базаръ съ печенкой выдетъ торговать.

— Ну, съ какой стати ей за прежнюю коммерцію приниматься! Вонъ домна-то какой, а еще, отъ вѣрныхъ людей я это слышала, Геннадій-то Яковлевичъ сто тысячъ чистоганомъ Нинѣ отвалилъ: бери, только отвяжись отъ меня!

Ну и такъ еще изъясняли, что Нина обманнымъ образомъ счастье это приобрѣла: приласкала его на послѣдяхъ-то, подсунула ему какую-то бумагу подписать, онъ подмахнулъ, ничего не подозрѣвая—и вотъ у нея теперь домъ съ землею и огромнѣйшій капиталъ!

А Геннадій Яковлевичъ ежедневно продолжаетъ себѣ посѣщать свою Ниночку, потому близко она живетъ: вечеромъ сидитъ, и днемъ, куда поѣдетъ, къ ней, хоть на минуточку, а безпремѣнно завернетъ. Братья между тѣмъ ожидаютъ, когда онъ, такъ сказать, образумится и заявитъ имъ о своемъ желаніи въ законный бракъ съ богатою дѣвицей вступить. Пора,—домъ ужъ поставленъ, чего же еще медлить? Но тотъ не спѣшитъ и визиты свои къ „сударынѣ“ учащаетъ. Сами ужъ напоминаютъ:

— Оставьте меня въ покоѣ,—отвѣтилъ:—я вамъ не мѣшаю поступать, какъ вы хотите, предоставьте-же и мнѣ свободу распоряжаться собою.

— Да, вѣдь, ты же домъ ей выстроилъ, — дѣлаютъ возраженіе. — Мы отъ тебя не ожидали, что ты ужъ братьевъ родныхъ станешь обманывать.

— Напрасно въ этомъ меня попрекаете. Совѣта вашего я послушалъ, — домъ построилъ, — но слова не давалъ, что Нину Евлампіевну оставляю.

— Послѣ такого съ твоей стороны поступка, ты выходишь самый безсовѣстный человѣкъ, — одинъ изъ братьевъ подносить.

— А еще въ Москвѣ въ Практической академіи образованіе свое получилъ. Не многому же тебя тамъ научили, что ты своихъ братьевъ и честь нашего дома на послѣднюю дѣвку промѣнялъ! — другой его потчуетъ.

— Прошу такъ о близкой и дорогой мнѣ особѣ не отзываться! — вспылилъ.

Пригласили Конона Яковлевича. Надо вамъ сказать, что старшаго братца рѣшались беспокоить только въ рѣдкихъ и самыхъ важныхъ случаяхъ. Пріѣхалъ. Конечно, онъ также давно про сожителство своего братца съ дѣвушкой зналъ, но значенія этому никакого не придавалъ, потому — вещь самая по нашему мѣсту обыкновенная. Выслушалъ онъ тѣхъ братцевъ, выслушалъ и этого, виноватаго; погрызъ ногти — у него привычка была, когда думаетъ о дѣлахъ или чѣмъ разстроено, кусать ногти, и, помолчавши, сказалъ Геннадію Яковлевичу:

— Слушай, братъ Геннадій. Всю эту канитель ты долженъ нарушить и окончательно изъ головы дѣвчонку выкинуть. Вспомни, какого ты рода, кто мы и съ кѣмъ ты кровь нашу хочешь смѣшать? Первые богачи не только въ городѣ своемъ, но и по Москвѣ не много такихъ отыщется, сыновья мануфактуръ-совѣтника, и ожидать надо въ скорости потомственного дворянства, а ты всей нашей фамиліи безчестье наносишь. Стыдно тебѣ! Оставь, предай забвенію свой юношескій грѣхъ и женись: препятствовать твоему выбору никто не станетъ; найди себѣ невѣсту воспитанную, съ образованіемъ и равнаго съ нами рода — нечего и упоминать, что и съ капиталомъ — это прежде всего ты долженъ имѣть въ виду! — и я самолично поѣду въ домъ ея

родителей твоимъ сватомъ. Назначаю тебѣ съ сего числа трехмѣсячный срокъ и семь дней граціи. Ежели по минованіи онаго срока и льготныхъ дней ты не образумишься, то съ тобою будетъ поступлено, какъ съ несостоятельнымъ должникомъ и даже безъ всякаго снисхожденія. Ты хоша и братъ мой единокровный, но что я разъ сказалъ, то и будетъ, и не было еще на свѣтѣ такой силы, которая измѣнила бы мое рѣшеніе. Помни это, Геннадій, и кончай скорѣе свою музыку.

Договоривъ свою рацею, Кононъ Яковлевичъ ни слова ужъ больше не прибавилъ, поднялся съ кресла и на полуvinу мамыши отправился. Нужно чести приписать нашимъ хозяевамъ: почтеніе своей мамышѣ они великое оказывали, и хоша не всегда слова ея въ резонъ принимали, но заботились о ней и берегли, какъ дите малое. Вотъ и Кононъ Яковлевичъ пошелъ засвидѣтельствовать мамышѣ свое сыновнее почтеніе. Старушка на совѣщаніи ихнемъ въ этотъ разъ не присутствовала, потому знала, что старшій ужъ приглашень, и безъ нея вразумленіе настоящее Генаша получить, а ей, при сильной любви къ нему, пришлось бы только лишнее сокрушеніе сердца переносить, глядя на любимаго своего сына... Когда шаги Конона Яковлевича затихли, Василій Яковлевичъ привзнялъ голову и на заблудшаго чуть не со слезами посмотрѣлъ.

— Что, братецъ Геннадій,—сказалъ:—тронуло ли тебя хоть сколько-нибудь слово братца Конона Яковлевича?

Тотъ молчитъ.

— Почувствовалъ ли ты въ душѣ угрызеніе совѣсти, или все еще нѣтъ?

— Почувствовалъ,—сказалъ Геннадій Яковлевичъ и пошелъ къ Ниночкѣ.

— Безпремѣнно онъ теперь, братцы, образумится,—говорить Петръ Яковлевичъ:—знаеть, что съ Конономъ Яковлевичемъ шутить невозможно.

— Ну а ты, братецъ Петръ, можешь и помолчать,—говорить Павелъ Яковлевичъ.—Тебѣ бы въ подобныхъ случаяхъ и не мѣсто.

И на утро слѣдующаго числа въ городѣ и на фабрикѣ про все знали и безо всякаго стѣсненія трактовали.

— Вонъ до чего ужъ дошло: чуть за воротки не схватились!

— Павелъ Яковлевичъ на Геннадія Яковлевича наскочилъ съ кулаками, а младшій промежду ихъ всталъ: „бейте“, говоритъ, „меня, коли вамъ честь вашего рода не дорога!“

— Каковъ! Это самый младшій-то, Петенька? Мо-олодчина! Ну?

— А Василій Яковлевичъ глядитъ на нихъ съ прискорбіемъ. „Что вы“, говоритъ, „или ополоумѣли! Сейчасъ замирились, чтобъ я видѣлъ, а то брата Конона Яковлевича позову! Эй, двѣ бутылки шампанскаго!“ Ну и примирились, по братски разцѣловались.

— Ловко! Ай да Василій Яковлевичъ! Мо-о-олодчина!

— И все это междоусобіе изъ-за той, сударыни-то! Нуко-сь, разладъ въ какомъ семействѣ посѣяла! Да Кононъ Яковлевичъ скрутить... Онъ — герой! Когда только къ фабрику подъѣзжаетъ, такъ у всѣхъ его служащихъ поджилки дрожать и зубъ на зубъ не попадаетъ. Такъ чтобы онъ эдакую пичужку, Евлампееву дочь, да не слопалъ?!

Сладко ли Нинѣ Евлампеевнѣ подобные разговоры было слышать? До чего вѣдь, до какой низости не доходили! Фабричные пьяные, прикащики-лавочники и бабы-охальницы приостановятся ночью передъ ея домомъ, да разговоры то такіе и ведутъ. А увидятъ Геннадія Яковлевича, и разбѣгутся. Ну, кто и почище да повыше по городу стоялъ, не лучше себя вели относительно этой исторіи...

Зима ужъ наступила. Въ городѣ съ нетерпѣніемъ ожидали Рождества, потому послѣдній срокъ волѣ Геннадія Яковлевича долженъ былъ на святкахъ окончиться. Дни онъ, какъ и прежде, на фабрику, а вечеромъ—у своей Ниночки время проводить. Въ Филипповкахъ, по ночамъ, часто на дачу вдвоемъ катались. Подкатить къ крылечку тихимъ образомъ парочка лошадокъ въ легонькихъ саночкахъ; посадить хозяинъ дѣвушку, укутаетъ ее съ головы до ножекъ, и полетятъ, только полозья визжать, да изъ подъ лошадиныхъ копытъ снѣгъ облаками вздымается, мелкой крупой бьетъ въ лицо сѣдоковъ, шубы ихъ обсыпаетъ. Ночь это ядреная, свѣжая, на небѣ мѣсяцъ свѣтитъ, и поля бѣлыя разстилаются, да сверкаютъ, а они несутся отъ города да отъ людей дальше, все дальше. Ниночка къ нему приж-

мется, смотреть на звѣзды, на мѣсяцъ, и не сдержится, вздохнетъ.

— Хорошо вольный свѣтъ,—промолвить.—Но вотъ люди не таковы...

— Не всѣ, дорогая,—перебиваетъ Геннадій Яковлевичъ:—есть и добрые, хорошіе.

— Я такихъ мало знаю... И чего они хотятъ, за что другихъ губятъ, что тѣ имъ сдѣлали!—вотъ чего я не въ силахъ понять.

— И не поймешь никогда, милая. Ни одинъ мудрецъ не разгадалъ, что такое человѣкъ. Да спроси любого, зачѣмъ устраиваетъ гадости и чего онъ добивается, повѣрь, ни одинъ не въ состояніи отвѣтить, а если и отвѣтитъ, то солжетъ или неправду скажетъ.

— Въдъ мы себя называемъ христіанами, а Христось велѣлъ всѣхъ любить и зла никому не дѣлать.

— Вотъ ты справедливо сказала: „называемъ себя христіанами“. Да, только называемъ, а сердцемъ и всѣми своими поступками мы хуже всякихъ язычниковъ.

— Смолкла моя Ниночка,—это все самъ Геннадій Яковлевичъ мнѣ рассказывать,—думаетъ видно о чемъ-то, и, точно, повернула ко мнѣ личико, глаза засвѣтились, и хотѣла ужъ что то сказать, но остановилась на одной звѣздочкѣ и вдругъ измѣнилась въ лицѣ.

— „Смотри, смотри! Звѣздочка падаетъ!...—вскрикнула.—Ахъ, это моя звѣздочка съ неба скатилась“.

И прижалась ко мнѣ еще плотнѣе, и вся дрожитъ, и на глазахъ слезы.

— „Нѣтъ,—утѣшаю ее, голубку мою:—не твоя это звѣздочка скатилась. Твоя—вонъ гляди!—высоко сіяетъ на чистомъ небѣ, не упадетъ она, и ни одной тучки не видать, которая ее хотя бы на время закрыла“.

Хотѣлъ ли онъ этими словами печаль дѣвушки разогнать, или крѣпко на себя надѣялся и ничего впереди не страшился, но тучка-то эта ужъ не далеко хоронилась, день отъ дня все росла, темнѣла, а къ Рождеству выросла въ большую страшную тучу, надвинулась на звѣздочку и закрыла ее собою.

На третій день великаго праздника вотъ что въ домѣ хо-

зайскомъ произошло. Пріѣхалъ Кононъ Яковлевичъ, позвалъ брата Геннадія въ кабинетъ и приступилъ къ допросу.

— Нашелъ себѣ невѣсту?

Братъ молчитъ.

— Мясоѣдъ понче короткій. Надо спѣшить, чтобы до масленицы свадьбу сыграть. Говори, у кого выбралъ?

Ни слова въ отвѣтъ брату.

— Ежели тѣ, которыхъ знаешь, тебѣ не нравятся или не по вкусу, то я укажу на отличнѣйшую барышню, съ капиталомъ и образованіемъ. Не здѣсь, а въ сосѣднемъ губернскомъ горсдѣ: дочка потомственного почетнаго гражданина Желѣзникова. Въ твоемъ вкусѣ будетъ: въ институтѣ окончила, прошедшимъ лѣтомъ только вышла,—молодепьякая, значить, собою пышечка. Я старшій вамъ братъ, худого своимъ не пожелаю.

Заговорилъ тутъ и младшій братъ.

— Братецъ! Прошу васъ не беспокойте себя по-напрасну. Всѣ эти наши разговоры ровно ни къ чему не поведутъ. Я не женюсь.

— Слышалъ. Но я, кажется, порядочный срокъ далъ тебѣ на размышленіе. Могъ одуматься!

— Мнѣ нечего одумываться, братецъ Кононъ Яковлевичъ. Семейство не хочетъ, чтобы я женился на дѣвушкѣ, которую люблю, и я не иду противъ воли родныхъ. Не принуждайте же и вы меня на другой жениться.

— Значить, ты отказываешься отъ выгодной партіи только изъ за той... своей... Она всему главная причина?... Хорошо. Причину ту мы устранимъ. Но сперва скажи: ты продолжалъ бы жить въ незаконномъ союзѣ?

— Покоряясь волѣ семейства,—исхода изъ настоящаго своего положенія я не вижу.

— Да, вѣдь, такъ жить безправственно! — закричалъ ужъ старшій братъ.

— Безправственно дѣвушку завлечь и бросить; это ужъ даже подлость будетъ. Безправственно, не любя, жить съ своей женой и измѣнять ей, но жить съ дѣвушкой душа въ душу, ежеминутно чувствовать, что есть у тебя близкая душа, и быть увѣреннымъ, что и она то же самое испыты-

ваетъ, — это ни одинъ человѣкъ безнравственностью не назоветъ, братецъ Кононъ Яковлевичъ.

Старшій братъ ужъ ногти кусаетъ и съ лица зеленѣетъ.

— Такъ это по твоему нравственность? — зашипѣлъ. — Да ты выходишь первый развратникъ!..

Младшій ему съ твердостью отвѣчаетъ:

— Развратники тѣ, кто мѣняетъ женщинъ, кто по скотски....

Не далъ старшій окончить младшему; видно тотъ не въ бровь, а прямо въ глазъ попалъ..

— Ахъ ты паценокъ! негодяй... Да смѣешь-ли ты подобныя слова мнѣ говорить?... Завтра же не будетъ твоей...

Бранное дурное слово выговорилъ, и брата тоже не хорошо обозвалъ!.. Львенкомъ тутъ вскинулся нашъ Геннадій Яковлевичъ:

— Такъ вотъ ты какой блюститель нравственности! — смѣло въ лицо старшему брату началъ, и пошелъ отчитывать.

Если бы не подоспѣла на тотъ случай ихняя мамаша, — она въ трепетъ съ перваго начала къ разговору въ кабинетъ прислушивалась, — то могло, кажется, братоубійственное избіеніе произойти: никогда, — рассказывалъ лакей, въ такомъ бѣшенствѣ Конона Яковлевича никто не видывалъ.

— Скручу... Ихній родъ весь съ лица земли сотру! — захлебываясь, да бѣгая по кабинету, кричитъ ужъ при мамашѣ. — Выгоню... Домъ отыму... Желтымъ билетомъ награжу.

Ну, вотъ тутъ оно самое-то настоящее и разыгралось, сударь. Брата Геннадія взять подъ опеку, то есть денегъ ему изъ капитала никогда не выдавать и учредить надъ нимъ домашній надзоръ, а на фабрикѣ имѣть особый присмотръ, чтобы ни подъ какимъ видомъ онъ не могъ къ своей „сударынѣ“ проникнуть. Сдѣлалъ такое распоряженіе Кононъ Яковлевичъ, наказалъ, подъ страхомъ прогнанія, служащимъ строго исполнять его, и къ высшему начальству въ городъ поѣхалъ.

— Проживаетъ у насъ дѣвица одна, — изъясняетъ началь-

ству. — Не здѣшняя, натека... дѣвка вольнаго поведенія...
Прошу ее изъ нашего города выслать, такъ какъ она нашей
фамиліи большое униженіе доставляетъ.

— Кто такая?—начальство спрашиваетъ.

Сказалъ. Начальство отвѣчаетъ:

— Затруднительно. Необходимо сперва справки навести;
возьмите на короткое время терпѣніе. Что можно сдѣлать,
мы, конечно, для васъ сдѣлаемъ, не позволимъ вашей фамиліи
оскорбленіе наносить.

— Хорошо, я возьму терпѣніе. Но нельзя-ли ей сію мину-
ту желтый билетъ выдать?

— И для этого нужно предварительно справки навести. Безъ
достаточнаго основанія мы не имѣемъ права такъ поступать.

— Какія же еще нужны основанія? Открыто съ моимъ бра-
томъ живетъ.

— Но съ другими?... вы не можете указать?

— Что же я слѣдить, что ли, за всякой дѣвкой буду?...
Но увѣренъ, что со всѣми путается. Мой братъ, полагаю, въ
ослѣпленіи. По всему вѣроятію, эта дрянъ чѣмъ-нибудь къ
себѣ его приворожила.

Улыбнулось высшее начальство.

— Все же намъ свѣдѣнія о дѣвицѣ той необходимо соб-
рать. Вы не безпокойтесь, мы скоро это сдѣлаемъ: черезъ
недѣлю вамъ отвѣтъ дадимъ.

Начали по городу квартальные рыскать, — въ то время по-
лиція не была по вонѣшнему образована, — фискалы вездѣ
шнырятъ, да всякія темныя личности ночнымъ временемъ
по сосѣдному забору лазать. Взберутся это на него,
засядутъ тамъ, да подозорныя трубки и наводятъ пря-
мо въ окошки къ Нинѣ Евлампеевнѣ... Однажды сосѣди
и запримѣтили, что кто-то влѣзаетъ на заборъ и садится;
ну, конечно, за ночныхъ гостей приняли, потихоньку сзади
къ нимъ подкрались да здоровенной арысиной по спинѣ
какъ хватятъ — кувыркомъ на улицу фискала съ забора...
Подняли было крикъ, въ амбицію вломились.

— Мы по приказанію вышаго начальства!—кричатъ.

— А вы не въ урочные часы не лазайте, — отвѣчаютъ
имъ,—не пугайте мирныхъ обывателей.

— Мы на своемъ посту, наблюденія производимъ.

— Да развѣ начальство вамъ дозволить по чужимъ заборахъ поститься? Ахъ, вы полуночники!... Караулъ! воры... Помогите, православные!

Фискалы поскорѣе на утекъ. Поди, разбирай ночной-то порой, а обыватели бы сбѣжались и во что ни попало отъ всего усердія наклали... И такъ послѣ жалобились, долго спина у каждого дотронуться не давала!

Ровно черезъ недѣлю Кононъ Яковлевичъ покатилъ къ начальству—отъ нетерпѣнія своего дожидаться отвѣта не могъ на дому.

— Добытыя свѣдѣнія неблагопріятны для васъ, — начальникъ его встрѣтилъ.—За дѣвицей ничего дурного не могли усмотрѣть, живетъ уединенно и принимаетъ къ себѣ однѣхъ учительницъ и какую-то женщину, даже вашего брата ни разу не замѣтили.

— Неправда!—перебилъ Кононъ Яковлевичъ.—Онъ у ней былъ: я нарочно своего человѣка подсылалъ, такъ онъ своими глазами его видѣлъ.

— Можетъ быть, не отрицаю,—наши не досмотрѣли, но это значенія не имѣетъ. Слѣдовательно, впредь до собранія дальнѣйшихъ и положительныхъ свѣдѣній о поведеніи дѣвицы, одного изъ вашихъ желаній исполнить я никакъ не могу.

-- Очень жаль. Это, значить, разврату потворствовать.

Видно, словами подобными начальство обидѣлось.

— Это значить, господинъ Громовъ,—высшее начальство ему въ отвѣтъ,—что безъ всякаго основанія позорить женщину безчеловѣчно.

Побагровѣлъ старшій хозяинъ, но ничего—проглотилъ.

— Относительно же другого вашего желанія, то оно совершенно не выполнимо. Госпожа Голицынская, фамилія дѣвицы,—здѣшняя гражданка, имѣетъ въ городѣ недвижимую собственность, землю и домъ...

— Это все братнино.

— По нотаріальнымъ книгамъ земля и домъ принадлежать мѣщанской дѣвицѣ Нинѣ Евлампевнѣ Голицынской. Высылать-же изъ мѣста жительства мы имѣемъ право только тѣхъ,

кто не представить въ удостѣреніе своей личности письменнаго вида, или по приговору суда, но чтобъ удалить мѣстную гражданку, имѣющую постоянную въ городѣ осѣдлость и домъ, то для этого требуется неопровержимое доказательство въ неблагонадежности лица.

— Да она и въ политикѣ не благонадежна, могу васъ въ этомъ завѣрить,—обрадовался, было, случаю этимъ воспользоваться Кононъ Яковлевичъ.

— А! если вы имѣете доказательства, то сдѣлайте одолженіе, дайте ихъ... Я сейчасъ позвоню: вы расскажите, а чиновникъ по секретной части со словъ вашихъ запишетъ, и мы произведемъ строжайшее дознаніе.

Влопался Кононъ Яковлевичъ! Слово-то это выпалилъ, да и на попятную, за руку начальника...

— Не звоните!... Я только думаю... Я хотѣлъ сказать, что при вольномъ поведеніи этой дѣвицы отъ нея всего нужно ожидать...

— Такъ у васъ никакихъ фактовъ нѣтъ? Нечего, слѣдовательно, и беспокоиться... Совѣтую вамъ на будущее время, въ такихъ случаяхъ, осторожниѣ быть. А свѣдѣнія мы все-таки пособеремъ, можетъ что откапаямъ...

Всѣ ногти себѣ отъ злости Кононъ Яковлевичъ изгрызъ. Ъдетъ съ кучеромъ въ домъ братьевъ и дорогою вслухъ бранится.

— Скоты, подлецы... Въ заговорѣ съ братомъ.

Въ домѣ съ бѣшенствомъ на Геннадія Яковлевича напалъ.

— Отыми у ней домъ. Уничтожь купчую!

Но дѣло ужъ сдѣлано, назадъ не вернешь. Прочіе братья спохватились, но обвинять некого: сами же совѣтъ подали домъ выстроить. Кононъ Яковлевичъ въ ярости своей, не зная что дѣлать, узнавъ, что въ прядильной Нины Евлампеевны братишки работаютъ, приказалъ ихъ немедленно съ фабрики сослать. А тѣхъ ужъ на банбросы перевели, повысили значить, потому съ понятіемъ мальчики оказались.

Опять вездѣ фискалы, да темныя личности запыряли. По городу во всѣ трубы и органы поютъ.

— Слопаютъ! безпремѣнно слопаютъ,—по улицамъ орутъ

фабричные.— Живъ не разстанется, пока все до чиста не сглодаеть.

— Молодчина Кононъ Яковлевичъ! Герой!

А въ каменныхъ высокихъ палатахъ, за самоваромъ и вареньями сидѣли купчихи и очень тужили о мамашѣ Геннадія Яковлевича.

— Какое огорченіе Аннѣ Ѳедоровнѣ съ сыномъ! Вотъ Богъ за чьи-то грѣхи покаралъ!

— Слышно, не-спроста это на него. Не подсыпали ли ему чего въ чай или въ вино?

— Очень можетъ быть! Отъ такихъ все становится.

Въ положеніи Геннадія Яковлевича, надо прямо говорить, время наступило пребезобразное. Находясь у себя въ домѣ и на фабрикѣ подъ присмотромъ, онъ все единственно, какъ бы подъ арестомъ былъ. Видѣтся онъ съ Ниночкою могъ лишь изрѣдка, и то развѣ когда украдкою. Хоша его служащіе всѣ и обожали, но Конона Яковлевича ужасно боялись. Конечно, Геннадій Яковлевичъ не послушался бы старшаго братца, взялъ бы свою часть капитала и ушелъ изъ родительскаго дома; но ему было очень жалко мамаша, и онъ не хотѣлъ огорчать ее. Часто ихъ вдвоемъ въ ея комнатахъ заставляли.

— Неужели ты, Генаша, не въ силахъ съ нею разстаться,—говорить мамаша.

— Нѣтъ, родная. Люблю я ее и ни на кого въ жизни не промѣняю.

— Да за что ты любишь ее? Вѣдь она простая, дочь лакея, въ шпуньницахъ у насъ жила.

— Если бы вы ее знали, мамаша, что это за дѣвушка, какая въ ней душа прекрасная и какая деликатная, то вы сами бы ее полюбили и лучше жены мнѣ бы не пожелали.

— Господь съ тобою, какія ты рѣчи говоришь!—ужасается старушка.—Сотвори молитву. Что она мнѣ за сноха!

— А вы, дорогая матушка, повидайте ее, посмотрите хоша разъ и поговорите съ нею. Вы только взглянули бы, какъ она живетъ, съ какой любовью и уваженіемъ къ своей матери относится, о братьяхъ заботится и бѣднымъ потихоньку помогаетъ.

— Что ты, что говоришь! Пойду я къ ней... Опомнись!

Ахъ, Генаша, ровно она тебя околдовала... И не говори ты мнѣ про нее! Не поминай никогда!

А черезъ нѣсколько времени, какъ только вдвоемъ съ сыномъ останутся, такъ старушка первымъ долгомъ:

— Видѣлся, что-ли, опять съ своей-то?

— Видѣлся, милая.

— Ну что же она?

— Виду при мнѣ не показывается, но не легко ей, бѣдной, дается. Похудѣла, живости прежней въ ней не стало... О своемъ горѣ скрываетъ, но о васъ беспокоится.

— Что ей до меня-то?

— Опять я вамъ повторю, что вы ее не знаете, мамаша. Она говоритъ: „мое горе—пустяки, я молода и все перенесу, а вотъ каково твоей мамашѣ, она за тебя вся измучилась!“

— Вонъ она какая!... Такъ и сказала?

— Да, родная.

Гордая была старушка Анна Федоровна, держала себя, какъ графиня или княгиня какая, а не простая купчиха. Но тутъ, горничная ея подмѣтила, она отъ сына поотвернула, и глаза ея нѣсколько разъ мигнули.

— А ты, Генаша, исповѣдуйся на первой-то недѣлѣ: постъ близко... Да воздержись до Пасхи, не ходи къ своей-то. Можетъ, не попойдетъ ли какъ съ тобою, не станешь ли ее позабывать. Братъ Кононъ тебѣ хорошую дѣвушку высмотрѣлъ.

— Пускай онъ своего сына на ней и женить, если она ему очень нравится. Григорью его скоро двадцать лѣтъ!

— Не очень ты противъ него иди, Генаша! Вѣдь онъ старшій тебѣ братъ, вмѣсто отца.

— Если бы живъ былъ папаша, матушка родимая, такъ развѣ бы я терпѣлъ такую долю!

— Перестань, не вспоминай... Мнѣ и безъ того горько, а ты еще про отца упомянулъ... Отъ того то, видно, ты мнѣ всѣхъ и ближе да милѣе, что весь характеромъ и лицомъ въ него уродился.

Великій постъ наступилъ, время быстро катить, Пасха ужъ не далеко. Кононъ Яковлевичъ лютуетъ и ждетъ, какъ просохнетъ, чтобы везти Геннадія къ невѣстѣ.

Нина Евлампеевна дѣйствительно, какъ мамашѣ хозяйинъ говорилъ, ни кому виду не показывала, крѣпилась. Но чего ей только эту муку-мученическую стоило перенести! И прежде, мальчишки, да фабричные пьяные вслѣдъ ей кричали, а теперь, какъ узнали, откуда вѣтеръ-то подулъ, такъ кучами ночью подъ окошки, подходили и озорничали. Въ праздникъ и на улицу лучше ужъ не показывайся; увидятъ и загогочутъ.

— Го-го-го! У-у-у!

Приказчики въ лавкахъ, когда ей самой доведется что покупать, улыбочки особенныя строить, штучки въ разговоры веселыя подпускать. Да что, про все и передавать какъ-то отвратительно! Нина Евлампеевна цѣну всему этому хорошо знала, и хоша подъ-часъ возмущалась, но съ равнодушіемъ къ площаднымъ выходкамъ и фабричному безобразничанью относилась. Ее другое тревожило,—разладъ въ семействѣ. Жалко ей было Анны Ѳедоровны и Геннадія своего. Что ни говорите, а какъ чуть не два года на вашихъ глазахъ семейныя непріятности происходятъ, и знаешь, кто всему причиною, да ежели еще хотятъ разлучить съ любимымъ человѣкомъ и родъ вашъ до чиста истребить, такъ по неволѣ придется не только вздыхать и ручьи слезъ проливать, а, можетъ, даже кровью плакать. Къ тому же, съ Геннадіемъ Яковлевичемъ свиданія у ней стали рѣдкія да короткія: нельзя ему было засиживаться, старшій братъ каждый день нарочно за двѣ версты изъ своего дома пріѣзжалъ, чтобъ справиться, дома ли Геннадій, если нѣтъ, то къ кому выѣхалъ. Слухъ этотъ опять распустили, что невѣсту хотятъ сватать... Ну, о Пасхѣ она и стала что-то задумываться...

Супруга моя разъ на Святой застала ее въ этой задумчивости. Оправилась, быстро себя въ чувства привела, ласково встрѣтила мою жену; но заговорила, и изъ глазъ у нея вдругъ слезы одна за другой и потомъ часто, часто, какъ градинки посыпались. Аксиныя ее приголубила, заглянула ей въ личико, и, должно быть, по глазамъ моей супруги Ниночка отгадала, что у той въ эту минуту въ сердцѣ добромъ. Какъ упадетъ ей головкой на грудь,—и зарыдала.

— Вотъ она, судьба-то моя злосчастная,—плачетъ.—Какъ

я ее давно страшилась!... И не пощадила она меня горькую. Обрушилась на мою головушку!

— Поплачь, милая, поплачь,—моя то ей говорить.—Убиваться-то тебѣ и не слѣдъ бы, ничего вѣдь такого еще нѣтъ, изъ-за чего сокрушать себя, но ты все же поплачь вволю, голубка моя бѣлая: легче отъ слезъ-то человѣку бываетъ.

— Отнять его у меня, отнять!—убивается сердечная.—Я предчувствовала, что меня впереди ожидаетъ... Какъ я боролась!.. Письмо его тогда первое принесли, черезъ Дорофея Ильича оно шло,—Геннадій мнѣ послѣ объ этомъ открылъ,—не хотѣла къ нему на свиданіе идти, но рѣшилась... Вышла въ рощу, сказала, что не могу быть его женой и убѣждала... не знаю, какъ тогда меня ноги несли, вся я шаталась и кровь въ жилахъ застыла... Вѣдь я его полюбила, еще когда онъ меня и не видѣлъ!...

Отняла головку, на плечо Агсины положила и продолжаетъ.

— Ходила въ Боголюбово, просила помощи у Пречистой Богородицы, съ фабрики нарочно ушла, чтобы не видѣть его никогда... Собиралась въ монастырь постричься: тамъ любовь свою хотѣла похоронить... Совсѣмъ ужъ приготовилась, мама благословеніе свое мнѣ дала... И вдругъ, точно какой невѣдомой силой толкнуло меня къ нему, сама ему написала, и въ тотъ же день мы съ нимъ на дачу уѣхали...

— Ну вотъ это и хорошо, и слава Богу!—моя-то ей лепечетъ.—Тебя ужъ и поотпустило, свободнѣе грудь-то дышетъ.

— Господи, какое я съ нимъ счастье узнала!—отнявъ отъ плеча свою головку и откинувшись на спинку дивана, говорила Ниночка съ большимъ чувствомъ и глаза ея прекрасные счастьемъ засвѣтились.—Сидимъ мы вмѣстѣ, говоримъ и наговориться не можемъ, онъ мнѣ про все рассказываетъ, гдѣ и что видѣлъ, путешествія за границу и по нашимъ различнымъ городамъ, читаетъ со мною... А поѣдетъ онъ съ дачи на фабрику, мы прощаемся, прощаемся, и никакъ разстаться не можемъ. Уѣдетъ онъ, а я останусь одна... И вѣдь я не скучала цѣлый день: хожу по комнатамъ, или гуляю, а сама въ какомъ-то волшебномъ снѣ... Словно летаю по странамъ чудеснымъ, гдѣ люди новые и жизнь особенная, — летаю, и

онъ со мною, называетъ какія это страны, какой городъ, дворець... Передъ вечеромъ приду въ себя, хвачусь его и вспомню, что Геннадій сейчасъ прѣдетъ. Кидаюсь въ дверь, бѣгу по двору, за ворота... А онъ и летитъ, мой милый, мой дорогой! „Заждалась!“ кричитъ съ дороги, и выпрыгиваетъ изъ экипажа, точно онъ скорѣ такъ ко мнѣ поспѣетъ...

Моя только слушаетъ, вздыхаетъ сладко и улыбкой своей поощряетъ Ниночку.

— А ночи лѣтнія съ нимъ въ саду, — мечтаетъ. — Вверху небо синее и звѣзды свѣтятъ. Я полюбила одну звѣздочку и подолгу на нее смѣтрѣла. Небольшая она и не такъ ярко блеститъ, какъ другія; кротко она сіяетъ, и свѣтъ отъ нея тихій, спокойный, какъ будто она сказать хочетъ: „смотри на меня, и тебѣ всегда будетъ хорошо!“ И улыбнешься ей тоже тихо и радостно. Отведешь глаза, взглянешь въ глубь аллеи, а тамъ темъ страшная... Жутко сдѣлается... Сядемъ мы съ Геннадіемъ на скамейку, я головой къ нему на плечо склонюсь, а онъ рукой меня обниметъ, и сидимъ мы одни долго, долго, ни слова не промолвимъ, и обнимъ намъ такъ хорошо и сладко! Опять будто во снѣ гдѣ-то летаю, вижу море безбрежное, гуляю съ нимъ въ садахъ какихъ-то райскихъ и въ душѣ моей блаженство разливается... Да ужъ за одни такіе часы, какъ я благодарна! Но въ одну зимнюю ночь, я видѣла, скатилась съ яснаго неба моя звѣздочка, и затмилось мое счастье.

Такъ она прекрасно мечтала, что моя Аксинья и пересказать всего не могла. Замѣтила, что та опять задумалась, и молвила:

— Спою-ка я вамъ пѣсенку, Нина Евлампеевна.

Голосокъ у моей былъ недурной, и пѣвала она иногда дома: раздумаешься это когда о жизни человѣческой, взгрустнется тебѣ и сидишь пригорюнившись; а она какъ примется пѣть, и разгонитъ всю печаль. Вотъ и тутъ Аксинья спѣла пѣсенку про красавицу, что сидитъ она задумавшись и тоскуетъ, а кончается эта пѣсенка словами:

Туманъ разтуманится,
Дитяtko мое,
За туманомъ спрятано
Счастьице твое.

Не тоскуй, красавица,
Съ ночи до утра,
Улыбнется счастьеце,
Какъ пройдетъ пора.

— Хорошая пѣсенка,—похвалила Ниночка.—И славно вы спѣли ее, милая Аксинья Петровна.

Но все же грусти ея въ конецъ пѣсенка не разогнала, хотя и много поуспокоилась дѣвушка. Барышни-учительницы къ ней пришли. Такъ она сію же минуту въ прежній свой видъ пришла!... Съ Аксиньей своею горемъ своимъ подѣлилась, а при образованныхъ барышняхъ себя не выдавала: гордость свою соблюдала. Понятно, тѣ про ея положеніе извѣстны были и пришли къ ней, чтобы разговорами своими хорошими развлеченіе ей доставить.

Вскорѣ и для насъ самихъ затруднительное положеніе наступило. Сперва, на Ѳоминой, повезли Геннадья Яковлевича за сто верстъ невѣсту эту смотрѣть. Онъ не хотѣлъ ѣхать, на-отрѣзъ было отказался, но мамаша ихняя уговорила.

— Ты только посмотри,—говорила:—предложенія не дѣлай, а посмотришь и познакомишься съ барышнею... Больше отъ тебя ничего и не требуютъ.

— Въдь это, мамаша, комедія выйдетъ,—упорствовалъ сынъ.—Развѣ Желѣзниковы не знаютъ, съ какой цѣлью меня въ ихъ домъ привезутъ! Да еслибы и не знали, то потомъ, уѣду я, въ городѣ разные толки пойдутъ, станутъ говорить: „пріѣзжаждь женихъ смотрѣть, да не понравилась дочка Желѣзникова“. Не хорошо намъ изъ за одного каприза брата, Конона Яковлевича, дѣвушку конфузить.

— Никакого конфуза для барышни не можетъ выйти. Могутъ сказать, что женихъ имъ не понравился. Уступи старшему брату, потѣшь его!

— Тѣшить его я не намѣренъ, мамаша...

— Да не его, а меня успокой!... Ради меня ты это сдѣлай, только съѣзди... Барышня воспитанная, образованная. Ге-

нашинька, съѣзди, сынокъ милый!... А тамъ, что Богу угодно будетъ.

— Изъ послушанія вашего, матушка, я не выхожу, исполню ваше желаніе... Но повѣрьте, на моей совѣсти останется пятно.

И повезли Геннадія Яковлевича невѣсту смотрѣть...

Кононъ Яковлевичъ расхваливалъ по пріѣздѣ съ смотринъ: такая барышня, что на рѣдкость,—всему обучена и собой очень красива: полная, лицо круглое, бровь черная. Дорогою, на возвратномъ пути Кононъ Яковлевичъ и не спросилъ брата,—понравилась-ли ему барышня,—а на другой день, по пріѣздѣ обѣщалъ въ домъ къ мамашѣ быть.

На утро семейный совѣтъ: мамаша, Кононъ Яковлевичъ и другіе братья въ полномъ составѣ собрались; Василья Яковлевича изъ Москвы телеграммой вызвали. Старшій засѣданіе открылъ отчетомъ о поѣздкѣ, расписалъ яркими колерами невѣсту, ея родителей, домъ и прочее. Превосходиѣе ничего требовать невозможно.

— Надобно теперь формальное предложеніе сдѣлать,—закончилъ отчетъ свой Кононъ Яковлевичъ.

— Если жениху понравилась дѣвушка, такъ зачѣмъ останавливаться?—мамаша отвѣчаетъ.—Спросить его...

— Я полагаю, мамаша, что жениха намъ и спрашивать нѣтъ надобности,—поспѣшилъ отвѣтомъ Кононъ Яковлевичъ.—Здѣсь все наше семейство: вы, родительница, я старшій братъ, и всѣ прочіе... Ежели наше общее согласіе будетъ, то и объявимъ сватѣямъ формальное предложеніе... Свять мнѣ сказывалъ, что нашъ женихъ невѣстѣ понравился.

Конечно, всѣ согласны и довольны.

— Но женихъ-то какъ?—мамаша говоритъ.—Ему невѣста нравится ли?

— Если бы не нравилась, — сказалъ: уши у него хлопкомъ не заложены, слышать.

— Такъ что же ты, Генаша, намъ скажешь? — мамаша къ жениху съ вопросомъ.

— Барышня мнѣ очень понравилась,—отвѣтилъ тотъ.

— Слышите?—старшій подхватилъ.—Значить, вставайте, помолимся Богу, вы, мамаша, его благословите, и пошлемъ

Желѣзниковымъ формальное предложеніе. Вставайте—и самъ первый съ кресла поднялся.

— Позвольте, братецъ Кононъ Яковлевичъ,—дрогнувшимъ голосомъ остановилъ Геннадій Яковлевичъ.—Я только сказалъ, что барышня мнѣ понравилась, но жениться на ней я не могу.

Но не тутъ-то было: на словахъ поймали Геннадія Яковлевича!

— Нѣтъ, ужъ теперь на попятную поздно, братъ!—поднялись всѣ.—Сказалъ: нравится, и женись.

Даже Анна Ѳедоровна, мамаша, сторону прочихъ приняла.

— Ужъ какъ ты хочешь, а женись, Геннадій. Понравилась барышня, значитъ, къ той у тебя было одно увлеченіе, просто по молодости своихъ лѣтъ, забаву для себя въ ней нашелъ.

— Что вы говорите, матушка!—съ горечью сказалъ Геннадій Яковлевичъ. — Не увлеченіе, не забава это съ моей стороны, когда я три года ее люблю. Нина все мое счастье, радость жизни, и я за нее готовъ умереть...

Старушка только руками отмахивалась, слушая такія ужасныя слова непокорнаго сына.

Старшій братецъ кусалъ ногти.

— Да ты понимаешь ли, съ кѣмъ и что говоришь!—не совладѣлъ съ собою и накинулся онъ на брата. — Ты бы долженъ былъ насъ всѣхъ благодарить, что мы о тебѣ такъ заботимся, и ежечасно возсылать молитвы къ Всевышнему, что нашли подобную невѣсту... Подумай, погляди на себя, какимъ ты сталъ черезъ свою развратную жизнь, и стоишь ли того, чтобъ воспитанная и красавица барышня за тебя вышла замужъ!... Одному надобно удивляться, какъ ты могъ ей понравиться?! Развѣ что при всемъ своемъ образованіи, у дѣвушки въ головѣ чего не хватаетъ. Такой ли ей мужъ надобенъ!

— И прекрасно, братецъ, она найдетъ себѣ достойнаго жениха, а я останусь вѣрнымъ своей привязанности.

— Увидимъ!... Да что мы его слушаемъ? Позабыли совсѣмъ. Давайте, помолимся Богу, мамаша и братцы!...

Геннадій Яковлевичъ убожалъ. Помолились безъ него.

— Ну, дай Богъ часъ добрый!—сказалъ по окончаніи Ко-

нонъ Яковлевичъ. — Чтобы начатое нами благополучно совершить—свадьбу сыграть.

— Да что начинать-то? — промолвила мамаша. — Женихъ нашъ убѣжалъ.

— Не безпокойтесь, прибѣжитъ... А то и насильно его притащимъ.

— Ужъ я не знаю, на что и рѣшиться... Не повременить-ли, Конаша, дѣлать формальное-то предложеніе?

— Какъ это возможно, мамаша! Тогда мы все дѣло испортимъ; надобно торопиться. Мнѣ сегодня утромъ донесли, что онъ вечеромъ наканунѣ успѣлъ у той... побывать.

Старушка махнула рукой и съ сокрушеніемъ промолвила:

— Ну, дѣлайте, что хотите... Ты—старшій братъ, вмѣсто отца родного надъ ними поставленъ.

— Успокойтесь. Я его образую, приведу къ сокращенію. Главное, чтобы онъ не видѣлъ своей... дѣвчонки. Очень я опасаясь, черезъ какое-нибудь волшебство она не приворотила ли его къ себѣ. Давно ужъ эта мысль у меня въ головѣ бродить.

— Я и сама объ этомъ подумываю.

— Ничего, я устрою и къ общему удовольствію всего достигну. Вы только успокойтесь, мамашенька!

На ткацкой день нѣтъ Геннадія Яковлевича, другой нѣтъ... Павелъ Яковлевичъ вмѣсто него командуетъ... А на третій до насъ вѣсть дошла, что Геннадій Яковлевичъ подъ домашнимъ арестомъ ужъ сидитъ, и ни кого до него строго на строго не велѣно допускать. Это старшій поусердничалъ: въ комнату къ заключенному двухъ надежныхъ прикащиковъ посадилъ,—одинъ денной, а другой ночной—и въ корридоръ на двѣ смѣны стражу учредилъ: четверыхъ мытильщиковъ, что съ плотовъ на рѣкѣ миткаля полощутъ, дюжихъ и здоровенныхъ такихъ молодцовъ приставилъ, по двое на смѣну, также дневную и ночную. Ни къ узнику доступа, ни ему выхода нѣтъ: даже мамашу старшій упросилъ, чтобы она не входила, и мытильщикамъ было приказано, что если она, по слабости материнскаго сердца, вздумаетъ посѣтить — не допускать.

— Вышибу я изъ головы его дурь, заставлю покориться! — Кононъ Яковлевичъ говорилъ.

Формальное предложеніе было послано, и на него отъ родителей невѣсты полное согласіе получено, а Геннадій Яковлевичъ рѣшительнымъ образомъ отказался ѣхать къ невѣстѣ.

— Покорись!—настаивалъ старшій.

— Не покорюсь.

— Я тебѣ въ послѣдній разъ говорю: покорись!

— И я говорю въ послѣдній разъ: не женюсь ни на комъ, кромѣ Нины.

По фабрикамъ, по городу стонъ ужъ стоитъ.

— Подъ арестомъ! Вотъ оно какъ!

— Родную мать не допускаютъ.

— Настоятельный человѣкъ! Изломаетъ всего, душу всю вымучить, а своего добьется.

— Молод-дчина! Герой Кононъ Яковлевичъ!

Черезъ двѣ недѣли новый слухъ: Геннадій Яковлевичъ нездоровъ, сильная „порча“ въ немъ открылась: за колдуномъ ужъ послали, чтобы „отворотъ“ сдѣлать.

— Испортила! Вотъ она какая...

— Въ чаю дала. Какъ отъ невѣсты-то на Ооминой воротился,—сейчасъ же къ ней побѣжалъ: хотѣлъ на примикъ сказать, что, молъ, „прощай, невѣсту себѣ усваталъ“. Она—извѣстно ужъ какъ у нихъ это, непутныхъ, ведется,—обласкала его, ульстила всячески и потомъ сказала: „желаю тебѣ счастья, миленькій, женись съ Христомъ! Выкушай только со мною въ останные чашечку сладенькаго чайку“...

— Ахъ, подлая!...

— Геннадій Яковлевичъ, конечно, ни на что дурное не подумалъ, довольно ужъ, кажется, имъ она награждена была,—домъ выстроилъ, сто тысячъ ей наличными выдалъ и на разставанъѣ еще двадцать прикинулъ,—чашку принялъ, а въ чаю-то зелье это самое и было положено: изъ приворотнаго корня сокъ и съ заговорной молитвой.

— А-а-хъ! Какіе изверги на свѣтѣ есть!

— Еще она когда его чарами своими приворожила! Живши у нихъ на фабрикѣ, въ лѣсу съ нимъ повстрѣчалась и тогда же на Геннадія Яковлевича духомъ волшебнымъ напустила: съ перваго же раза подѣйствовало,—тосковать по ней зачалъ. А потомъ, она нѣсколько разъ въ чаю ему под-

носила: какъ заprimѣтить,—воръ дѣвка!—что онъ начинаетъ отъ нея отклоняться, такъ и дастъ приворотнаго зелья.

— Такъ, такъ... А то чего же бы ему три года и возить-ся съ нею!

— Ну, а въ послѣдній-то разъ дала ужъ выпить ему „вѣчнаго“: до гроба отъ нея не отстанетъ.

Къ намъ на ситцевую фабрику одинъ изъ смѣнныхъ прикащиковъ завернулъ. Позабылъ вамъ сказать, что въ то время я окончательно на должность постоянного ярмоночнаго прикащика перешолъ и, когда не находился въ отъѣздѣ, въ ситцевой конторѣ занимался. Пришелъ смѣнный и по секрету намъ сообщаетъ:

— Въ совершенномъ изступленіи находится,—тихонько рассказываетъ.—„Это медленное убійство“!—кричитъ. „Отпустите меня... я хочу ее видѣть... или я руки на себя наложу“... Ночью чуть по водосточнымъ трубамъ съ третьяго этажа не спустился: открылъ окошко и вылезъ. Я едва успѣлъ его схватить и удержать. Ждутъ колдуна этого, за пятьсотъ верстъ нарочнаго отправили... Не знаю какъ мнѣ и быть: хозяинъ ночью не спитъ, и того гляди изъ окошка выпрыгнетъ, а я—человѣкъ: съ шести-то часовъ вечера, да до шести утра изволь продежурить, ни разу не задремавши—не вынесешь! И такъ ужъ мнѣ что-то не по себѣ... А главное—страшно; онъ какъ полоумный.

— Допускаютъ къ нему хоть мамашу-то?

— Вотъ послѣдніе то дни, какъ убѣдились, что Геннадій Яковлевичъ испорченъ, такъ Аннѣ Ѳедоровнѣ дозволили входить.

— Ну и что же она?

— Извѣстно—плачетъ, жалко ей своего любимчика.

— А-ахъ ты, Господи!—вздыхаетъ контора.

Жалѣли и на фабрикѣ всѣ Геннадія Яковлевича, а я ужъ и подавно: черезъ него на должность хорошую меня перевели, и благополучіе будущей своей жизни получилъ. Съ Аксиной у себя по вечерамъ сидимъ, тужимъ о благодѣлѣ... Я не скрою, правду скажу, нѣсколько поколебался въ Нинѣ Евлампеевнѣ: ужъ и въ правду не подѣлала ли она чего съ нимъ? Слово нѣтъ, она дѣвушка хорошая и впоследствии

достойною оказалась, но все же подобная къ ней со стороны молодого человѣка приверженность,—какъ вы хотите, безъ посторонней силы невозможна... Новѣшныя образованные люди не вѣрятъ этому, смѣются, а я самъ въ книжкахъ читывалъ про волшебниковъ, и самолично примѣры видалъ: сколько этихъ порченныхъ у насъ въ церквахъ бываетъ, какое съ ними бѣснованіе происходитъ, и не рѣдко даже выкликаютъ имя человѣка, который ихъ испортилъ!.. Супруга моя тоже, какъ будто бы, немного на это склонялась, но прямого утвержденія не дѣлала и за Нину заступалась.

— Ты бы на нее поглядѣлъ,—говорила:—на кого она стала похожа. Куда ея красота дѣвалась, лицо осунулось, глаза ввалились, и сама не въ полномъ разумѣ!... Ночи напролетъ не спать,—мать говорить,—а день въ оцѣпененіи проводить: какъ опустится на диванъ, сядетъ, и пока ея не поднимутъ — съ мѣста не тронется. По временамъ всплеснется и громко простонетъ: „Господи, да когда же этому всему конецъ будетъ“? А въ другое время слышать: въ груди и горлѣ у нея что-то заклокочетъ, вотъ такъ: у-у-о, у-у-о! и ручки крѣпко въ кулачки сожмутся, и эдакъ дрожить, дрожить, какъ въ лихорадкѣ злой, а губы плотно сомкнутся... Сегодня къ ней въ горницу я и не входила, посидѣли мы съ матерью-то и вмѣстѣ погоревали. Какъ убита женщина! Тоже за дочку опасается: не испортили ли ее злые люди!

Вотъ тутъ и поди, разберись съ дѣлами-то!

А по городу слухи все распространяются. Въ домѣ Громовыхъ какъ въ гробу теперь стало. Ни слова во весь день ни отъ кого не услышишь, прислуга ходитъ на цыпочкахъ, хозяева сумрачныя, да унылыя показываются. Точь въ точь какъ покойникъ въ дому на столѣ... Тишина мертвая по всѣмъ покоямъ стоитъ...

За день до прибытія колдуна, такъ часовъ около пяти,—вечерній чай у насъ въ конторѣ собирались пить,—неожиданно зовутъ меня въ домъ.

— Что такое, несчастье случилось?

— Смѣнный ночной свалился, захворалъ,—отвѣчаетъ посланный.—Должно, васъ на его мѣсто опредѣлили поставить: кого еще надежнѣе васъ!

„Вотъ тебѣ и Троицкая“! подумалъ, — я готовился уже на ярмонку ѣхать. Но и не это, главное, меня озадачило, а то, что я буду въ родѣ жандара при хозяинѣ, благодѣтель своемъ состоятъ!.. Ужъ и высказать не могу, какъ это меня огорчило и разстроило!.. Но идти надо: откажуть, лишусь мѣста—куда я съ семействомъ дѣнусь? Кононъ Яковлевичъ ни на какой чужой фабриктъ мнѣ жить не дастъ... Пошелъ, голову свою побѣдную понутивши.

Дѣйствительно, такъ точно, какъ посланный говорилъ: въ жандары къ хозяину опредѣлили, въ ночные назначили! Я попросилъ Петра Яковлевича, чтобы женѣ дали знать, — хватились бы домашніе, стали беспокоится.

— Я пошлю, — сказалъ. — Пойдемъ, Корягинъ! Я тебѣ инструкцію сообщу, какъ его держать слѣдуетъ...

Подымаемся по лѣстницамъ. Убранство вездѣ какое! Ковры дорогіе постланы, зеркала отъ полу до потолка, цвѣты въ мраморныхъ вазахъ, заграничныя растенія въ кадкахъ стоять. Дворецъ, чертоги царскіе! А живутъ скромно: ни баловъ, ни вечеровъ — ничего не дѣлають, кромѣ именинъ и торжественныхъ случаевъ. Но вездѣ тишина полная: муха пролетитъ — услышишь. Ужъ и въ правду, не покойникъ ли въ палатахъ?.. На одной изъ площадокъ Петръ Яковлевичъ приостановился и сталъ излагать инструкцію... Стыдно даже о содержаніи ея передавать, сударь!... Достигли третьяго этажа, въ корридоръ повернули, тамъ два Аники-воина стоятъ, мытильщики, вытянулись въ струнку передъ молодымъ хозяиномъ. Взялся за ручку, повернулъ, и половинка двери отпахнулась. Боже мой, кого я увидѣлъ! Живой мертвецъ... Темный весь сдѣлался, ни кровинки въ лицѣ, одна кожа да кости остались. Я поклонился хозяину низко, а въ глазахъ что-то сразу заволокло, но улыбку его слабую примѣтилъ, словно онъ мнѣ обрадовался.

— Вотъ здѣсь будетъ твое мѣсто, — указалъ Петръ Яковлевичъ на кушетку у двери, гдѣ дневной прикащикъ стоялъ. — Ты, Полѣновъ, сдай смѣну Корягину. Можешь съ братцемъ разговаривать, но чтобы содержать все въ тайности и дѣйствовать по инструкціи... Прикажешь тебѣ чаю подать? — обратился къ заключенному.

— Да, вели, Петя! Мы съ Корягинымъ попьемъ!

Стою я—и глазъ на хозяина поднять не смѣю. Совѣстно!
А онъ:

— Я очень радъ тебѣ, Ильичъ, — сказалъ. — Разсказывай скорѣе, что знаешь... Твоя видѣла?.. Была тамъ?..

Пересилилъ я себя, взглянулъ...

— Ахъ, Геннадій Яковлевичъ! Сударь...—и дальше языкъ не поворотился.

— Сюда пойдешь, къ окошкамъ... Хотя я и ничего не боюсь, но противно мнѣ, что эти стражники изъ мытильной или лакей стануть подслушивать... Садись вотъ здѣсь, къ столу письменному. Разсказывай потихоньку... Да что ты не въ своемъ образѣ? Или что не ладно? Не мучь, говори скорѣе!

— Ничего, все слава Богу, благополучно... Но вы... Ахъ, какая съ вами большая перемѣна, сударь!

Усмѣхнулся... Морозъ у меня даже по кожѣ прошелъ отъ этой его усмѣшки!..

Дверь отворилась, лицо горничной въ корридорѣ промелькнуло, и въ комнату съ подносомъ одинъ изъ Аникъ воиновъ выступилъ.

— Поставь чай и не приходи, пока я не позволю, — сказалъ хозяинъ.

— Слушаю, сударь Геннадій Яковлевичъ.

Далъ время молодцу выѣзти, поприслушался, и ко мнѣ:

— Разсказывай скорѣе! — говорить. — Вѣдь я три недѣли не видалъ ея и никакой вѣсточки отъ нея не получалъ. Лишили возможности и переписку вести.

Вижу я, что съ лица перемѣнился и корпусомъ тоньше сдѣлался, — онъ и такъ не дюжъ былъ, — но разумъ у него настоящій и порчи никакой въ немъ не замѣтно.

— Ахъ, Геннадій Яковлевичъ... Сударь! Да что же это?

— Будетъ тебѣ... Говори!

Собрался я съ духомъ и не спѣша, исподволь, разсказалъ про все, что зналъ и что ему отъ меня слышать желалось. Сырые глаза его такъ и загорѣлись, по исхудалымъ щекамъ красочка нѣжная выступила, и весь онъ въ слухъ обратился. „Бѣдная моя, бѣдная!“ вздыхаетъ, а самъ внимательно меня слушаетъ. „Измучили ее, въ могилу вгонять“...

— Все бы ничего,—говорить.—я выдержу... Но вотъ Ниночка-то!... Какъ представлю себѣ ея положеніе, такъ въ окно бы и выпрыгнуть, да къ ней!.. Я и то разъ отъ тѣлохранителей моихъ чуть не улизнулъ — по трубамъ хотѣлъ спуститься. Жалко, Понкратовъ тогда проснулся и схватилъ меня.

— Успокойте себя, сударь. Нина Евлампеевна не одна, ее навѣщаютъ добрые люди. Барышни эти хорошія, вашъ пріятель, тоже что по учительской части, и моя супруга. А теперь по секрету, черезъ жену, Нина Евлампеевна про все будетъ знать.

— Потому-то я и радъ, что тебя ко мнѣ приставили. Но ты можешь спать крѣпко, я противъ тебя на побѣгъ не рѣшусь. Вотъ ужъ, ночью, я тебѣ все расскажу, все... и о Нинчкѣ узнаешь, что тебѣ не извѣстно. А теперь, вѣроятно, скоро нагрянетъ мой главный тюремщикъ. Садись опять къ двери на кушетку, а я за книжку примусь. Да скажу сейчасъ же: меня отъ порчи будутъ лечить, за колдуномъ послали...

Я только головой мотнулъ.

— Слышалъ ужъ?..

Занялъ я свой постъ и началъ комнату оглядывать. Большая, высокая и свѣтлая, съ двумя окнами прямо на лѣсъ,—луга зеленые разстилаются, плотина, черезъ которую я гулять хожу. Это—кабинетомъ служило. Письменный столъ зеленымъ сукномъ покрытъ, справа у стѣны поставленъ, по сторонамъ его два мягкихъ кресла, а у стола, гдѣ хозяинъ сидитъ, орѣховаго дерева, съ рѣшетчатымъ изъ соломки сидѣньемъ креслецо; диванъ, стулья и все прочее. А по стѣнамъ около выходной двери шкафы съ книгами: много, и всѣ онѣ въ отличныхъ переплетахъ. Въ углу образъ Спасителя въ золоченой ризѣ. Рядомъ — арка, на ней драпировка штофовая и черезъ нее другая комната, поменьше—спальня Геннадія Яковлевича... Нечего вамъ, сударь, и передавать въ подробностяхъ: обстановка великолѣпная!.. Ну, а сейчасъ тюрьма, золотая клѣтка, а все же клѣтка, и выпуску изъ нея на волю нѣтъ.

Долго мы прождали: не является главный тюремщикъ. Солнышко уже закатилось, лѣсъ весь румянцемъ вспыхнулъ, а

нѣсколько погода и потемнѣлъ. Рѣка свѣтлой полосой выступила, изъ прирѣчныхъ кустовъ соловьи защекали. Геннадій Яковлевичъ окошко открылъ.

— Сударь!—вырвалось у меня какъ-то само собою.

— Чего испугался? Будь спокоенъ... Слышишь, соловьи начали пѣть.

Позвонилъ хозяинъ. Приказалъ ужинъ подать, и на меня особую порцію. Огонь зажгли... Вдругъ по корридору и прямо къ нашей двери шаги,—частые, да скорые шаги застучали.

— Является!—Геннадій-то Яковлевичъ мнѣ тихо съ дивана, передъ которымъ на столѣ приборъ поставили.

Я вскочилъ, шаги пріостановились.

— Кто тамъ на дежурствѣ?—слышенъ голосъ самого Кона Яковлевича.

— Новый-съ. Ярмоночный прикащикъ, господинъ Корягинъ, сударь!—кто-то изъ Аникъ отвѣчаетъ.

И шаги ужъ у самой двери раздались. Я вытянулся и весь замеръ на своемъ посту. Пріотворилъ, заглянулъ въ комнату на двѣ секунды, показалъ свое круглое лицо съ бачками, да макушку съ яснымъ мѣсяцемъ, профыркнулъ мнѣ: „Смотри! ты мнѣ за него отвѣчаешь“—и захлопнулъ дверь.

Отъужинали. Превосходными кушаньями меня накормили и отличнѣйшимъ виномъ за ужиномъ подчивали. Въ одиннадцать часовъ пошли въ его спальню, онъ раздѣлся за ширмочкой, и на кроватку... Увидѣлъ я его тутъ въ одномъ бѣльѣ—Боже милостивый, въ чемъ душа только держится! Ножки тоненькія, грудь впалая,—воротникъ не застегнуть былъ.—Ключицы выставились и всѣ ребра сквозь сорочку пересчитывай, а лицо, хотя и сильно перемѣнившееся — пріятное, носъ этотъ прямой, красивый, усикъ чуть примѣтенъ, а на подбородочкѣ хоть бы волосокъ одинъ, хоша онъ никогда не брился, на головѣ волосы густые да темные къ верху и назадъ зачесаны, лобъ высокій, открытый, и брови темныя надъ глазами изгибаются. Красивое, благородное лицо! Но худъ до невѣроятности! Легъ онъ самъ, а меня на кресло супротивъ посадилъ и принялся про все рассказывать.

До бѣла свѣта онъ мнѣ рассказывалъ, а всего не досказалъ, оставилъ на будущее время.

— Я бы отъ нихъ отдѣлился,—заклучилъ.— Даже огласки бы не побоялся. Но не хочу мамашу прогнѣвать: знаю, что уходя мой изъ дома родительскаго сразить ее! Но теперь я ни на кого бы не посмотрѣлъ, убѣжалъ, если бы случай представился. Вотъ до чего они меня довели!

Ничего, все-таки я часика три послѣ этого соснулъ. Сперва поворочался на кушеткѣ, ко вздохамъ тяжелымъ хозяина прислушивался, а потомъ таково сладко заснулъ. Утромъ въ шесть часовъ дежурство свое дневному прикащику сдалъ, отъ котораго самъ наканунѣ принялъ, и укатилъ домой, не дождавшись пробужденія Геннадія Яковлевича: видно, не долго передъ утромъ только успокоился и спалъ теперь, сердечный, какъ дите невинное.

Дома супругъ подъ строгимъ секретомъ я все повѣдалъ. Скрутилась живою рукою—и къ Нинѣ Евлампеевнѣ. Передала, что слѣдуетъ; обрадовалась та несказанно, ожила вся; но скоро веселость ея пропала, и она сильно о чемъ-то задумалась...

А безъ меня, во время дневной смѣны, и колдуна этого самаго на тройкѣ въ тарантасѣ привезли. Я увидѣлъ его на слѣдующее утро, но Геннадій Яковлевичъ, какъ я на дежурство свое явился, сейчасъ же и началъ о немъ рассказывать:

— Пріѣхалъ колдунъ,—говорить.—Разумѣется, дали знать брату Конону Яковлевичу. Сколько тамъ времени прошло—я не знаю,—но ровно въ часъ дня,—я читалъ,—обѣ половины двери распахнулись, и увидѣлъ зрѣлище: впереди показался высокій, здоровый старикъ, съ лицомъ заросшимъ сивыми волосами и такою же сивою кудлатою головою, одѣтъ въ поношенный и провощенный армякъ изъ верблюжьяго сукна желтоватаго цвѣта, подъ стать волосамъ, въ пестрядинныхъ портахъ, засученныхъ въ рыжіе голенищи громадныхъ сапогъ, и съ большою мѣховою шапкою въ обѣихъ рукахъ. За нимъ слѣдуютъ мамаша и старшій братъ. Старикъ еще отъ двери уперъ въ меня свои большіе, зеленые глазищи, валить прямо на меня и кричить:

— „Вижу, вижу, чѣмъ ты, дѣтинушка, нездоровъ“!

— И отъ роду подобнаго голоса не слыхивалъ: густой и

силы невѣроятной. Даже братъ плечомъ дернулъ, а мамаша отъ испуга пріостановилась.

— „Присядь, присядь, дѣтинушка!—кричитъ передъ самымъ уже моимъ лицомъ и своими глазами меня пожираетъ, точно съѣсть намѣревается.—„Ты небойся меня, парень! Я старичекъ добренькій, я такимъ, какъ ты молоденькимъ, вотъ что на ушко шепну“...

Нагнулся надъ самымъ моимъ ухомъ и гаркнулъ:

— „Всѣхъ бѣсовъ изъ тебя повышугну!..

— Меня пошатнуло отъ его голоса. До сихъ поръ онъ у меня въ ушахъ стоитъ. Поразилъ меня старикъ и видомъ своимъ, и голосомъ дикимъ! Нервы у меня и такъ ужъ разстроены, а тутъ это лѣсной человѣкъ...

— „Принесите мнѣ съ ключевой водою серебряную ендову, три восковыхъ свѣчки и чистенькій уголекъ!“—сказалъ лѣсной дѣдъ.

— Исполнили его приказаніе—за ендовой Кононъ Яковлевичъ самъ въ кладовую ходилъ. Прилѣпилъ свѣчки къ краямъ сосуда, зажегъ и сталъ что-то про себя нашептывать; окончилъ, углемъ по водѣ провелъ и ко мнѣ:

— „Семьдесятъ семь бѣсовъ въ тебѣ, дѣтинушка, теперь сидитъ. Вотъ сколько въ утро твое ихъ вогнали“.

Мамаша перекрестилась, а братъ замѣтно поблѣднѣлъ..

— „Кто же, дѣдушка, это съ нимъ сдѣлалъ?... Дѣвка“?

— „Дѣвка не дѣвка, да и не мужняя жена“.

Переглянулись братъ съ мамашей, на меня посмотрѣли.

— „Можешь ты ихъ устранить“?—братъ спрашиваетъ.

— „О-охъ! трудно мнѣ съ ними тягаться, больно трудно, родимые“!

— „Такъ какъ же? Надобно больного полечить, старикъ...“

— „Нѣшь попытать?... Постараюсь ужъ... Надобно. Затѣмъ меня сюда и привезли. Не опасны для меня эти пако-стники, семьдесятъ бѣсовъ съ бѣсенятами молоденькими, а вотъ тѣ, что семь-то старыхъ дьяволовъ—вотъ кто солонны мнѣ достанутся. Да буду смогаться, какъ-нибудь, да ужъ и тѣхъ одолѣю, осилю. Вылечу на-чисто!... Но сперва, сударики мои, уговоръ мы заключимъ. За вылечку мнѣ тыщу руб-

левъ пожалуйте: пятьсотъ на столъ сейчасъ выложите, а другіе пятьсотъ по окончаніи!...“

Братъ сталъ торговаться, просить уступки, но старикъ рѣшительно объявилъ, что ни копейки не „снесетъ“, что у него такой уставъ для богачей положенъ.

— „Выдадимъ тебѣ сейчасъ половину, а какъ ты не вылечишь?“—братъ спрашиваетъ.

— „А я сейчасъ видимостью докажу, сударики: при васъ, на глазахъ, семьдесятъ-то бѣсовъ съ бѣсенятами изъ него выгоню“.

Зажегъ опять свѣчки колдунъ и принялся надъ водою нашептывать, но теперь можно было отрывочныя слова слышать.

— „Во имя Отца и Сына“,—шепчетъ.—„Небомъ одѣваюся... облакомъ покрываюся... препояшуся поясомъ святыхъ Бородицы.... Шилды! былды!... Какъ врата адовы разверзаются“.

Надоѣло мнѣ это шутовство. Всталъ я и началъ по кабинету ходить. А колдунъ шепчетъ:

— „Такъ бы изъ раба Божія“.—„А? не понравилось ужъ имъ!“—громко себя перебиваетъ.—„Забѣгалъ нашъ паренекъ!“—„Шилды, былды... свяжи и сокрути до единого изъ семидесяти“...—„Но, но! Закочеряжились, не хочется изъ души христіанской, да опять въ тартарары?... Потерпи, дѣтинушка, потерпи, успокойсь... Го, го, го-о! Да сколько ужъ ихъ въ посудину-то набралось!“—„Шилды, былды... изъ жилъ, изъ рукъ и изъ ногъ... суставовъ, изъ крови“...—Да всѣ ли вы здѣсь, окаянные? Али еще кто изъ васъ тамъ остался?“—„Изъ ноздрей и ушей“... Стой! Всѣ.—Шилды-былды! Аминь“.

Мамаша только крестится, а съ лица брата потъ льется. Думаю: за умнаго тебя челоуѣка всѣ почитаютъ, Коновъ Яковлевичъ, а ты позволяешь лѣсному шарлатану себя дурачить!... Но старикъ опять ко мнѣ.

— „Теперь присядь, дѣтинушка“!

Я не хотѣлъ, но матушка умоляя на меня взглянула, и я опустился на стулъ. Старикъ три раза сдунулъ съ воды, провелъ надъ нею три креста углемъ и повернулъ на меня свое лицо. Я отвернулся... Не могу его глазъ выносить!

— „Сейчасъ ты успокоишься, парнюженька... Эти пакостники-то ослабили его, такъ онъ сейчасъ на стульчикѣ-то заснетъ. Ну-ка, погляди на меня! Не бойся... Вотъ такъ... Гляди!... Хорошо... Дако я еще ручкою своею помашу... Такъ, гоже! Засыпаетъ... Ну, спи, дитятко! Сладко заснулъ паренекъ“...

На этомъ мѣстѣ я перебилъ Геннадія Яковлевича.

— Не ужели вы и въ правду заснули?

— Да еще какъ, Ильичъ! Два часа спалъ, какъ мертвый... Только я сталъ въ глаза колдуна смотрѣть,—дремать началъ, сонъ такъ меня и клонить! Онъ ручищею своею передъ лицомъ водить — и я забылся, но что они говорятъ, еще слышу... Слышалъ, какъ братъ старику сказалъ: „половину я тебѣ выдамъ, но съ однимъ условіемъ: кромѣ отворота брата отъ той, ты обязанъ за ту же цѣну его приворотить къ невѣстѣ“.—„Ладно, приворотимъ и къ невѣстѣ“. Старикъ запросилъ прибавки, но братъ настоялъ, и тотъ, кажется, согласился... А дальше ужъ ничего не слышалъ и проспалъ до самого обѣда. Теперь ты поздравь меня: семьдесятъ бѣсовъ изъ меня изгнаны.

— Однако, удивительно, сударь... Усыпилъ онъ васъ!

— Но не посредствомъ волшебства—это вздоръ, и ты, пожалуйста, никому не вѣрь, что есть колдуны или волшебники. Въ глазахъ старика много есть магнетизма: вотъ чѣмъ онъ меня усыпилъ. Этотъ магнетизмъ и во мнѣ, и въ тебѣ есть, но въ слабой степени, а у старика его много... Теперь изъ меня еще нужно семь старыхъ бѣсовъ выгнать.

— Тѣхъ эдакъ же будутъ прогонять?

— А вотъ завтра увидишь.

Передалъ ему отъ Нины Евлампеевны поклонъ и сообщилъ, что отъ жены узналъ. Выслушалъ съ какой-то жалостью.

— Ахъ Ниночка, Ниночка! Да когда же я тебя увижу, милая!...

Присѣлъ къ окошечку и посматриваетъ на лѣсъ... Что-то, по изгнаніи изъ него семидесяти бѣсовъ, онъ печальнѣе мнѣ показался, чѣмъ наканунѣ, когда я въ первый разъ увидѣлъ его подъ домашнимъ арестомъ.

Поужинали своимъ чередомъ. Онъ легъ, а меня попросилъ около себя посидѣть.

— Пока я не засну, побудь тутъ,—говорить.—Странно!... все старикъ этотъ и глаза его мнѣ представляются... Нервы, что ли совсѣмъ у меня разстроились.... Впрочемъ глупость я думаю и про глупость говорю. Теперь засни, Ильичъ, насъ рано подымутъ...

— Кто?

— Завтра узнаешь.

Но въ эту ночь я не заснулъ: и самъ о колдунѣ все думалъ, и Геннадій-то Яковлевичъ во снѣ бредилъ, про старика этого страшнаго вспоминалъ и кричалъ: „боюсь, уйди отъ меня“... Да и спать некогда было: въ полночь я услышалъ въ корридорѣ частые шаги Конона Яковлевича...

Вскочилъ, какъ встрепанный.

— Не спишь?

— Никакъ нѣтъ-съ, сударь.

— Буди скорѣ брата. Пора! Ждутъ его.

— Я готовъ!—слышу голосъ изъ спальни.—Сію минуту выйду.

Кононъ Яковлевичъ схватилъ меня за руку и потащилъ къ образу.

— Поклянись передъ Спасителемъ—рукой на икону показываетъ,—что ни отцу, ни матери, ни женѣ и никому не скажешь, что увидишь и услышишь. Дай клятву.

Конечно, я съ испуга поклялся, ничего не понимая.

— Ты поѣдешь съ нами!

Вышли мы втроемъ на дворъ. Еще утренняя заря не занялась. На дворѣ высоченный старикъ, въ армякѣ и мѣховой шапкѣ, двое Аникъ воиновъ, и въ отдаленіи двѣ пролетки, кучера на козлахъ сидятъ. Я какъ взглянулъ на этого дѣснаго страшилища, такъ сразу и отгадалъ, что это и есть колдунъ: словно меринъ сивый.

— Готово, дѣдушка,—старшій хозяинъ сказалъ.

— Трогайте!—пробубнилъ колдунъ.—На лошадь не смѣй никто!... Потому, она лошадь—*ложь*, а кто *ложь*? Сатана. На обратномъ разрѣшаю.

Тронулись. Впереди Кононъ Яковлевичъ съ узникомъ, за

нимъ этотъ сивый меринъ, я съ Аниками позади; въ нѣкоторой отдаленности, шажкомъ кучера въ экипажахъ. Этотъ церемоніаль еще свечера колдунъ со старшимъ хозяиномъ учредилъ, а маршрутъ намъ такой обозначилъ. Прошли мы черезъ нашу плотину, повернули направо, обогнули лѣсъ и направились по малоѣзжей дорожкѣ къ мѣсту, извѣстному у насъ подъ названіемъ „Семи ключей“. Верстъ шесть—семь отъ хозяйскаго дома до нихъ, два часа скорымъ шагомъ путешествовать. Колдунъ то и знай подгоняетъ: „поскорѣе! До солнышка, чтобы на зарѣ“... Всѣ въ испаринѣ. Поспѣли: заря ужъ пышетъ, но солнце еще не выходитъ. Сивый меринъ взялъ Геннадія Яковлевича за руку и къ источнику повелъ, а Кононъ Яковлевичъ установилъ порядокъ охраны, чтобы младшій братъ не сбѣжалъ.

Мѣстность „Семи Ключей“ пустынная. Съ трехъ сторонъ поле,—дичь, а съ четвертой, гдѣ изъ пригорка ключи бьются—лѣсокъ, соснячекъ молодой. Ключи эти, выйдя изъ подъ земли, тутъ же всѣ соединяются, и тоненькимъ да такимъ гулкимъ ручейкомъ въ овражекъ бѣгутъ и по немъ дальше рѣчкой веселой несутся. Колдунъ съ Геннадіемъ Яковлевичемъ въ овражекъ этотъ спустились, къ ключамъ поднялись, а мы, стражи, въ такомъ положеніи находимся: я съ кучерами на этомъ берегу, что съ поля, молодцы изъ мытильской въ оврагѣ съ разныхъ сторонъ и въ отдаленіи другъ отъ друга поставлены, а Кононъ Яковлевичъ въ середкѣ, шагахъ въ двадцати отъ источника. Смотримъ: колдунъ припалъ на колѣна передъ ключами, гдѣ они въ ручеекъ соединяются, и принялся шептать; съ четверть часа наговоръ произвонилъ. Больной тутъ же, у деревца стоитъ. Видимъ, сивый меринъ снялъ свою овчинную шапку, зачерпнулъ чашкою водицы изъ источника и молодому хозяину поднесъ.

— Испей, дѣтинушка!

Да такъ это громко, что и лѣсокъ за нимъ повторилъ:

„Испей, дѣтинушка!“

— Глотками. До семи разъ!

И лѣсокъ опять:

„Глотками. До семи разъ“.

Что за чудеса! Жутко инда дѣлается...

„Теперь отдохни, посиди!

Присѣлъ Геннадій Яковлевичъ подѣ деревцомъ на травку и посиживаетъ. Колдунъ спустился, съ Конономъ Яковлевичемъ что-то секретно говорить. Въ скоромъ времени обратно двинулись. Братъ сѣли въ одну пролетку, а я удостоился чести вмѣстѣ съ колдуномъ въ другой ѣхать. Ну, а тѣ, Аники войны, за нами пѣхтуромъ поспѣшали. Дорогой спутникъ мой въ разговоръ со мною вступилъ и, между прочимъ, спросилъ:

— Ты изъ приставниковъ?

— Да я прикащикъ... старшій хозяинъ меня назначилъ.

— Выходить, ты лицо довѣренное, на тебя хозяева полагаются.

Говорить такъ, и глазищами на меня поводить. Чувствую, неловко мнѣ съ нимъ и стараюсь избѣгать его взглядовъ. Однако, полюбопытствовалъ, задалъ колдуну вопросъ:

— Да что такое, почтенный, съ нашимъ молодымъ хозяиномъ приключилось?

— Теперь ничего,—парень обойдется. Ладно, сдоганулись еще не поздно и меня во время позвали.

— А что, развѣ больно ужъ плохо съ нимъ приходилось?

— Тебѣ открою,—и въ ухо мнѣ шепотомъ:—вчера семьдесятъ ихъ выгналъ, а еще въ немъ сидитъ семь, да какихъ?—самыхъ лютыхъ да ста-а-рыхъ.

— Такъ ключи-то наши при чемъ же?—тоже шепотомъ его спрашиваю.

— А, видишь ли, ты, парень, диво-то какое тутъ выходить. Чтобы семерыхъ *шшшш* изъ него выгнать начисто, такъ надобно семь утреннихъ зорь и съ семи ключей съ наговоромъ ему воду пить, а то вода изъ рѣчки или изъ одного ключа *тѣхъ* не осилить. Вчера старшій-то вашъ, когда я ему обсказывалъ все обстоятельно, и доложилъ мнѣ о вашихъ „Семи ключахъ“. Понялъ теперь?

— Понялъ, старичекъ почтенный. Значить, семидневный курсъ леченія будетъ. Такъ-съ...

И узналъ я, сударь, что Кононъ Яковлевичъ со всѣхъ съ насъ, не исключая и кучеровъ, взялъ клятву держать про это леченіе въ тайности!.. Дальновидный человѣкъ!

Съ дежурства, конечно, я домой, и ни слова о волшебномъ похищеніи. Прямо залегъ спать. Къ обѣду всталъ и отъ супруги узналъ неожиданную новость: Нина Евлампеевна мамашѣ Геннадія Яковлевича письмо отправила: пишетъ она въ этомъ письмѣ самомъ, что собралась уйти въ монастырь, проситъ Геннадія Яковлевича отъ неволи освободить и желаетъ ему всякаго счастья. Я даже не повѣрилъ,—не можетъ этого быть.

— Вѣрно,—супруга отвѣчаетъ.—Писала она въ какой-то монастырь къ игуменѣ, та ей въ отвѣтъ прислала: „съ удовольствіемъ“, пишетъ, „просимъ милости, мы будемъ очень рады“. Приписочка еще въ письмѣ-то: обитель очень бѣдная, такъ въ казну монастырскую побольше денежный вкладъ сдѣлать проситъ игуменя.

— Если бы не отъ тебя эти слова слышалъ, никому бы въ жизнь не повѣрилъ.

— Объ этомъ, должно быть, она, голубушка, все изадумывалась. До отчаянія вѣдь доходила. Мать боялась, чтобы чего она съ собою не подѣлала, не рѣшилась съ жизнью своею молодою покончить. Ну, Богъ надъ несчастною и сжалился, вложилъ ей добрую мысль. Нонеча у нотаріуса была съ матерью, домъ свой на нее перевела. Теперь собираетъ все, что изъ одежды получше есть, и продать хочетъ, а потомъ и отправится въ обитель-то.

— А куда именно?

— Никому не рассказываетъ.

Такъ это, сударь, меня смутило, что просто до невозможности. Сказать хозяину—его въ крайнее отчаяніе повергнешь, а не сказать—опять не хорошо выходитъ... Просто не знаю, что придумать! Рѣшился повременить, выждать, что леченіе покажетъ...

И что же? Точно чуяло сердце Геннадія Яковлевича: вечеръ и всю ночь въ тоскѣ провелъ. Мамаша приходила навѣстить. Вошла съ такимъ веселымъ, довольнымъ лицомъ, но, посидѣвши съ сыномъ, ушла со слезами на глазахъ: материнское сердце,—жалко видѣть сына въ такомъ униженіи и горемъ убитымъ. Но о письмѣ Ниночки, видно, ни слова не сказала.

Съ полуночи опять мы поднялись, и тѣмъ же порядкомъ, въ

томъ же составѣ, на ключи двинулись. Ту же самую штуку продѣлывали, что и въ первый разъ, только больше Геннадію Яковлевичу отдыха дали: ослабъ онъ слишкомъ, и уныніе еще больше въ немъ растространилось. Спалъ ли онъ днемъ— не знаю, но до урочнаго часа и въ этотъ разъ мы съ нимъ бодрствовали.

Пришелъ я опять на свое дежурство, смѣнилъ Полѣнова. Вижу, хозяинъ ужъ совсѣмъ на себя не похожъ; точно къ смерти приговоренный сидить, даже моего прихода не примѣтилъ. Я тихонько откашлинулся. Поворотилъ слабо головушку... Увидѣлъ, вскочилъ, и ко мнѣ, самъ весь дрожать и, задыхаясь, говоритъ:

— Слышалъ?... Слышалъ? Пойдемъ ко мнѣ... Ниночка, Ниночка!... До чего тебя довели!...

Я его успокаиваю, плету, самъ не знаю что, и вотъ ужъ чувствую, сію минуту я зареву.

— Если бы мнѣ только написать ей! — ломаетъ руки. — Но вѣдь у меня все отобрали: ни бумаги, ни чернилъ... Знаю, что и тебѣ принести нельзя; васъ всякій разъ обыскиваютъ.

— Точно такъ, сударь,—говорю.— Но употреблю всѣ силы, чтобы бумаги и хоть карандашъ вамъ доставить: за сапогъ суну, въ сапогахъ у насъ не обыскиваютъ.

Какъ бросится ко мнѣ на шею, принялся меня цѣловать, да въ объятіяхъ душить, откуда только сила въ немъ взялась.

— Дорогой! Спаситель мой! Я до смерти твою услугу не позабуду.

Поуспокоился... потомъ немного задумался, взглянулъ на меня и покачалъ головою.

— Нѣтъ, не приму я твоей услуги! Тебя братъ Кононъ съѣстъ.

— Прогонитъ... Больше ничего со мною не сдѣлаетъ, а замарать ни чѣмъ не замараешь. Клятвы въ этомъ тоже ему не давалъ... а для васъ я готовъ все претерпѣть.

Сжалъ онъ тутъ крѣпко на крѣпко мою руку и сказалъ:

— Зналъ я, Дорожей Ильичъ, что ты мнѣ человѣкъ преданный, но такого самоотверженія, скажу откровенно, я и отъ тебя не ожидалъ. Будь же ты увѣренъ, что, если бы

мнѣ вскорѣ умереть пришлось, я не оставилъ бы тебя безъ средствъ къ жизни.

— Что вы, сударь, развѣ я награды какой себѣ ищу?

— Понимаю. Такія услуги не оцѣниваются деньгами... Я сегодня просилъ мамашу, — отъ нея вѣдь я узналъ о Ниночкѣ, — чтобъ она позволила мнѣ написать, но она не рѣшилась, отказала мнѣ... Тс...

Шорохъ платья въ кабинетѣ послышался. Отскочилъ я отъ хозяйина. Сама Анна Ѳедоровна къ намъ изволить жаловать. На головѣ легонькій темный платочекъ, а на плечахъ большая теплая шаль, и она съ руками въ нее закуталась. Что значить совершенныя ихъ лѣта, подумалъ: весна, а онѣ въ теплое кутаются! Поклонился почтительно старушкѣ.

— Здравствуй, Дороей... Извини, по отчеству-то позабыла, какъ тебя величаютъ.

— Все равно, сударыня. Ильичъ, — говорю.

— О чемъ вы тутъ бесѣдуете?... Да что я спрашиваю, мало ли про что мужчины разговариваютъ! А я опять тебя провѣдать, сынокъ! — и опустилась на кресло, шалью своею все закрывается.

— Озябли, матушка? — сынъ спрашиваетъ.

— Да; весна, а вечеръ сегодня нѣшто прохладный; зябну, Генаша. Куда ты? — ко мнѣ съ вопросомъ, замѣтивъ, что я за драпировку пячусь. — Ты, чай, не мѣшаешь намъ!

— Наговорился я съ Геннадіемъ Яковлевичемъ, сударыня, а теперь на свой постъ нужно отправляться.

— Развѣ что такъ?... Пожалуй, займи свое мѣсто, а то не ровень часъ, Кононъ заглянетъ: дастъ тебѣ гонку.

Посидѣла Анна Ѳедоровна съ любимымъ своимъ сыномъ въ спальнѣ. Тихія они промежду собою рѣчи вели, — да я и не старался прислушиваться: съ какой стати! Думаю о своемъ предложеніи хозяину: какъ я это сдѣлаю и не попадусь ли? Думаю, и вдругъ голосъ Геннадія Яковлевича явственно:

— Родная ты моя!

И смолкло. Даже тихія рѣчи прекратились. А черезъ минуту, двѣ, шелестъ платья, и хозяйка сама выходитъ, — драпировку за собою опускаетъ.

— Генашинька задремалъ... Нарочно драпировкой-то за-

крыла, чтобъ его не тревожить, а я съ тобою здѣсь посижу, потолкуемъ давай. Ежели онъ скоро проснется, такъ я на минуточку еще войду на него взглянуть.

Я, конечно, всталъ, изъ почтенія стоя хотѣлъ разговаривать, но она такъ повелительно рукою сдѣлала. Я повиновался—съ краешку на кушетку присѣлъ. Начала меня спрашивать, какъ я живу съ женою, хорошо ли, согласно, про дѣтокъ полюбопытствовала узнать, и о родительницѣ моей освѣдомилась. Сказала, что помнитъ еще, когда я служилъ у нихъ на фабрикѣ въ мальчикахъ, какъ потомъ меня прикащикомъ сдѣлали, и чего, чего не припомнила, да не поразсказала старушка, а всего и получаса времени не прошло, какъ со мною заговорила. Но во время бесѣды этой часто тревожилась: то ей слышалось, что сынъ Кононъ идетъ, и она выпрямлялась, точно подняться хотѣла, то голосъ Генашеньки чудился...

— Однако, пора мнѣ и спать. Загляну, крѣпко ли спитъ Генаша.

Подошла, открыла съ осторожностью занавѣску и посмотрѣла.

— Э, да ты ужъ проснулся, — сказала и скрылась за штофной матерією.

Не задержалась долго, снова показалась...

— Постарайся опять заснуть, — на ходу, поворачиваясь лицомъ въ спальню, говоритъ. — Раздѣнься, да и спи. Прощай!

Закуталась съ руками въ шаль, поклонилась мнѣ съ привѣтливостью, промолвила: „прощай, Дороей Ильичъ!“ и съ гордой осанкой удалилась. Погода Геннадій Яковлевичъ меня зоветъ.

Раздѣлся ужъ, лежитъ въ кроваткѣ.

— Спасибо тебѣ, голубчикъ! Очень я тебѣ благодаренъ за предложеніе услуги. Можетъ, я усну, и ты вздремнешь.

Смотритъ гораздо лучше, руку мнѣ жметъ и улыбкою еще разъ со мною прощается.

На утро третью зорю беремъ. Все по прежнему; колдунъ еще одного страшнаго бѣса выгналъ. Къ утрени ужъ благовъстятъ, мы къ дому подъѣзжаемъ... Слава Богу, благополучно доѣхали, а лошадь наша вся въ мылѣ...

Передъ уходомъ со смѣны Геннадій Яковлевичъ мнѣ и говоритъ:

— Ты подожди, сегодня не приноси, что вчера обѣщалъ. А попроси отъ моего имени, чтобы жена твоя туда сходилa и сказала, что я погибну, если Ниночка уѣдетъ... Опасаюсь я, что васъ теперь строже будутъ обыскивать.

Не въ состояніи вамъ сказать, сударь, подслушалъ ли кто нашъ разговоръ съ хозяиномъ, или ужъ стѣны въ комнатахъ съ ушами были, только когда я отъ него вышелъ, то Кононъ Яковлевичъ меня позвалъ.

— Корягинъ, покажи-ка мнѣ свои сапоги!

Дѣла, однако, подумалъ!... Полѣнова тоже приглашали, а потому мы ужъ и безъ всякаго приглашенія, какъ только обыскивать,—стали и сапоги, и чулки вытрясывать.

Послѣ третьей зари уныніе покинуло Геннадія Яковлевича: за то имъ овладѣло какое-то новое безпокойство. И въ дежурство Полѣнова, и въ мое мечется онъ изъ угла въ уголъ, подбѣгаетъ безпрестанно къ окошкамъ и смотритъ на рощу въ бинокль. Разсмотрѣтъ ли ему что въ лѣсу желалось, или представлялось что отъ леченія-то—объяснить не умѣю. Товарищъ мой по службѣ увѣрялъ, что хозяина нечистая сила туда манила; видѣлъ онъ, будто бы, на краю лѣса женщину, которая бѣлымъ платкомъ махала, а хозяинъ у окна стоялъ и въ бинокль глядѣлъ. Видѣніе это Полѣновъ замѣтилъ уже на пятые сутки со дня перваго хожденія къ „семи ключамъ“, значить, только что по изгнаніи пятаго бѣса изъ порченaго.

Но мнѣ хорошо памятно свиданіе матери съ сыномъ въ это самое число. Ночью также Анна Ѳедоровна пожаловала. Долго они промежду себя о чемъ-то вели тихія рѣчи; долетали изъ спальни порою до меня вздохи и будто чьи-то всхлипыванія... Не ради любопытства, а просто отъ скуки разгуливалъ я взадъ и впередъ по кабинету, и, проходя, черезъ открытыя драпри раза по два вотъ что видѣлъ: сынъ стоитъ передъ матерью на колѣнахъ, а она положила на его темноволосую голову обѣ руки и заглядываетъ ему съ любовью въ лицо. Затѣмъ я слышалъ, какъ сынъ прерывающимся голосомъ умолялъ свою мать.

— Благослови, родная! Никакой во мнѣ нѣтъ порчи... Это выдумали люди... Благословишь меня, и я буду по прежнему здоровъ, веселъ и счастливъ... Нѣтъ, не по прежнему, а въ тысячу разъ больше! Одна ты, родная, твое благословеніе спасутъ меня и навсегда успокоятъ.

И, въ отвѣтъ на моленіе сына, я отлично разслышалъ слова матери:

— Благословляю тебя, любимый мой сынъ, Геннадій...—и остановилась.—Сперва мнѣ скажи, не потай,—дрогнувшимъ вдругъ голосомъ и всхлипывая продолжала старушка: — на доброе ли просишь ты благословенія матери, не умыслилъ ли ты чего нехорошаго?... Открой мнѣ!

— Нѣтъ, дорогая! не на худое, а на одно доброе, хорошее и святое прошу меня благословить.

— Вѣрю! Будь же ты отъ меня дважды, трижды благословенъ, ненаглядный мой сынъ! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...

Въ эту секунду у меня въ горлѣ запершило, и я поотшелъ къ сторонкѣ... Побоялся, что кашель мой дурацкій помѣшаетъ чистымъ, горячимъ слезамъ, которыя тамъ лились на старушечьи руки матери и молодую голову сына...

Не забуду я, пока живъ на свѣтѣ, и той зари прекраснаго весенняго утра, когда у „Семи ключей“ сѣдой колдунъ выгналъ послѣдняго бѣса. Долго упрямился старый дьяволъ, изъ ostatnichъ силъ выбивался, чтобы не покориться волѣ страшнаго колдуна, даже, чудилось намъ, изъ лѣсочка ему кто изъ товарищей, чертей, голосъ подавалъ: „крѣпись, моль, не выходи!“ Но подконецъ обезсилѣлъ дьяволъ и вылетѣлъ изъ души человѣческой.

— Экъ онъ шаракнулъ!—загремѣлъ колдунъ.—Посиди, отдохни, дѣтинушка! Шибко онъ тебя нудилъ, окаянный!

— Совсѣмъ, дѣдушка?—спросилъ Кононъ Яковлевичъ, вытирая клѣтчатымъ платномъ лицо, лобъ и лысину.

— Видишь, чай, самъ, какимъ веселымъ братикъ твой глядитъ? Теперича, именитый купецъ, ты успокой себя: отъ той... самъ знаешь, отъ кого!—напрочь его отворотилъ! Всего

паренька къ невѣстѣ своей воротить, и онъ всѣмъ сердцемъ къ ней горить.

Дѣйствительно, Геннадій Яковлевичъ посиживаетъ на травкѣ, пледъ подстеля, и весело на всѣхъ посматриваетъ.

— Ну, что же? Не отправляться ли ужъ?—погода спросилъ довольный Кононъ Яковлевичъ.

— А, пожалуй, что и время. Подымайся, Геннадьюшко, стань, дитятко, на рѣзвы свои ноженьки и бѣги веселехонько!—колдунъ зоветъ.

Старшій братъ поджидаетъ младшаго въ оврагѣ, поглядываетъ на него. Видитъ: приподнялся съ травки Геннадій Яковлевичъ, всталъ на рѣзвы ноженьки и ступилъ къ оврагу... Повернулся старшій, зачастилъ по овражку, на нашу сторону направляется, гдѣ я на своемъ посту нахожусь и экипажи съ кучерами ждутъ; за хозяиномъ и колдунъ съ Аниками валять.

— Эка, верещить, да хрюкаетъ какъ!—загремѣлъ старикъ. Слышите? Это онъ, что сейчасъ коего я выпугнулъ, перекинулся въ свинью съ поросенкомъ!

Прислушались. Ахъ, ты Боже! И вправду гдѣ-то визжитъ и хрюкаетъ! Инда всѣхъ жуть проняла: жилья близко нѣтъ, а поросенокъ верещить, и свинья, должно боровъ здоровый, потому басомъ такъ: „хрю, хрю“... Лошади бьютъ ногами, храпятъ, фыркаютъ; кучера ихъ сдерживаютъ—куда!—воротятъ въ сторону и тащатъ за собою кучеровъ, особенно та, на коей хозяева пріѣхали, сажень на тридцать отъ мѣста уперла... Старшій хозяинъ скорѣе, безъ оглядки, изъ оврага вонъ и прямо къ экипажу; за нимъ и наши Аники взмахнули; одинъ колдунъ не торопится, претъ спокойно. Нашъ кучеръ первый совладѣлъ и подѣхалъ, за нимъ и другой, хозяйскій, подѣзжаетъ.

— Ну, садись, прикащикъ!—колдунъ мнѣ говоритъ и самъ грузно на подножку ступаетъ.

Кононъ Яковлевичъ тоже заноситъ ногу и, не поворачиваясь, говоритъ:

— Ты, Геннадій, съ той стороны зайди,—и самъ сѣлъ.— Но гдѣ же онъ?

Оглянулись—нѣтъ Геннадія Яковлевича.

— Да онъ же за мною шелъ,—говорить старшій хозяинъ.— Я слышалъ его шаги...

— Точно такъ, сударь,—подастъ съ козелъ голосъ кучерь.— Они за вами шли. Приостановились закурить папироску.

— А потомъ?

— А потомъ лошадь заартачилась... Я ужъ не видѣлъ...

— Эй, вы!—крикнулъ хозяинъ на Аникъ.—Добѣгите-ка за оврагъ, поглядите, не тамъ ли онъ гдѣ...

Кинулись въ овражекъ, взбѣжали на пригорокъ, гдѣ ключи, и поглядѣли за сосенки, въ кусты...

— Что?

— Никакъ нѣту... не видать.

— Покличьте!

Зазѣвали во всю глотку ребята.

— Ге-енна-адій Я-ко-в-ле-вичъ! Су-ударъ? По-ожа-луйте! Бра-тецъ зову-уть.

Не показывается и не откликается на зовъ молодой хозяинъ. Я взглянулъ на старшаго хозяина... Вдругъ онъ поблѣднѣлъ и позеленѣлъ весь, соскочилъ съ пролетки.

— Корягинъ!—нечеловѣческимъ голосомъ вскрикнулъ.—За мной!—и въ оврагъ, къ лѣску.—Эй, черти!—на мытильщиковъ кричить.—Бѣгите, ищите по лѣсу, кричите... Ему не куда еще убѣжать!

Лѣсокъ молодой, но частый, вереска и чаплыжника много, трава отъ росы сырая.

— Не скроется! Не убѣжить! Некуда!—рвется и мечетъ Кононъ Яковлевичъ.—Найду! Не убѣжишь.

Полчаса мы полазили по этому лѣску. Нигдѣ на тропинку не набрели, не только на дорогу. Кононъ Яковлевичъ мокрый, съ искаженнымъ лицомъ и пѣною у рта.

— Не уйдешь... Гдѣ-нибудь въ кустахъ завалился...

— Сударь!—услыхали голосъ издалека.—На слѣдъ попалъ,—подавъ голосъ одинъ изъ мытильскихъ ребятъ.

Туда мы съ хозяиномъ и кинулись. Вѣтки хлыщутъ намъ по лицу, иглы хвоевъ колютъ руки, сами всѣ мокрые. Добрались наконецъ.

— Вотъ-съ... Свѣжій. Отъ лошадиныхъ копытъ... Должно верхами, на двухъ лошадяхъ.

Увидѣлъ хозяинъ слѣды лошадиныхъ копытъ, — пуще да вишняго поросенка завизжалъ!

— Негодяи! Мерзавцы! Выпустили изъ рукъ, не уберегли! Скорѣй домой, и погоню во всѣ концы!... А ты, скотина, что?—ко мнѣ ужъ это лично.—Ты долженъ былъ видѣть.

— Глазъ не спускалъ, сударь, все глядѣлъ. А какъ лошади отъ нечистой силы задурили, я ужъ тутъ не могъ слѣдить—затменье ума нашло...

Замѣтилъ я кое-что, но хозяину не сказалъ: онъ же самъ съ меня клятву передъ образомъ взялъ никому не говорить, что увижу и услышу на „Семи ключахъ“!

Колдунъ преспокойно на пролеткѣ посиживаетъ, услыхалъ насъ, да ласковымъ и одобрительнымъ словомъ встрѣчаетъ:

— Знать, паренекъ-то, купецъ, того... фю-фю-ю!

— Ахъ ты, старый чортъ! — взгрызся на него хозяинъ. — Черезъ тебя все и произошло!... Колотите его, ребята! бейте въ мою голову!

— Э-ге-ге-ге! Со мною-то, старичкомъ, такъ хочешь? Это отъ тебя, замѣтно, благодарность-то?...

— Бейте! столкните его съ пролетки...

Здоровяки наши, послушные волѣ хозяйской, подвинулись было къ колдуну, зашли съ обоихъ крыльевъ, хотя и съ осторожностью. Но старичекъ на нихъ даже и не прикрикнулъ, а выпучилъ только свои хорошенькіе глазки и повелъ ими въ сторону то одного, то другого. Аники наши отъ него и попятились.

— А теперича я... Посторонитесь-ка, ребятки... Али ужъ вы отошли?... Я со старшимъ-то вашимъ перемолвлюсь,—старичекъ говоритъ и ножку свою, въ бревнышко порядочное выдѣтъ, потихоньку спускаетъ, да глазками этакъ умильно на хозяина взираетъ.—Подожди, я не задержу тебя...

— Пойдемъ!—хозяинъ мнѣ говоритъ, и самъ—къ пролеткамъ своимъ, да на подушку легче пуху поднялся. Нѣтъ, я одинъ... Ты съ тѣмъ... Чортъ съ нимъ! Довези—и въ три шеи! — толкнулъ изо всей силы въ широкую спину кучера и укатилъ.

— Напрасно ты не обождалъ! — въ догонку колдунъ пустилъ.—Всего я одну пару словъ тебѣ сказалъ бы. Экій прыткій, терпѣнья не хватило.

Дорогою старичокъ говорилъ:

— Нѣтъ, сударикъ, ты перво, по договору, денежки уплати, да сверхъ того поблагодари меня за труды и безпокойство: я изъ за паренька сколько всего испринималъ! Я свое дѣло сполнилъ, при свидѣтеляхъ нечисту силу изъ него выжилъ, начисто ослобонилъ...

— Кажется, почтенный дѣдушка, уговоръ промежду васъ шелъ, чтобы молодого хозяина отъ одной барышни отворотить, а къ невѣстѣ его приворотить?—осмѣлился я спросить.

— А ты нѣшь думаешь, что онъ не къ невѣстѣ своей убѣгъ? Эхъ ты, простота! Поди, сегодня же и обвѣнчаться успѣютъ.

— Да вы про кого говорите, почтенный?

— А ты про кого спрашиваешь?

— Я, конечно, на счетъ той барышни, которую сродственники въ невѣсты молодому хозяину усватали?

— Экой ты, дуракъ! — обругалъ. — Чего онъ не понимаетъ? Вѣдь та *ихъ*, сродственниковъ невѣста, а не его, парня-то...

— Однако, какъ же это...

— Молчи, коли не понимаешь!—прикрикнулъ.

Вотъ подите же! смѣялся я надъ этимъ сивымъ меринкомъ, а теперь не смѣю передъ нимъ слова пикнуть: чувствую, что я нахожусь въ полной его власти, и онъ можетъ, какъ ему угодно, мною повелѣвать!

Передъ самымъ ужъ домомъ колдунъ промолвилъ:

— Поди, матка-то бѣглеца какъ обрадуется! Обузу мы съ нея сняли.

Кононъ Яковлевичъ, возвратившись съ „Семи ключей“ и отдавъ приказанія гонцамъ, вбѣжалъ безъ образа своего въ половину мамаша, кинулся на диванъ и около часа въ совершеннѣйшемъ ободбнѣи извоилъ пребывать...

— Сбѣжалъ... Безпремѣнно обвѣнчаются... Передъ тѣмъ, Желѣзниковымъ, меня оконфузилъ, — выпаливаетъ такъ, но уже холостыми зарядами.—И колдунъ не помогъ... Вся моя дѣятельность прахомъ пошла!

— Должно быть, Богу ужъ такъ угодно было, Конаша!—мамаша ему въ утѣшеніе говорить.

Не внимлетъ. Сидитъ и все про одно и то же бормочетъ.

Наконецъ, ровно что его подняло, вскочилъ и не своимъ голосомъ на весь домъ закричалъ:

— Зарѣзали меня, зарѣзали! Передъ цѣлымъ свѣтомъ по-смѣшищемъ сдѣлали!

И только ужъ послѣ этого опомнился, въ себя пришелъ, и устыдился своей слабости.

— Всѣхъ ихъ, негодяевъ, разкассирую! Кромѣ стражниковъ да приставниковъ, кто могъ той... дать свѣдѣніе, что мы у „Семи ключей“ Генашку лѣчимъ! Строжайшее слѣдствіе надо всѣми назначу. Эй, кто тамъ? Позвать братьевъ!

Но не удалось. Во первыхъ, старушка Анна Ѳедоровна за весь нашъ караулъ заступилась, а во вторыхъ, и младшіе братья поддержали:

— Всѣ мѣры были приняты, братецъ Кононъ Яковлевичъ: и клятву вы отъ нихъ брали, и обыскъ ежедневно самый тщательный производили. Но ежели бы кто изъ нихъ и подалъ извѣстіе, виноватаго мы не разыщемъ, а сослать намъ всѣхъ невозможно, всѣ трое ярмоначные: кѣмъ ихъ замѣнишь!

Посланные къ ночи ни съ чѣмъ воротились: не нашли! А спустя три дня пріѣхали и сами молодые, прямо въ домъ ноборачной вѣхали, и всему городу стало извѣстно, какъ все устроилось, гдѣ вѣнчались, и прочее.

Условлено было заранѣе. Невѣста сама подала жениху знакъ,—бѣлымъ платкомъ изъ рощи въ окно помахала,—когда все къ свадьбѣ приготовили; по двое сутокъ кряду въ лѣску, что близъ „Семи ключей“, съ ночи до солнечнаго восхода стояли двѣ осѣдланныя лошади, а невѣста все время поджидала въ какомъ-то селѣ, всего въ десяти верстахъ отъ города. Какъ женихъ отъ стражи въ лѣсокъ скрылся, ту же минуту изъ-за деревьевъ появился верховой—на учителя полагали—съ другой лошадыю, на которую бѣжавшій вспрыгнулъ, и понеслись черезъ кусты прямо въ село, гдѣ третьи ужъ сутки въ потаенномъ мѣстѣ скрывалась невѣста; при-скакали и, секунды лишней не промедливъ, въ церковь—и обвѣнчались. Погоня мимо гналась, а молодые у священника послѣ вѣнца за свадебнымъ столомъ пировали.

Но вотъ что, для меня, сударь, въ произшествіи у „Семи

ключей“ и устройствъ этой свадьбы, оставалось нѣкоторое время загадочнымъ. Нинѣ Евлампеевнѣ никто изъ всѣхъ насъ о леченіи молодого хозяина не давалъ знать—въ этомъ я и сейчасъ готовъ присягнуть. Я объявилъ, вамъ уже извѣстно, хозяину желаніе доставить письмо Ниночкѣ. Онъ сперва принялъ, но потомъ отказался, и разговору объ этомъ предметѣ больше промежду нами не возобновлялось. О лакеяхъ, горничныхъ и кучерахъ здѣсь и помину не можетъ быть. Стало, кто же извѣстіе подалъ? Ключъ отъ этой тайны мнѣ въ тотъ же день, вечеромъ, былъ врученъ; имя я не назову,—если сами не догадаетесь, то и особа эта навсегда для васъ останется загадкою.

Будто бы, за четыре дня ровно до произшествія у „Семи ключей“, утромъ въ домѣ Нины Евлампеевны неожиданно появилась незнакомая дама, очень прилично одѣтая, въ черной шляпкѣ съ густой вуалью и персидскою шалью на плечахъ. Ниночка сама незнакомой дамѣ и дверь отперла,—мамаша ея въ то время на кухнѣ хлопотала. Ниночка въ изумленіи отступила, неизвѣстная дама тоже приостановилась. Смотрятъ одна на другую.

— Кого вамъ угодно?—Ниночка робко спрашиваетъ.

— Вы хозяйка дома?—спрашиваетъ дама.

— Точно такъ.

— Васъ мнѣ и угодно, — говоритъ неизвѣстная дама.— Можно войти?

— Просимъ милости!

Дама съ густою вуалью въ залъцо прошла. Молодая хозяйка за нею. Дама высокая, съ гордой осанкой, вошла и сѣла на кресло. Въ груди Ниночки что-то вдругъ забилося. Итакъ она смотрѣла печальною и была очень блѣдною, а тутъ еще смутилась и больше поблѣднѣла.

— Садитесь и вы, — приглашаетъ хозяйку неизвѣстная гостя.

Ниночка въ замѣшательствѣ присѣла на стулъ. Дама смотритъ на нее и молчитъ.

— Твое лицо мнѣ нравится,—помолчавши, сказала дама.

Ниночка хотя и въ смущеніи, но съ признательностью отвѣчаетъ:

— Очень рада. Благодарю васъ... Позвольте мнѣ узнать...
— Послѣ узнаешь,—перебила гостя. — Скажи, отчего ты такая блѣдная и грустная?

Ниночка опустила голову.

— Правда, что ты въ монастырь уходишь?

— Правда,—та прошептала и еще ниже нагнула голову.

— Почему? Ты молода, хороша собою. Тебѣ пожить хочется. Что заставляетъ тебя черную рясу надѣть?

Та—ни слова.

— Скажи.

Ниночка привзняла свою головку, лицо все у нея вспыхнуло, и въ глазахъ слезы.

— Не спрашивайте!—тихо взмолилась.

— Ты мнѣ писала...

Ниночка быстро поднялась и смотреть на даму.

— Я? Вамъ писала?...—выговорила.

Гостя подняла густую вуаль.

Ниночка слабо вскрикнула, всплеснула руками, и хотѣла убѣжать; но ноги у нея подкосились, она тихо опустилась и сейчасъ бы упала. Дама поддержала ее, и голова Ниночки очутилась на колѣняхъ у гостя. И, будто бы, неизвѣстная дама положила дѣвушкѣ на голову свои руки, долго гладила ее волосы, потомъ приподняла ее личико, нагнулась и поцѣловала въ губы.

— За письмо твое я и полюбила тебя,—сказала.—Есть, значитъ, въ тебѣ сердце и Богъ!

Открыла свою шаль, достала какое-то письмо и подала Ниночкѣ.

— Тебѣ... Что въ немъ—я не знаю, и тебя не буду спрашивать. Прочитаешь безъ меня... Я уйду.

И еще разъ поцѣловала дѣвушку, простилась.

— А въ монастырь подожди уходить. Рано. Еще успѣешь.

Письмо, которое осталось въ рукахъ Ниночки, было отъ Геннадія Яковлевича...

На слѣдующій день, по окончаніи курса леченія, по городской площади ѣхалъ тройкою тарантасъ; въ немъ сидѣлъ здоровый старикъ въ овчинной шапкѣ, и, махая кожанымъ бумажникомъ, во все горло оралъ:

— Вотъ онѣ, трудовыя-то гдѣ денежки! Всѣ до копѣечки я съ него, идола, вытащилъ. Упрямился, не хотѣлъ отдавать. Да со мною вѣдь много не наразговариваешь! Вымоталъ!

Народъ кругомъ смотрѣлъ на него и сдержанно, боязливо, въ полголоса говорилъ:

— Вотъ онѣ самый! Колдунъ-то.

И вотъ, сударь, подхожу я теперь къ самому концу этой исторіи. Мнѣ ужъ за сорокъ лѣтъ, много я людей насмотрѣлся, и хорошія, согласныя семьи видѣлъ, но такой пары, какъ Геннадій Яковлевичъ съ супругою,—я, по истинной правдѣ вамъ скажу, ни разу не встрѣчалъ. Такая чудесная дама изъ Нины Евлампеевны вышла, что дай Богъ всякому доброму человѣку подобную супругу имѣть. Умница, ко всѣмъ людямъ жалостливая и добрая: сколько она добродѣтели творить, помогаетъ каждому, кто только къ ней за помощью прибѣгаетъ, и сама отыскиваетъ всѣхъ, кому добро оказать! Много народу за нее молятся Богу. На счетъ образованія тоже поставила себя превыше тѣхъ, кто съ губернанками, да въ институтѣ воспитывались. Ну а какъ она любила своего мужа—объ этомъ и говорить нечего.

Но и тутъ злоба, да глупость людскія отъ нихъ не отвязались. Братья, кромѣ старшаго, съ Геннадіемъ Яковлевичемъ скоро примирились, но Нину Евлампеевну у себя не принимали; только мамаша, Анна Ѳедоровна, всегда на своей половинѣ ласкала ее, любовалась и говорила:

— Что мнѣ за сношеньку Богъ далъ! Ежели бы у меня дочь родная была, то я и ту больше бы не любила, какъ мою Ниночку.

Въ домахъ высшаго купечества Нина Евлампеевна тоже принята не была. Дочь лакея, бывшая мотальщица, и мужа черезъ волшебство достала... Гдѣ же имъ съ такою знаться! Впрочемъ и то надо сказать, что, пожалуй, Нина Евлампеевна и сама бы не охотно съ ними компанію водила: опричь глупыхъ разговоровъ, да бабьихъ пересудовъ заняться умному человѣку отъ нихъ нечѣмъ.

Черезъ три года послѣ свадьбы Анна Федоровна скончалась. Геннадій Яковлевичъ купилъ себѣ имѣніе, попросилъ раздѣла съ братьями и уѣхалъ изъ города съ семействомъ въ свое помѣстье. Богъ наградилъ ихъ троими дѣточками: два мальчика и дѣвочка у нихъ явились. Но Геннадій Яковлевичъ вскорѣ началъ прихварывать. Чѣмъ ужъ его доктора не лечили: и лекарствами разными, и на кумысъ посылали, и въ теплые края онъ ѣздилъ. И всегда съ нимъ находилась его вѣрная подруга и хранительница, ни разу она не покидала его на чужихъ людей и вездѣ при немъ была неразлучно... Но ни богатство, ни доктора не спасли, однако, Геннадія Яковлевича отъ смерти: чахотку, говорятъ, не излечишь. Умеръ, тому назадъ, онъ два года. Народъ пріѣхалъ его хоронить за сотни верстъ, изъ города тоже множество людей отправились; одного Конона Яковлевича на похоронахъ его не было. Не могъ онъ съ братомъ при жизни помириться, и съ мертвымъ не захотѣлъ проститься... Да, вотъ и разсуди: Геннадій Яковлевичъ на тридцать четвертомъ году померъ, а Кононъ Яковлевичъ и шестидесяти все живъ и еще лѣтъ тридцать проживетъ. Почему это такъ? Геннадій Яковлевичъ опричь добра больше ничего другого людямъ не сдѣлалъ, а Кононъ Яковлевичъ... Ну, да видно, хорошіе люди дѣйствительно Богу нужны.

Если бы не дѣтки, Нина Евлампеевна безпремѣнно бы вслѣдъ за мужемъ въ сырую могилу сошла...

Но малыши удержали. Окружили они мамашу свою, молодую да красивую, прильнули къ родимой и не оторвутся...

— Что ты все плачешь, мамочка?—лепечуть.—Развѣ ты не любишь насъ? Тебѣ скучно съ нами? Знаемъ, ты все папы ждешь. Да онъ скоро пріѣдетъ. Мы всѣ съ тобой побѣжимъ встрѣчать. Да, мамочка, правду? Утри же слезки!.. Ну, вотъ ты ужъ и не плачешь. Дай за это поцѣловать себя... Мамочка, милая, хорошая! Какъ мы тебя любимъ!

И живетъ молодая вдова у себя въ имѣніи; вся она ушла въ воспитаніе своихъ дѣточекъ. Живетъ съ нею родительница ея и одна изъ ея учительницъ, которая вмѣстѣ съ Ниною Евлампеевной дѣтокъ обучаетъ, а братья помогаютъ имѣніемъ управлять. Мы съ женою часто навѣщаемъ Нину Евлам-

пеевну: первые всегда у нея гости, а жена съ ребятами цѣлое лѣто въ имѣніи ихнемъ проводить. Самому мнѣ долго нельзя: я теперь въ Москвѣ большую должность занимаю.

Начали, было, къ молодой вдовѣ и женишки хорошіе свататься, но она передъ всѣми ими дверь крѣпко затворяла: ни за кого въ другой разъ не выйдетъ жена покойнаго Геннадія Яковлевича!...

Мнѣ никогда этой исторіи не позабыть. Когда мои дѣти вырастутъ, я скажу имъ, что отъ Геннадія Яковлевича ихъ отецъ жить пошелъ, а черезъ Нину Евлампеевну онъ мать ихнюю узналъ, полюбилъ ее отъ всего сердца и навсегда...

Да, я не забуду...

А Кононъ Яковлевичъ? Богъ еще знаетъ, каковъ его смертный часъ будетъ... Въ послѣднія минуты, когда привольный бѣлый свѣтъ станетъ изъ очей его уходить, представится умирающему печальное лицо Геннадія Яковлевича, и вспомнить жестокий человѣкъ про всѣ свои злыя дѣла, съ которыми душа его сейчасъ должна предъ праведнаго Судію явиться...

Можетъ, вы подумаете, что я вамъ басню рассказалъ или изъ своей головы что присочинилъ? Ошиблись бы въ этомъ жестоко, сударь! Нѣтъ-съ, такой исторіи никакой сочинитель не выдумаетъ. А если вы захотите слова мои провѣрить, поѣзжайте въ этотъ городъ... Ежели угодно, я его назову. Тамъ всѣ помнятъ и подтвердятъ до единого слова... Да чего? И посейчасъ тамъ подобныя исторіи бывають, только въ другомъ, можетъ, нѣсколько видѣ и съ другими лицами... Да и въ одномъ ли только нашемъ городѣ такія исторіи происходятъ! Россія-матушка велика, а на свѣтѣ всяко бываетъ.

Такъ-то, сударь!

Филиппъ Нефедовъ.

1890 г. 17 сентября,
дер. Дубрава.

Донъ-Фернандо, Стойкій принцъ.

(El principe constante).

Трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ, Донъ-Педро Кальдерона-де-ла-Барка.

Посвящается дорогой памяти незабвеннаго С. А. Юрьева.

(Отрывокъ) *).

Дѣйствіе III. Явл. 8.

Гористая мѣстность близъ дворца царя Фецана. Ясный день.

(На сценѣ—Царь Фецана, Донъ-Фернандо, Донъ-Жуанъ—португальскій рыцарь, Мулей—мавританскій полководецъ, и Селимъ—приближенный царя.— Входятъ Донъ-Энрико; онъ въ полномъ траурѣ, въ рукахъ пергаментъ. За нимъ слѣдуетъ португальская свита; она также въ траурной одеждѣ.)

Донъ-Энрико (Царю).

Привѣтъ тебѣ, могучій царь Фецана!

Ц а р ь.

Привѣтствую тебя, достойный рыцарь!

Донъ-Фернандо.

О, братъ, я знаю, ты несешь мнѣ смерть!

*) Предлагаемый отрывокъ изъ трагедіи Кальдерона „Донъ-Фернандо, Стойкій принцъ“ (El principe constante) составляетъ одну изъ лучшихъ и болѣе яркихъ сценъ трагедіи, которую покойный С. А. Юрьевъ давно мечталъ увидѣть въ русскомъ переводѣ. Твердость въ убѣжденіяхъ принца, непоколебимость его воли, рѣшеніе скорѣе украситься мученическимъ вѣнцомъ, чѣмъ измѣнить данной клятвѣ, выборъ вѣрной смерти и позорной участи раба въ такую минуту, когда ему, плѣннику царя Фецана, представляется вся сила и пре-

Ц а р ь (*Мулей*).

Мулей, несеть намъ рыцарь этотъ славу!

Донъ-Энрико (*Царю*).

Исполнивъ долгъ, привѣтствовавъ тебя,
Великій царь,—дозволь обнять мнѣ брата!

(Царь отвѣчаетъ движеніемъ головы. Донъ-Энрико бросается въ объятія Донъ-Фернандо.)

Фернандо! Братъ!

Донъ-Фернандо.

Энрико! Дорогій!

Скажи мнѣ, добрый братъ, какое горе
Скрываетъ подъ собой одежда скорби?
Нѣтъ, нѣтъ—ни слова! Твой печальный видъ,
Твои глаза мнѣ ясно говорятъ...
Не плачь! Когда мнѣ вѣчный плѣнь сужденъ,
То знай, я самъ стремлюсь къ нему... Энрико,
Съ покорностью я принялъ даръ небесъ,
Съ покорностью несу я иго рабства...
Что дѣлаетъ нашъ братъ—король отчизны?
Но... ты молчишь?

Донъ-Энрико.

Молчу. Молчу, мой братъ!

Мнѣ больно повторять слова печали,
Ихъ снова поднимать со дна души!...
Узнай же, братъ, и ты, великій царь,
Что плачь и стонъ несутся по отчизнѣ:
Нашъ Лиссабонъ лишился короля!..

лестъ свободы — всѣ эти черты невольно приковали къ себѣ вниманіе старца-идеалиста. Душевно желая хоть чѣмъ-нибудь почтить дорогую память С. А. Юрьева, разговоры и совѣты котораго никогда не изгладятся изъ моей памяти, я беру смѣлость предложить вниманію почитателей покойнаго слабое выраженіе той любви и уваженія, которыя питалъ къ покинувшему насъ С. А., въ видѣ посвященія его памяти передѣлки для русской сцены одной изъ любимѣйшихъ имъ трагедій западной драматической литературы, къ которой такъ неизмѣнно, до послѣднихъ минутъ его жизни, тяготѣла его душа...

Перев.

Донъ-Фернандо (*вскрикиваетъ*).

Мой братъ!

Донъ-Энрико.

Едва нашъ флотъ, разбитый бурей,
Достигъ отчизны береговъ, и нашъ
Король, нашъ братъ—великій Эдуардъ,
Не встрѣтилъ принца въ рати крестоносцевъ,
Онъ занемогъ... И съ каждымъ новымъ днемъ
Все ближе... ближе... приближался къ смерти...
Скончался онъ, не въ силахъ перенести
Твой плѣнъ!

Донъ-Фернандо (*съ глубокимъ стономъ*).

Творецъ! Я свелъ его въ могилу!

Ц а р ь.

Аллахъ свидѣтель, скорбь твоя близка мнѣ.
Но продолжай...

Донъ-Энрико.

Братъ завѣщалъ отчизнѣ:
Отдать немедленно твердыни Кейты
Царю Фецана за свободу брата.
Храня завѣтъ, оставленный народу,
Наслѣдникъ Эдуарда, донъ-Альфонсъ,
Послалъ меня,—вотъ документъ.

Донъ-Фернандо (*вырвавъ изъ рукъ донъ-Эн-
рико пергаментъ, горячо*).

Молчи!

Довольно, донъ Энрико! Замолчи!
Такая рѣчь не только недостойна
Инфанта португальскаго вѣнца,
Магистра ордена, стяжавшаго народы
Подъ свѣтлую хоругвь распятаго Христа,—
О, нѣтъ, она до низости презрѣнна
Въ устахъ жестокихъ варвара и мавра,
Увы! не озареннаго до нынѣ

Небеснымъ свѣтомъ Господа-Творца!..
Мой добрый братъ, великій Эдуардъ,
Велѣньемъ Господа отозванный отъ міра
Въ обитель вѣчную святыхъ небесъ,
Едва ли завѣщалъ народу и отчизнѣ
Купить свободу мнѣ постыдную цѣною?
Не вѣрю я: онъ этимъ вамъ сказалъ,
Какъ драгоцѣнна жизнь ему Фернандо,
Какъ бы желалъ, путемъ войны иль мира,
Свободу даровать ему... Творецъ!
Возможно ли, чтобъ сынъ великой церкви,
Король столь доблестный, какъ братъ, рѣшился
Позорно возвратить твердыни Кейты
На посрамленіе врагу,—ту Кейту,
Къ которой самъ же онъ, съ мечомъ въ рукахъ,
Когда-то кинулся, сгорая рвеньемъ,
Прославить имя вѣчнаго Творца?
Потоки крови, трупы крестоносцевъ
Разсѣялись по доламъ и холмамъ,
Но онъ, отважный, шелъ впередъ,
И щитъ отчизны засверкалъ на башняхъ
Невѣрныхъ стѣнъ невѣрныхъ мусульманъ...
И что-жъ теперь? О, стыдъ! позоръ, позоръ!
Когда вздымаются тамъ къ небу храмы,
Когда Творцу клубится еиміамъ,
Когда поютъ священной вѣры гимны
И прославляютъ Господа небесъ,—
Мы—христіане, мы—инфанты крови,
Потерпимъ, чтобы въ нашихъ свѣтлыхъ храмахъ
Вновь появились тѣни мусульманъ?
Чтобъ полумѣсяцы ихъ затмевали
Небесный ликъ, сіявшій съ алтарей
На вѣрныхъ сыновей Христовой церкви?
Чтобъ Божій домъ, чтобы часовни наши
Вновь обратились въ лживыя мечети,
Иль хлѣвы для презрѣннаго скота?
При мысли лишь одной языкъ нѣмѣть,
На части рвется грудь, холодный трепетъ

По тѣлу пробѣгаетъ, каждый волосъ
 Вздывается на головѣ... Нѣтъ, нѣтъ!
 Мечети тѣ явились бы могилой
 Всѣхъ славныхъ дѣлъ героевъ Лиссабона,
 И чести ихъ, и доблести,—все рухнетъ!
 Живымъ свидѣтелемъ, гдѣ бы потомство
 И цѣлый міръ прочелъ постыдныя слова:
 „Здѣсь Богъ когда-то находилъ пріютъ,
 Но христіане отняли домъ Бога,
 Чтобъ дьяволу вручить!“ О, португальцы,
 Уже ли рѣшимся мы напасть на Бога
 Въ Его священномъ храмѣ? Мы вселимъ
 Тамъ беззаконіе? Мы, братья по Христу,
 Толкнемъ дѣтей и нѣжныхъ сыновей
 На растерзанье варварамъ, чтобъ мавры
 Обрядамъ низкимъ научили ихъ?
 Мы предадимъ постыднѣйшему рабству,
 Оковамъ, и цѣпямъ, и пыткамъ палачей,
 Сѣдыхъ отцовъ, и женъ, и матерей,
 Чтобъ жизнь спасти мою?! Что я такое?
 Ничтожнѣйшій и бранный человѣкъ!
 Я рабъ теперь,—инфанта нѣтъ... Уже ли
 Разумно жизнь раба купить цѣною
 Десятковъ жизней и дѣтей, и старцевъ?
 Что значитъ смерть? Потеря бытія...
 Я потерялъ его на полѣ брани,—
 Я умеръ; я мертвецъ... За мертвеца
 Не гибнуть сыновья Христовой церкви,
 Не гибнуть братья...

*(Донъ-Фернандо разрываетъ на клочки пергаментъ и
 бросаетъ ихъ на землю.)*

Нѣтъ! Прочь отъ меня!

На части рву презрѣнный документъ!
 Пусть клочья отъ него по вѣтру мчатся,
 Сотрутся въ пыль, смѣшаются съ пескомъ,
 Чтобъ отъ него единой грязной буквы
 Потомству не осталось, чтобъ оно
 Позоромъ насъ въ грядущемъ не покрыло!!

(Ропотъ мавровъ, постепенно усиливающийся съ самаго начала этого монолога, переходитъ здѣсь въ яростные крики.)

Я сдѣлалъ то, что долгъ мнѣ повелѣлъ.
Великій царь, я рабъ смиренный твой:
Въ твоихъ рукахъ—свобода, жизнь моя!
Но чтобъ спасти святыя храмы Кейты,
Клянусь, не только жизнь, а сотни жизней
Я-бъ отдалъ, если бъ ихъ имѣлъ!..

Ц а р ь.

Ни слова!

Неблагодарный, замолчи! Увидимъ...
Узнаешь скоро власть мою и силу:
Отнынѣ участь ждетъ тебя раба,
Ничтожнаго, презрѣннаго раба!
Теперь же пусть твой братъ, посолъ отчизны,
Тебя у ногъ моихъ увидить—нищъ.
Пади передо мной, цѣлуй слѣдъ ногъ
Моихъ!..

(Донъ-Энрико и послы дѣлаютъ движеніе, но Донъ-Фернандо останавливаетъ ихъ порывъ негодованія; онъ опускается на колѣни и цѣлуетъ ноги царя Фецана.)

Донъ-Энрико.

О, горе!

М у л с ь.

О, Аллахъ!

Донъ-Энрико.

Какой позоръ!

Донъ-Жуанъ.

Какая пытка!

Вмѣстѣ.

Ц а р ь.

Что? Кто побѣдилъ?

Донъ-Фернандо (обративъ взоръ къ небу).

Я къ жизни новой приближаюсь!.. Царь,
Твой гнѣвъ напрасенъ,—выслушай меня:
Земная жизнь, увы! лишь краткій сонъ,

И какъ бы человѣкъ, изъ праха взятый,
Ни совершилъ тернистый жизни путь,
Онъ снова долженъ обратиться въ прахъ...
Въ моей груди не ненависть къ тебѣ—
Одна любовь: ты мнѣ даруешь путь
Кратчайшій къ свѣтлой, вѣковѣчной цѣли...

Ц а р ь.

Но если ты мой рабъ, то рабъ, ты знаешь,
Лишается всего... Твердыни Кейты
Въ твоихъ рукахъ, такъ возврати мнѣ ихъ!

Донъ-Фернандо.

Онъ не мнѣ—Творцу принадлежать.

Ц а р ь.

Законъ рабовъ—повиновенье.

Донъ-Фернандо.

Да,
Творецъ велитъ рабу повиноваться,
Коль правды требуютъ; но если ложь
Таится въ повелѣньи господина,
То послушаніе становится добромъ,—
Такъ повелѣлъ Всевышній Богъ.

Ц а р ь (*инъяно*).

Тебя ждетъ смерть!
Такъ знай,

Донъ-Фернандо.

Не смерть—начало жизни.

Ц а р ь (*также*).

Такъ жизнь твоя отнынѣ смертью будетъ:
Свободы ты лишень на вѣкъ!

Донъ-Фернандо.

Ты—Кейты.

Ц а р ь.

Зелимъ!

З е л и м ь (*приближается къ Царю,
скрестивъ на груди руки*).

Что повелишь, великій царь?

Ц а р ь.

Зелимъ, съ рабами трудъ дѣлить онъ долженъ
И въ цѣпи заковать его! Отнынѣ
Работать долженъ онъ въ моихъ конюшняхъ,
Купальняхъ и садахъ,—безъ снисхожденья,
До пота на лицѣ... Содрать одежды
Съ него богатая, и въ грубый холстъ
Одѣть! Вода соленая и хлѣбъ
Пусть будутъ пищей, а постелью—камень
Въ сыромъ и душномъ подземельѣ... Прочь!
Прочь съ глазъ моихъ! Скорѣ ихъ въ тюрьму!

Донъ-Эрико.

Творецъ!

Донъ-Жуанъ.

О, стыдъ.

} Вмѣстѣ.

Ц а р ь (*грозно*).

Веди, Зелимъ! Въ оковы.

(*Донъ-Фернандо бросаетъ прощальный взглядъ на брата,
его и Донъ-Жуана окружаетъ мавританская стража,
которая, по знаку царя, съ дикимъ злорадствомъ вле-
четъ обоихъ за кулисы.*)

Ник. Арбенинъ.

Волжское преданіе.

Ясно сіяло солнце. Красиво, величаво плыли по Волгѣ разукрашенные струги; легкій вѣтерокъ надувалъ паруса, и суда, словно стая лебедей, тянулись по голубоватымъ водамъ шировой рѣки. Далеко, далеко разносился шумъ и веселые крики съ судовъ. Но пустынные были берега; эти пѣсни и возгласы пугали только дикихъ утокъ и другихъ пернатыхъ.

Одинъ стругъ выдѣлялся изъ всѣхъ; онъ былъ и больше, и наряднѣе; на Волгѣ всѣ его знали; „Соколомъ“ прозывали его; веревки и канаты были изъ шелку, паруса—изъ дорогихъ персидскихъ тканей. На немъ сидѣлъ самъ *батушка*, атаманъ Степанъ Ѳедоровичъ. Не стругомъ только и дорогой одежей отличался онъ отъ своихъ молодцевъ. Всѣмъ взялъ онъ, и красотой и дородствомъ; ростомъ Богъ его не обидѣлъ, а супротивъ его силы никому не устоять.

Не на работу, и не въ дальній путь снаряженъ былъ стругъ: поприбавать, попить задувала вольница; прокатиться, разгуляться захотѣли сегодня молодцы; вырядились въ шелкъ, да въ бархатъ, и разлеглись на богатыхъ коврахъ. Много полныхъ боченковъ стояло передъ ними; ковши меду и вина то и дѣло ходили въ круговую. Хмѣлѣвшая ватага становилась все шумнѣе и шумнѣе. Чѣмъ больше пили, тѣмъ свободнѣе слышались рѣчи; много лишняго болталъ заплетающійся языкъ.

— Братцы! а, братцы! Гдѣ же это атаманъ нашъ?—спросилъ одинъ казакъ, сильно опьянѣвшій, обводя посоловѣвшими глазами сидѣвшихъ на коврѣ.

— Эва, что вывезъ! видно память вышибъ хмѣль! Давненько

Степанъ Ѳедоровичъ бѣгаетъ нашего круга, сказалъ другой, злобно усмѣхнувшись.

— Не моги такъ говорить, Еремычъ; какіе мы казаки, коли безъ головы? Не моги такъ говорить, слышь!

— Да что братцы,—съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ завелась эта *погань*, *нечисть* у насъ, нашъ батюшка сталъ не тотъ... не тотъ сталъ,—грустно сказалъ старый Ѳедька Шелудякъ.

— Ты правъ, дѣдушка, бабникомъ сталъ атаманъ. Къ этой басурманкѣ попалъ въ полонъ. Пришлось намъ, братцы, тѣшить, да забавлять дѣвку... И сегодня, знай, такъ катаемся, зря.

— Точно сказываешь, зря катаемся. Да и казна у насъ давно пуста. Пора бы пополнить.....

— А помните, братцы,—опять заговорилъ Шелудякъ,—помните хорошее времячко? Была это у насъ кошма. Бывало, завидимъ съ бугра судно, бросимся на кошму и понесемся: долетимъ до судна, крикнетъ батюшка: сарынь на кичку! Отъ одного крика суда останавливались, отъ одного погляда люди каменѣли. Бросимся на судно, и начнется расправа.....

— Да, это все было! А теперь гляньте-ка на него, совсѣмъ сохнетъ... А чего отъ бабы ждать путнаго! Знамо, только и жди бѣды

— Взаправду такъ.—Гляньте... ишь цалуется; безстыдникъ!

На передней части струга, на шитыхъ золотомъ мягкихъ подушкахъ сидѣла красавица. Небольшая худенькая фигурка ея залита была драгоценностями; по распущеннымъ волосамъ, чернымъ съ синимъ отливомъ, спускались нитки крупнаго жемчуга; большіе черные глаза съ длинными рѣсницами то грустно смотрѣли на воды Волги, то съ довѣрчивою улыбкою переносились на сидѣвшаго у ногъ ея казака. Это былъ мущина среднихъ лѣтъ, могучаго сложенія, высокій ростомъ; грубы были черты его лица, но иногда, заглядѣвши на дѣвушку, онъ казался совсѣмъ другимъ человѣкомъ; взглядъ смягчался и въ немъ свѣтилась доброта. Порою же въ немъ вспыхивала такая страсть, что дѣвушка опускала глаза и, смущенная, вздрагивала словно отъ холода. Замѣтитъ онъ это, одумается, и начнетъ своею грубою рукою гладить вол-

нистые волосы красавицы, — а она уже улыбается и ласкается къ нему, какъ малое дитя. Онъ заговаривалъ съ ней по персидски, и въ рѣчахъ его было такъ много обаятельнаго. Она довѣрчиво слушала, съ любовью смотрѣла на него и робко прижималась къ нему, изрѣдка отвѣчая на родномъ языкѣ. Тихо, хорошо было въ этомъ мирномъ уголкѣ струга.

Вдругъ неистовый, пьяный крикъ заставилъ ее болѣзненно вздрогнуть; крикъ перешелъ въ глухой гулъ, и на нихъ двинулась пьяная толпа. Одинъ казакъ, еле державшійся на ногахъ, подошелъ совсѣмъ близко къ атаману.

— Побойся Бога, атаманъ, — молвилъ онъ. — Надоѣло намъ бражничать, да лежать на боку. Какой ты атаманъ, коли все съ дѣвками!....

Пьяная толпа одобрительно гудѣла. Какой-то смѣльчакъ громко крикнулъ:

— Грѣхъ тебѣ, батька, грѣхъ, — промѣнялъ ты вольницу на басурманскую полонянку.....

Стенька вскочилъ; глаза его налились кровью, губы побѣлѣли, и онъ, задыхаясь, закричалъ:

— Подлецы! собаки! уберите ихъ! Накиньте имъ на шею веревку! Вотъ я васъ.....

Казакъ засуетились; у многихъ и хмѣль пропалъ; протрезвились говорившіе и, бросившись на колѣни, стали неистово вопить.

Блѣдная Заира прижалась къ атаману.

— Не надо, не надо, — твердила она, — сжался, не убивай! Прости для блѣдной Заиры, а то она будетъ плакать.

Она ничего не понимала изъ того, что творилось, но его гнѣвъ и эти стоны напугали ее; передъ нею ожили страшныя картины ея похищенія. Стенька увидѣлъ слезы на ея чудныхъ глазахъ; ему жаль стало ея, и захотѣлось скорѣе ее успокоить.

— На этотъ разъ прощаю этихъ пьяныхъ дураковъ, а впередъ не прогнѣвайтесь, за все взыщу, все припомню! — и онъ махнулъ рукой. Толпа быстро разошлась.

— Чего ты испугалась, радость моя? Вотъ и слезки заблестѣли на глазахъ; дай осушу ихъ. — И онъ цѣловалъ ее, цѣ-

доваль безъ конца; она наконецъ успокоилась и улыбнулась ему.

Но снова затуманилось его лицо; онъ уже не смотрѣлъ на нее; невеселыя думы, точно змѣи, впились въ него; на сердцѣ стало смутно; казацкія насмѣшки еще звучали въ ушахъ.

— Они правы, говорилъ онъ себѣ. Нѣтъ у меня теперь воли! Гдѣ она? Неужто въ рукахъ этого малаго дитяти. Эхъ! не тотъ видно я! Видалъ я на своемъ вѣку много слезъ, и не трогали онѣ меня, а теперь... Стыдись, Стенька! Куда тебѣ на разбой ходить, когда ты съ собой сладить не можешь! Совсѣмъ запутался; только и мысли, что про любовь, да ласки... Нѣтъ, надо это кончить... Да какъ? Отпустить ее на волю?—Онъ посмотрѣлъ на дѣвушку.—Она, вѣстимо, рада будетъ, уйдетъ къ себѣ на родину, забудетъ меня, другого полюбитъ. Другого!...—Онъ стиснулъ зубы, точно боялся вскрикнуть отъ нестерпимой боли.—Нѣтъ! коли не мнѣ владѣть ею, такъ никому. Легче бросить въ Волгу.—И онъ, не отводя глазъ, пристально глядѣлъ на дѣвушку.—Такую-то красавицу!...—Рѣшимость его уже колебалась.—Нѣтъ, проподай все! Коли надо, такъ и сдѣлаю. Не баба я! Сказалъ, и брошу!—и Стенька низко опустилъ голову, стыдясь передъ самимъ собою за ту муку, которую испытывалъ.

Дѣвушка пыталась опять привлечь его вниманіе, но, видя, что онъ не замѣчаетъ ея, грустно засмотрѣлась на глубокія, прозрачныя воды Волги. Большая рыба вынырнула и опять быстро скрылась. Это развлекло ее, и она съ дѣтскимъ любопытствомъ глядѣла, какъ постоянно уменьшались круги. Стругъ атамана далеко опередилъ остальные; теперь гребцы не торопились, и они плавно подвигались впередъ.

Сидя поодаль, любовался дѣвушкой Фролка, братъ атамана; онъ улыбался, когда улыбалась она, а ея печаль заставляла грустить и его. Онъ совсѣмъ не былъ похожъ на брата, небольшого роста, русый, съ добродушными голубыми глазами. Не находилъ онъ прелести въ своей теперешней жизни, но силъ у него не хватало покинуть любимаго брата, на котораго съ нѣжностью смотрѣлъ онъ и теперь.

Наконецъ атаманъ поднялъ опущенную голову, тряхнулъ

кудрами, сдвинулъ брови, закусилъ нижнюю губу, и вдругъ какъ крикнетъ:

— Эй! казаки! вольница! ко мнѣ! вина, скорѣй вина, и ковшъ мой дайте сюда! Оедька, собери всѣхъ!

Казаки съ недоумѣніемъ стали собираться къ атаману, — а онъ подошелъ къ красавицѣ и обнялъ ее.

— Заира! Дай наглядѣться на тебя, дай разцѣловать тебя, мое сокровище!

Дѣвушка просіяла и притянула его къ себѣ.

— Милый, милый, лепетала она.

Онъ прильнулъ къ ея губамъ, долго цѣловалъ, а потомъ откинулъ ея голову, и пристально смотрѣлъ на нее.

— Что съ тобой? Мой повелитель, мнѣ страшно отъ твоего взгляда...

— Люба моя, ненаглядная, солнышко мое красное! Стань передо мной, я тобой полюбуюсь!

Дѣвушка встала; поднялся съ пола и Стенька.

— Всѣ ли подарки мои надѣла ты на себя?

— Да, милый, всѣ, всѣ.

Въ это время по его зову къ нему уже собрались казаки, и, приготовивъ ковши съ виномъ, съ недоумѣніемъ ждали, что-то будетъ.

— Вина, скорѣй! пейте всѣ! — и онъ выпилъ большой ковшъ однимъ залпомъ, точно человѣкъ сильно страдавшій отъ жажды.

— Будь здоровъ, нашъ батюшка! — крикнула ватага.

— Налейте еще: пью за вольницу!

— Заира, любя, обними меня! — вдругъ сказалъ онъ. Дѣвушка бросилась къ нему. Онъ крѣпко обнялъ ее, поднялъ высоко и нѣжно цѣловалъ.

Казаки переглядывались между собою, не понимая, что все это значитъ:

— Матушка Волга! — громко сказалъ Стенька, прими ты отъ меня самый дорогой подарокъ! — и съ этими словами онъ далеко бросилъ дѣвушку въ волны, а самъ смотрѣлъ, какъ въ борьбѣ она теряла силы, слушалъ ея раздирающій душу крикъ. Тишина водворилась на стругѣ. Вся ватага высыпала на переднюю часть судна.

Фролка быстро скинулъ кафтанъ и занесъ уже ногу за бортъ, чтобы спасти дѣвушку.

— Не смѣй!—страшно крикнулъ на него атаманъ, и съ необычайной силой далеко оттолкнулъ брата.

— Эй вы, гребцы! аль заснули! живо, поналягте!—и стругъ понесся быстро впередъ.

Разступившаяся Волга скрыла Заиру навсегда.

— Впередъ! впередъ!—приказывалъ атаманъ; — пѣсню, пѣсню затыните!

Какъ по матушкѣ по Волгѣ
Легка лодочка плыветъ,
Какъ во лодочкѣ гребцовъ
Ровно тридцать молодцовъ

далеко разносилось со струга.

А. Сизова.

Вольнодумецъ эпохи Возрожденія.

Безумцемъ слыть тебѣ у всѣхъ!

Но для святыхъ убѣжденъ

Полезнѣй казни и гоненья,

Чѣмъ славы суетный успѣхъ.

Ив. Аксаковъ.

Эпоха Возрожденія—эпоха сильныхъ общественныхъ возбужденій и драматической борьбы средневѣковыхъ идеаловъ жизни съ новыми—навѣянными изученіемъ античной литературы и искусства—богата личностями, которые возвышенностью своихъ стремленій и энергіею своего нравственнаго характера, поддерживаютъ въ насъ угасающую вѣру въ человеческое достоинство, возбуждаютъ въ насъ новыя силы для жизненной борьбы. Не лавры и триумфы выпадали на долю этихъ людей, а гоненія и преслѣдованія, но это не смущало ихъ. Питая твердую вѣру въ конечное торжество своихъ идей и въ справедливый судъ потомства, они неуклонно стремились впередъ, пренебрегая опасностями и не спуская своего знамени. Въ особенности богата подобными личностями Франція, на почвѣ которой встрѣтились въ XVI в. два основныя теченія эпохи Возрожденія, изъ которыхъ одношло изъ Италіи, другое изъ Германіи и Швейцаріи. Она выставила цѣлый рядъ борцовъ, которые смѣло вступили въ борьбу за права разума и вѣрующей совѣсти, положили основы свѣтской науки и основаннаго на ней міросозерцанія и запечатлѣли своей кровью вѣрность своимъ убѣжденіямъ. Къ числу такихъ борцовъ, выступающихъ свѣтлыми точками на темномъ фонѣ остальной современности, принадлежить

Этьенъ Долё, гуманистъ, типографщикъ и издатель, сожженный въ Парижѣ 3 августа 1546 *).

Долё родился въ 1509 г. въ Орлеанѣ, въ почтенной буржуазной семьѣ. Получивъ первоначальное образованіе въ родномъ городѣ, онъ двѣнадцати лѣтъ отъ роду былъ отправленъ въ Парижъ, гдѣ были положены основы его классическаго образованія. Здѣсь онъ выучился по латыни и научился благоговѣть передъ отцомъ латинскаго краснорѣчія Цицерономъ. Наставникомъ его въ латинскомъ языкѣ былъ Николай Бердъ, о которомъ Эразмъ выражался, какъ объ одномъ изъ свѣтилъ гуманизма во Франціи. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что Бердъ внушилъ своему ученику восторженную любовь къ классической древности и желаніе отправиться для окончанія образованія въ обѣтованную страну гуманистовъ — Италію. Въ 1526 г. мы видимъ 17-лѣтняго Долё въ числѣ студентовъ Падуанскаго университета, стоявшаго тогда во главѣ итальянскихъ университетовъ и привлекавшаго массу иностранцевъ. Нигдѣ въ Италіи свобода изслѣдованія не достигала такихъ широкихъ размѣровъ, какъ въ Падуѣ. Незадолго до пріѣзда Долё умеръ знаменитый профессоръ философіи Пьетро Помпонацци, который въ продолженіе многихъ лѣтъ проповѣдывалъ съ кафедръ свои крайнія рационалистическія воззрѣнія и издавалъ книги, въ которыхъ доказывалъ, что вѣра въ безсмертіе души есть предразсудокъ, для котораго нѣтъ никакого основанія въ философіи Аристотеля. Тѣхъ же воззрѣній держались и его ученики, и если Долё не вполне усвоилъ себѣ ихъ, то несомнѣнно, что атмосфера свободы, которой ему посчастливилось дышать около трехъ лѣтъ въ Падуѣ, должна была оказать вліяніе на его міросозерцаніе. Главнымъ предметомъ занятія Долё въ Падуѣ была римская литература. Цицерона объяснял молодой и талантливый преподаватель Симонъ Вильневъ (Villanovanus), бельгіецъ родомъ, занявшій кафедру своего

*) Факты для біографіи и характеристики Долё мы заимствуемъ изъ слѣдующихъ сочиненій: *Née de la Rochelle*, *Vie d'Etienne Dolet*, Paris 1779; *Boulmier*, *Etienne Dolet, sa vie, ses oeuvres, son martyr*, Paris 1857; *Copley Christie*, *Etienne Dolet, the martyr of the Renaissance*, London 1880; *Haag*, *France Protestante, sub voce*.

знаменитаго соотечественника Лонгейля (Longolius). Любовь къ Цицерону сблизила учителя съ ученикомъ. Доле и Вильневъ сдѣлались закадычными друзьями. Доле въ послѣдствіи сознавался, что подъ руководствомъ Вильнева онъ выработалъ свой латинскій стиль и что ему онъ былъ главнымъ образомъ обязанъ своими ораторскими успѣхами. Вильневъ, умершій въ молодыхъ лѣтахъ, не оставилъ послѣ себя ученыхъ трудовъ, но, судя по отзывамъ современниковъ, онъ былъ человѣкъ выдающихся способностей и высокихъ нравственныхъ качествъ. Къ сожалѣнію дружба ихъ продолжалась недолго. Вильневъ умеръ въ началѣ 1530 г. Доле посвятилъ его памяти прекрасную латинскую элегію. „О ты—восклицаетъ онъ—чьи высокія качества были причиной нашей дружбы, ты связанный со мной неразрывными узами и по волѣ милостивой судьбы замѣнявшій мнѣ брата, ты теперь похищенъ смертію, погруженъ въ вѣчный сонъ, въ юдолю мрака и безмолвія. Напрасно я взываю къ тебѣ—ты не услышишь моей печальной пѣсни. Прощай, милый! Знай, что я любилъ тебя одного, паче свѣта очей моихъ! Да будетъ покоенъ твой сонъ и если тѣни умершихъ могутъ что-либо чувствовать, то не отвергай моей любви и люби хоть немного того, кто будетъ любить тебя всю жизнь“. Потерявъ друга, Доле не хотѣлъ оставаться дольше въ Падувѣ и уже помышлялъ о возвращеніи во Францію, но встрѣча съ епископомъ Лиможскимъ Ланжакомъ заставила его измѣнить свои намѣренія. Епископъ, имѣвшій дипломатическое порученіе въ Венецію, пригласилъ съ собой Доле въ качествѣ секретаря. Доле согласился. Мысль увидѣть очаровательную Венецію была весьма привлекательна для 21-лѣтняго гуманиста, рассчитывавшаго кромѣ того послушать знаменитаго филолога Джіованни Эгнаціо, ученика Анжело Полиціано, занимавшаго въ Венеціи кафедру латинской словесности. Цѣлый годъ посѣщалъ Доле лекціи Эгнаціо, объяснявшаго *De Officiis* Цицерона. Здѣсь онъ между прочимъ собралъ много матеріаловъ для давно задуманнаго труда *Commentarii linguae Latinae*, гдѣ хотѣлъ доказать преимущество Цицерона, какъ стилиста, передъ Саллюстіемъ, Цезаремъ и Ливіемъ. Но не однимъ Цицерономъ была наполнена жизнь юнаго энтузіаста:

и онъ заплатилъ дань молодости и ему было отрадно—какъ онъ самъ выражается — быть побѣжденнымъ Амуромъ. Ко времени пребыванія въ Венеціи относится романическій эпизодъ въ жизни Доле—любовь его къ одной прекрасной венеціанкѣ. Сомнительно впрочемъ, чтобъ это чувство пустило въ его душѣ глубокіе корни, ибо въ элегии, написанной на ея смерть, больше риторики, нежели истиннаго чувства. Въ 1531 г. Доле вмѣстѣ съ Ланжакомъ возвратились во Францію. Зная, что научнымъ трудомъ обезпечить себя трудно, Ланжакъ, успѣвшій полюбить Доле, совѣтовалъ ему изучить юридическія науки въ Тулузѣ, обѣщая съ своей стороны матеріальную поддержку. Скрѣпя сердце, Доле отложилъ на время свои любимыя занятія и весной 1532 г. отправился въ Тулузу. Неуютна и мрачна показалась ему Тулуза въ сравненіи съ Падуйей и Венеціей. Тамъ онъ дышалъ атмосферой свободы и терпимости; не было вопроса, о которомъ нельзя было высказываться съ полной свободой въ Падувѣ. Тулуза наоборотъ представляла собою любопытный образецъ средневѣковаго университетскаго города. Могущество духовенства было здѣсь громадно, и оно пользовалось этимъ могуществомъ для распространенія въ народѣ суевѣрія и религіознаго фанатизма. Достаточно было не снять шапки передъ церковной процессіей или попробовать скоромной пищи въ постный день, чтобъ быть заподозрѣннымъ въ ереси и приговореннымъ къ церковному покаянію. Религіозные процессы слѣдовали одинъ за другимъ. На мосту Св. Михаила стояла желѣзная клѣтка, въ которой въ назиданіе публики погружали еретиковъ и богохульниковъ въ рѣку пока они не захлебывались.

Вскорѣ по прибытіи въ Тулузу Доле пришлось быть свидѣтелемъ казни профессора Jean de Sature и унизительнаго обряда покаянія, которому былъ подвергнутъ другой профессоръ Жанъ де Буассонъ, оба обвиненные въ сочувствіи къ лютеранизму. Тулуза была единственнымъ университетскимъ городомъ во Франціи, гдѣ была принята съ восторгомъ вѣсть о Варееломеевской ночи, гдѣ студенты, добровольно превратившись въ палачей, рубили головы безоружнымъ гугенотамъ и даже не постыдились взять деньги за

услугу, оказанную ими церкви и государству. Не смотря на все это, Тулузскій университетъ считался лучшей юридической школой во Франціи и привлекалъ къ себѣ массу молодежи не только изъ Франціи, но изъ Германіи, Англіи и Испаніи. Студенты въ виду ихъ многочисленности и разноплеменнаго состава дѣлились на корпораціи или землячества; каждая изъ этихъ корпорацій имѣла свой статутъ, своего предсѣдателя, носившаго классическій титулъ императора, своего казначея или квестора, свое мѣсто для сходокъ и своего спеціальнаго патрона изъ святыхъ католической церкви. День, посвященный чествованію памяти патрона, праздновался корпораціей съ особой торжественностью; ежегодно въ этотъ день избирался студентъ, получавшій почетное прозвище оратора, на обязанности котораго лежало произнесеніе годичной рѣчи. Въ этой рѣчи, произносимой, само собою разумѣется, на латинскомъ языкѣ, ораторъ прежде всего поминалъ добрымъ словомъ умершихъ членовъ корпораціи и кромѣ того касался и другихъ важныхъ событій университетской жизни за истекшій годъ. Долѣ, выдававшійся среди своихъ товарищей умомъ и краснорѣчіемъ, былъ единогласно избранъ ораторомъ французской народности (*orateur de la nation de France*). 9 октября 1533 г. Долѣ произнесъ сильную рѣчь, въ которой, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, предалъ позору фанатическую Тулузу и горячо протестовалъ противъ распоряженія тулузскаго парламента, запрещавшаго студенческія сходки. „Въ чемъ же насъ обвиняютъ—воскликаетъ онъ—въ чемъ состоитъ наше преступленіе? Въ томъ, что мы хотимъ жить между собою по товарищески и помогать другъ другу какъ братья. Боги безсмертны! Гдѣ мы живемъ? въ какой странѣ обитаемъ? Неужели грубость Скифовъ и чудовищное варварство Гетовъ вторгнулись въ Тулузу? Не видите ли вы въ этомъ распоряженіи позорную злость этихъ людей? Они хотятъ угасить пламя любви, зажженное въ нашихъ сердцахъ самой природой; они хотятъ уничтожить чувство братской солидарности, внушенное намъ самимъ Богомъ, они хотятъ отнять у насъ право собираться во имя нашего товарищества. Если есть основаніе запрещать сходки иностранцевъ, то почему же они не запрещаютъ

ются въ Римѣ и Венеціи? Почему тамъ дозволяютъ собираться не только Французамъ, Нѣмцамъ, Англичанамъ и Испанцамъ, но даже народамъ, исповѣдующимъ религію діаметрально противоположную нашей, каковы напримѣръ Турки, Евреи и Арабы. Но что же сказать въ такомъ случаѣ о здѣшнихъ властяхъ, которыя исповѣдуютъ одну религію съ нами, признаютъ то же правительство и говорятъ почти однимъ съ нами языкомъ?“ Рѣчь Долё, произнесенная съ большимъ пафосомъ и превосходнымъ латинскимъ языкомъ, произвела сильное впечатлѣніе. Тѣмъ не менѣе въ средѣ французскихъ студентовъ нашелся нѣкто Пьеръ Пинашъ, ораторъ аквитанской корпораціи, который выступилъ съ рѣчью въ защиту Тулузы и тулузскаго парламента и въ заключеніе упрекнулъ Долё въ идолопоклонствѣ передъ Цицерономъ. „Ты думаешь—отвѣчалъ ему Долё,—что нанесъ мнѣ смертельный ударъ, назвавши меня благоговѣйнымъ подражателемъ Цицерона. Да я виѣ себя отъ радости! Если это справедливо, то я достигъ цѣли моихъ трудовъ и желаній“ и т. д.

Разбитый на всѣхъ пунктахъ, Пинашъ прибѣгнулъ къ средству, которое въ тѣ времена зачастую употреблялось по отношенію къ врагамъ: онъ обвинилъ Долё въ желаніи опозорить Тулузу и ея парламентъ и въ сочувствіи къ лютеровой ереси. По этому поводу Долё произнесъ свою вторую рѣчь, въ которой, желая оправдаться, онъ со свойственною ему пылкостью перешелъ изъ защиты въ наступленіе и тѣмъ еще болѣе вооружилъ противъ себя тулузскія власти и духовенство. Начавши съ заявленія, что онъ никогда не измѣнялъ религіи отцовъ и относится отрицательно къ нечестивой лютеровой ереси, Долё замѣтилъ, что обвиненіе въ ереси не разъ уже взводилось фанатиками на людей выдающихся своимъ умомъ, талантомъ или даже богатствомъ. „Какая была причина гоненій, обрушившихся на Жана де Буассона? Никакой, кромѣ его учености и богатства. Я это утверждаю не на основаніи пустыхъ слуховъ, а основываясь на словахъ людей величайшей честности и на основаніи моего личнаго знакомства съ Буассономъ“. По мнѣнію Долё, это происходитъ оттого, что Тулуза всегда отлича-

лась варварскими наклонностями. „Вы очень хорошо знаете — продолжалъ онъ — что въ стѣнахъ этого города недавно былъ сожженъ человѣкъ, имени котораго я не буду называть. Пламя костра пожрало его смертную оболочку, а пламя ненависти до сихъ поръ гложетъ его имя. Допустимъ, что онъ иногда говорилъ слишкомъ смѣло и неосторожно, что онъ совершилъ поступокъ, за который полагается наказаніе, слѣдующее еретикамъ. Но разъ онъ задумалъ исправиться, развѣ можно преграждать ему путь къ спасенію? Всякій человѣкъ можетъ заблуждаться, но разъ облако, окутывающее его душу, начинаетъ разсѣиваться, кто можетъ сказать, что она не засіяетъ вновь яркимъ свѣтомъ? Но его желаніе обратиться на путь истинный не привело ни къ чему. Всегда глухая къ голосу человѣчества, Тулуза постаралась поскорѣй его уничтожить“. Не такъ впрочемъ повредили Доле рѣзкія выходки противъ религіознаго фанатизма, жертвою котораго палъ профессоръ Saturese, сколько его насмѣшки надъ суевѣрными обрядами жителей Тулузы, погруженіемъ креста въ Гаронну въ день св. Георгія, ношеніемъ во время засухи статуй святыхъ по улицамъ города и т. п. „И этотъ городъ — такъ заключилъ Доле свою филиппику — имѣющій такое смутное понятіе объ истинномъ христіанствѣ, хочетъ навязать это понятіе всѣмъ и осмѣливается обзывать еретикомъ всякого, кто обнаруживаетъ иное и болѣе глубокое пониманіе христіанства“. Рѣчь эта произвела сильное волненіе въ средѣ молодежи, которое едва не окончилось схваткой между приверженцами Доле и сторонниками Пинаша. Все это было какъ нельзя болѣе на руку врагамъ Доле, которымъ удалось добиться его заключенія въ тюрьму (25 марта 1534 г.), откуда онъ впрочемъ былъ выпущенъ по распоряженію президента тулузскаго парламента Жака Миню. Сохранилось письмо къ Миню Жана Депенна, епископа въ Ридѣ, проживавшаго временно въ Тулузѣ, изъ котораго видно, какъ высоко стоялъ во мнѣніи гуманистовъ двадцати-трехлѣтній Доле. „Еслибы я не зналъ — пишетъ почтенный епископъ — что вы относитесь сочувственно къ гуманнымъ наукамъ и людямъ въ нихъ преуспѣвающимъ, я не ходатайствовалъ бы передъ вами за

Этьена Доле, молодого человека выдающихся способностей. Я увѣренъ, что вы сами не меньше меня пришли бы въ восторгъ отъ несравненной гибкости его ума. Онъ до того овладѣлъ латинскимъ языкомъ, что можетъ выражать на немъ все что ему вздумается. Онъ пишетъ такой изящной прозой, что можетъ показаться, что онъ въ этомъ упражнялся всю свою жизнь. Но удивительнѣе всего, что онъ одинаково превосходенъ, какъ въ прозѣ, такъ и въ поэзіи; оды его, написанныя разными размѣрами, не оставляютъ желать ничего лучшаго; его элегіи кажутся элегіями Овидія или Тибулла, а его ямбы и лирическія стихотворенія вы легко примете за стихотворенія Горация или Катулла. Выпущенный на свободу, Доле не былъ оставленъ въ покоѣ своими многочисленными врагами, которые упорно преслѣдовали его и даже покушались на его жизнь. Измучившись въ этой неровной борьбѣ, Доле лѣтомъ 1534 г. покинулъ Тулузу и удалился къ одному изъ своихъ пріятелей въ деревню, гдѣ заболѣлъ сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, а враги воспользовались его отсутствіемъ, чтобы выхлопотать у парламента его вѣчное изгнаніе изъ города. Двухлѣтнее пребываніе въ Тулузѣ имѣло важное значеніе въ жизни Доле. Здѣсь онъ создалъ себѣ репутацію человека безпокойнаго и опаснаго, которая сильно повредила ему впослѣдствіи, но за то здѣсь онъ завязалъ дружескія связи, которыя продолжались всю его жизнь. Кромѣ Жана Депенна Доле подружился съ профессоромъ Буассономъ и съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей Жаномъ Бордингомъ, Клодомъ Котрѣ и Симонъ Финѣ, изъ которыхъ послѣдній былъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ его неразлучнымъ Пиладомъ. Отсюда же онъ вступилъ въ переписку съ главою французскихъ гуманистовъ Гильомомъ Бюдѣ. Не имѣя возможности возвратиться въ Тулузу, Доле задумалъ было докончить свое юридическое образованіе въ Падуанскомъ университетѣ, но предварительно ему хотѣлось предать позору враговъ своихъ, издавъ свои тулузскія рѣчи. Для этой цѣли онъ въ сопровожденіи своего вѣрнаго Финѣ отправился пѣшкомъ въ Ліонъ, куда прибылъ 1 августа 1534 г. Ліонъ имѣлъ важное значеніе въ умственной жизни Франціи въ XVI в. Благодаря своему удаленію отъ

Парижа и близости къ Женевѣ, онъ служилъ весьма удобной пристанью для тѣхъ, чье присутствіе въ Парижѣ не укрылось бы отъ зоркаго взгляда Сорбонны и парижскаго парламента. Здѣсь было нѣсколько десятковъ типографій, здѣсь можно было найти всѣ запрещенныя во Франціи книги, начиная съ женевскихъ переводовъ Св. Писанія до раціоналистическихъ трактатовъ Помпонацци и его школы; здѣсь въ домѣ ученаго типографа Грифюса и въ другихъ домахъ собирались кружки гуманистовъ, которые ждали всего отъ развитія классическихъ знаній и относились отрицательно ко всякому проявленію религіознаго фанатизма, какимъ бы цвѣтомъ онъ ни былъ окрашенъ. Вотъ почему всѣ передовые люди того времени, Марò, Сервè, Раблè, Деперьè и др. избирали либо временнымъ, либо постояннымъ жительство въ городъ, который воспѣвалъ Марò *) и который Деперьè называлъ новыми Афинами. Явившись къ Грифюсу съ рекомендаціей Буассона, Долè былъ принятъ очень ласково; догадавшись по костюму молодого человѣка, что онъ не изъ богатыхъ, почтенный типографикъ предложилъ ему работу у себя и даже приглашалъ перейти къ нему жить, на что Долè изъ деликатности не согласился. Здоровье Долè было въ то время еще такъ плохо, что доктора запретили ему всякія занятія и усадили въ деревню. Во время отсутствія Долè другъ его Финè—надо полагать не безъ согласія послѣдняго—напечаталъ у Грифюса обѣ тулузскія рѣчи Долè съ приложеніемъ нѣсколькихъ писемъ и латинскихъ стихотвореній своего друга. Хотя Долè пробылъ въ Ліонѣ недолго, не болѣе двухъ мѣсяцевъ, но онъ успѣлъ сойтись болѣе или менѣе коротко со многими проживавшими тамъ гуманистами, между прочимъ съ знаменитымъ Раблè, который въ это время занимался медицинской практикой въ Ліонѣ. Весьма вѣроятно, что по совѣту ліонскихъ друзей Долè отказался отъ поѣздки въ Италію и рѣшился остаться на жительствѣ въ Ліонѣ. Для того, чтобы выхлопотать у короля разрѣшеніе

*) C'est un grand cas voir le mont Pelion
Ou d'avoir vu les ruines de Troye,
Mais qui ne voit la ville de Lyon
Aucun plaisir à ses yeux il n'octroye.

печатать первый томъ своихъ Комментаріевъ, Доле въ октябрѣ 1534 отправился въ Парижъ. Къ несчастью время для подобнаго ходатайства было самое неблагоприятное. Безхарактерный Францискъ I, еще недавно приглашавшій Эразма во Франціи и защищавшій французскихъ гуманистовъ и протестантовъ отъ преслѣдованій фанатической Сорбонны, теперь подъ вліяніемъ слуховъ объ анабаптистахъ и появленія на улицахъ Парижа лютеранскихъ прокламацій (Placards) рѣзко поворотилъ въ противоположную сторону и осяятилъ своимъ авторитетомъ религіозныя преслѣдованія. Мало того, онъ далъ себя убѣдить Сорбоннѣ, что главнымъ источникомъ всѣхъ золъ было книгопечатаніе и даже издалъ указъ, запрещающій печатаніе всѣхъ книгъ во Франціи. Извѣстно, что только благодаря энергіи парижскаго парламента, который на этотъ разъ разошелся во взглядахъ съ Сорбонной, этотъ варварскій указъ не былъ приведенъ въ исполненіе, потому что парламентъ подъ разными предлогами откладывалъ внесеніе его въ свои регистры. При такомъ положеніи дѣлъ надѣяться получить разрѣшеніе на печатаніе Комментаріевъ было немыслимо, въ особенности для Доле, тулузскіе подвиги котораго были очень хорошо извѣстны въ Парижѣ. Плодомъ пребыванія Доле въ Парижѣ, кромѣ знакомства Бюде и запятій въ парижскихъ библіотекахъ, былъ его діалогъ *De Imitatione Ciceroniana*, направленный противъ Эразма. Еще въ 1528 г. Эразмъ въ своемъ діалогѣ *Ciceroniani* съ свойственнымъ ему тонкимъ остроуміемъ осмѣялъ педантизмъ гуманистовъ-цицероніанцевъ, которые въ своихъ сочиненіяхъ рабски копировали слогъ великаго римскаго стилиста, избѣгали латинскихъ словъ и оборотовъ не встрѣчавшихся у Цицерона и изъ боязни впасть въ литературную ересь, сидѣли по цѣлымъ днямъ надъ одной фразой. Здѣсь Эразмъ кольнулъ между прочимъ Бембо, Лонгейля (Longolius) и друга Доле Гильома Бюде. Ему возражалъ Скалигеръ, но инвектива Скалигера была такъ нелѣпа и площадно груба, что Эразмъ не удостоилъ его отвѣта. Вступая въ полемику съ Эразмомъ, Доле не только увлекся благороднымъ побужденіемъ постоять за своихъ друзей, онъ сражался также pro domo sua, ибо и самъ онъ отчасти былъ грѣшенъ въ

томъ, въ чемъ Эразмъ упрекалъ цистероніанцевъ. Какъ бы то ни было, но тонъ полемики Долё съ величайшимъ изъ гуманистовъ не дѣлаетъ чести молодому цистероніанцу. Даже друзья Долё, Грифіусъ, Буассонъ и др. были недовольны на него за то, что онъ въ жару полемики дозволилъ себѣ недостойныя выходки по отношенію къ человѣку, стоявшему во главѣ европейской образованности и оказавшему столько услугъ дѣлу гуманизма. Возвратившись весной 1535 г. въ Ліонъ, Долё въ ожиданіи королевскаго разрѣшенія приступилъ къ печатанію перваго тома своихъ Комментаріевъ. Труды по редакціи и корректурѣ этого громаднаго *In Folio* раздѣлялъ съ Долё его новый другъ Бонавентура Деперье. Жизнь онъ велъ въ это время самую уединенную, даже аскетическую. „Никто не повѣритъ,—говоритъ онъ,—сколько трудовъ и бессонныхъ ночей стоила мнѣ редакція моихъ Комментаріевъ, сколько разъ я не дождаль и не досыпалъ. Мало того, я долженъ былъ запретить себѣ всякій досугъ, всякое развлеченіе, всякія сношенія съ друзьями, словомъ самую жизнь. Одно, что утѣшало меня и поддерживало мою энергію—это мысль о потомствѣ: я мечталъ, что этотъ трудъ увѣковѣчитъ мое имя“. Временно проживавшій въ Ліонѣ гуманистъ Сюсанно оставилъ намъ относящуюся къ этому времени интересную характеристику Долё, показывающую, какое впечатлѣніе онъ производилъ на окружающихъ. „По дорогѣ въ Италію я прожилъ нѣкоторое время въ Ліонѣ, гдѣ Грифіусъ убѣдилъ меня прокорректировать печатавшіяся въ его типографіи произведенія Цицерона. Долё жилъ тогда въ домѣ Грифіуса. Относительно этого молодого человѣка я долженъ сказать, что природныя способности его даже превосходятъ его знанія. Хотя онъ еще молодъ, но я смѣло могу ему предсказать блестящую будущность. Онъ работаетъ теперь надъ Комментаріями латинскаго языка, которыя возбудили во мнѣ такое удивленіе, что я почти бросилъ собственную работу“. Пользуясь проѣздомъ Франциска I черезъ Ліонъ (въ февралѣ 1536 г.) Грифіусъ выхлопоталъ себѣ привиллегію издать трудъ Долё, который наконецъ увидѣлъ свѣтъ въ маѣ того же года. Комментаріи Долё—плодъ громадной учености и чисто-бенедиктинскаго

трудолюбіа—сразу выдвинули его въ первые ряды гуманистовъ. Помимо своего спеціального назначенія служить складочнымъ мѣстомъ всѣхъ богатствъ латинскаго языка вообще и цicerоновской фразеологіи въ особенности, Комментаріи Долё весьма интересны и въ культурномъ отношеніи, потому что заключаютъ въ себѣ не мало статей и экскурсовъ, въ которыхъ Долё касается жгучихъ вопросовъ, волновавшихъ современное ему интиллигентное общество. Возрожденіе классическихъ знаній нашло въ немъ восторженнаго панигириста и картина борьбы гуманизма съ невѣжествомъ въ Европѣ написана съ одушевленіемъ, напоминающимъ Ульриха фонъ-Гуттена. Считаемо не лишнимъ привести съ нѣкоторыми сокращеніями это замѣчательное мѣсто. „Въ настоящее время,—говоритъ Долё,— наука культивируется повсюду съ такой энергіей, что для того, чтобы сравниться съ древними нашимъ ученымъ не достаетъ только умственной свободы и поощренія со стороны меценатовъ. Къ сожалѣнію ученые вмѣсто поощренія нерѣдко встрѣчаютъ не только невниманіе, но даже презрѣніе къ своимъ трудамъ; служители науки подвергаются насмѣшкамъ толпы, жизнь ихъ проходить въ неизвѣстности и даже нерѣдко подвергается опасностямъ. И что же? Не смотря на такое отношеніе къ наукѣ, въ Европѣ есть не мало сердецъ, горящихъ любовью къ ней. Можно сказать, что борьба съ варварствомъ и тьмой, длившаяся цѣлое столѣтіе, наконецъ окончилась въ пользу свѣта и прогресса. Первый пробившій брешь въ непріятельскихъ рядахъ былъ Лоренцо Валла, но его нападеніе было только авангарднымъ дѣломъ. Въ то время какъ Валла и его товарищи были подавлены численностью арміи обскурантовъ, къ нимъ подоспѣли на помощь Анжело Полиціано, Марсиліо Фичино, Пико де-ля Мирандола и др. Вся эта дружина прогресса напала на непріятельскую армію и смяла ея лѣвое крыло; въ это время внезапно изъ Германіи, Англіи, Испаніи и Франціи подоспѣли новыя силы; разбитые на голову обскуранты были съ триумфомъ отведены въ плѣнъ. Для этой рѣшительной битвы Италія, всегда бывшая столицей краснорѣчія, дала главныхъ вождей въ лицѣ Бежбо, Садолето, Эгнаціо, къ которымъ присоединились поэты Понта-

но, Вида и Саннацаро. Соревнуя Италиі, ударила на враговъ Германіи. Внимая голосу отчизны, Іоганнь Рейхлинъ и Рудольфъ Агрикола берутся за оружіе и увлекають за собой своего ученика Эразма, который въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ является неутомимымъ заступникомъ интересовъ науки. Вслѣдъ за нимъ вступаетъ въ бой первый гуманистъ Германіи Меланхтонъ, за которымъ идутъ Ульрихъ фонъ Гуттенъ, Беатусъ Ренанусъ, Эобанусъ Гессусъ, Ульрихъ Цазіусъ и др. Всѣ они горятъ желаніемъ сбросить иго варваровъ одни въ области краснорѣчія, другіе—поэзіи, третьи—права, четвертые—медицины. Изъ Англіи къ нимъ поспѣшаютъ на помощь Томасъ Линакръ и Томасъ Моръ; изъ Испаніи Вивесъ и Антоніо Лебриха. Франція вступаетъ въ битву подъ предводительствомъ Гильома Бюдэ, за которымъ слѣдуютъ Лефевръ д'Этаплъ, Лонгейль, Вильневъ, Пьеръ д'Этоаль, Мишель де Лопиталь, Жанъ Конъ, Франсуа Раблэ и др. Сошедшаяся со всѣхъ сторонъ, эта фаланга ученыхъ производитъ такую сильную атаку на позицію обскурантовъ, что послѣдніе принуждены отступать на всѣхъ пунктахъ. Въ настоящее время нѣтъ города въ Европѣ, который не былъ бы освобожденъ отъ чудовища варваризма; науки и искусства процвѣтають болѣе чѣмъ когда-либо и, опираясь на литературу, человѣчество стремится достигнуть истины и справедливости⁴. Насколько восторженно Доле привѣтствовалъ борцовъ науки и прогресса, настолько же онъ предавалъ жестокому поруганію обскурантизмъ монаховъ и ихъ покровительницу фанатическую Сорбонну. „Я не могу пройти трусливымъ молчаніемъ—говоритъ онъ—нечестивый поступокъ этихъ негодяевъ, которые, желая нанести смертельный ударъ литературѣ, задумали въ наше время уничтожить во Франціи типографское искусство. Да что я говорю задумали? Они употребили все свое вліяніе, чтобы выхлопотать у короля Франциска, защитника и покровителя литературы, указъ закрыть всѣ типографіи подъ тѣмъ предлогомъ, что книгопечатаніе есть орудіе распространенія Лютеровой ереси. Но, къ счастью, нечестивый заговоръ софистовъ и пьяницъ Сорбонны былъ уничтоженъ мудростью Гильома Бюдэ, свѣточа нашего времени, и Жана дю Белэ, епископа парижскаго, му-

жа одинаково знаменитаго и своимъ саномъ и своими заслугами просвѣщенію“.

Во время печатанія перваго тома Комментаріевъ неутомимый Доле успѣлъ приготовить къ печати второй. Изданіе этого послѣдняго замедлилось вслѣдствіе одного печальнаго случая, который едва не стоилъ жизни Доле. Въ числѣ его ліонскихъ враговъ былъ нѣкто Гильюмъ Компень, живописецъ по профессіи. Затѣявъ однажды съ Доле ссору на улицѣ (31 декабря 1536 г.), онъ напалъ на Доле съ оружіемъ въ рукахъ. Вынужденный защищаться, Доле, владѣвшій шпагой не хуже чѣмъ перомъ, имѣлъ несчастье убить наповалъ своего противника. Боясь послѣдствій этого неумышленного убійства, Доле убѣжалъ въ Парижъ, чтобы лично объяснить все дѣло королю. Выслушавъ объясненія Доле, Францискъ I, по ходатайству сестры своей Маргариты Наварской, даровалъ ему прощенье, а парижскіе друзья Доле устроили въ честь этого радостнаго событія банкетъ, на которомъ между прочимъ присутствовали учитель его Николай Беро, Гильюмъ Бюде, Марб, Рабле и др. Но хотя король и даровалъ Доле полное прощенье, но парижскій парламентъ не очень торопился сообщить объ этомъ ліонскимъ властямъ, такъ что когда Доле явился въ Ліонъ, онъ былъ немедленно арестованъ и посаженъ въ тюрьму и не малыхъ хлопотъ стоило друзьямъ добиться освобожденія его на поруки. Второй томъ Комментаріевъ вышелъ въ 1538 г. Доле лично поднесъ его королю во время проѣзда послѣдняго черезъ Ліонъ. Францискъ I ласково принялъ приношеніе и желая, чѣмъ-нибудь съ своей стороны поблагодарить Доле, далъ ему разрѣшеніе открыть свою собственную типографію. Королевская привилегія, данная въ мартѣ 1538 г. впредь на десять лѣтъ, гласила, что никто не имѣетъ права ни перепечатывать, ни продавать ни одной книги, напечатанной въ типографіи Доле. Ліонскіе типографщики посмотрѣли на новаго собрата недобрымъ глазомъ, подсмѣивались надъ его бѣдностью и предсказывали ему неудачу. Одинъ только Грифіусъ отнесся къ нему съ полнымъ радушіемъ и не только помогъ ему совѣтомъ, но и шрифтомъ и машинами. Основывая свою собственную типографію, Доле смотрѣлъ на это предпріятіе не съ коммерческой точки

зрѣніи. Въ его глазахъ обладаніе печатнымъ станкомъ налагало на обладателя серьезныя обязанности по отношенію къ обществу, „Я буду стараться—писалъ онъ кардиналу дю Белле—увеличить сокровища литературы, буду печатать только дѣйствительно хорошія сочиненія и отбрасывать жалкія издѣлія жалкихъ писаекъ, позорящихъ наше время“. Первою книгой, вышедшей изъ типографіи Долё, былъ его небольшой трактатъ *Sato Christianus*, въ которомъ онъ изложилъ свои религіозныя убѣжденія. Учрежденіе типографіи и книжной лавки при ней, безъ сомнѣнія, стояло въ тѣсной связи съ послѣдовавшей въ томъ же году женитьбой Долё. Кто была избранница Долё, мы не знаемъ, но знаемъ, что это была женитьба по любви и что онъ былъ очень счастливъ въ семейной жизни. Въ началѣ 1539 г. у него родился сынъ. По случаю этой семейной радости Долё написалъ латинскую поему *Genethliacum Claudii Doleti*, которую его тулузскій товарищъ Котрѣ, крестный отецъ ребенка, перевелъ на французскій языкъ. Выраженіе радостныхъ чувствъ отца сопровождается у Долё совѣтами сыну, долженствовавшими служить ему руководствомъ въ жизни. Замѣчательно, что первый совѣтъ, который даетъ своему сыну человекъ, котораго современники считали атеистомъ, это—вѣрить въ Бога и безсмертіе души. Закрытая въ концѣ 1538 г. типографія Долё напечатала въ продолженіе своего пятилѣтняго существованія около семидесяти сочиненій и переводовъ, изъ которыхъ пятнадцать принадлежатъ самому Долё. Но враги Долё, къ которымъ теперь присоединились ліонскіе типографщики, не дремали. Уже по поводу *Sato Christianus* и тома латинскихъ стихотвореній (*Carmina*) Долё долженъ былъ предстать предъ судомъ архіепископа, гдѣ его обязали подпиской изъять эти книги изъ продажи, такъ какъ онъ заключали въ себѣ ересь *) и на будущее время не печатать ничего безъ одобренія ліонскаго сенешаля. Затѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ трехъ лѣтъ мы ничего не знаемъ о Долё кромѣ того, что типогра-

*) Ересь Долё состояла между прочимъ въ томъ, что онъ перевелъ *Вѣру*, не словомъ *Credo*, но выраженіемъ *Fidem habeo*, и что онъ употребляетъ слово *Fatum* въ языческомъ, а не въ христіанскомъ смыслѣ.

фія его процвѣтала и что въ возникшихъ пререканіяхъ между типографщиками и наборщиками, требовавшими лучшей пищи и увеличенія заработной платы, онъ стоялъ на сторонѣ послѣднихъ, чѣмъ еще больше обострились его отношенія къ содержателямъ типографій. Въ это время Доле повидимому достигъ всего, чего съ такимъ трудомъ добиваются люди: ученая репутація его стояла высоко, онъ былъ счастливъ въ семейной жизни, дѣла его типографіи шли хорошо и общались вѣрное обезпеченіе подѣ старость... Но Доле былъ не изъ тѣхъ людей, которые способны замкнуться въ эгоистическомъ довольствѣ настоящимъ. Онъ не былъ изъ числа тѣхъ, которые съ спокойною совѣстью держатъ свѣтъ подѣ спудомъ, когда ихъ ближніе блуждаютъ во тьмѣ. Онъ видѣлъ въ своей профессіи типографщика высокую культурную миссію, и пока эта миссія не была выполнена, онъ не могъ быть счастливъ. Выждавъ три года и думая, что о немъ уже успѣли позабыть, онъ въ началѣ 1542 г. выпустилъ одно за другимъ нѣсколько изданій, которыя подняли противъ него новую бурю. Въ числѣ этихъ изданій былъ переводъ Новаго Завѣта, *Institution de la religion chretienne* Кальвина, сатира *Mapo L'Enfer*, два трактата Эразма *Le Chevalier chretien* и *La Manière de se confesser* съ своимъ предисловіемъ и др. Доле очень хорошо зналъ, что первыя три книги запрещены во Франціи и что трактаты Эразма, переведенные на французскій языкъ Беркеномъ, были въ 1529 году сожжены вмѣстѣ съ переводчикомъ, что онъ страшно рискуетъ издавая ихъ, но тѣмъ не менѣе онъ считалъ своимъ долгомъ издать ихъ. Послѣдствія не заставили себя долго ждать. Въ іюлѣ 1542 г. Доле былъ арестованъ, а мѣсяцъ спустя начался процессъ его подѣ предсѣдательствомъ великаго инквизитора Матѣ Орри, о которомъ Доле въ прошеніи на имя короля отзывается, какъ о человѣкѣ крайне невѣжественномъ, зломъ и кровожадномъ. Кромѣ изданія запрещенныхъ книгъ Доле обвинялся въ томъ, что онъ по постнымъ днямъ ѣлъ скоромное, выражаясь при этомъ, что имѣетъ такое же право разрѣшить себѣ скоромное, какъ папа запретить, что онъ предпочиталъ проповѣдь обѣднѣ, во время которой онъ часто гулялъ вокругъ церкви и что во многихъ своихъ сочиненіяхъ онъ выражалъ сомнѣніе въ

безсмертіи душн. Если мы вспомнимъ, что Орри былъ извѣстный взяточникъ и что въ качествѣ свидѣтелей противъ обвиняемаго были выставлены ліонскіе типографщики, то насъ не удивить приговоръ суда, объявившій Долё (2 октября 1542) негоднымъ схизматикомъ, зачинщикомъ и распространителемъ Лютеровой ереси и постановившимъ передать этого вреднаго для церкви Христовой человѣка въ руки свѣтской власти. Выслушавъ приговоръ, Долё, чтобъ выиграть время, подалъ заявленіе о неподсудности своего дѣла духовному суду и просилъ разсмотрѣть его въ Парижскомъ парламентѣ. Расчетъ Долё оказался вѣренъ, ибо пока совершались всѣ необходимыя въ тѣхъ случаяхъ юридическія формальности, пока его самого переводили изъ ліонской тюрьмы въ парижскую Conciergerie, друзьямъ Долё удалось черезъ посредство любимца короля Дюшателя выпросить для него у Франциска I еще разъ полное прощеніе. Осенью 1543 г. Долё былъ выпущенъ на свободу, подъ условіемъ, чтобы онъ въ присутствіи епископа парижскаго отрекся отъ взводимыхъ на него обвиненій и чтобы книги, подавшія поводъ къ процессу, были сожжены. Такимъ образомъ, послѣ пятнадцатимѣсячнаго заключенія Долё былъ вырванъ изъ рукъ фанатиковъ и обскурантовъ и возвращенъ своей семьѣ, друзьямъ и занятіямъ. Но счастье его было непродолжительно; гибель уже висѣла надъ его головой. Въ первый день новаго 1544 г. таможенная стража захватила близъ воротъ Парижа два ящика съ книгами, въ числѣ которыхъ были книги, вышедшія изъ типографіи Долё и уже осужденныя Сорбонной и парламентомъ и кромѣ того нѣсколько женевскихъ кальвинистскихъ сочиненій. Такъ какъ на ящикахъ стоялъ штемпель съ именемъ Долё, то немедленно былъ посланъ въ Ліонъ приказъ объ его арестованіи. 6 января Долё былъ арестованъ у себя на дому, когда онъ съ своими друзьями праздновалъ праздникъ Крещенія. Напрасно Долё доказывалъ, что онъ ничего не знаетъ объ отправленныхъ въ Парижъ книгахъ, что съ его стороны было бы безуміемъ написать на ящикахъ свое имя, его не слушали и отвели до разбора дѣла въ тюрьму. Видя, что ему нечего ждать отъ справедливости людской, Долё рѣшился бѣжать. Обманувъ бдительность своихъ стражей,

онъ убѣжалъ изъ Ліона и пробрался въ Пьемонтъ. Въ горахъ Пьемонта Доле прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ такомъ строгомъ уединеніи, что никто, даже его семья, не знали объ его мѣстопробываніи. Тамъ онъ написалъ книжку стихотвореній, которымъ, въ подражаніе знаменитой сатирѣ Маро L'Enfer, онъ далъ названіе Second Enfer. Книга Доле состоитъ изъ стихотворныхъ посланій къ разнымъ лицамъ: королю, Маргаритѣ Наваррской, герцогу Орлеанскому, кардиналу Турнону, парижскому парламенту и наконецъ своимъ друзьямъ. Въ посланіи къ Франциску I—самому обширному изъ всѣхъ—Долё разоблачаетъ козни своихъ враговъ, жалуется на преслѣдованія и подробно описываетъ свое бѣгство изъ ліонской тюрьмы. Не подозрѣвая, что король уже находился тогда въ рукахъ Сорбонны и фанатическаго духовенства, Доле обращается къ нему съ смѣлымъ вопросомъ: „неужели—спрашиваетъ онъ короля—ты допустишь, чтобы эти негодные люди погубили своими презрѣнными кознями людей честныхъ и преданныхъ наукъ? Проснись, несравненный монархъ! Теперь не время спать! Развѣ ты не видишь, какой позоръ готовятъ тебѣ эти враги добродѣтели, если имъ удастся изгнать ученыхъ людей изъ твоего царства?“ Какъ бы предчувствуя ожидающую его судьбу, Доле проситъ короля даровать ему жизнь, которую онъ употребить на славу своей родины.

Vivre je veux pour l'honneur de la France!

Горькой, хватающей за сердце, ироніей дышетъ посланіе къ парижскому парламенту, въ которомъ онъ тщетно пытался пробудить чувства гуманности. „Ну, положимъ, меня сожгутъ, повѣсятъ, колесуютъ или четвертуютъ. Что же будетъ результатомъ всего этого? Мертвый трупъ. Неужели же парламентъ не почувствуетъ угрызений совѣсти, погубивъ такимъ жестокимъ образомъ человѣка не совершившаго никакого преступленія? Неужели въ вашихъ глазахъ человѣческая жизнь представляетъ такую же малую цѣну, какъ жизнь мухи или червяка?“ Высокаго поѣтического одушевленія достигаетъ Доле въ посланіи къ друзьямъ. Здѣсь ему нечего было ни оправдываться, ни жаловаться, ни взывать къ милосердію. Гордый сознаниемъ своей правоты и испол-

неннаго долга, онъ заявляетъ, что его не устрашаютъ никакія невзгоды, что его добродѣтель выше ударовъ судьбы, что его духъ во всякомъ случаѣ будетъ чувствовать себя побѣдителемъ. „Поэтому, друзья,—говоритъ онъ—не сожалѣйте объ обрушившихся на меня несчастіяхъ: я переношу ихъ съ кротостью, я смѣюсь надъ ними!“

Отправивъ свои посланія по адресамъ, Доле имѣлъ намѣреніе подождать результатовъ своихъ ходатайствъ въ Пьемонтъ, но, не будучи въ состояніи выносить дольше разлуки съ женой и сыномъ, онъ тайкомъ возвратился въ Ліонъ, чтобъ издать свои посланія отдѣльной книгой, присоединивъ къ нимъ переводъ двухъ діалоговъ Платона. Не смотря на то, что перевязъ свой Доле держалъ въ глубочайшей тайнѣ, что онъ выходилъ въ свою типографію только по ночамъ, его присутствіе не могло долгое время остаться неизвѣстнымъ ліонскимъ властямъ, и въ сентябрѣ 1544 онъ былъ арестованъ и отправленъ въ Парижъ, гдѣ его заключили въ тюрьму Conciergerie. Доле былъ преданъ суду парижскаго парламента, въ которомъ предсѣдательствовалъ извѣстный изувѣръ Пьеръ Лизе. Книги, захваченныя въ генварѣ и только что вышедшая въ свѣтъ *Second Enfer* были отданы на разсмотрѣніе Сорбонны, которая жестоко отомстила Доле за всѣ нападки на нее, усмотрѣвши въ переводѣ одного мѣста діалога Платона отрицаніе безсмертія души. *) Сорбонна обвиняла Доле въ томъ, что онъ прибавилъ слова *rien du tout*, которыхъ нѣтъ ни въ подлинникѣ, ни въ латинскомъ переводѣ, съ цѣлью заронить въ умы читателей сомнѣніе въ безсмертіи души. До насъ не дошли протоколы послѣдняго процесса Доле; мы не можемъ знать, почему онъ тянулся такъ долго, почти два года; знаемъ только, что главныхъ пунктовъ обвиненій было три: богохульство, доказываемое

*) Въ діалогѣ *Axiochus*, который теперь признается подложнымъ, Сократъ доказываетъ неразумность боязни смерти тѣмъ, что смерть не должна быть страшна ни для живыхъ, ни для мертвыхъ: „для живыхъ потому, что пока ты живъ—смерти нѣтъ, а когда урешь смерти тоже нечего бояться, потому что ты самъ пересташь существовать. Послѣднія слова греческаго текста (*οὐ γὰρ οὐκ ἔστι*), переведенныя по латыни *Tu inim non eris*, Доле перевелъ словами: *attendu, que tu seras plus rien du tout*.

прибавкой несчастных словъ *rien du tout*; продажа запрещенныхъ еретическихъ книгъ и наконецъ возмущеніе противъ существующаго порядка; подъ послѣднимъ разумѣлось бѣгство Доле изъ тюрьмы и участіе его въ столкновении на-борщиковъ съ содержателями типографій. Около двухъ лѣтъ провелъ Доле въ тюрьмѣ, ежедневно ожидая смертнаго приговора. На этотъ разъ заступиться за него было некому. Старыхъ его друзей и покровителей доброго епископа Жана Депеня и главы французскихъ гуманистовъ Гильома Бюде давно не былъ въ живыхъ; единственная заступница гуманистовъ Маргарита Наваррская, сама заподозрѣнная въ сочувствіи къ протестантизму, утратила всякое вліяніе на брата, которымъ окончательно завладѣла реакціонная партія. Что до друзей Доле гуманистовъ, то что значила горсть этихъ людей, невліятельныхъ, незнатныхъ, которые сами дрожали за свое существованіе? Даже любимецъ короля Дюшатель, разъ уже спасшій Доле, боялся теперь компрометировать свое положеніе, ходатайствуя за такого опаснаго человека. Тогда то оставленный всѣми, но почерпая свою силу въ вѣрѣ въ Бога и безсмертіе души, Доле написалъ свою знаменитую *Cantique*. Мы приводимъ нѣсколько строкъ изъ нея въ русскомъ переводѣ. *)

Когда въ несчастн міръ забудетъ обо мнѣ
И дни влачить свои я обреченъ въ тюрьмѣ,
И если мнѣ не суждено опять
Свободу увидать,
Ужели долженъ я въ безсиліи роптать
И тщетно слезы лить и въ скорби унывать?
Нѣтъ! Къ небу обращу я взглядъ нѣмой—
И тамъ найду покой.
Воспрянь, мой духъ! Покинь безплодныя страданья!
Господь—твой вѣрный щитъ и въ скорби упованье,
Съ надеждой пламенной къ Нему ты обратись,
Не сѣтуй, а молись!
Восириянь! Не допускай, чтобъ плоть торжествовала,

*) Переводъ этотъ сдѣланъ специально для настоящей статьи Л. А. Богдановой, которой приносимъ глубокую благодарность.

Чтобъ тебя она всечасно угнетала!
Забота, немощи и гнетъ всеневныхъ дѣлъ—
Таковъ ея удѣлъ!
Но ты, о духъ, кому въ блаженномъ откровеньи
Предвѣчный ниспослалъ любовь и утѣшенъе,
Надежду крѣпкую на Бога возлагай,
Молись Ему и знай,
Что если этотъ міръ надъ плотью власть имѣеть,
То надъ тобой, о духъ, ничто не тяготѣеть;
Будь къ небу ты съ мольбой всечасно обращенъ,
И скорбью не смущенъ.
Теперь или въ будущемъ плоть наша станетъ прахомъ,
Природѣ эту данъ съ болѣзнию и страхомъ
Мы всё должны отдать на склонѣ нашихъ дней.—
Таковъ удѣлъ людей!
Но ты, безсмертный духъ, надеждой окрыленный,
Повѣдай предъ людьми, ихъ злобой отягченный,
Что сила, мужество отважнаго бойца
Не покидаютъ до конца.

Такъ утѣшалъ себя высокій страдалецъ въ то время какъ людская злоба и фанатизмъ подготовляли его гибель и придумывали всё средства, чтобы оправдать его казнь въ глазахъ современниковъ. 2 августа 1546 президентъ парламента объявилъ резолюцію суда, въ силу которой Этьена Долё, обвиненнаго по всѣмъ тремъ пунктамъ, рѣшено было сжечь на Place Maubert вмѣстѣ съ изданными имъ книгами, предварительно подвергнувъ его пыткамъ, чтобы онъ выдалъ своихъ сообщниковъ. Казнь Долё совершилась на слѣдующій день; это былъ день его патрона Св. Стефана и вмѣстѣ съ тѣмъ день рожденія Долё, которому съ этого дня пошелъ тридцать восьмой годъ. Есть извѣстіе, что когда измученный пыткой Долё появился на площади въ толпѣ раздалися выраженія сожалѣнія. Это неожиданное проявленіе человѣческихъ чувствъ въ враждебно настроенной толпѣ уладило послѣднія минуты страдальца, который, обратившись къ окружающимъ сказалъ: „Видите, не Долё скорбитъ, скорбитъ о немъ сострадательная толпа“ (Non dolet ipse Dolet. sed pia turba dolet). Въ письмѣ Флореста Юніуса, писавшаго со словъ лица, при-

существовавшего при казни Доле, сообщаются нѣкоторыя подробности объ этой казни. По словамъ очевидца, палачъ подъ угрозой вырѣзать у Доле языкъ принудилъ его произнести обычную формулу отреченія отъ своихъ заблужденій и призвать на себя милосердіе Божіей Матери и св. Стефана. Только благодаря этому, Доле претерпѣлъ менѣе жестокую казнь: онъ былъ предварительно повѣшенъ, а потомъ уже сожженъ. Извѣстіе о казни Доле было встрѣчено съ ликова-ніемъ и католиками и протестантами. Если не считать Теодора Безы, впоследствии раскаивавшагося въ выраженіи своего сожалѣнія къ судьбѣ Доле, только одинъ поэтъ, не посмѣвшій впрочемъ объявить своего имени, оплакалъ смерть Доле въ прекрасномъ стихотвореніи, гдѣ онъ, не обинуясь, называлъ лонскаго гуманиста святымъ человѣкомъ. Вотъ начало этого стихотворенія:

Mort est Dolet et par feu consumé...
Oh! quel malheur! Oh, que la perte est grande!
Mais quoi? En France on a accoutumé
Toujours donner à tel saint telle offrande!

Доле можно назвать типическимъ представителемъ весен-ней поры европейскаго Возрожденія. Въ его личности мы находимъ характерныя черты, свойственныя гуманистамъ этой эпохи—страстную любовь къ классической древности и вѣру въ ея обновляющую силу, не менѣе страстную любовь къ славѣ и индиферентное отношеніе къ догматической сто-ронѣ религіи. Считая науку, которая тогда отождествлялась съ классической литературой, могущественнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ остатками средневѣковыхъ предрассудковъ, не-вѣжествомъ, суевѣріемъ и фанатизмомъ, Доле сдѣлалъ ее цѣлью своей жизни. Mon naturel—говоритъ онъ въ одномъ стихотвореніи—est d'apprendre toujours. Въ занятіяхъ нау-кой, преждевременно его состарившихъ, *) онъ забывалъ и свою болѣзнь и свои невзгоды. „Я всецѣло посвятилъ себя литературѣ,—пишетъ онъ Буассону—она поглощаетъ все мое время, изгоняетъ изъ моего ума всѣ тревоги и безпокойст-

*) По словамъ одного современника, Доле въ двадцать семь лѣтъ выглядывалъ человѣкомъ за сорокъ.

ва и даже заставляет забывать болѣзни и страданія“. Другой характерной чертой личности Доле, общей ему со многими учеными эпохи Возрожденія, была жажда славы, желаніе жить въ памяти потомства. Это чувство, неизвѣстное смиреннымъ ученымъ среднихъ вѣковъ, бывшее, по мѣткому выраженію Виллари, настоящимъ демономъ-искусителемъ эпохи Возрожденія, было однимъ изъ главныхъ стимуловъ дѣятельности Доле. „Я хочу показать—писалъ онъ еще въ 1534 г.—работая надъ своими Комментаріями, что значить быть преданнымъ наукѣ и претерпѣвать всякіе труды для безсмертія“. Во второмъ томѣ Комментаріевъ по поводу слова *Mors* онъ размышляетъ о своей собственной смерти и высказываетъ твердую увѣренность, что имя его не умретъ въ потомствѣ. „Ничто—говоритъ онъ—не въ состояніи такъ побудить меня работать для науки, какъ мысль о смерти. Я не говорю о противномъ человѣческой природѣ желать умереть преждевременно; я говорю о желаніи побѣдить смерть, заслуживъ себѣ безсмертіе. Неужели вы думаете, что люди, жертвующіе собой на полѣ брани или приносящіе свою жизнь въ жертву наукѣ, могли бы поступать такимъ образомъ, если бы ихъ не вдохновляла мысль о безсмертіи? Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ сдѣлать смерть съ такими людьми какъ Фемистоклъ, Эпаминондъ, Александръ В., Демосоевъ, Цицеронъ или съ такими учеными какъ Бюде, Бембо, Садолето, Эразмъ Роттердамскій или Меланхтонъ? Творенія этихъ людей, созданныя для безсмертія, находятся внѣ власти смерти. Что до меня, я тоже вѣрю, что буду жить въ моихъ трудахъ и что острая коса смерти притупится объ ихъ достоинство“. „Легко переносить—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ—нападки и зависть глупцовъ, когда постоянно имѣешь передъ собой великую цѣль борьбы и когда знаешь, что презрѣнные палачи мысли погибнуть какъ безсловесныя твари, что ихъ имена заранѣе обречены ничтожеству и забвенію“.

Современные писатели—какъ католики, такъ и протестанты—одинаково враждебно относились къ Доле и соперничали другъ съ другомъ въ желаніи очернить его память, называя его атеистомъ и матеріалистомъ. Разгадка ихъ ненависти заключается въ томъ, что Доле, подобно своимъ друзь-

ямъ Денерье и Рабле, стоялъ внѣ теологической сферы мысли. Смотря на религію съ нравственной точки зрѣнія, видя въ христіанствѣ не извѣстную систему догматовъ, но проповѣдь терпимости, братства и любви, Доле относился равнодушно къ догматическимъ различіямъ между церквями и считалъ это различіе не стоящимъ борьбы. Не въ торжествѣ одной секты надъ другой онъ видѣлъ спасеніе общества, а въ свободѣ разума и вѣрующей совѣсти и въ распространеніи здравыхъ понятій о жизни, разсѣянныхъ въ произведеніяхъ лучшихъ писателей классической литературы. Осужденный за атеизмъ и матеріализмъ, онъ въ сущности не былъ ни атеистомъ, ни матеріалистомъ. Изъ *Santique Dole* видно, что онъ былъ человѣкъ религіозный, что онъ вѣрилъ въ Бога и безсмертіе души и что эта вѣра укрѣпляла его духъ въ послѣднія минуты. Перебравъ всѣ его сочиненія, Сорбонна ничего не могла найти въ нихъ кромѣ двухъ-трехъ подозрительныхъ фразъ, ничтожность которыхъ очевидна, и потому мы будемъ не далеки отъ истины, если скажемъ, что атеизмъ и матеріализмъ были только предлогомъ для осужденія Доле. — Въ лицѣ его была осуждена свободная мысль, осужденъ былъ человѣкъ, стоявшій выше своего времени, для котораго споры о преимуществѣ одной религіозной секты надъ другой были бесплодной контрверсіей. Въ эпоху напряженія религіозныхъ партій такіе нейтральные свободномыслящіе люди кажутся хуже всякихъ еретиковъ. Какъ человѣкъ либеральный, какъ гуманистъ, стоявшій внѣ теологической сферы мысли, Доле долженъ былъ погибнуть въ XVI в., долженъ былъ быть осыпанъ проклятіями фанатиковъ, но потомство, въ судъ котораго онъ вѣрилъ, воздало ему должное и причислило его къ свѣтлой фалангѣ вождей свободной мысли и страдальцевъ за святыя права человѣческой личности.

Н. Стороженко.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

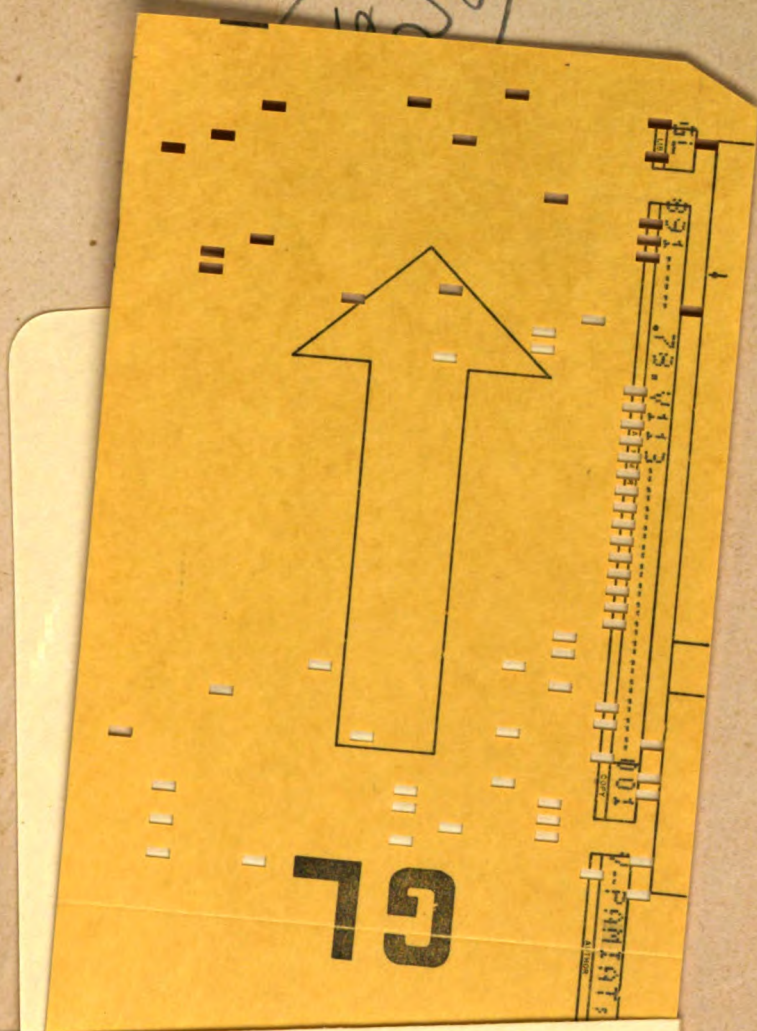
Плоды просвѣщенія. Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Гр. Л. Н. Толстого.	1
Народъ въ драмѣ Лопе де Веги „Овечій Источникъ“. М. М. Ковалевскаго	97
Изъ воспоминаній о старомъ другѣ. Алексѣя Веселовскаго	131
Стихотвореніе. А. Н. Плещеева	159
Воспоминаніе о С. А. Юрьевѣ. Л.	160
Отношенія Сергѣя Андреевича Юрьева къ сценѣ за послѣдніе три года его жизни. Личныя впечатлѣнія и наброски. Кн. А. И. Сумбатова	177
Сергѣй Андреевичъ Юрьевъ, какъ мыслитель. Л. М. Лопатина . .	195
Отрывокъ изъ неоконченнаго разговора. Z. Z.	215
Бѣдный докторъ! Разсказъ Луиджи Капуана. Переводъ Александры Веселовской	221
Посвященіе къ незаданной комедіи. Стих. Владиміра Соловьева. .	238
Н. В. Гоголь. Его отношенія къ графу А. П. Толстому. Незданныя письма, съ предисловіемъ и примѣчаніями Е. С. Некрасовой	239
На озерѣ. Стихотвореніе Ю. Б—скаго.	268
Отрывки изъ старой переписки. Письма къ Юрьеву Тургенева, Достоевскаго, Салтыкова, А. И. Кошелева и Н. А. Чаева, съ поясненіями Алексѣя Веселовскаго	271
Путешественникъ. Разсказъ Л. Нелидовой	296
Евлампева дочь. Повѣсть Ф. Д. Нафедова.	311
Донъ-Фернандо, Стойкій принцъ (El Principe Constante). Трагедія въ 5-ти дѣйствіяхъ Донъ-Педро Кальдерона. (Отрывокъ). Ник. Арбенина. .	397
Волжское преданіе. А. К. Сизовой	405
Вольнодумецъ эпохи Возрожденія. Н. Н. Стороженка	411

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ.</i>
50	13 снизу	dinatoire	dinatoire
59	10 "	приписываюся	приписываются
111	4 "	Фруассора	Фруассара
111	16 "	не далѣка къ	не далѣе какъ
113	3 "	въ главѣ себѣ	въ главу себѣ
132	1 "	рукахъ	звукахъ
132	15 "	слушивается	вслушивается
152	3 сверху	сти стѣны	эти стѣны
179	7 снизу	романическаго	романтическаго
183	8 сверху	взглядывается	вглядывается
183	15 "	считаетъ	считаетъ
307	7 снизу	scelleerato	scellerato
315	7 "	нераскочно	не роскошно
315	11 "	серьезныя	серьезные
320	8 "	пора спросить	пораспросить
404	1, 6 и 20 сверху	Зелинъ	Селинъ
405	9 снизу	и вин	и вина
419	1 "	aucun plaisir	aucun plaisir
420	3 сверху	самые неблагопріятное	самое неблагопріятное
431	12 "	теперь или	теперь иль
433	17 снизу	Фемистокль	Фемистокль
433	23 "	желать умереть	желаніе умереть
434	1 сверху	Денерье	Деперьё

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 07480 6608



**DO NOT REMOVE
OR
UTILATE CARD**

